

Возрождение в Италии, Том 1 (из 7). Эпоха деспотов

Джон Аддингтон Саймондс

Renaissance in Italy, Volume 1 (of 7)

John Addington Symonds



Электронная книга проекта "Гутенберг" о Возрождении в Италии, том 1 (из 7)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Возрождение в Италии, Том 1 (из 7)

Автор: Джон Аддингтон Саймондс

Дата выхода: 18 марта 2005 г. [Электронная книга № 15400]

Последнее обновление: 14 декабря 2020 г.

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Тедом Гарвином, Тургутом Динсером, Леонардом Джонсоном и командой онлайн-корректоров Project Gutenberg (<https://www.pgdp.net>)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ", ТОМ 1 (ИЗ 7) ***

*Электронный текст подготовлен Тедом Гарвином, Тургутом Динсером, Леонардом Джонсоном,
и командой онлайн-корректоров Project Gutenberg
(<https://www.pgdp.net>)*

РЕНЕССАНС В ИТАЛИИ

ЭПОХА ДЕСПОТОВ

АВТОР ДЖОН АДДИНГТОН САЙМОНДС

АВТОР ЭТЮДОВ О ГРЕЧЕСКИХ ПОЭТАХ, ОЧЕРКОВ ОБ ИТАЛИИ И ГРЕЦИИИ ДР.

'Di questi adunque oziosi principi, e di queste vilissime armi, sarà piena la mia Istoria'

Max. 1сент-Фьор. lib. i.



НЬЮ-ЙОРК

ГЕНРИ ХОЛТ И КОМПАНИЯ

1888

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ.

ТОМОМУ ДРУГУ ДЖОНУ БЕДДО, ДОКТОРУ медицины, Ф.Р.С., ПОСВЯЩАЮ СВОЮ РАБОТУ ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ.

АВТОРСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРОВ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ.

Хотя эти книги, взятые вместе и в запланированном автором порядке, образуют единое исследование итальянской культуры определенного периода истории, тем не менее каждая из них стремится к полноте сама по себе, и каждую можно читать независимо от других. О том, что автор не считает знакомство ни с одним из них необходимым для полезного чтения любого другого, свидетельствует публикация каждого тома на отдельном титульном листе без нумерации томов, хотя все три имеют одинаковый общий заголовок "Возрождение в Италии".

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Этот том представляет собой первую часть работы "Возрождение в Италии". Во второй части говорится о возрождении образования. В третьей - об изящных искусствах. Четвертая часть в двух томах посвящена итальянской литературе.

Из-за обширности территории, которую я пытался преодолеть, я сознаю, что студенты специальных факультетов найдут желательным мое исполнение каждой части. В некотором отношении я надеюсь, что несколько частей работы смогут дополнить и проиллюстрировать друг друга. Многие темы, например, были опущены из главы VIII. в этом томе, потому что они казались более приспособленными для лечения в будущем.

Одна из главных трудностей, с которыми приходится сталкиваться критику при изучении итальянского Возрождения, - это определение границ эпохи. Две даты, 1453 и 1527, отмечающие соответственно падение Константинополя и разграбление Рима, удобны для фиксации в уме того узкого промежутка времени, в течение которого эпоха Возрождения достигла кульминации. Но для того, чтобы проследить его развитие до этого момента, необходимо вернуться к гораздо более отдаленному периоду; и, опять же, невозможно сохранить строгую хронологическую последовательность в рассмотрении нескольких ветвей всей темы.

Книги, которые наиболее часто использовались в этой первой части работы, - это "Итальянские республики" Сисмонди; "Повторный итальянский сценарий" Муратори; "Архив итальянских историй"; седьмой том "Истории Франции" Мишле; седьмой и восьмой тома "Истории города

Рима" Грегоровиуса; "Итальянские революции" Феррари; серия депеш Альбери; "История Республики Флоренция" Джинно Каппони; и "Культура возрождения в Италии" Буркхардта. За последнее эссе я должен признать особые обязательства. Это попало в поле моего зрения, когда я планировал и в значительной степени завершил свою собственную работу. Но мне было бы трудно преувеличить пользу, которую я извлек из сравнения моих мнений с мнениями писателя, столь глубокого в своей учености и столь тонкого в своем восприятии, как Якоб Буркхардт, или то, чем я обязан его острому и философскому подходу ко всему предмету. Я также должен выразить особую признательность Феррари, многие взгляды которого я перенял в главе "История Италии". Что касается изменений, внесенных в содержание книги в этом издании, будет достаточно сказать, что я постарался довести каждую главу до уровня современных знаний.

В заключение я еще раз прошу разрешения опубликовать книгу, которая, хотя и стремится к полноте сама по себе, на самом деле является лишь частью длительного исследования.

Содержание.

ГЛАВА I.

ДУХ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

- Трудность установления даты-Значение слова Ренессанс-Освобождение разума-Связь феодализма с Ренессансом-Средневековые предупреждения о Ренессансе-Абеляр, Бэкон, Иоахим Флор, провансальцы, еретики, Фридрих II.-Данте, Петрарка, Боккаччо-Физическая энергия итальянцев-Возрождение образования-Двойное открытие мира и человека-Исследование Вселенной и Земного шара-Наука-Изобразительное искусство и ученость-Искусство гуманизирует концепции Церкви-Три Этапы истории науки-Эпоха желания-Эпоха приобретения-Легенда о трупце Джулии-Эпоха печатников и критиков-Освобождение совести-Реформация и современный критический дух-Механические изобретения-Место Италии в эпоху Возрождения¹

ГЛАВА II.

ИСТОРИЯ ИТАЛИИ.

- Особые трудности этого предмета-Очевидная путаница-Отсутствие руководящего мотива-Папство-Империя-Республики-Деспоты-Народ-Расчленение Италии-Две основные темы-Возвышение коммун-Готское королевство-Лангобарды-Франки-Немцы-Епископы-Консулы-Подеста-Гражданские войны-Деспоты-Баланс сил-Пять итальянских государств-Итальянцам не удается достичь Национального единства-Причины этой неудачи-Условия, при которых это могло быть достигнуто-Республика-Королевство-Конфедерация-Союз Тирания - Роль, которую играет папство³²

ГЛАВА III.

ЭПОХА ДЕСПОТОВ.

- Характерные черты Италии XIV и XV веков-Отношение Италии к Империи и Церкви-Незаконный титул итальянских властителей-Свободное проявление личности-Фридрих II. и влияние его примера-Эццелино да Романо-Шесть разновидностей итальянских деспотов-Феодалные сеньоры-Наместники Империи-Военачальники народа-Кондотьеры-Племянники и сыновья пап-Видные бюргеры-Неспособность итальянцев к самоуправлению в Содружествах-Поощряемое насильственное удержание власти Личные способности-Условия жизни деспота-Случаи бытовой преступности в правящих домах-Описание итальянского тирана Маколеем-Описания тирана Савонаролой и Маттео Виллани-Поглощение меньших большими тираниями в четырнадцатом веке-История Висконти-Франческо Сфорца-Роль, которую играли в итальянской политике военачальники-Наемническая война-Альберико да Барбиано, Браччо да Монтоне, Сфорца Атендоло-История династии Сфорца-Убийство Галеаццо Марии Сфорца-Этика тираноубийства в Италии-Отношение деспотов к искусству и литературе-Сигизмондо Пандольфо Малатеста-Герцог Федерико Урбинский-Школа Витторино и двор Урбино-Кортегиано Кастильоне-Идеалы итальянского придворного и современного джентльмена-Общая ретроспектива⁹⁹

ГЛАВА IV.

РЕСПУБЛИКИ.

- Различные физиономии итальянских республик-Сходство их характера как муниципалитетов-Права гражданства-Причины беспорядков в Содружествах-Вера в пластичность конституций-Пример Генуи-Конституция Савонаролы-Беседа Макиавелли со Львом X.-Сложность интересов и фракций-Пример Сиены-Небольшие размеры итальянских городов-Взаимное недоверие и зависть к содружествам-Примечательное исключение Венеции-Конституция Венеции-Ее мудрая система правления-Контраст флорентийских превратностей-Магистратуры Флоренции - Балия и Парламентенто-Искусство Медичи-Сравнение Венеции и Флоренции в отношении интеллектуальной активности и мобильности-Параллели между Грецией и Италией-Существенные различия-Меркантильный характер итальянских городов-"Траттато дель Гуверно делла Фамилья"-Буржуазный тон Флоренции и идеал бюргера-Наемное оружие¹⁹³

ГЛАВА V.

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ИСТОРИКИ.

- Флоренция, город разума-Алчность, любопытство и любовь к прекрасному-Флорентийская историческая литература-Философское изучение истории-Рикордано Малеспини-История Флоренции в сравнении с хрониками других итальянских городов-Виллани-Дата 1300 г.-Статистика-Политические эссе и брошюры Данте-Дино Компаньи-Латинские истории Флоренции Пятнадцатого века-Лионардо Бруни и Поджо Браччолини -Историки первой половины Шестнадцатого века - Люди действия и литераторы; доктринеры-Флоренция между 1494 и 1537 гг.-Варчи, Сеньи, Нарди, Питти, Нерли, Гвиччардини-Политическое значение этих писателей-Последние годы независимости Флоренции и осада 1529 г.-Положение партий-Филиппо Строцци-Разные взгляды историков на слабость Флоренции -Их литературные качества-Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли-Ученые-статисты-Разлад между жизнью и литературой-Биография Гвиччардини-Его "История Италии", "Диалог" Правление Флоренции", "История Фиорентины", "Рикорди" - БиографияМакиавелли - Его план

национального ополчения -Посвящение "Принцу" - Политическая этика итальянского Возрождения - "Дискорси" - Семь книг о военном искусстве и "История Флоренции.246

ГЛАВА VI.

"ПРИНЦ" МАКИАВЕЛЛИ.

- Искренность Макиавелли в этом эссе-Макиавеллизм- Его преднамеренная формулировка циничной политической теории-Анализ "Принца"-Девять условий существования княжеств-Интересы Завоевателя, признанные единственным мотивом его политики-Критика Людовика XII.-Феодальная монархия и восточный деспотизм-Три способа подчинения свободного города-Пример Пизы-Княжества, основанные авантюристами-Моисей, Ромул, Кир, Тесей-Савонарола-Франческо Сфорца-Чезаре Борджиа- Личное отношение Макиавелли к нему-Восхищение Макиавелли гением Чезаре-Очерк карьеры Чезаре-О тех, кто добился Власти преступлениями-Оливеротто да Фермо-Применение жестокости-Мессер Рамиро д'Орко-Пессимистическая мораль Макиавелли-О вере государей-Александр VI.-Политика казаться добродетельным и честным-Отсутствие рыцарских чувств в Италии-Военная система могущественного государя-Критика наемников и вспомогательных сил-Необходимость национального ополчения-Искусство о войне -Патриотическое завершение трактата-Макиавелли и Савонарола 334

ГЛАВА VII.

ПАПЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

- Папство между 1447 и 1527 годами -Противоречия периода Возрождения, примером которых являются папы -Ослабление их власти над государствами Церкви и Римом во время ссылки в Авиньон-Николай V.-Его концепция папской монархии-Пий II.-Крестовый поход-Понтифики эпохи Возрождения-Павел II.-Преследование платоников-Сикст IV.-Кумовство-Семьи Риарио и Делии Ровере-Алчность-Любовь к войне-Заговор Пацци-Инквизиция в Испании-Иннокентий VIII.- Франческетто Сибо-Избрание Александра VI.-Его консолидация светской власти-Политика в отношении семей Колонна и Орсини-Продажность всего в Риме-Политика в отношении султана-Индекс-Семья Борджиа-Лукреция-Убийство герцога Гандийского-Чезаре и его продвижение-Смерть Александра-Юлий II.-Его вспыльчивый нрав-Великие проекты и командирский характер-Лев X.-Его неполноценность по отношению к Юлию-С. Петр и реформация-Адриан VI.-Его ненависть к языческой культуре-Отвращение римского двора к его избранию-Климент VII.-Разграбление Рима-Порабощение Флоренции 371

ГЛАВА VIII.

ЦЕРКОВЬ И МОРАЛЬ.

- Разложение Церкви-Деградация и разделение Италии-Мнения Макиавелли, Гвиччардини и короля Неаполя Фердинанда-Неспособность итальянцев к основательной реформации-Светскость и культура эпохи Возрождения-Свидетельства итальянских авторов против папского двора и монастырей-Суеверное уважение к реликвиям-Разделение религии и морали-Смесь презрения и почтения к папам-Джанпаоло Бальони-Религиозные чувства тираноубийц-Пьетро Паоло Босколи-Стойкость религий-Прямой интерес общества итальянцы в Риме-Благоговение к Таинствам Церкви-Мнения, высказанные англичанами об итальянской безнравственности-Недобросовестность и чувственность-Элемент фантазии в итальянском пороке-Итальянцы не жестоки, или Брутальны, или невоздержанны по натуре-Бытовые убийства-Чувство чести в

Италии-Оноре и Онеста-Общая утонченность-Хорошие качества людей-Религиозное Возрождение[447](#)

ГЛАВА IX.

SAVONAROLA.

- Отношение Савонаролы к эпохе Возрождения-Его происхождение, рождение и детство в Ферраре-Его поэма о крушении мира-Присоединяется к доминиканцам в Болонье-Письмо отцу-Поэма о крушении церкви-Начинает проповедовать в 1482 году-Первый визит во Флоренцию-Сан-Джеминьяно-Его пророчество-Брешиа в 1486 году-Внешность и стиль ораторского искусства-Влияние на аудиторию-Три вывода-Его видения-Недостатки Савонаролы как государственного деятеля-патриота-Его искренняя вера в свое пророческое призвание-Дружба с Пико делла Мирандола-Поселяется во Флоренции, 1490 год-Монастырь Сан-Марко-Отношение Савонаролы к Лоренцо Медичи-Смерть Лоренцо-Проповеди 1493 и 1494 годов-Конституция 1495 года-Теократия во Флоренции-Пьянони, Биджи и Аррабьяти-Война между Савонаролой и Александром VI.-Синьория отстраняет его от проповеди в Кафедральном соборе в 1498 году-Попытки созвать Собор-Испытание огнем-Сан-Марко, штурмованный толпой -Суд и казнь Савонаролы[497](#)

ГЛАВА X.

КАРЛ VIII.

- Итальянские государства противостоят великим нациям Европы-Политика Людовика XI. Франции-Характер Карла VIII.-Подготовка к вторжению в Италию-Позиция Лодовико Сфорца-Дипломатические трудности в Италии после смерти Лоренцо Медичи-Слабость республик-Моро-1494 год-Альфонсо Неаполитанский- Неспособность союзников справиться с Францией-Карла в Лионе подстрекают к вторжению Джулиано делла Ровере в Италию-Карл в Асти и Павии-Убийство Джан Галеаццо Сфорца -Недоверие к французской армии-Рапалло и Фивизцано-Вступление в Тоскану-Роль, сыгранная Пьеро Медичи-Карл в Пизе - Его вступление во Флоренцию-Пьеро Каппони-Поход на Рим-Вступление в Рим-Паника Александра VI.-Поход на Неаполь-Испанская династия: Альфонсо и Фердинанд-Альфонсо II. бежит на Сицилию-Фердинанд II. находит убежище на Искье-Карл в Неаполе-Лига против французов-Де Комин в Венеции-Карл отступает через Рим, Сиену, Пизу и Понтремоли-Битва при Форново-Карл достигает Асти и возвращается во Францию -Италия становится Призом, за который сражаются Франция, Испания и Германия-Важность экспедиции Карла VIII.[537](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ.

- № I.—Кровавое безумие тиранов [589](#)
- № II.—Переводы Нарди, "История Флоренции", lib. I. глава 4; и Варчи, "История Фиорентины", lib. iii. главы. 20,21, 22; lib. ix. главы. 48, 49, 46[592](#)
- № III. — Персонаж Александра VI из "Истории Фиорентины" Гвиччардини, глава 27[603](#)
- № IV.—Религиозные возрождения в Средневековой Италии[606](#)
- № V.— "Соммарио истории Италии с 1511 по 1527 год" Франческо Веттори,[624](#)
- ИНДЕКС[639](#)

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ.

ГЛАВА I.

ДУХ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Трудность установления даты—Значение слова Ренессанс—Освобождение разума—Отношение феодализма к Ренессансу—Средневековые предупреждения о Ренессансе—Абеляр, Бэкон, Иоахим Флор, провансальцы, еретики, Фридрих II.—Данте, Петрарка, Боккаччо—Физическая энергия итальянцев—Возрождение образования—Двойное открытие мира и человека—Исследование Вселенной и Земного шара—Наука—Изобразительное искусство и ученость—Искусство гуманизирует концепции Церкви— Три этапа в истории науки —Эпоха желаний—Эпоха приобретения—Легенда о трупe Юлии—Эпоха печатников и критиков—Освобождение совести—Реформация и современный критический дух—Механические изобретения—Место Италии в эпоху Возрождения.

Слово "Ренессанс" в последние годы приобрело более широкое значение, чем то, которое подразумевается в нашем английском эквиваленте — Возрождении обучения. Мы используем его для обозначения всего перехода от Средневековья к Современному миру; и хотя можно установить определенные границы периода, в течение которого происходил этот переход, мы не можем установить какие-либо даты настолько точно, чтобы сказать — между этим годом и тем, что движение было завершено. Делать это было бы все равно что пытаться назвать дни, в которые начиналась и заканчивалась весна в любом конкретном сезоне, однако мы говорим о весне как о чем-то отличном от зимы и лета. Правда в том, что во многих смыслах мы все еще находимся в середине Возрождения. Эволюция не завершена. Новая жизнь принадлежит нам и является прогрессивной. Как в сцене превращения в каком-нибудь большом Маскараде, так и здесь убывающие и растущие очертания смешиваются; новые формы, сначала темные и прозрачные, вытесняют старые; а теперь и те, и другие сливаются; и теперь старая сцена отходит на задний план; и все же, кто скажет, будет ли окончательно создана новая сцена?

Подобным же образом мы не можем отнести все явления эпохи Возрождения к какой-либо одной причине или обстоятельству или ограничить их рамками какой-либо одной области человеческого знания. Если мы спросим изучающих искусство, что они подразумевают под Возрождением, они ответят, что это была революция, произведенная в архитектуре, живописи и скульптуре восстановлением античных памятников. Изучающие литературу, философию и теологию видят в эпохе Возрождения то открытие рукописей, ту страсть к античности, тот прогресс в филологии и критике, которые привели к правильному знанию классики, к свежему вкусу в поэзии, к новым системам мышления, к более точному анализу и, наконец, к лютеранскому расколу и освобождению совести. Ученые будут рассуждать об открытии солнечной системы Коперником и Галилеем, анатомии Везалия и теории кровообращения Харвея. Возникновение подлинно научного метода - это вопрос, который больше всего

интересует их в эпоху Возрождения. У политического историка, опять же, есть свой ответ на этот вопрос. Исчезновение феодализма, развитие великих национальностей Европы, рост монархии, ограничение церковной власти и превращение папства в итальянское королевство, и, наконец, постепенное возникновение того чувства народной свободы, которое взорвалось Революцией; вот аспекты движения, которые привлекают его внимание. Юристы расскажут о разрушении юридических фикций, основанных на фальшивых декретах, получении подлинного текста Римского кодекса и попытке внедрить рациональный метод в теорию современной юриспруденции, а также начать изучение международного права. Люди, чье внимание было обращено к истории открытий и изобретений, расскажут об исследовании Америки и Востока или укажут на преимущества, дарованные миру искусством книгопечатания и гравировки, компасом и телескопом, бумагой и порохом; и будут настаивать на том, что в момент Возрождения все эти механические инструменты начали свое существование, чтобы способствовать разложению того, что было прогнившим и должно погибнуть, укреплять и увековечивать новое, полезное и животворящее. Однако ни один из этих ответов, взятых по отдельности, да и все они вместе, не дадут решения проблемы. Термином "Возрождение", или "новое рождение", обозначается естественное движение, которое не следует объяснять той или иной характеристикой, но следует принимать как усилие человечества, для которого, наконец, пришло время, и в поступательном прогрессе которого мы все еще участвуем. История Возрождения - это не история искусств, или наук, или литературы, или даже наций. Это история достижения самосознательной свободы человеческим духом, проявленным в европейских расах. Это не просто политическая мутация, не новая мода в искусстве, не восстановление классических стандартов вкуса. Искусства и изобретения, знания и книги, которые внезапно стали жизненно важными во времена Возрождения, долгое время лежали в забвении на берегах Мертвого моря, которое мы называем Средневековьем. Не их открытие стало причиной Возрождения. Но именно интеллектуальная энергия, спонтанный всплеск интеллекта позволили человечеству в тот момент воспользоваться ими. Созданная тогда сила все еще продолжается, живая и экспансивная, в духе современного мира.

Как же тогда получилось, что в определенный период, примерно через четырнадцать столетий после Рождества Христова, грубо говоря, интеллект западных рас как бы пробудился ото сна и снова начал действовать? Это вопрос, на который мы можем дать лишь неполный ответ. Тайна органической жизни не поддается анализу; будь предметом нашего исследования зародышевая клетка или такое сложное явление, как возникновение новой религии, или возникновение новой болезни, или новая фаза цивилизации, одинаково невозможно сделать больше, чем указать условия, при которых начинается новый рост, и указать, каковы его проявления. Более того, поступая таким образом, мы должны быть осторожны, чтобы не увлечься словами, созданными нами самими. Возрождение, Реформация и Революция - это не отдельные явления, которые можно изолировать; это моменты в истории человечества, которые мы считаем удобным называть; в то время как сама история едина и непрерывна, так что все наши попытки рассматривать какую-то ее часть независимо от остальных потерпят крах.

Взгляд на историю предыдущих веков показывает, что после распада структуры Римской империи не было никакой непосредственной возможности для какого-либо интеллектуального возрождения. Варварские расы, наводнившие Европу, должны были усвоить свое варварство: осколки римской цивилизации должны были быть либо уничтожены, либо ассимилированы; германские нации должны были получить культуру и религию от народа, который они вытеснили; должна была быть создана Церковь и придана новая форма старой идее Империи.

Далее, было необходимо определить современные национальности, сформировать современные языки, до некоторой степени обеспечить мир и накопить богатство, прежде чем могли бы возникнуть необходимые условия для возрождения свободного духа человечества. Первая нация, выполнившая эти условия, была первой, кто открыл новую эру. Причина, по которой Италия взяла на себя ведущую роль в эпоху Возрождения, заключалась в том, что Италия обладала языком, благоприятным климатом, политической свободой и коммерческим процветанием в то время, когда другие нации были все еще полуварварскими. Там, где человеческий дух был похоронен в упадке Римской империи, он возник на руинах этой империи; и папство, названное Гоббсом призраком мертвой Римской империи, восседающее на ее пепле, на троне и коронованное, в какой-то степени перекинуло мост через пропасть между двумя периодами.

Постоянно помня о том, что подлинным качеством Возрождения была интеллектуальность, что это было освобождение разума для современного мира, мы можем задаться вопросом, как феодализм был связан с ним. Душевное состояние Средневековья было состоянием невежественного преклонения перед идолами Церкви — догмой, авторитетом и схоластикой. Опять же, народы Европы в течение этих столетий были скованы тяжестью материальных потребностей. Без власти над внешним миром, которую сообщают физические науки и полезные искусства, без легкости жизни, обеспечиваемой богатством и изобилием, без традиций цивилизованного прошлого, медленно выходящих из состояния крайней необработанности, каждая нация едва ли могла бы сделать больше, чем завоевать и с трудом удерживать существование. Было бы нелепо принижать работу, проделанную в средние века. И все же мы можем указать, что это делалось бессознательно — что это был постепенный и инстинктивный процесс становления. Одним словом, разум не бодрствовал; разум человека не знал о своих собственных сокровищах и своих собственных способностях. Трогательно думать о средневековых студентах, корпящих над единственным плохо переведенным предложением Порфирия, пытающихся извлечь из его положений целые системы логической науки и мучающих свой мозг головоломками, едва ли менее праздными, чем дилемма буриданова осла, в то время как все это время в Константинополе и Севилье, на греческом и арабском языках, Платон и Аристотель были живы, но спали, ожидая только зова Эпохи Возрождения, который повелел бы им заговорить голосом, понятным современному уму. Не менее трогательно наблюдать, как волна за волной океан человечества захлестывает со всех концов Европы, разбивается в страстной, но бесполезной пене о берега Палестины, как целые народы отдают жизнь за возможность увидеть стены Иерусалима, поклониться гробнице, откуда воскрес Христос, нагружая свой флот реликвиями и грузами священной земли, в то время как в их груди и мозгах все это время с ними был дух Господень, живой, но непризнанный, дух свободы, которой вскоре суждено было вернуть миру свое первородство.

Тем временем средневековье совершало свою собственную работу. Медленно и незаметно, среди глупости и невежества, формировались нации и языки Европы. Италия, Франция, Испания, Англия, Германия обрели форму. Действующие лица будущей драмы приобрели несколько своих персонажей и сформировали языки, на которых должны были выражаться их личности. Качества, отличающие современное общество от общества древнего мира, были внушены этим народам христианством, Церковью, рыцарством, феодальными обычаями. Затем наступил следующий этап. После формирования наций были установлены их монархии и династии. Феодализм постепенно перешел в различные формы более или менее определенной автократии. В Италии и Германии возникли многочисленные княжества, достигшие

превосходства; и хотя нация не была объединена под одним началом, монархический принцип был признан. Франция и Испания подчинились деспотизму, по праву которого король мог сказать: "Это мое". Англия разработала свою сложную конституцию народного права и королевских прерогатив. В то же время Латинская церковь претерпела аналогичный процесс трансформации. Папство стало более автократическим. Подобно королю, папа начал говорить: "Любовь - это мое". Это слияние средневекового государства и средневековой Церкви при личном верховенстве короля и папы можно назвать особой чертой последней эпохи феодализма, предшествовавшей Возрождению. Именно таким образом были подготовлены необходимые условия и внешние обстоятельства. Организация пяти великих наций и выравнивание политических и духовных интересов под властью политических и духовных деспотов явились прелюдией к той драме свободы, первым актом которой было Возрождение, вторым - Реформация, третьим - Революция, и которую мы, нации настоящего времени, все еще развиваем в утверждении демократической идеи.

Между тем, не следует воображать, что эпоха Возрождения внезапно обрушилась на мир в пятнадцатом веке без каких-либо предвестников. Далеко не так: в самом средневековье разум снова и снова пытался вырваться из своих оков. Абельяр в двенадцатом веке пытался доказать, что бесконечный спор о сущностях и словах был основан на неправильном понимании. Роджер Бэкон в начале тринадцатого века предвосхитил современную науку и провозгласил, что человек, используя природу, может делать все. Иоахим Флор, промежуточный между ними, выпил одну каплю из чаши пророчества, поднесенной к его губам, и воскликнул, что "Евангелие Отца прошло, Евангелие Сына проходит, Евангелию Духа суждено сбыться". Эти три человека, каждый по-своему, француз как логик, англичанин как аналитик, итальянец как мистик, предсказали грядущее, но неизбежное освобождение разума человечества. Не было недостатка и в признаках, особенно в Провансе, того, что Афродита, Феб и Грации готовы возобновить свое господство. Преждевременная цивилизация этого благодатного региона, столь жестоко уничтоженная Церковью, сама по себе была естественной реакцией на ограничения, налагаемые церковной дисциплиной; в то время как песни странствующих студентов, известные под названием "*Кармина Бурана*", указывают на возрождение языческих или дохристианских чувств в самой цитадели средневековой учености. Более того, мы должны вспомнить катаров, Патерини, Фратичелли, альбигойцев, гуситов — еретиков, в которых тускло сиял новый свет, но которые были немедленно истреблены Церковью. Мы должны почтить память обширной концепции императора Фридриха II, который стремился основать новое общество гуманной культуры на Юге Европы и предвосхитить приход духа современной терпимости. Он тоже и вся его раса были истреблены папской ревностью. Поистине, мы можем сказать вместе с Мишле, что Сивилла эпохи Возрождения тщетно предлагала свои книги феодальной Европе. Напрасно, потому что время еще не пришло. Идеи, спроецированные таким образом на современный мир, были незрелыми и несостоятельными, подобно тем безголовым туловищам и зоофитическим представителям наполовину сформировавшегося человечества, которые, по видению Эмпедокла, предшествовали рождению полноценного человека. Нации не были готовы. Францисканцы, заключившие в тюрьму Роджера Бэкона за то, что он осмелился исследовать то, что Бог намеревался сохранить в тайне; доминиканцы, проповедующие крестовые походы против образованной знати Тулузы; папы, растоптавшие семя просвещенного Фредерика; бенедиктинцы, стирающие шедевры классической литературы, чтобы освободить место для своих собственных литаний и таинств, или продающие куски пергамента за талисманы; миряне, преданные суевериям святых и колдовству дьявола;

духовенство, погрязшее в чувственной лени или охваченное демоническим рвением: они по-прежнему правили интеллектуальными судьбами из Европы. Поэтому первые предчувствия эпохи Возрождения были фрагментарными и бесплодными.

Затем начался второй период. Поэма Данте, произведение сознательного искусства, задуманное в современном духе и написанное современным языком, стало первым верным признаком того, что Италия, лидер наций Запада, стряхнула с себя сон. Петрарка последовал за ним. Его идеал античной культуры как вечного утешения и всеобщего образования человечества, его пожизненные усилия по восстановлению классической гармонии мысли и речи дали непосредственный импульс одному из главных движений Возрождения — его страстному обращению к античному миру. После Петрарки Боккаччо открыл еще одно русло для потока свободы. Его концепция человеческого существования как радости, которую следует принимать с благодарностью, а не как мрачной ошибки, которую нужно исправить страданием, познакомила XIV век с той формой полуязыческого веселья, которая ознаменовала настоящий Ренессанс.

Благодаря Данте, Петрарке и Боккаччо Италия вновь обрела сознание интеллектуальной свободы. То, что мы называем Ренессансом, еще не наступило; но их достижения определили его появление в должное время. С Данте гений современного мира осмелился остаться в одиночестве и уверенно творить на свой манер. Вместе с Петраркой тот же гений преодолел пропасть тьмы, возобновив традицию великолепного прошлого. Вместе с Боккаччо тот же гений провозгласил красоту мира, прелесть молодости и силы, любви и жизни, не страшящейся ада, не страшящейся тени надвигающейся смерти.

Именно сейчас, в начале четырнадцатого века, когда Италия действительно утратила героический дух, которым мы восхищаемся в ее коммунах тринадцатого века, но вместо этого обрела легкость, богатство, великолепие и тот покой, который проистекает из длительного процветания, наконец-то началась новая эпоха. Европа была, так сказать, невозделанным полем, под которым лежала погребенная цивилизация старого света. Позади простиралось столетие средневековья, интеллектуально бесплодные и инертные. О будущем пока были лишь слабые предзнаменования. Между тем сила народов, которым было суждено осуществить грядущую трансформацию, была неисчерпаема; их физические и умственные способности не пострадали. Никакие века изнуряющей роскоши, интеллектуальных усилий, искусственно сохраненной или изобретательно продленной жизни не подрывали силы людей, которые вот-вот должны были открыть современный мир. Строго воспитанные, непривычные к утонченной жизни, эти гиганты эпохи Возрождения были подобны мальчикам в своей способности к выносливости, в своей неумеренной жажде наслаждений. Никакие поколения, голодные, болезненные, изнуренные, критически настроенные, разочарованные, не растоптали их. Скука и усталость, проистекающие из скептицизма, отчаяния от сорванных усилий, были им неизвестны. Их свежие и не извращенные чувства обостряли восприятие всего прекрасного и естественного. Они стремились к великолепию и инстинктивно постигали великолепие. В то же время период насыщения был еще далек. Для их молодой энергии все казалось возможным; ни одно удовольствие не омрачало их аппетит. Рожденные, так сказать, в тот момент, когда желания и способности уравновешены, когда восприятие не притуплено, а чувства не пресыщены, впервые открыв глаза на мир чудес, эти люди эпохи Возрождения наслаждались тем, что мы можем назвать первым трансцендентным весенним приливом современного мира. Нет ничего более замечательного, чем полнота жизни, которая пульсировала в них.

Встречались натуры, богатые всеми способностями и наделенные всевозможной чувствительностью. Также не было никаких ограничений для игры личности в действии. Мы можем применить к ним то, что мистер Браунинг написал о темпераменте Сорделло:

Одного шага там
Достаточно, чтобы взметнуть в теплый воздух
Наполовину проросшие специи, простое разложение
Дает более богатую жизнь, и день ото дня
на лепестках лилии вырастает новая пыльца,
И еще более запутанные бутоны розы.

В Средние века человек жил, закутавшись в капюшон. Он не видел красоты мира или видел ее только для того, чтобы перекреститься, отвернуться в сторону, перебирать четки и молиться. Подобно Святому Бернару, путешествующему вдоль берегов озера Леман и не замечающему ни лазури вод, ни пышности виноградных лоз, ни сияния гор в их одеянии из солнца и снега, но склоняющему отягощенный мыслями лоб к шее своего мула; подобно этому монаху, человечество прошло, осторожный паломник, сосредоточенный на ужасах греха, смерти и суда, по дорогам мира, и едва ли знало, что их стоит увидеть или что жизнь - это благословение. Красота - это ловушка, удовольствие - грех, мир - мимолетное зрелище, человек падший и потерянный, смерть - единственная определенность, суд неизбежен, ад вечен, рай трудно завоевать; невежество приемлемо для Бога как доказательство веры и покорности; воздержание и умерщвление плоти - единственные безопасные правила жизни: таковы были неизменные идеи аскетичной средневековой Церкви. Эпоха Возрождения расколола и уничтожила их, разорвав плотную завесу, которую они натянули между разумом человека и внешним миром, и осветив светом реальности темные уголки его собственной натуры. Мистическое учение Церкви было заменено культурой в классических гуманитарных науках; был установлен новый идеал, посредством которого человек стремился сделать себя монархом земного шара, жить на котором является его привилегией и судьбой. Эпоха Возрождения была освобождением разума из темницы, двойным открытием внешнего и внутреннего мира.

Внешнее событие определило направление, которое должна была принять эта вспышка духа свободы. Это был контакт современного человека с древним разумом, который последовал за тем, что называется Возрождением Обучения. Падение Греческой империи в 1453 году, хотя и ознаменовало исчезновение старого порядка, дало толчок накопившимся теперь силам нового. Возникла вера в идентичность человеческого духа во всех предыдущих проявлениях и в его непрерывную преемственность. Люди обнаружили, что как в классической, так и в библейской древности существовал идеал человеческой жизни, как моральный, так и интеллектуальный, благодаря которому они могли бы извлечь пользу в настоящем. Современный гений почувствовал уверенность в своих силах, когда узнал, чего достигли древние. Догадки древних стимулировали усилия современных людей. Вся мировая история снова казалась единой.

Великими достижениями эпохи Возрождения были открытие мира и человека.^[1] В соответствии с этими двумя формулами могут быть классифицированы все явления, которые должным образом относятся к этому периоду. Открытие мира делится на две ветви — исследование земного шара и то систематическое исследование вселенной, которое на самом деле является тем, что мы называем Наукой. Колумб открыл Америку в 1492 году; португальцы обогнули мыс в

1497 году; Коперник объяснил солнечную систему в 1507 году. Нет необходимости что-либо добавлять к этому простому утверждению, поскольку, сталкиваясь с фактами столь важного значения, было бы трудно избежать того, что кажется банальными размышлениями. И все же, только сопоставив десять столетий, предшествовавших этим датам, с четырьмя столетиями, последовавшими за ними, мы можем оценить масштабы того ренессансного движения, посредством которого к цивилизации добавилось новое полушарие. Аналогичным образом, стоит на мгновение остановиться и рассмотреть, что подразумевается под заменой системы Птолемея системой Коперника. Мир, который в древние времена считался центром всего сущего, зеницей Божьего ока, ради которой были созданы солнце, луна и звезды, внезапно оказался одним из многих шаров, вращающихся вокруг гигантской сферы света и тепла, которая сама по себе является лишь одним из бесчисленных солнц, сопровождаемых *кортежем* планет, и рассеянных, как мы не знаем, в бесконечности. Что стало с этим бронзовым престолом древних богов, с этим Раем, в который восходящее Божество могло быть вознесено сквозь облака и скрыто на мгновение от глаз своих учеников? Демонстрация простейших истин астрономии одним ударом разрушила легенды, которые имели наибольшее значение для первых христиан, уничтожив их символику. Церковь вполне могла бы преследовать Галилея за его доказательство подвижности мира. Инстинктивно она почувствовала, что в одном этом предложении заключен принцип враждебности по отношению к ее самым дорогим концепциям, к самой сердцевине ее мифологии. Родилась наука, и была объявлена война между научным позитивизмом и религиозной метафизикой. Отныне Богу нельзя было поклоняться в формах и идолах жреческой фантазии; словам было придано новое значение: "Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться Ему в духе и истине". Разум человека, наконец, смог изучить схему Вселенной, частью которой он является, и установить действительные законы, по которым она управляется. Три с половиной столетия прошло с тех пор, как Коперник произвел революцию в астрономии. Только размышляя о массе знаний, которые мы с тех пор приобрели, знаний не только бесконечно любопытных, но и неисчислимо полезных в их применении к искусству жизни, а затем рассматривая, сколько оснований такого рода было приобретено за десять столетий, предшествовавших Возрождению, мы вообще можем оценить экспансивную силу, которая была тогда порождена. Наука, спасенная от рук астрологии, геомантии, алхимии, начала свою настоящую жизнь с эпохи Возрождения. С тех пор и по сей день она никогда не переставала развиваться. Прогрессивную и долговечную науку можно назвать первенцем духа современного мира.

[1] Именно Мишле мы обязаны этими формулами, которые вошли в язык истории.

Таким образом, под открытием мира подразумевается, с одной стороны, присвоение цивилизованным человечеством всех уголков обитаемого земного шара, а с другой - завоевание Наукой всего, что мы сейчас знаем о природе вселенной. В открытии человека, опять же, можно проследить двоякий процесс. Человек в его временных отношениях, проиллюстрированных языческой древностью, и человек в его духовных отношениях, проиллюстрированных библейской древностью; это две области, сначала кажущиеся различными, впоследствии оказавшиеся взаимопроникающими, которые критический и пытливый гений Возрождения открыл для исследования. В первом из этих регионов мы находим два действующих агентства: art и scholarship. В средние века пластические искусства, как и философия, выродились в бесплодную и бессмысленную схоластику — холодное

воспроизведение безжизненных форм, скопированных технически и без вдохновения с устаревших образцов. Картины стали символически связаны с религиозными чувствами людей, формулы, отклоняться от которых было бы нечестиво для художника и сбивало с толку верующих. Суеверное благоговение заставляло художника копировать миндалевидные глаза и негнущиеся суставы святых, которых он боготворил с младенчества; и даже если бы это было иначе, ему не хватало умения имитировать естественные формы, которые он видел вокруг себя. Но с зарождением эпохи Возрождения в искусстве возник новый дух. Люди начали понимать, что человеческое тело благородно само по себе и достойно терпеливого изучения. Затем целью художника стало объединить благочестивое чувство и уважение к священной легенде с предельной красотой и предельной точностью изображения. Он учился обнаженным; он рисовал тело в каждой позе; он составлял драпировки, изобретал позы и приспособлял движения своих фигур и выражение лиц к выбранному им предмету. Одним словом, он очеловечил алтарные части и монастырские фрески, над которыми работал. Таким образом, художники возвысились над древними символами и спустили небеса на землю. Рисуя Мадонну и ее сына как живых людей, драматизируя христианскую историю, они молча заменили принципы Церкви любовью к красоте и интересами реальной жизни. Святой или ангел стали поводом для демонстрации физического совершенства, и введение "*un bel corpo ignudo*" в композицию имело для них большее значение, чем представление мучений Магдалины. Таким образом, люди научились смотреть дальше реликвии и воинства и забывать догму в прекрасных формах, которые придавали ей выражение. Наконец, когда классика пришла на помощь этому прогрессу, их изумленным глазам открылся новый мир мысли и фантазии, божественно очаровательный, полностью человеческий. Таким образом, искусство, начавшееся с очеловечивания легенд Церкви, отвлекло внимание своих учеников от легенды к творчеству красоты и, наконец, оторвавшись от религиозной традиции, стало выразителем величия и великолепия человеческого тела. Это окончательное освобождение искусства от церковных оков достигло кульминации в великую эпоху итальянской живописи. Глядя на "Пророков" Микеланджело в Сикстинской капелле, мы действительно соприкасаемся с идеями, изначально религиозными. Но трактовка этих идей носит чисто общечеловеческий характер, на одном уровне со скульптурой Фидия. Вознесенная на Небеса Дева Тициана, парящая на полпути между архангелом, который спускается, чтобы увенчать ее, и апостолами, которые жаждут последовать за ней, - это гораздо меньше мадонна Ассунта, чем апофеоз человечества, задуманного как лучезарная мать. Во всей картине нет ничего аскетичного, ничего мистического, ничего религиозного. Искусство Возрождения на этом не остановилось. Оно пошло дальше и погрузилось в язычество. Скульпторы и художники объединились с архитекторами, чтобы оторвать искусство от его связи с Церковью, привнеся дух и чувства, чуждые христианству.

С помощью искусства и всех идей, которые искусство привнесло в повседневную жизнь, Ренессанс принес современному миру настоящее воскрешение тела, которое с момента разрушения античной цивилизации лежало, завернутое в власяные рубашки и хламиды, в гробнице средневекового монастыря. Именно наука открыла людям богатство их собственного разума, достоинство человеческой мысли, ценность человеческих спекуляций, важность человеческой жизни, рассматриваемой как нечто отдельное от религиозных правил и догматов. В средние века несколько студентов владели стихами Вергилия и прозой Боэция — а Вергилия в Мантуе и Боэция в Павии действительно почитали как святых — вместе с фрагментами Лукана, Овидия, Статия, Ювенала, Цицерона и Горация. Эпоха Возрождения открыла для всей

читающей публики сокровищницы греческой и латинской литературы. В то же время была заново открыта Библия на языках оригинала. Перед изучающими еврейскую и арабскую традиции были раскрыты сокровищницы восточных знаний. Арийские и семитские откровения были впервые подвергнуты чему-то вроде критического сравнения. С безошибочным чутьем люди эпохи Возрождения назвали обширный предмет науки "Litteræ Humaniores" - более человеческой литературой или литературой, которая очеловечивает.

В истории науки эпохи Возрождения выделяются три этапа. Первый - это возраст страстных желаний; Петрарка, корпящий над Гомером, которого он не мог понять, и Боккаччо в зрелом возрасте, изучающий греческий язык, чтобы испытать из источника поэтического вдохновения, - герои этого периода. Они пробудили в итальянцах тягу к античной культуре. Затем наступает эпоха коллекционирования и библиотек. Николай V, основавший Библиотеку Ватикана в 1453 году, Козимо Медичи, который начал собирать Коллекцию Медичи немного раньше, и Поджо Браччолини, который обшарил все города и монастыри Европы в поисках рукописей вместе с преподавателями греческого языка, которые в первой половине пятнадцатого века бежали из Константинополя с драгоценными грузами классической литературы, являются героями этого второго периода. Это была эпоха накопления, некритичного и неразборчивого энтузиазма. Эти люди боготворили рукописи точно так же, как их прадеды боготворили реликвии Святой Земли. Стремление к Крестовым походам возродилось в этих поисках Святого Грааля древних знаний. Беспризорники языческих авторов ценились как драгоценные камни, ими любовались, как благоухающими и великолепными цветами, с ними советовались, как с Божьими оракулами, на них смотрели, как глаза любимой хозяйки. Хорошие, плохие и равнодушные получили почти равное уважение. Критика еще не началась. Мир был поглощен сбором своих сокровищ, неистово оплакивая утраченные книги Ливия, утраченные песни Сапфо - поглощая до опьянения крепкое вино множества мыслей и страстей, которое продолжало литься из этих давно погребенных амфор вдохновения. Что наиболее примечательно в этот век учености, так это энтузиазм, который охватил все классы Италии по отношению к античной культуре. Папы и принцы, искатели приключений и крестьяне, знатные дамы и лидеры полусвета в равной степени становились учеными. Инфессура рассказала историю, которая с исключительной удачностью иллюстрирует характер времени. 18 апреля 1485 года в Риме распространилось сообщение о том, что какие-то ломбардские рабочие обнаружили римский саркофаг во время раскопок на Аппиевой дороге. Это была мраморная гробница, на которой была выгравирована надпись "Юлия, дочь Клавдия", а в сундуке лежало тело прекраснейшей пятнадцатилетней девушки, оберегаемое драгоценными мазями от порчи и повреждений временем. Цвет юности все еще был на ее щеках и губах; глаза и рот были полуоткрыты; длинные волосы рассыпались по плечам. Согласно легенде, ее немедленно перенесли в Капитолий, и тогда началась процессия паломников со всех концов Рима, чтобы взглянуть на эту святую старого языческого мира. В глазах этих восторженных поклонников ее красота не поддавалась воображению или описанию: она была намного красивее, чем могла надеяться быть любая женщина современной эпохи. Наконец-то Иннокентий VIII. опасался, что ортодоксальная вера пострадает из-за этого нового культа языческого трупа. По его указанию Юлию похоронили тайно и ночью, и в Капитолии не осталось ничего, кроме ее пустого мраморного гроба. История, рассказанная Инфессурой, повторяется в Матараццо и Нантипорто с небольшими вариациями. В одном говорится, что волосы девушки были желтыми, в другом - что они были глянцево-черными. То, что основание для легенды действительно могло существовать, здесь подвергать сомнению не нужно. Давайте лучше воспользуемся мифом как притчей об экстатической преданности,

которая побудила людей той эпохи открыть форму невообразимой красоты в могиле классического мира.[1]

[1] Самый замечательный документ, касающийся тела Юлии, который до сих пор был опубликован, - это письмо на латыни, написанное Бартоломеем Фонтием своему другу Франциску Саксету, в котором он подробно описывает ее, с деталями, которые, по-видимому, доказывают, что он не только видел труп, но и прикасался к нему. Напечатано в журнале *Janitschek, Die Gesellschaft der R. in It.*: Штутгарт, 1879, стр. 120.

Затем наступил третий век науки — век критиков, филологов и печатников. То, что было собрано Поджо и Ориспой, теперь предстояло объяснить Фичино, Полициано и Эразмусу. Они начали свою работу с того, что переварили и упорядочили содержимое библиотек. Тогда не было ни коротких путей к обучению, ни исчерпывающих лексиконов, ни словарей древностей, ни тщательно подготовленных тезаурусов по мифологии и истории. Каждый студент должен был удержать в своем мозгу всю массу классической эрудиции. Необходимо было определиться с текстом и каноном Гомера, Платона, Аристотеля и трагиков. Греческий шрифт должен был быть напечатан. Флоренция, Венеция, Базель, Лион и Париж стонали от печатных станков. Алди, Стефани и Фробен трудились день и ночь, нанимая множество ученых, людей высшей преданности делу и могучего ума, чья работа заключалась в том, чтобы установить правильное прочтение предложений, подчеркнуть, расставить знаки препинания, передать прессе и поместить за пределы досягаемости монашеской ненависти или завистливого времени то вечное утешение человечества, которое существует в классике. Все последующие достижения в области науки меркнут по сравнению с трудами этих людей, которым для выполнения их титанической задачи требовались гений, энтузиазм и сочувствие Европы. Вергилий был напечатан в 1470 году, Гомер - в 1488-м, Аристотель - в 1498-м, Платон - в 1513-м. Затем они стали неотъемлемым наследием человечества. Но какие бдения, какие напряженные размышления, какие муки сомнений и ожиданий пережили эти герои гуманизирующей науки, которых мы склонны считать просто педантами! Кто из нас сейчас согревается и трепещет от волнения, услышав имя Альда Мануция, или Хенрика Стефануса, или Иоганна Фробена? И все же мы, несомненно, должны это сделать; ибо им мы в значительной степени обязаны свободой нашего духа, нашими запасами интеллектуальных удовольствий, нашим знанием прошлого, нашей уверенностью в будущем человеческой культуры.

Можно сказать, что эта третья эпоха в истории науки эпохи Возрождения достигла своего апогея при Эразме; ибо к этому времени Италия передала факел учености северным народам. Публикация его "Адагии" в 1500 году знаменует появление более критичного и избирательного духа, который с этого момента постепенно набирает силу в современном сознании. Критика, в истинном смысле точной проверки и просеивания, является одним из моментов, отличающих современных людей от древних; и критика развивалась в процессе ассимиляции, сравнения и присвоения, что было необходимо для роста учености. Конечным результатом этого восстановления классической литературы стало, раз и навсегда, освобождение интеллекта. Современный мир был приведен в тесный контакт со свободной мужественностью древнего мира и освобожден от рабства недоказанных традиций. Появились способность судить и желание творить. Непосредственным результатом в шестнадцатом веке стало резкое отделение ученых не только от монашества, но и от истинного духа христианства. Умы итальянцев ассимилировали язычество. В своей ненависти к средневековому невежеству, в своем отвращении к закутаным в ряссы и затворническим глупцам они доходили до крайности и

изображали образ безвозвратного прошлого. Эта экстравагантность неизбежно привела к реакции — на севере к пуританству, на юге к тому, что было названо контрреформацией, осуществленной под влиянием Испании в латинской церкви. Но христианству, этому самому драгоценному достоянию современного мира, никогда серьезно не угрожал классический энтузиазм Возрождения; и, с другой стороны, прогрессивная эмансипация разума существенно не тормозилась реакцией, которую она вызвала.

Переход на этом этапе к третьей ветви раскрытия человека, к раскрытию сознания его собственной духовной свободы, естественен. Наука не только восстановила классику и поощряла литературную критику; она также восстановила текст Библии и поощряла теологическую критику. Вслед за теологической свободой последовала свободная философия, больше не подчиняющаяся догмам Церкви. Очистить христианскую веру от ложных представлений, освободить совесть от тирании священников и истолковать религию в соответствии с разумом было работой последних веков; и эта работа еще никоим образом не завершена. С одной стороны, Декарт и Бэкон, Спиноза и Локк - сыны Возрождения, поборники новообретенной философской свободы; с другой стороны, Лютер - сын Возрождения, вестник новообретенной религиозной свободы. Все движение Реформации - это фаза того ускоренного действия современного разума, которое в его начале мы называем Возрождением. Ошибочно рассматривать Реформацию как изолированное явление или просто как попытку восстановить чистоту Церкви. Реформация демонстрирует в области религиозной мысли и национальной политики то же, что Ренессанс демонстрирует в сфере культуры, искусства и науки — восстановленную энергию и свободу разума. Мы слишком склонны рассматривать историю разрозненно и пытаться извлекать уроки из отдельных глав биографии человеческой расы. Наблюдать связь между несколькими этапами прогрессивного движения человеческого духа и признавать, что действующие силы все еще активны, - вот истинная философия истории.

Реформация, как и возрождение науки и культуры, имела свои средневековые предвидения. Еретики, с которыми Церковь успешно боролась в Северной Италии, Франции и Богемии, были предшественниками Лютера. Ученые подготовили путь в пятнадцатом веке. Учителя иврита, основоположники ивритского типа — Рейхлин в Германии, Алеандр в Париже, Фон Хаттен как памфлетист и Эразмус как гуманист — каждый из них вносит определенный импульс. Лютер, со своей стороны, воплощает дух восстания против тиранической власти, настаивает на необходимости возвращения к основной истине христианства в отличие от идолов Церкви и утверждает право личности судить, интерпретировать, критиковать и формировать собственное мнение. Завеса, которую Церковь воздвигла между человеческой душой и Богом, была разрушена. Была установлена свобода совести. Таким образом, принципы, использованные в том, что мы называем Реформацией, были важнейшими. Связанная, с одной стороны, с наукой и изучением текстов, она открыла путь для современной библейской критики. Связанный, с другой стороны, с нетерпимостью к простому авторитету, он привел к тому, что с тех пор получило название рационализма — попытке примирить религиозную традицию с разумом и определить логические идеи, лежащие в основе концепций массового религиозного сознания. Опять же, провозглашая доктрину личной свободы и связывая себя с национальной политикой, реформация была исторически связана с революцией. Именно пуританская церковь в Англии, поощряемая патриотизмом голландских протестантов, установила нашу конституционную свободу и ввела в Америке общий принцип равенства людей. Эта высокая политическая абстракция, скрытая в христианстве, развитая критикой и провозглашенная как евангелие во второй половине прошлого века, получила внешнее воплощение во Французской революции.

Работа, которую еще предстоит выполнить современному миру, - это организация общества в гармонии с демократическими принципами.

Таким образом, слово "Ренессанс" на самом деле означает новое рождение свободы — дух человечества, восстанавливающий сознание и способность к самоопределению, признающий красоту внешнего мира и тела через искусство, освобождающий разум в науке и совесть в религии, возвращающий культуру интеллекту и устанавливающий принцип политической свободы. Церковь была школьным учителем Средневековья. Культура была очеловечивающим и облагораживающим влиянием эпохи Возрождения. Проблема настоящего и будущего состоит в том, как с помощью образования сделать знания доступными для всех — разрушить тот барьер, который в средние века был установлен между клерком и мирянином и который в промежуточный период возник между интеллигентными и невежественными классами. Осуществится Утопия современного мира, в котором все люди будут пользоваться одинаковыми социальными, политическими и интеллектуальными преимуществами, или нет, мы не можем сомневаться, что все движение человечества начиная с эпохи Возрождения и далее имело тенденцию в этом направлении. Уничтожить различия, ментальные и физические, которые природа устанавливает между индивидами и которые составляют действительную иерархию, всегда будет невозможно. И все же может случиться так, что в будущем ни один цивилизованный человек не будет лишен возможности стать физически и умственно лучшим, каким его создал Бог.

Остается поговорить об инструментах и механических изобретениях, которые способствовали освобождению духа в современную эпоху. Обнаруживаемые снова и снова и периодически предлагавшиеся человечеству в разное время и на разных почвах, эти материальные ресурсы не использовались эффективно вплоть до пятнадцатого века. Компас, открытый, согласно традиции, Джоджей из Неаполя в 1302 году, использовался Колумбом для путешествия в Америку в 1492 году. Телескоп, известный арабам в средние века и описанный Роджером Бэконом в 1250 году, помог Копернику доказать вращение Земли в 1530 году, а Галилею обосновать свою теорию планетной системы. Книгопечатание, после многочисленных бесполезных открытий миру о его возможностях, стало искусством в 1438 году; а бумага, которая давно была известна китайцам, впервые была изготовлена из хлопка в Европе около 1000 года, а из тряпья - в 1319 году. Порох вошел в обиход около 1320 года. Каждое из этих изобретений, использованных Гением эпохи Возрождения, стало рычагом, с помощью которого можно было двигать мир. Порох произвел революцию в военном искусстве. Феодальный замок, доспехи рыцаря и его боевого коня, доблесть одного человека против сотни и гордость аристократической кавалерии, попирающей плохо вооруженное ополчение, были уничтожены вспышками канонады. Храбрость стала скорее моральным, чем физическим качеством. Победа была доведена до мозга генерала. Книгопечатание утвердило, как нерушимое, все знания и распространило, как общее достояние каждого, всю мысль; в то время как бумага удешевила работу книгопечатания. Подобные размышления, однако, банальны и должны прийти в голову каждому. Гораздо более уместно повторить, что не изобретения, а разум, который их использовал, сознательный расчетливый дух современного мира должны приковывать наше внимание, когда мы направляем его на явления эпохи Возрождения.

В деле Возрождения участвовали все великие нации Европы. Но никогда не следует забывать, что с исторической точки зрения истинное Возрождение началось в Италии. Именно там были развиты основные качества, отличающие современный мир от древнего и средневекового.

Италия создала ту новую духовную атмосферу культуры и интеллектуальной свободы, которая была жизненным дыханием европейских народов. Как евреев называют избранным и особенным народом божественного откровения, так и итальянцев можно назвать избранными и особыми сосудами пророчества эпохи Возрождения. В искусстве, в науке, в посредничестве между античной культурой и современным интеллектом они взяли на себя инициативу, передав Германии, Франции и Англии полностью восстановленные гуманитарные науки. Испания и Англия с тех пор сделали больше для исследования и колонизации мира. Германия выполнила труд Реформации практически в одиночку. Франция собирала, централизовала и распространяла разведданные с непреодолимой энергией. Но если мы вернемся к истокам Возрождения, мы обнаружим, что в то время, когда остальная Европа была инертной, Италия уже начала организовывать различные элементы современного духа и устанавливать моду, по которой другие великие нации должны учиться и жить.

ГЛАВА II.

ИСТОРИЯ ИТАЛИИ

Особые трудности этой темы—Очевидная путаница—Отсутствие руководящего мотива—Папство—Империя—Республики—Деспоты—Народ—Расчленение Италии—Две основные темы—Подъем коммун—Готское королевство—Лангобарды—Франки—Немцы—Епископы—Консулы—Подеста—Гражданские войны—Деспоты—Баланс сил—Пять итальянских государств—Итальянцам не удается достичь Национального единства—Причины этой неудачи—Условия, при которых это могло быть достигнуто—Республика—Королевство—Конфедерация—Тирания — Роль, которую играет папство.

После первого взгляда на итальянскую историю студент отшатывается, как от хаоса непостижимой путаницы. Зафиксировать момент перехода от древней цивилизации к современной кажется невозможным. Здесь нет формирования нового народа, как в случае с Германией, Францией или Англией, который мог бы послужить отправной точкой. Отличаются так же, как итальянские расы в их первоначальном типе; галлы, лигурийцы, этруски, умбрийцы, латины, япигийцы, греки были сплавлены вместе под давлением римского правления в нацию, пережившую политические мутации и бедствия варварских вторжений. Готы, лангобарды и франки последовательно смешиваются с массами этого сложного населения и теряют очертания своих многочисленных личностей. Западная империя незаметно тает. Римская церковь растет не менее незаметно, и формирует Священную Римскую империю как эквивалент своего собственного духовного величия в сфере светской власти. Эти два института, венчающие памятники итальянского творческого гения, доминируют в Средние века, могущественные как факты, но еще более могущественные как идеи. Однако ни одна из них не контролирует эволюцию Италии в том же смысле, в каком Франция контролировалась монархическим принципом, а Германия - федеративным. Силы нации, разделенные и раскачиваемые из стороны в сторону этим властным дуализмом, избежали обоих влияний в той мере, в какой либо папа, либо император стремились объединить их. Между тем господство византийских греков в южных провинциях, королевство готы в Равенне, королевство лангобардов и франков в Павии, вторжения гуннов и сарацин, королевство норманнов в Палермо были лишь случайностями и моментами в национальном развитии, которое

претерпевало важные изменения в каждом последующем эпизоде, но окончательно не определялось ни одним из них. Когда Коммуны занимают видное положение, избавляясь от превосходства греков на Юге, отстаивая свои свободы против Империи на Севере, ревниво охраняя свою независимость от папского посягательства в центре, они уже приобрели ярко выраженные формы и сбивающее с толку разнообразие. Венеция, Милан, Генуя, Флоренция, Болонья, Сиена, Перуджа, Амальфи, Лукка, Пиза, не говоря уже о нескольких наиболее заметных, без разбора называются Республиками. И все же они различаются по своему внутреннему типу не меньше, чем по внешним условиям. Каждый носит с самого начала и сохраняет физиономию, которая оправдывает наше мышление и разговоры о городе как о воплощенном существе. Города Италии, вплоть до самых маленьких, несут в себе черты отдельных личностей. Взаимное притяжение и отталкивание, которые способствовали их росту, наделили их особыми качествами, которые они никогда не утратят, которые будут отражены в их архитектуре, в их обычаях, в их языке, в их политике, а также в институтах их правительства. Мы невольно думаем о них как о личностях и приберегаем для них эпитеты, которые отмечают постоянство их отличительных черт. Относиться к ним коллективно почти невозможно. У каждого из них своя биография, и они играют важную роль в великой драме нации.

Соответственно, изучение итальянской политики, итальянской литературы, итальянского искусства на самом деле является изучением не одного национального гения, а целой семьи родственных гениев, сгруппированных вместе, осознающих родство, подчиняющихся одним и тем же общим условиям, но проявляющих заметно отличающиеся характеристики. Демократии, олигархии, аристократии возникают по законам естественного отбора в пределах одной провинции. В каждом муниципалитете существует отдельная номенклатура магистратур, несколько иной метод распределения административных функций. В одном месте пожизненно назначается дож; в другом правительство формируется из должностных лиц, избираемых сроком на месяцы. Здесь мы находим Патриция, сенатора, Трибуна; там консулов, ректоров, Приоров, Древних, Бонуomini, Консерваторов. В какой-то период и в одном городе подеста кажется первостепенным; по ту сторону границы главенствует Народный вождь или Гонфалоньер Джустиции. Викарии Империи, экзархи, катапанцы, настоятели Церкви, легаты, Комиссары сменяют друг друга с поразительной быстротой. Советы множатся и называются именами, происхождение и значение которых похоронены в пыли археологии. Консильи—дель-Пополо, Креденца, Консильо-дель-Коммуна, Сенато, Гран-Консильо, Пратиче, Парламент, Монти, Консильо-де-Сави, Арти, Часть Гуэльфы, Консильо-ди-Диечи, ди Тре, и Нове, Гли-Отто, и Центо - вот несколько названий, выбранных случайным образом из конституционных документов разных населенных пунктов.

Ни один из них не является незначительным. Ни один, но указывает на какой-то важный момент в социальной эволюции государства. Ни один из них не говорит о гражданской войне, в результате которой рассматриваемый город боролся за индивидуальность и противопоставил себя своему соседу. Подобно окаменелостям, в геологических слоях эти названия сохраняются еще долго после того, как их старое употребление было забыто, чтобы направлять исследователя в его реконструкции похороненного прошлого. В то время как один город, по видимому, уважает феодальное господство знатных семей, другой объявляет благородство преступлением и навязывает своим гражданам реальный труд или его видимость. Некоторые признают верховенство духовенства. Другие, как Венеция, сопротивляются малейшему посягательству Церкви и стоят в стороне от римского христианства в ревливой изоляции. Интересы одного класса - морские, другого - военные, третьего - промышленные, четвертого -

финансовые, пятого - образовательные. Могущество Амальфи, Пизы, Генуи и Венеции зависит от их флотов и колоний; маленькие города Романья и Марч снабжают Капитанов-авантюристов рекрутами; Флоренция и Лукка живут мануфактурой; Милан - банковским делом; Болонья, Падуя, Виченца обязаны своим богатством студентам, привлеченным их университетами. Иностранные союзы или географическое сходство связывают один центр с Восточной империей, второй - с Францией, третий - с Испанией. Север находится в тени Германии; Юг обеспокоен исламом. Сформированные таким образом типы и различаемые таким образом различия жизненно важны и сохраняются на протяжении веков с упорством физического роста. Каждая дифференциация обязана своим возникновением причинам, глубоко укоренившимся в данной местности. Свобода и кажущаяся равенство природы, когда она приступает к формированию кристаллов различных форм и цветов, которые сохраняются и навсегда оставят на себе ее отпечаток, определили их восстание и продвижение к зрелости. В то же время они проявляют острую ревность и взаимную ненависть соперничающих семей в животном царстве. Пиза разрушает Амальфи; Геную, Пизу; Венецию, Геную; с безжалостным и безжалостным эгоизмом в конфликте коммерческих интересов. Флоренция поработочает Пизу, потому что ей нужен выход к морю. Сиена и Перуджа, расположенные на внутренних высотах, поглощают себя блестящими, но тщетными усилиями по расширению. Милан поглощает меньшие города Ломбардии. Верона поглощает Падую и Тревизо. Венеция расширяет свое господство над Фриули и веронскими завоеваниями. Борьба и алчность царят от Альп до Ионического моря. Но это борьба живых энергий, алчность страстных и могущественных единиц. Италия в целом почти невидима для студента из-за многогранной, воинственной, эгоцентричной толпы бесчисленных итальянских общин. Близость разжигает ненависть и стимулирует враждебность. Фьезоле смотрит вниз и угрожает Флоренции. Флоренция отвечает хмурым взглядом на хмурый взгляд и не успокоится, пока не обратит в рабство своего соседа с холмов. Перуджа и Ассиси своими постоянными войнами превращают равнину Умбрии в волчью пустошь. Хмуро переглядываясь через Вальдичьяну, Перуджа возводит башню против Кьюзи, а Кьюзи строит свою Бекку Квесту в ответной угрозе. Самый крошечный городок на реке Арно получает от Данте, поэта этой междоусобицы и ожесточенного городского соперничества, клеймо бессмертной сатиры и оскорбительный эпитет без всякой видимой причины, кроме того, что его жители осмеливаются пить ту же воду и дышать тем же воздухом, что и Флоренция. Казалось бы, как будто древнейшая ярость антагонистических рас, закованная в цепи и приостановленная на столетия магией Рима, высвободилась; как будто коренное население Италии, укрощенное античной культурой, возвращалось к своим первобытным инстинктам, со всеми разногласиями и разделениями, привнесенными военной системой лангобардов, феодализмом франков, чуждыми институтами германцев, добавленными для разжигания страстей нации, слепо борющейся с препятствиями, преграждающими путь непрерывному прогрессу. И это еще не конец замешательства. Города не только воюют друг с другом, но и погружены в непрерывную борьбу внутри своих крепостных валов. Народ с дворянством, города с замками, плебеи с бюргерской аристократией, коммерсанты с воинами и древними родословными, гвельфы и гибеллины, сталкиваются друг с другом в непрекращающейся ярости. Одна половина города изгоняет другую половину. Изгнанники скитаются за границей, укрепляют союзы и возвращаются, чтобы искоренить своих завоевателей. Следуют новые проscriptions и изгнания. Снова заключаются союзы и совершаются революции, пока древняя вражда городов не пересекается снова и снова и не запутывается в паутине безумия, которая не поддается анализу. Сквозь мешанину ссорящихся, разделенных и переплетающихся фракций скачут Императоры, сопровождаемые своими отрядами рыцарей, появляясь на сезон в тщетных

поисках и отступая после того, как они десятикратно усилили неразбериху. Папские легаты топчут города Церкви в крови, проповедуют крестовые походы, грозят запретами, поднимают восстания в государствах, присягнувших Империи. Монахи разжигают республиканское возрождение в старых городах, утративших свои свободы, или собирают население обезумевших от преступности районов в бесцельных комедиях благочестия и ложного умиротворения, или ведут их босиком и опьяненных пронзительными криками "Пощады" по равнинам и горам. Принцы Франции, короли Богемии и Венгрии совершают марши и контрмарши с севера на юг и обратно, образуют лиги, основывают королевства, возглавляют конфедерации, которые тают, подобно фигурам, которые мы формируем из облаков, превращаясь в ничто. В одно время папа и император используют Италию как арену смертельной дуэли, втягивая в свой спор объединенные силы нации. В другое время они берутся за руки, чтобы разделить добычу разоренных провинций. Великие полководцы с армиями за спиной возникают из кажущегося небытия, оспаривают суверенитет Италии в бескровных битвах, основывают эфемерные династии и исчезают, как туман на склоне горы под порывом ветра. Конфликты, разруха, запустение, анархия всегда уступают место согласию, восстановлению, миру, процветанию, а затем возвращаются с могучим потоком насилия. Строительство, разрушение и реконструкция играют свою роль в кризисах, которые исчисляются тысячами.

Тем временем из этого урагана беспорядка возвышается ясный идеал национального гения. Италия обретает самосознание и достигает духовного превосходства современной Европы. Искусство, Ученость, Литература, Государственное ремесло, философия, Наука строят священный и неприкосновенный город души среди суматохи семи тысяч революций, пыли и грохота падающих городов, топота повторяющихся вторжений, позора и бесчинств тиранов и мародеров, угнетающих землю. Непокосимое штормами, бушующими вокруг, это убежище духа, воздвигнутое итальянскими поэтами, мыслителями, художниками, учеными и первооткрывателями, непрестанно набирает силу, пока молодые нации не займут свое место под его просторным куполом. Затем, в то время как чудо красоты еще стоит во всем своем совершенстве, в тот высший момент, когда Италия спокойна и достаточна для выполнения самой благородной миссии в мире, мы обнаруживаем, что она раздавлена и растоптана ногами. Ее бурная, но великолепная история завершается спокойствием тирании, навязанной Испанией.

Над этой головокружительной пропастью истории, где воспоминания об античной цивилизации смешиваются с растущими импульсами современной жизни в непрерывной последовательности национального самосознания; через эту многокамерную лабораторию противоречивых принципов, где формируются идеалы Средневековья и формулируются законы для Европы; через эту чудесную страну угасающей и набирающей силу культуры, где готы, греки, лангобарды, франки и норманны приходят к самоформированию благодаря контакту с вечно живой душой Рима; где французы, испанцы, швейцарцы и немцы в более поздний период сражаются за независимость Рима, богатейший трофей в Европе, и мы учимся, завоевывая, у побежденных быть мужчинами; как мы будем направлять наш курс? Если мы проследим за судьбами Церкви и сделаем папство нитью, на которой будет висеть история Италии, мы получим преимущество, основывая наше повествование на самом жизненном и постоянном члене политического тела. Но вскоре мы вынуждены потерять итальянцев из виду в толпе других христианских рас. История Церкви космополитична. Сфера папства простирается во всех направлениях вокруг Италии, рассматриваемой как местный центр. Более того, его влияние на

полуостров неизменно сопровождалось разногласиями, а не гармонией. Если мы возьмем Империю за точку опоры, нам придется написать летопись упорной борьбы, в ходе которой итальянские города добились успеха, низведя императора до положения отсутствующего с чисто номинальными привилегиями. После Фридриха II. Империя не играла важной роли в Италии, пока ее права не были подтверждены Карлом V. на платформе современной политики. Сила, столь внешняя по отношению к истинной жизни нации, которой так успешно сопротивлялись, которая так бессильна контролировать развитие итальянцев, не может быть выбрана в качестве центральной точки их истории. Если мы изберем Республики, то столкнемся с другим классом трудностей. Историк, делающий Общину своей единицей, который обращает внимание на постепенное развитие, взаимную вражду и окончательный упадок республик, вряд ли может отдать должное Королевству Обеих Сицилий и папству, занимающим не менее половины территории страны. Опять же, великая эпоха Возрождения, когда все свободные города признали власть деспотов и когда гений итальянцев достиг кульминации, является для него периодом падения и деградации. Кроме того, он оставляет необъясненной историю итальянского народа до возникновения Республик. На закате их карьеры ему приходится объяснять причину, по которой эти Коммуны, такие мощные в саморазвитии, такие умные, такие богатые и такие способные сражаться с Империей, не смогли сохранить свою независимость. Другими словами, он выбирает одну фазу итальянской эволюции и пишет повествование, которое не может не быть пристрастным. Если мы сделаем деспотов нашей главной точкой зрения, мы повторим ту же ошибку в худшей форме. Деспотизм подразумевает Коммуны как своих предшественников. Все они выросли и процветали на почве пришедших в упадок или уставших Республик. Хотя они имеют первостепенное значение для одного периода итальянской истории — периода, о котором идет речь в настоящей работе, — они всего лишь составляют эпизод в великом эпосе нации. Тот, кто пытается написать общую историю Италии с точки зрения деспотизма, берет одну сцену для всей драмы. Наконец, мы могли бы предпочесть народ — тот народ, инстинктивно и упорно верный римским традициям, который впитал в себя сменявшие друг друга орды варваров-захватчиков, цивилизовал их и принял как людей Италии; тот народ, который разрушил королевства готов и лангобардов, смирил Империю в Леньяно и развил Коммуны; тот народ, который сопротивлялся чуждому феодализму и потратил его расцвет на искоренение из своей среды всех следов отвратительной системы; тот народ, который в конце концов достиг сознания национального единства путем восстановления учености и культуры под властью деспотического режима. принцы. Этот народ - Италия. Но документов, которые должны пролить свет на ранние летописи этого народа, недостаточно. Он появляется на сцене не ранее правления Оттона I. И не становится верховным до заключения Констанцкого мира. Его биография связана с биографией республик и деспотов. До даты их восшествия на престол нам приходится иметь дело с епископами Рима, императорами Востока и Запада, экзархами и королями Италии, феодалами Марков, герцогами и графами ломбардских и франкских правителей. В течение этого длительного периода вынашивания, когда Италия освободилась от зависимости от Византии, создала папство и сформировала вторую Римскую империю, народ существовал только как дух, обитающий в римских городах и воспитываемый Церковью, которая эффективно отражала все попытки монархического единства, натравливая лангобардов на готов, франков на лангобардов, норманнов на греков, объединяя Итальянское королевство в Империю, когда оно стало Германским, и сопротивляясь Империи, созданной ею самой, когда города, наконец, были достаточно сильны, чтобы выстоять самостоятельно. Следовательно, говорить о народе этого раннего периода - значит ссылаться на миф; писать его историю - то же самое, что писать идеальную историю средневековой Европы.

Правда в том, что ни одна из этих точек зрения в отдельности не является достаточной для изучающего Италию. Ее внутренняя история - это история социального и интеллектуального прогресса, развивающегося в условиях притяжения и отталкивания, порождаемых двойственными идеями папства и Империи. Политическое единство повсеместно и во все времена властно отвергается. Для самореализации расы, не имеющей аналогов в Европе, необходимы самые разнообразные конституционные формы. Теократия Рима, монархия Неаполя, аристократия Венеции, демократия Флоренции, тирания Милана в равной степени сыграли важную роль в развитии национального гения, который дал современному обществу искусство, литературу и духовную свободу. Борьба города с городом за господство или простое существование, междоусобные войны партии против партии, нескончаемое столкновение принципов внутри государств приучили людей к разнообразной и яркой энергии. В ходе этих долгих сложных состязаний главные центры приобрели отдельные личности, приняли облик сознательной свободы и наложили отпечаток своего собственного духа на своих граждан. В конце всех разногласий, в конце всех катастроф мы находим в каждом из больших городов население, освобожденное от ментального рабства и подготовленное для выполнения работы по интеллектуальному освобождению остальной Европы. Таким образом, существенной характеристикой Италии является разнообразие, контролируемое и гармонизированное идеальным ритмом поступательного движения.^[1] Мы, которые в этой книге в основном заняты итальянским гением, как он проявил себя в обществе, науке, изобразительном искусстве и литературе в самый блестящий период своего возрождения, можем смириться с этим фактом политического расчленения. Именно разнообразию условий, предлагаемых итальянскими общинами, мы обязаны непревзойденным богатством духовной жизни Италии. И все же невозможно не заметить слабости, причиненной народу теми же условиями, когда пришло время Италии испытать свои силы против народов Европы.^[2] Затем было показано, что разнообразие, стимулирующее духовную энергию, является фатальным источником национальной нестабильности. Гордость итальянцев за свою местную независимость, их нетерпимость к объединению под единым началом, зависть, которая мешала им сформировать постоянную конфедерацию, сделали их неспособными справиться с расами, которые уступили центростремительной силе монархии. Если верно, что единство нации в королевстве, основанном в Павии, лишило бы мир многого из того, что Италия дала в сфере мысли и искусства, то, конечно, не менее верно и то, что одна только такая централизация могла предотвратить крушение шестнадцатого века, которое придает трагический оттенок каждому тому моей работы о Возрождении.

^[1] См. Гвиччардини (*Соч. Ined. vol. i. p. 28*) за красноречивую демонстрацию счастья, процветания и великолепия, дарованных итальянцам независимостью нескольких их центров. Он выступает против сетований Макиавелли по поводу их неспособности достичь национального единства.

^[2] На этом настаивал Макиавелли в "*Принципи*", "*Дискурси*" и "*Искусстве войны*". Обладая большей политической проницательностью, чем Гвиччардини, он понял, что быстрое благополучие Италии вот-вот подведет ее из-за самой независимости ее местных центров, которые Гвиччардини справедливо считал источником ее несравненной цивилизации и богатства. Единственное, что было необходимо в потрясении от Франции и Испании, - это единство.

Не стремясь атаковать проблему итальянской истории в целом, в настоящей главе необходимо кратко обсудить две основные темы, прежде чем переходить к собственно теме этой работы. Первый связан с ростом коммун, который предшествовал деспотизму пятнадцатого века, вызвал его необходимость и определил его характер. Второй поднимает вопрос, почему история Италии отличается от истории любой другой страны, почему людям не удалось достичь единства ни под властью суверена, ни в рамках могущественной конфедерации. Эти два предмета исследования тесно связаны и взаимозависимы. Они задействуют несколько моментов, которые были указаны как частично и несовершенно объясняющие проблему Италии. Но, поскольку я взялся писать не конституционную и не политическую историю, а историю культуры определенной эпохи, будет достаточно кратко рассмотреть эти два вопроса с особой целью показать, при каких условиях цивилизация Возрождения достигла зрелости в многочисленных независимых коммунах, низведенных, наконец, необходимыми законами обстоятельств до тирании; и как это было остановлено на этапе перехода ко второй фазе современного существования политической слабостью, неотделимой от отсутствия национальной сплоченности при столкновении с более могущественными военными расами.

Можно сказать, что современная итальянская история начинается с ухода Гонория в Равенну и последующего основания королевства Одоакра в 476 году. Западная империя распалась, и Рим был признан Республикой. Когда Зенон послал готов в Италию, Теодорих обосновался в Равенне, продолжил институты и обычаи древней империи и стремился, смешавшись с народом, натурализовать свою чужеродную власть. Рим почитался как священный город древней культуры и цивилизованности. Ее консулы, назначенные сенатом, были утверждены в надлежащем порядке греческим императором; и Теодорих сделал себя скорее наместником цезарей, чем независимым сувереном. Когда мы критикуем остроготическую оккупацию в свете последующей истории, становится ясно, что это исключение столицы из завоеваний Теодориха и его почитание Вечного города были фатальными для единства итальянского королевства. С того момента, как Рим был отделен от власти итальянских королей, на полуострове существовали две власти — одна светская, монархическая, с военной мощью варваров, наложенной на его древнюю муниципальную организацию; другая церковная, папская, опирающаяся на неопределенные амбиции престола Святого Петра и непокоренные инстинкты римского народа, рассеянного по еще сохранившимся городам.^[1] Юстиниан, стремившийся утвердить свои права как преемник Цезарей, вырвал Италию из рук готов; но едва эта революция была совершена, как Нарсес, преемник Велизария, призвал новую нацию варваров поддержать его политику в Италии. Нарсес умер до прихода лангобардов; но они спустились с гораздо более грозными силами, чем готы, и основали второе королевство в Павии. Под властью лангобардов Рим остался нетронутым. Венеция с ее населением, собранным из руин соседних римских городов, оставалась в квазиподчинении Восточной империи. Равенна стала греческим гарнизоном, правящим экзархатом и Пентаполисом от имени византийских императоров. Западное побережье избежало господства ломбардов, поскольку Генуя медленно набирала силу на своем узком карнизе между холмами и морем, в то время как Пиза бросала вызов варварам, укрепившись на военных постах во Фьезоле и Лукке. Подобным образом острова Сицилия, Сардиния и Корсика были отделены от Ломбардского королевства; а приморские города Южной Италии Бари, Неаполь, Амальфи и Гаэта отстояли независимость под сенью греческого господства. То, чего достигли лангобарды в ходе своего завоевания, и то, чего они не смогли достичь, решило будущее Италии. Они разделили страну на неравные блоки; ибо, в то время как внутренние регионы севера подчинялись Павии, в то время как

великие герцогства Сполето в центре и Беневенто на юге номинально находились под властью преемников Альбоина,^[2] Венеция и Ривьера, Пиза и приморские республики Апулия и Калабрия, Равенна и острова отказались от своего суверенитета. Рим оставался неприкосновенным под игом своего древнего престижа, а пришедшая в упадок Восточная империя была слишком инертна, чтобы ограничить свободу городов, признававших ее номинальное превосходство.

[1] Когда я применяю термин "римлянин" здесь и в других местах к жителям итальянских городов, я хочу указать на коренное итальянское население, приданное римским правлением однородности. Возрождение этого населения и его возвращение к интеллектуальному сознанию путем восстановления прошлых традиций и отказа от иностранного влияния составляют историю Италии в конце Темных веков.

[2] Изучающие раннюю историю Италии помнят, что Беневенто и Сполето присоединились к Церкви в ее войне с Лангобардским королевством. Сполето был распадён. Беневенто просуществовал как ломбардское герцогство до нормандского завоевания.

Королевство лангобардов просуществовало два столетия и оставило неизгладимый след в Италии. Вокруг старых римских центров в Ломбардии, Тоскане и герцогстве Сполето был натянут кордон из военных городов. Павия восстала против Милана, который был вторым Римом, Чивидале - против Аквилеи, Фьезоле - против Флоренции, Лукка - против Пизы. Страна была разделена на герцогства и марши; от населения требовалась военная служба, и законы лангобардов, *asininum jus*, *quoddam jus quod faciebant reges per se*, как впоследствии определили их юристы, были навязаны потомкам римской цивилизации. И все же отдаленные города морского побережья, как мы уже видели, были независимыми; и Рим оставался центром революционных идей, объединяющим пунктом политики, враждебной единству Ломбардии. Вскоре после своего поселения князья ломбардской расы предприняли роковой шаг - присоединились к католическому сообществу, благодаря чему они укрепили руки Рима и лишили себя возможности в качестве последнего средства тиранить растущую независимость Папского престола. Причины их обращения из арианства в ортодоксальное латинское христианство покрыты мраком неизвестности. Но вполне вероятно, что к этой мере их подтолкнуло непокорство их крупных вассалов и необходимость опираться на поддержку поработанного ими коренного населения. Рим, пользуясь ошибками и слабостью своих противников, расширил свое духовное владычество, применяя таинства, мытарства и апелляции к церковным трибуналам, организовал свою иерархию под руководством Григория Великого и не упускал возможности обогатить и возвеличить свои епископства. В 718 году она сбросила иго Византии, отразив ересь Льва Исаврийца; и когда это восстание угрожало ей домашней тиранией лангобардских королей, которые овладели Равенной в 728 году, она призвала франков к себе на помощь против ныне могущественного королевства. Стефан II. в 753 году отправился в Галлию, назвал Пиппина римским патрицием и пригласил его на завоевание Италии. В последовавшей войне франки покорили лангобардов, и Карл Великий получил их королевство и короновался императором в 800 году Львом III. в Риме.

Знаменитый договор между Карлом Великим и папой римским был, по сути, ратификацией существующего положения вещей. Новый император забрал себе и превратил во Франкское королевство все провинции, которые были отторгнуты у лангобардов. Он уступил папству Рим с

его вотчиной, части Сполето и Беневенто, которые уже отошли к престолу Святого Петра, южные провинции, которые номинально принадлежали Византии, острова и города экзархата и Пентаполис, которые не были частью ломбардского завоевания. По этому условию папству не было предоставлено никакой реальной светской власти, и новая империя не отказалась от своих первостепенных прав на полуостров в целом. Итальянское королевство, переданное франкам в 800 году, было королевством, основанным лангобардами; в то время как отдаленные и непокоренные районы были поставлены под протекторат державы, которая руководила их освобождением. Таким образом, дуализм, привнесенный в Италию преклонением Теодориха перед Римом и подтвержденный неудачей лангобардского завоевания, был закреплен в соглашении, по которому папа передал Западному христианскому миру новую империю. Венеция, Пиза, Генуя и южные Приморские республики, исключенные из состава королевства, были предоставлены самим себе, стремясь к независимости; и это главная из многих причин, почему они так рано приобрели известность. Рим объединил свои древние вотчины и расширил свою ректорскую власть в центре, в то время как франкские короли, сменявшие друг друга на протяжении восьми царствований, развили регно на феодальных принципах, разделив земли между своими графами. Были сформированы новые границы, пересекающие прежнюю структуру Ломбардии и вводящие разделения, которые децентрализовали королевство. Таким образом, великие вассалы Ивреи, Вероны, Тосканы и Сполето восстали против Павии. Монархи, оказавшиеся между папством и их амбициозной знатью, не смогли консолидировать королевство; и когда Беренгар, последний независимый суверен, попытался укрепить падающую власть Павии, он натолкнулся на сопротивление и ненависть народа.

Королевство, которое Беренгар пытался сохранить против своих вассалов, и Церковь были фактически упразднены Отоном I. Которого ломбардская знать призвала в Италию в 951 году. Когда он вновь появился в 961 году, он был коронован императором в Риме и принял титул короля Италии. Таким образом, Регно было объединено с империей, и Павия перестала быть столицей. Отныне двумя великими властителями полуострова были невооруженный понтифик и отсутствующий император. Последующая история итальянцев показывает, как они преуспели в сведении обеих этих держав к состоянию принципов, поддерживая папские и имперские идеи, но отвергая практический авторитет обоих властителей. Оттон создал новые границы и передал их мужчинам немецкого происхождения. В его правление значение Савойского и Монферратского домов возросло. Вероне были доверены перевалы между Германией и Италией. Князя Эсте в Ферраре владели ключами от По, в то время как семья Каносса накапливала феоды, простиравшиеся от Мантуи через равнину Ломбардии, через Апеннины до Лукки и на юг до Сполето. Таким образом, древняя Италия лангобардов и франков была заменена новой Италией немецкого феодализма, обязанной верностью сюзерену, интересы которого удерживали его в провинциях за Альпами. В то же время организация Церкви была укреплена. Епископы были приравнены к графам в главных городах, а виконты были созданы для представления их гражданской юрисдикции. Трудно преувеличить важность уступок Оттона епископам. В предшествующий период франкского владычества около трети территории Италии было передано Церкви, которая имела право освобождать своих вассалов от военной службы; и поскольку церковные престолы были основаны на древних объектах римской цивилизации, независимо от военных центров варварских королевств, новые привилегии епископов были предоставлены в интересах коренного населения. Милан, например, подавленный Павией, по-прежнему оставался главным престолом Ломбардии. Аквилея, хотя и была пустыней, имела своего патриарха, в то время как Чивидале, основанный как крепость для

подавления соседних римских городов, в церковном отношении был всего лишь деревней. В эту эпоху в Италии возникла третья держава. Беренгар разрешил городам обнести себя стенами, чтобы отразить нашествие гуннов.[1] Отон уважал их право на самооборону, и со дня его коронации в Италии начинается история свободных городов. Поначалу это тесно связано с изменениями, вызванными исчезновением королевства Павия, возвышением духовенства и разрушением прежней системы феодального владения, которые последовали за решимостью Отона перестроить страну в интересах Германской империи. Регно было упразднено. Древние ориентиры знати были изменены и перепутаны. Города под властью своих епископов приобрели новый характер независимости. Города римского происхождения, будучи церковными центрами, имели отдаленное преимущество перед более поздними основаниями ломбардских и франкских монархов. Повсюду появлялось италийское население, проявлявшее жизнеспособность, которая была подавлена веками вторжений и военного гнета.

[1] Следует отметить, что к этой дате относится боевая песнь моденских стражей с ее намеками на Трои и Гектора, которая признана самым ранним образцом италийского десятисложного метра.

Города в эту эпоху можно рассматривать как светящиеся точки в густой тьме феодальной аристократии.[1] Собираясь вокруг своего Собора как центра, города окружают свои жилища бастиями, с которых они взирают на страну, изобилующую замками, населенную крепостными и находящуюся под властью иерархической знати. В городе епископ и граф пользуются равной властью, но на стороне епископа симпатии и увлечения горожан. Первое усилие городов - изгнать графа из своей среды. Какой-нибудь случай неправильного правления приводит горожан в ярость. Они хватаются за оружие, и епископ их поддерживает. Графу приходится удалиться в открытую местность, где он укрепляется в своем замке.[2] Затем епископ остается победителем в городе и формирует правительство из богатых и знатных бюргеров, которые вместе с ним контролируют судьбу новорожденного государства. В этот кризисный момент мы впервые начинаем слышать слово, которое было во многом неправильно понято. На сцене появляется *Пополо*. Интерпретируя прошлое через настоящее и используя коннотацию, приобретенную словом "*народ*" в революциях последних двух столетий, студенты склонны предполагать, что *пополо* италийских городов включали в себя все население. На самом деле поначалу это была сплоченная аристократия влиятельных семей, которым власть смещенных графов передавалась по закону и которые владели ею по наследственному праву.[3] Если мы твердо не усвоим этот факт, последующие перипетии италийского содружества будут непонятны, а сложные определения флорентийских доктринеров потеряют половину своего смысла. Внутренние революции в вольных городах почти неизменно были вызваны необходимостью расширения *Ruolo* и распространения его избирательных прав на непривилегированных жителей. Каждое усилие после расширения вызывало упорное сопротивление со стороны тех семей, которые обладали правами бюргерства; и, таким образом, технические термины *примо пополо*, *секондо пополо*, *пополо грассо*, *пополо минута*, часто встречающиеся в архивах республик, указывают на несколько этапов продвижения от олигархии к демократии. Устройство города в этот ранний период было простым. Во главе его администрации стоял епископ, а *пополо* состоял из обездоленных бюргеров. *Коммуна* включала *пополо* вместе с неквалифицированными жителями и была представлена консулами, численность которых варьировалась в зависимости от разделения города на кварталы.[4] Таким образом, коммуна и *Пополо* изначально были отдельными объектами; и это различие было увековечено в архитектуре тех городов, где все еще можно

увидеть Палаццо дель Пополо отдельно от Палаццо дель Коммуна. Поскольку дела города должны были решаться путем обсуждения, мы находим Советы, соответствующие составным элементам города. Существует *Парламент*, в котором жители собираются вместе, чтобы выслушать решения епископа и пополо или принять меры в крайних случаях, которые затрагивают город в целом; *Gran Consiglio*, который открыт только для должным образом квалифицированных членов Пополо; и *Credenza*, или тайный совет специально делегированных бюргеров, которые обсуждают вопросы, требующие секретности и дипломатии. Таково, вообще говоря, и без учета местных различий, было внутреннее устройство итальянского города во времена господства епископов.

[1] Здесь нет необходимости поднимать антикварные вопросы, касающиеся происхождения итальянской коммуны. Независимо от того, рассматривался ли он как пережиток древнеримского *муниципалитета* или как ответвление ломбардской *гильдии*, это было новое рождение нового времени, новый организм, эволюционировавший, чтобы выразить функции итальянского языка, отличные от древнеримской или средневековой ломбардской жизни. Привязанность людей к своему прошлому побудила их использовать терминологию латинской вежливости для обозначения должностных лиц и советов Коммуны. Таким образом, с самого начала Коммуне была придана напускная атмосфера классической древности, скорее литературная и сентиментальная, чем реальная. Более того, следует помнить, что сам Рим не подвергался существенному прерыванию республиканского существования в Темные века. Поэтому свободные города, хотя их жизнеспособность была результатом совершенно новых условий, хотя они были построены из гильдий и ассоциаций, представляющих интересы современного происхождения, льстили себя непрерывной муниципальной преемственностью римской эпохи и указывали в качестве доказательства на Вечный город.

[2] Итальянское слово *contado* - пережиток такого положения вещей. Это представляет собой момент в национальном развитии, когда сфера графства за пределами города была противопоставлена сфере муниципалитета. *Контадини* - это люди Контадо, люди графа.

[3] Даже Петрарка в своем письме к четырем кардиналам (букв. Фам. xi. 16, изд. Фракассетти) о реформировании Римского Содружества рекомендует исключить соседние города и всех незнакомцев, включая семьи Колонна и Орсини, из избирательного права. Никто, кроме чистокровных римлян, о том, как следует из *colluviet omnium gentium*, отложившегося на Семи Холмах в результате столетий иммиграции, он четко не говорит, не должен быть избран для возрождения павшего величия Республики. Смотрите, в частности, изложение его аргументации (op. cit. vol. iii. p. 95). Другими словами, он нацелен на узкое Пополо, на *чистую читтадинанцу*, в смысле Каччиягиды, параграф xvi.

[4] В некоторых местах мы находим целых двенадцать консулов. Похоже, что как составные семьи пополо, так и количество консулов определялись по районам города, поэтому многих отчитывали за каждый квартал.

На Севере Италии немало крупных вассалов, среди которых можно упомянуть дома Каноссы, Монферрата, Савойи и Эсте, порождения салических императоров, благосклонно смотрели на развитие городов, в то время как некоторые дворяне зашли так далеко, что стали епископскими феодалами. [1] Ожесточенную войну, которую ломбардские бароны вели против Каноссы, вероятно, следует интерпретировать как ревность, вызванную этой популярной политикой. В то же время, пока Ломбардия и Тоскана устанавливали свои муниципальные свободы, в Южной

Италии началось движение сочувствия, которое привело к завоеванию норманнами Апулии, Калабрии и Сицилии. Опуская все подробности этого эпизода, более драматичного, чем этот, история современных народов не представляет, здесь достаточно указать на то, что норманны окончательно отделили Италию от Греческой империи, наложили монархический отпечаток на юг полуострова и ввели объединенное ими правление в сферу национальной политики под покровительством папы римского. До даты их завоевания Южная Италия имела отдельную и запутанную историю. Теперь он вошел в итальянское сообщество, и в силу особых обстоятельств его перехода к Святому Престолу ему было суждено в будущем стать главным инструментом, с помощью которого папы нарушали равновесие на полуострове для осуществления своих амбициозных планов.

[1] Пелавичини из С. Доннино, например, отдали себя Парме.

Величие римских городов под популярным правлением их епископов иллюстрирует Милан, уступавший только Риму в последние дни существования империи. Милан был доведен до состояния крайней нищеты королями, которые не жалели сил, чтобы возвысить Павию за счет ее старшей сестры. После распада королевства она начала новую жизнь, и в 1037 году Конрад II назначил ее архиепископом Херибертом. как главный герой епископальной революции против феодализма.[1] Хериберт действительно был героем бургов в их первой борьбе за независимость. Именно он изобрел *Carroccio*, огромную повозку, запряженную волами, со знаменем Коммуны, с алтарем и священнослужителями, вокруг которых собирались копейщики города, когда они отправлялись на войну. Это изобретение Хериберта вскоре было перенято городами по всей Италии. Это придавало гражданам сплоченности и уверенности, напоминало им, что Церковь была на их стороне в борьбе за свободу, и служило символом их военной мощи в союзе. Первые достоверные записи о парламенте, объединявшем знать Пополо, духовенство и толпу, переданы нам Миланскими хрониками, в которых Хериберт фигурирует как президент республики. С этой даты Милан лидирует в борьбе за муниципальную независимость. Ее институты, подобные Карроччо, вместе с ее неукротимым духом передаются соседним городам Ломбардии, пересекают Апеннины и оживляют древние города Тосканы.

[1] Он был вызван на сейм Павии за то, что лишил дворянина его кровной мести.

Основав свои свободы на епископском президентстве, города теперь стали требовать права выбирать своих собственных епископов. Они отказались от прелатов, присланных им императором, и потребовали избрания капитулами каждого города. Эта привилегия была фактически завоевана, когда в 1073 году разразилась война за инвеституры. После смерти Григория VI в 1046 году императоры решили обеспечить соблюдение своего права назначать пап. Два первых прелата, навязанных Риму, Климент II и Даматус II, умерли по подозрению в отравлении. Таким образом, римский народ отверг иностранного папу, как лангобарды отвергли епископов, присланных управлять ими. Следующие папы, Лев IX. Хильдебранд, который сейчас появляется на сцене, убедил Виктора II пройти повторные выборы в Риме духовенством и народом. Они избежали покушения. Но пятый немец, Стефан X., снова скоропостижно скончался; и теперь грозный монах из Соаны почувствовал себя достаточно могущественным, чтобы добиться избрания своего собственного кандидата, Николая II. Латеранский собор, вдохновленный Гильдебрандом, передал избрание пап кардиналам, одобренным духовенством и народом Рима, и подтвердил привилегию городов выбирать своих епископов при условии папской ратификации. В 1073 году Гильдебранд надел тиару как Григорий VII и объявил

Империи войну, которая длилась более сорока лет. К моменту своего закрытия в 1122 году Церковь и Империя были противопоставлены как взаимоисключающие автократии, одна из которых претендовала на безграничное духовное влияние, другая признавалась не менее безгранично первостепенной в гражданском обществе. Исходя из принципов, выдвинутых Гильдебрандом и оспариваемых в ходе этой дуэли, мы можем датировать те новые концепции двух главных сил христианского мира, которые нашли окончательное выражение в теократической философии *Суммы* и имперском абсолютизме *монархии*. Тем временем империя и папство, пробуя свою силу друг против друга, доказали Италии свою существенную слабость. То, что они приобрели в виде идей, контролируя спекуляции следующих двух столетий, они потеряли как правители полуострова. Ни папа, ни император не могли продолжать войну, не заручившись поддержкой городов; и поэтому в конце борьбы свободные города оказались усиленными за счет обеих держав. И все же не следует забывать, что инвеститурные войны, хотя и развивали независимый дух и военную энергию республик, пронизали Италию пороком партийных конфликтов. Неискоренимые разногласия гвельфов и гибеллинов были тяжелой ценой за шаг вперед по пути эмансипации; равно как и церковная революция, которая имела тенденцию к итальянизации папства, в то же время усиливая его космополитическое господство, не была ничем иным, как источником зла для нации.

Силы, высвободившиеся в городах в результате этих войн, вывели консулов на передний план. Епископы подорвали феодальную структуру королевства, подавили графов и вернули римским городам процветание. Во время войны и Пополо, и Коммуна набрали силу, и их консулы начали использовать власть, завоеванную прелатами. Сначала консулы занимали подчиненное положение как делопроизводители и нотариусы, необходимые для ведения дел торговых жителей. Теперь они взяли на себя ведущую роль в качестве политических агентов первой величины, представляя город в его публичных акциях и вытесняя духовенство. Население Пополо расширилось за счет приема новых бюргерских семей, и правящая каста, хотя и оставалась олигархической, стала более представительной для жителей. Этот прогресс был неизбежен, если вспомнить, что города были организованы для ведения войны и что, кроме своих консулов, в них не было чиновников, совмещавших гражданские и военные функции. Под юрисдикцией консулов римское право повсюду заменяло ломбардские статуты, и таким образом был нанесен еще один сильный удар по загнивающему феодализму. Болонская школа затмила университет Павии. Кодекс Юстиниана изучался со страстной энергией, и итальянцы с энтузиазмом вернулись к институтам своего прошлого. В басне из "*Кодекса Пандектов*", привезенной Пизой из Амальфи, мы можем проследить пыл этого движения, в ходе которого римляне из городов боролись после воскресения.

Одним из самых ранних проявлений жизнеспособности муниципалитетов была война города против города, которая начала разгораться с яростью в первой половине двенадцатого века и продолжалась до тех пор, пока существовали свободные города, чтобы увековечить конфликт. Как только бурги утвердились под председательством своих консулов, они обратили оружие, приобретенное в войне за независимость, против своих соседей. Это явление не ограничивалось каким-либо одним районом. Это выявило новую необходимость в самом устройстве содружества. Загнанные в узкие рамки своих мелких зависимостей, пульсирующие свежей жизнью, переполненные населением, привыкшим к войне, требующие каналов для своей энергии в торговле, конкурирующие друг с другом на путях промышленности, они схлестывались в самых смертоносных поединках за передышку и средства обогащения. Случаи, побудившие одну коммуну объявить войну своему сопернику, были тривиальными. Вражда была

междоусобной и постоянной. Жизнь или смерть висели на волоске. Это был конфликт за господство, который вызвал в игру самые суровые страсти и решил судьбу выживания наиболее приспособленных среди сотен конкурирующих городов. Глубоко укоренившаяся зависть римских и феодальных центров, недавняя приверженность папским и имперским принципам подпитывали эту борьбу. Но что скрывалось за всеми внешними причинами разногласий, так это экономическая борьба общин, для которых почва Италии уже начала казаться слишком узкой. Силы ее населения были так велики, так велика была энергия, высвободившаяся благодаря обретению ею муниципальной свободы, что эта могущественная мать народов не могла обеспечить равное пропитание всем своим детям. Новорожденные, они должны были души друг друга, припадая к груди, которая давала им пищу. Император не мог не замечать очевидной анархии в своей прекраснейшей провинции. Поэтому, когда в 1152 году был избран Фридрих Барбаросса, его первой мыслью было навести порядок в Саду Империи. Вскоре после своего избрания он спустился в Ломбардию и сформировал две лиги среди городов Севера: одну возглавила Павия, центр упраздненного королевства, другую - Милан, унаследовавший величие Рима и заключивший в своих чреслах будущее итальянской свободы. Нет необходимости подробно описывать конфликт ломбардских бургов с Фридрихом, с таким энтузиазмом описанный их историком Сисмонди, для нашей настоящей цели достаточно вспомнить, что в ходе этого противостояния обе лиги объединились против императора, втянули в свою ссору папу Александра III и, наконец, в 1183 году, после победы при Леньяно, убедили Фридриха в его слабости, вымогая привилегии по Констанцскому миру, которыми их автономия была полностью гарантирована и признана. Преимущества, завоеванные Миланом, который выдержал основную тяжесть имперских репрессий и благодаря великолепию своего мученичества преодолел мелочную зависть своих муниципальных соперников, были распространены на города Тосканы. После подписания этого договора императором и его восставшими подданными бурги получили надежное положение третьей силы между Империей и Церковью. Наиболее примечательным моментом в истории этого спора является единодушное подчинение коммун тому, что они считали справедливым сюзеренитетом представителя Цезаря. Хотя они были всемогущи в Ломбардии, они не предприняли никаких мер для того, чтобы закрыть ворота Альп перед немцами. Император был волен приходить и уходить по своему усмотрению; и когда был подписан мир, он причислил бюргеров, победивших его оружием и политикой, к своим верным вассалам. Тем не менее, дух независимости в Италии был широко распространен. Это особенно заметно в обращении римского сената к Фридриху перед его коронацией. Возрожденный революционной миссией Арнольда Брешийского, римский народ обрел свое античное величие в этих замечательных словах: "Ты был чужеземцем; я сделал тебя гражданином; ты пришел из-за Альп; Я даровал тебе княжество".^[1] Как ни самонадеянно это звучало в ушах Фридриха, это доказывало, что итальянская нация теперь резко настроилась против Церкви и варваров. Она все еще принимала Империю, потому что Империя была славой Италии, короной, которая дала ее народу лидерство в цивилизации. Она по-прежнему признавала авторитет Церкви, потому что Церковь была старшей дочерью Италии, возникшей на развалинах римского общества. Но нация осознала свое право держаться в стороне ни от того, ни от другого.

^[1] "Hospes eras, civem feci. Advena fuisti ex transalpinis partibus, principem constitui. Quod meum jure fuit, tibi dedi." See *Ottonis Episcopi Frisingensis Chronicon*, De Rebus Gestis Frid. i. Imp. Lib. ii. cap. 21. Басилеи, 1569. Легаты, назначенные сенатом, встретились с императором в Сутри и произнесли речь, частью которой было только что процитированное предложение. It began:

'Urbis legati nos, rex optime, ad tuam a Senatu, populoque Romano destinati sumus excellentiam,' and contained this remarkable passage: 'Orbis imperium affectas, coronam præbitura gratanter assurgo, jocanter occurro ... должник клерикорум, оправдывающий закон". Если верно передать эти слова, Республика резко отделяет себя от папства и претендует на своего рода почетное превосходство перед Империей. Говорят, что Фридрих в ярости прервал легатов прежде, чем они успели закончить свою речь, и ответил с гневным презрением. Речь, вложенная в его уста, вероятно, является риторическим произведением, но, возможно, она выражала его чувства. 'Multa de Romanorum sapientia seu fortitudine hactenus audivimus, magis tamen de sapientia. Quare satis mirari non possumus, quod verba vestra plus arrogantiae tumore insipida quam sale sapientiae condita sentimus.... Fuit, fuit quondam in hac Republica virtus. Quondam dico, atque o utinam tam veraciter quam libenter nunc dicere possemus,' etc.

Укрепленные своим соперничеством с Фридрихом Барбароссой, признанные в своих правах воюющих держав и предоставленные Империей самим себе, города теперь были свободны вести свои войны с остатками феодализма. Город, каким мы его узнали, был окружен сомкнутым рядом замков, где дворяне все еще обладали неоспоримой властью над крепостными крестьянами. Против этого кордона крепостей каждый город с исключительным единодушием направил силы, которые он сформировал в предыдущих конфликтах. В то же время городская борьба коммуны против коммуны не утратила своей яростности. Графы, теснимые со всех сторон выросшими вокруг них городами, взяли на вооружение политику натравливания одного города на другой. Когда дворянин подвергался нападению со стороны городка рядом с его замком, он поддерживал враждебность более отдаленного города, ставил под угрозу свою независимость, принимая пост капитана или лейтенанта коммун, враждебных его естественным врагам, и таким образом становился слугой или союзником Республики. В своем отчаянии он освободил своих крепостных, и таким образом, жители Контадо извлекли выгоду из раздоров городов и их феодальных хозяев. Эта новая фаза республиканской эволюции длилась в течение длительного и неопределенного периода, принимая разные черты в разных центрах; но в конце концов знать была вынуждена подчиниться городам. Они были приняты в бюргерство и согласились проводить определенную часть каждого года во дворцах, которые они возвели вокруг городских стен. Таким образом, графы перешли под юрисдикцию консулов, а италийское население впитало в себя остатки ломбардской, франкской и немецкой аристократии. Тем не менее, выигрыш на стороне республик был неясен. Хотя феодальное господство знати было уничтожено, их богатство, земли и престиж остались нетронутыми. В городе они чувствовали себя всего лишь чужаками. Их настоящим домом по-прежнему был замок на соседней горе. И когда они опустились до того, чтобы стать бюргерами, они не отказались от использования оружия. Вместо того чтобы строить в городе мирные жилые дома, они наполнили его кварталы крепостями и башнями, откуда вели междоусобицу между собой и ставили под угрозу безопасность улиц. Вскоре выяснилось, что война против Замков превратилась в войну против Дворцов, и что арена была перенесена с открытого Контадо на Пьяцца и баррикаду. Власти консулов оказалось недостаточно для поддержания равновесия между народом и знатью. Соответственно, появился новый магистрат, объединивший должности верховного судьи и военного диктатора. Когда Фридрих Барбаросса попытался управлять мятежными ломбардскими городами в общих интересах Империи, он учредил в их среде иностранного судью, называемого Подеста *quasi habens potestatem Imperatoris in hac parte*. Этот институт в тот момент служил только для разжигания сопротивления коммун, но впоследствии титул подеста был присвоен должностному лицу, призванному поддерживать равный баланс между

бюргерами и дворянами. Он неизменно был иностранцем, избирался сроком на один год, наделялся упрощенной юрисдикцией по всем спорным вопросам, осуществлял власть над жизнью и смертью и распоряжался муниципальным ополчением. Старая конституция коммун сохранилась, чтобы контролировать этого диктатора и охранять независимость города. Все Советы продолжали действовать, и консулы были укреплены формированием Коллегии древних, или Приоров. Подеста был создан с явной целью осуществить синтез двух соперничающих частей города. На него никогда не смотрели иначе, как на чужака в городе, принятого в качестве временного посредника и контролера несовместимых элементов. Управление городом по—прежнему принадлежало консулам, которые с этого времени начали терять свою индивидуальность в Коллегии *синьории*, называемой *Приори*, *Анциани* или *Реттори*, в зависимости от того, как обстояли дела в различных округах.

Итальянские республики достигли этой стадии, когда Фридрих II объединил империю и королевство Обеих Сицилий. Это был критический момент для независимости Италии. Владыка Юга, Фридрих стремился отвоевать утраченные прерогативы империи в Ломбардии и Тоскане; не исключено, что ему удалось бы объединить Италию под своей властью, если бы не яростная враждебность Церкви. Истребительная война, которую вели папы против дома Гогенштауфенов, не была доказательством их пристрастия к делу свободы. Они боялись реальности королевства, которое должно было основываться на Италии и соперничать с их собственной властью. Поэтому они поддерживали дело свободных бургов против Фридриха, и когда Север был опустошен его викариями, они проповедовали крестовый поход против Эццелино да Романо. В конвульсиях, сотрясавших Италию с севера на Юг, оформились партии гвельфов и гибеллинов, которые приобрели неистребимую силу. Они впитали в себя все прежние настроения и раздоры нации. Партия гвельфов означала бюргеров консульских коммун, представителей промышленности и коммерции, поборников гражданской свободы, сторонников расширения демократии. В партию гибеллинов входили натурализованные дворяне, люди с оружием в руках и праздности, сторонники феодализма, политики, которые с неодобрением относились к конституционному прогрессу. То, что знамя Церкви развевалось над одним лагерем, в то время как знамя Империи привлекало к себе враждебную партию, было делом сравнительно поверхностным. Истинная сила войны заключалась в населении, разделенном непримиримыми идеалами, каждый стремился завладеть городом для себя, каждый был готов умереть за принятые им принципы. Борьба - это социальная борьба, разыгрываемая в пределах Коммуны за господство той или иной части всего народа. Город не называет себя ни гвельфом, ни гибеллином, пока половина горожан не будет изгнана. Победившая партия организует правительство в своих собственных интересах, обосновывается в отдельном от Коммуны дворце, где развивает свой аппарат дома и за границей и укрепляет свои финансы за счет принудительных взносов и конфискаций.^[1] Изгнанники объединяются с членами своей фракции во враждебном городе; и таким образом, дипломатией гвельфов и гибеллинов самые отдаленные центры втягиваются в сеть общего дуализма. Таким образом, мы вправе утверждать, что Италия достигла своего национального самосознания через раздоры и конфликты; ибо Коммуны перестали быть изолированными, спаянными временными союзами или вовлеченными просто в локальные конфликты. Они были сведены вместе и связаны симпатиями и антипатиями антагонизма, который охватил муниципалитеты и доминировал над ними, поставил Республики и Регно в равные условия и объединил номинальных лидеров борьбы, папу и императора, в неконтролируемом беспорядке. Вопрос не был вульгарным; на карту были поставлены не просто эгоистические интересы. Гвельфы и гибеллины в равной

степени вопрошали оракула с совершенным желанием повиноваться его вдохновению ради общего блага; но они истолковывали высказывания Пифии в противоположных смыслах. Гибеллин услышал, как Италия призывала его построить цитадель, которую должны охранять рыцарские копья и щиты, где феодальные иерархии, расположенные под возвышением Империи, могли бы в должной мере распространять культуру и гражданский порядок среди людей. Гвельф полагал, что она приказывает ему умножать искусства и гильдии в городе под мантией папы Римского, который стоял за Христа, проповедника равенства и мира для всего человечества, для того, чтобы промышленный улей со временем развил гражданский порядок и культуру, представляющую его собственные свободно действующие силы.

[1] Достаточно сослаться на важность *Части Гвельфы* в истории Флоренции.

Во время стресса и бури ожесточенной войны, которую вели гвельфы и гибеллины, подеста отошел на второй план. Он был создан на случай чрезвычайной ситуации; но теперь разногласия стали слишком острыми для арбитража. Появляется новый функционер с титулом *Капитана народа*. Избранный, когда та или иная из фракций получает верховную власть в городе, он представляет победившую партию, берет на себя ведущую роль в объявлении вне закона их противников и под свою ответственность утверждает изменения, внесенные в конституцию. Старые магистратуры и советы, между тем, не отменены. Совет дель Пополо во главе с капитано берет на себя руководство; а рядом с ними находится новый член, называемый Консилио делла Парте, который следит за поддержанием политики победившей фракции. Но Совет коммуны с подестой, который не прекратил выполнять судебные функции, все еще существует. Приоры, как и прежде, образуют синьорию. Креденца продолжает работать, а Gran Consiglio представляет группу привилегированных бюргеров. Партия всего лишь тиранизирует завоеванный ею город и манипулирует древней конституцией в своих собственных интересах. В этом столкновении гвельфов с гибеллинами выиграли низшие классы народа. Исключенные из Пополо епископальных и консульских революций, ремесленники крупных городов теперь заявляют о своих претензиях на предоставление им избирательных прав. Появление *Искусства* - главный социальный феномен кризиса. [1] Таким образом, финальной точкой конфликта стала новая Италия, глубоко разделенная группировками, которые были малопонятны, потому что они были такими жизненно важными, потому что они представляли два противоположных потока национальной энергии, несовместимых, непримиримых, вечных в антагонизме, как полюса. Но эта противоречивая нация была более коммерческой и демократичной. Семьи торговцев выросли на руинах старой знати. Промышленные города Рима свели на нет своих военных соперников более раннего или более позднего происхождения. Равнина, река и порт противостояли горной твердыне и баракбургу. Несколько классов общества, раздробленных, сбитых воедино, выровненных войной и уравненных промышленностью, представляли собой лишь несколько препятствий для появления в их рядах командующих личностей, какими бы скромными они ни были. Исчезла не только иерархия феодализма, но и сама структура города была запутана, и пополо, будь то "примо", "секондо" или даже "терцо", было разбавлено недавно выпущенными "Контадини" и всевозможными "нови гомине". [2] "Божественная комедия", написанная после кульминации разногласий гвельфов и гибеллинов, показывает меру их враждебности. Данте не находит места ни в Аду, ни в Чистилище для душ, которые стояли в стороне от раздора, для ангелов, которые не были ни гвельфами, ни Гибеллинами в Раю. Его вильякки, "несчастные, которые никогда не жили", потому что они никогда не испытывали мук или экстаза партийности, бездомно бродят по окраинам Лимба, среди аборт и отбросов творения. Но даже при этом в Италии не было

опоры за пределами того или иного враждебного лагеря. Общество было расколото до основания. Вражда, восходящая к тринадцатому веку, продолжалась еще долго после того, как большие вечеринки перестали иметь значение. Они были увековечены в обычаях и выражались в самых тривиальных деталях. Знамена, эмблемы и геральдические цвета соответствовали разделению фракций. Гибеллины носили перья на своих шапках с одной стороны, гвельфы - с другой. Гибеллины нарежьте фрукты перед подачей на стол крест-накрест, гвельфы - прямо вниз. В Бергамо несколько калабрийцев были убиты их хозяином, который по их способу нарезки чеснока понял, что они перешли на сторону враждебной партии. Гибеллины пили из гладких, а гвельфы - из чеканных кубков. Гибеллины носили белые, а гвельфы - красные розы. Зевота, прохождение на улице, бросание костей, жестикуляция при разговоре или ругань использовались как предлоги для того, чтобы отличить одну половину Италии от другой. Еще в середине пятнадцатого века миланские гибеллины сорвали Христа с главного алтаря собора в Креме и сожгли его за то, что он повернулся лицом к плечу гвельфа. В каждом большом городе есть история о любви и смерти, которая переносит раздоры враждующих семей в область романтики и легенд. Флоренция датировала свои бедствия оскорблением, нанесенным Буондельмонте деи Буондельмонти Амидеям в распавшемся браке. Болонья никогда не забывала пафоса Имельды Ламбертацци, распростертой при смерти на трупе своего возлюбленного Бонифацио Джереми. История Ромео и Джульетты в Вероне - это миф, в котором участвуют обе фракции, благонамеренное вмешательство монахов-миротворцев и безрезультатные усилия поддесты обуздать насилие партийной войны.

[1] История Флоренции яснее, чем история любого другого города, иллюстрирует огромное значение, приобретенное ремеслами и гильдиями в политике в эпоху гражданских войн.

[2] Это язвительный плач Каччаигоды по поводу Флоренции, параграф xvi.

Ma la cittadinanza, ch' è or mista
Di Campi e di Certaldo e di Figghine,
Pura vedeasi nell' ultimo artista.

Tal fatto è fiorentino, e cambia e merca,
Che si sarebbe volto a Semifonti,
Là dove andava l' avolo alia cerca.

Sempre la confusione delle persone
Principio fu del mal della cittade,
Come del corpo il cibo che s' appone.

Столь глубоким и ужасным был разлад, столь крайним было истощение, что обезумевшие Коммуны были рады наконец обрести некоторый покой в тирании. В конце своей долгой ссоры с домом Гогенштауфенов папы призывали Карла Анжуйского в Италию. Окончательный вопрос этой политики для нации в целом будет обсуждаться в другой части этой работы. Здесь достаточно указать на то, что подобно тому, как Эццелино да Романо представлял деспотизм в его худшей форме как лидер партии гибеллинов, так и Карл Анжуйский стал типичным тираном в интересах гвельфов. Флорентийцы признали его вождем партии гвельфов, и королевство Обеих Сицилий было даровано ему в качестве платы за его диктатуру. Республики почти

одновременно вступили в новую фазу. Демократизированные расширением избирательного права, коррумпированные, по выражению Макиавелли, в своей старой организации Пополо и Коммуны, они попали в руки тиранов, которые использовали престиж своей партии, безразличие вильяччи и миролюбивые инстинкты среднего класса для укрепления своей эгоистичной автократии.[1] Ставя себя выше закона, манипулируя государственным механизмом в своих собственных целях, подменяя столкновение враждебных страстей во фракциях волей единого правителя, тиран насильственным путем установил спокойствие в захваченном им городе. Ему была дарована власть над народом.[2] Советы были подавлены и сведены к молчанию. Аристократия подвергалась преследованиям ради выгоды плебса. При его правлении процветала торговля; города были украшены великолепными зданиями; иностранные войны велись ради усиления государства, не обращая внимания на междоусобную вражду. Таким образом, тиран ознаменовал первое появление верховной личности в государстве, возродив его старые силы в автократической воле, вытеснив и в то же время сознательно контролируя немые, коллективные, слепо действующие импульсы предыдущих революций. Его пришествие было встречено как благословение недавно развившимися жителями городов, в которых он восстановил мир. Но знатные семьи и лидеры партий относились к нему с отвращением, как к рептилии, порожденной коррупцией и болезнями разлагающегося политического организма. В своей ярости они обратились к двум вождям христианского мира. Бонифаций VIII, откликнувшись на этот призыв, призвал второго француза, Карла Валуа, носившего титулы маркиза Анконы, графа Романьи, капитана Тосканы, которому было поручено привести Италию к порядку на принципах гвельфов. Данте в своем горном уединении взывал к императору, и Италия стала свидетелем бессильного марша Генриха VII. Ни папа, ни император не были достаточно сильны, чтобы контролировать течения фракций, которые несомненно, ввергали Италию в пучину деспотизма. Бонифаций умер от горя после Шьярра Колонна, ужасного гнева гибеллинов в Ананьи, и папский двор был переведен в Авиньон в 1316 году. Генрих VII. скончался, вероятно, от яда, в Буонконvento в 1313 году. Стороны разорвали друг друга на куски. Тираны были убиты. Были истреблены целые семьи. Однако эти конвульсии не принесли плодов свободы. Единственным выходом из сложившейся ситуации был деспотизм — деспотизм ревнивой олигархии, как во Флоренции, или деспотизм новых тиранов в Ломбардии и Романье.[3]

[1] Не говоря уже о республиках Ломбардия и Романья, которые окончательно приняли на себя печать деспотизма в начале четырнадцатого века, примечательно, что Пиза подчинилась Угуччоне да Фаджиуола, Лукка - Каструччо Кастракане, а Флоренция - герцогу Афинскому. Революция в Пизе в 1316 году избавила ее от Угуччоне; преждевременная смерть Каструччо в 1328 году разрушила тосканское герцогство, которое он строил на фундаменте гибеллинизма; в то время как восстание 1343 года предотвратило тиранию во Флоренции еще на столетие.

[2] Макиавелли *Vita Di Castuccio Castracane*, хотя это скорее исторический роман, чем достоверной биографии, иллюстрирует постепенный прогресс, достигнутый смелый и амбициозный лидер от капитанства людей, возложенных на него в течение одного года, тирании своего города.

[3] "Божественная комедия", в одном из своих аспектов, является эпопеей итальянской тирании, поэтому многие ее эпизоды выбраны из истории гражданских войн:

"На земле Италии", где пьют
сына тирании; под редакцией Марселя дивенты"
Огни виллана, часть венеции.

Эти строки встречаются в апострофе к Италии (*Purg. vi.*), где Данте ссылается на Империю, идеализированную им как высшая власть в Европе.

Между тем опасности, которым подвергались тираны, научили их сочетать жестокость и хитрость. Из беспорядочных и судорожных усилий XIII века, когда вожди народа и партии захватили сиюминутный порыв власти, возник второй вид деспотизма, более осторожный в своей политике, более методичный в использовании средств для достижения цели, который завершился метаморфозой итальянских городов и подготовкой великой эпохи Возрождения. Было бы сентиментально сокрушаться по поводу этой перемены и нефилософски оплакивать уменьшение республиканской свободы как безусловное зло. Разделение Италии и слабость как папства, так и Империи не оставляли другого решения политической проблемы. Все ветви муниципальной администрации, напряженные до предела из-за партийного конфликта, теперь были изолированы от организма, ненормально развиты, и требовались совместные усилия одного мыслителя, чтобы объединить их разрозненные силы в единую систему или поглотить их в себе. Косвенные ограничения, которые более спокойный период жизнедеятельности муниципалитета наложил на тиранические амбиции, были устранены выравниванием классов и предоставлением равной площади строителю дворца-купола монархии. Более того, следует помнить, что то, что итальянцы тогда понимали под свободой, было муниципальной автономией, контролируемой правящими домами в интересах немногих. Эти соображения не должны мешать нашему сочувствию Флоренции в войне, которую она вела против миланских тиранов. Но они должны побудить нас быть осторожными в принятии выводов Сисмонди, который видел величие Италии только в ее вольных городах. Уничтожение партий, находившихся под властью деспотизма, было необходимо в реальных условиях для того развития искусств и промышленности, которое вывело Италию на первое место среди цивилизованных наций. О нравах деспотов и о деморализации, которую они поощряли в городах, находившихся под их властью, будет достаточно сказано в последующих главах, в которых излагаются социальные условия Возрождения в Италии. Но здесь следует обратить внимание на общий характер деспотической власти и на влияние, которое деспоты оказывали на умиротворение страны. Факты не оправдывают наше предположение о том, что, если бы свободные города продолжали оставаться независимыми, искусство и литература поднялись бы на большую высоту. Венеция, несмотря на непрерывную республиканскую карьеру, не произвела на свет выдающихся литераторов и во многом была обязана своим величием в искусстве живописи пришельцам из Кадоре, Кастельфранко и Вероны. Генуя оставалась молчаливой и безответственной по отношению к художественному движению Италии вплоть до последних дней республики, когда ее независимость была лишь тенью. Пиза, хотя и была городом в Тоскане, не проявила литературного таланта, в то время как ее архитектура относится к первому периоду существования Коммуны. Сиена, республиканское существование которой длилось даже дольше, чем существование Флоренции, не внесла ничего существенного в итальянскую литературу. Искусство Перуджи развивалось во времена господства деспотических семей. Живопись миланской школы обязана своим происхождением Лодовико Сфорца и пережила трагические катастрофы в его столице, которая больше, чем любая другая,

пострадала от жестокости испанцев и французов. Рядом с Флоренцией самыми блестящими центрами литературной деятельности в светлые дни Возрождения были королевская Феррара и королевский Неаполь. Наконец, мы могли бы настаивать на том факте, что итальянский язык впервые зазвучал при дворе императорского Палермо, в то время как республиканский Рим оставался немым на протяжении всего раннего этапа развития итальянской литературы. Таким образом, факты этого дела, по-видимому, показывают, что культура и республиканская независимость не были так тесно связаны в Италии, как пытаются заставить нас поверить некоторые историки. С другой стороны, невозможно доказать, что деспотизм пятнадцатого века был необходим для совершенствования искусства и литературы. Все, что можно с уверенностью сказать по этому поводу, это то, что умиротворение Италии требовалось в качестве предварительного условия и что это умиротворение произошло благодаря действиям князей, сдерживаемых и уравнивающих олигархиями Венеции и Флоренции. Далее можно было бы утверждать, что деспоты испытывали тесную симпатию к народным массам, разделяли их энтузиазм и поощряли их промышленность. Когда в конце четырнадцатого века произошло классическое возрождение, они предугадали это стремление итальянских рас вернуться к своему прошлому и всячески поощряли его. Быть принцем и не быть покровителем науки, учеником гуманистов и основателем библиотек было невозможно. Подобным же образом они тратили свое богатство на развитие искусств и промышленности. Великая эпоха флорентийской живописи неразрывно связана с воспоминаниями о Доме Медичи. Своим великолепием Рим обязан деспотичным папам. Даже керамика Губбио была творением герцогского дома Урбино.

После смерти Генриха VII. с началом папского изгнания в Авиньоне партия гвельфов стала оплотом муниципальной независимости со штаб-квартирой во Флоренции. Гибеллинизм объединил князей в противоположный лагерь. "Партия гвельфов, - пишет Джованни Виллани, - составляет прочную и неизменную основу итальянской свободы и настолько враждебна любой тирании, что, если гвельф становится тираном, он неизбежно должен в тот же момент стать гибеллином". Милан, первым отстаивавший права свободных городов, теперь был главным центром деспотизма; и события следующего столетия возобновляются в долгой борьбе между Флоренцией и Висконти. Хроника Виллани и флорентийская история Поджио содержат сведения об этой борьбе, которая казалась им важнейшим кризисом итальянских дел. С другой стороны, в миланских анналах Гальвано Фьяммы и Мусси красноречиво упоминаются преимущества деспотического суверенитета в обеспечении единства нации, преступления папства, которое способствовало анархии в его плохо управляемых государствах, и перспектива всеобъемлющей итальянской тирании при великом доме Висконти. Поскольку условия основного вопроса таким образом четко определены, мы можем рассматривать войну, которую вели Бертран дю Пуэ и Людовик Баварский в интересах Церкви и империи, блестящие кампании Эджидио д'Альборноса и безумную жестокость Роберта Женевского, не менее чем грабительские вылазки Карла IV, как эпизодические. Основные выгоды от этих потрясений, которые заливали Италию кровью почти на протяжении всего четырнадцатого века, достались деспотам, которые удерживали свои позиции, несмотря на все попытки лишить их собственности. Великие дома, особенно Висконти, набрали силу в результате революций, в ходе которых Церковь и Империя нейтрализовали действия друг друга. Меньшие семьи прочно укоренились в городах, скорее разъяренные, чем запуганные такими актами насилия, как массовые убийства в Фаэнце и Чезене в 1377 году. Отношения императорской и папской партий были запутанными; в то время как даже в центре республиканской независимости, во Флоренции, социальные изменения, в значительной степени обусловленные истощением

города в ходе конфликта, подготовили почву для тирании Медичи. Ни Церковь, ни Империя не смогли прочно обосноваться в Италии, в то время как престиж обеих был подорван.^[1] Муниципальная свобода, вместо того чтобы быть расширенной, была уничтожена амбициями флорентийских олигархов, которые, тратя последний флорин коммуны на противостояние Висконти, никогда не упускали возможности поработить города-побратимы Тосканы. Одним словом, судьба нации неудержимо влекла ее к деспотизму.

^[1] Макиавелли в своей *"Истории Фиорентины"* (Флоренция, 1818, т. i, стр. 47, 48) указывает на соперничество Церкви и Империи во время папства Бенедикта XII. и Климент VI. а правление Людовика укрепило тиранов Ломбардии, Романьи и Марша. Каждая из двух соперничающих держав отдавала то, что ей не принадлежало, торгуясь друг с другом за любую поддержку, которую они могли получить от хозяев городов.

Чтобы объяснить постоянное процветание князей среди столкновения сил, обрушившихся на них со стольких сторон, мы должны помнить, что они были сторонниками общественного порядка в расстроенных городах, героями средних классов и толпы, усмирителями фракций, распорядителями беспристрастных законов и возвеличителями города за счет его соседей. Сер Горелло, восхваляя епископа Гвидо деи Тарлати ди Пьетра Мала, правившего Ареццо в первой половине четырнадцатого века, заставляет коммуну сказать:^[1] "Он был господином таким доблестным и величественным, таким полным изящества и отваги, таким приятным как гвельфам, так и гибеллинам. Он, за его добродетель, был избран по общему согласию повелителем моего народа. Мир и справедливость были началом, серединой и концом его правления, которое устранило все раздоры в государстве. Благодаря величию его доблести я расширил территорию вокруг. Каждый сосед благоговел передо мной, кто-то из любви, а кто-то из страха; ибо им было дорого покоиться под его мантией". В этих стихах излагаются качества, которые объединяли массы населения с их новыми хозяевами. Деспот избавил промышленные классы от тирании и анархии фракций, заменив их правлением личного терроризма, который более тяжелым бременем ложился на дворян, чем на ремесленников или крестьян. Правя скорее вероломством, коррупцией и мошенничеством, чем мечом, он превратил лидеров партий в придворных, вернул изгнанников, объявленных вне закона, в город в качестве чиновников, польстил местному тщеславию, продолжив выполнять муниципальной машиной ее парадные функции, и заткнул рты неуправляемым демагогам, сделав проповедь его благ за границей их денежным интересом. До тех пор, пока бюргеры оставались миролюбивыми под его влиянием и воздерживались от нападения на него лично, он был мягким. Но в то же самое время виселица, камера пыток, железная клетка, подвешенная к головокружительной высоте дворцовой крыши или церковной башни, и ужасные подземелья, где узник не мог ни стоять, ни лежать спокойно, всегда были готовы для человека, осмелившегося оспорить его власть. Этот авторитет зависел исключительно от его личных качеств - воли, мужества, физической выносливости. Он удерживал ее разумом, будучи как бы искусственным продуктом политической необходимости, равновесием сил, заменившим Церковь и Империю без законных титулов и аккумулировавшим в своей деспотической индивидуальности привилегии, ранее приобретенные веками консулами, подестаами и вождями народа. Главной опасностью, которой ему приходилось опасаться, был заговор; и, защищая себя от этой опасности, он израсходовал все ресурсы, подсказанные утонченной изобретательностью и обостренным страхом. Однако, когда Деспот подвергся нападению и был убит, из этого неизбежно следовало, что успешный заговорщик, в свою очередь, стал тираном. "Города, - писал Макиавелли,^[2] которые когда-то были коррумпированы и привыкли к правлению принцев,

никогда не смогут обрести свободу, даже если принц со всей его родней будет уничтожен. Один принц нужен, чтобы уничтожить другого; и городу нет покоя, кроме как избрания нового лорда, если только не случится так, что какой-нибудь бюргер благодаря своей доброте и выдающимся качествам сможет при жизни сохранить его временную независимость. " Таким образом, дворцовые интриги заняли место революций на площади, и династии были сметены, чтобы освободить место для новых тиранов без существенных изменений в положении населения.

[1] *Mur. Scr. R. It.* Сравните, что Г. Мерула писал об Аццо Висконти: "Он примирял людей с помощью равной справедливости, без различия гвельфов или гибеллинов".

[2] *Discorsi*. i. 17.

Всеобщей политикой деспотов было разоружение своих подданных. Продиктованная соображениями личной безопасности и продиктованная необходимостью искоренения фракций, эта мера была очень популярна. Это освобождало бюргеров от самой обременительной из всех общественных обязанностей - военной службы. В миланской провинции воинская повинность была заменена налогом на серебро и соль, в то время как флорентийские олигархи, движимые, вероятно, теми же мотивами, обложили налогом всю страну. Результатом этого изменения стало придание первостепенной важности финансовым и экономическим вопросам и внесение нового элемента в баланс итальянских сил. Княжества были преобразованы в крупные банки, где лорды городов заседали в своих бюро, пересчитывали свои деньги и подсчитывали стоимость войн или стоимость городов, которые они стремились приобрести по выгодной сделке. Сначала они использовали своих наемников как пешек, скупая определенное количество для какого-то специального проекта и увольняя их, когда он был выполнен. Но со временем наемники осознали свою собственную силу и поставили себя под начало капитанов, которые обеспечивали им надежное жалованье и непрерывность прибыльной службы. Так появились кондотьеры, и Италия стала свидетелем зрелища движущихся вооруженных и конных деспотизмов, стремящихся установить свое господство в самых слабых, хуже всего защищенных пунктах полуострова. Они оказались серьезной причиной беспокойства как для тиранов, так и для республик; и до тех пор, пока Франческо Сфорца не обосновался в Миланском герцогстве, когда наниматели вспомогательных войск постигли искусство борьбы с ними с помощью вероломства, тайных убийств и системы тщательно продуманных контрпроверок, равновесие сил в Италии находилось под серьезной угрозой. Сначала страна страдала от мародерских набегов, совершаемых пиратскими предводителями отважных войск Вернером Урслингенским, графом Ландо и фра Мориале; впоследствии от раздоров Браччо да Монтоне и Сфорца Атендоло, постоянно строивших заговоры с целью отхватить себе герцогства из провинций, которые их повелитель призвал покорить. В этот период судьбами Италии управляло золото. Деспоты, полагавшиеся в своей власти исключительно на свою казну, были вынуждены прибегать к вымогательству. Города становились банкротами, закладывали свои доходы или продавали себя тому, кто больше заплатит.[1] Неописуемые страдания угнетали беднейшие классы и крестьян. Серия малоизвестных революций в небольших деспотических центрах указывала на яростную реакцию плебеев против положения вещей, которое стало невыносимым. Низшие классы бюргеров восстали против "пополани грасси", и в конце кризиса возник новый класс князей. Таким образом, плебс навязал Бентивольи Болонью, Медичи - Флоренцию, Бальони - Перуджу, а Петруччи - Сиену.

[1] Перуджа, например, распределила налог на население своей страны в размере 12 000 флоринов, на свои пекарни - в размере 7 266, на свое вино - в размере 4000, на свое озеро - в размере 5200, на контракты - в размере 1500. Два банкира приняли перуджийский заем по этой цене в 1388 году.

Появление кондотьеров в начале четырнадцатого века, анархия, которую они поощряли для собственного возвеличивания, и финансовые трудности, последовавшие за заменой гражданской войны наемничеством, завершили демократизацию итальянских городов и ознаменовали новый период в истории деспотизма. Со дня вступления Франческо Сфорца в Милан в качестве завоевателя в 1450 году князья стали более мягкими в осуществлении своей власти и менее амбициозными. Начав с разоружения своих подданных, они теперь сами сложили оружие, используя небольшие силы для защиты своей личности и государства, более осторожно вмешиваясь в иностранные распри и заменяя дипломатию, где это было возможно, военными действиями. Золото по-прежнему играло важную роль в политике, но оно тратилось на подкуп. Амбициозным военным планам Джан Галеаццо Висконти на смену пришел коммерческий цинизм Козимо Медичи, который поработил Флоренцию хитроумной деморализацией.[1] Дух того времени был материалистичным и позитивным. Деспоты удерживали свое государство с помощью предательства, хитрости и коррупции. Элемент силы был практически устранен, интеллект, наконец, получил безраздельную власть; и идеальное государственное управление Макиавелли было реализовано с большей или менее полнотой во всех частях полуострова. В этот момент и с помощью этих средств Италия получила краткий, но золотой период мира под властью конфедерации своих великих держав. Николай V. восстановил папский двор в Риме в 1447 году, где он перенял манеры деспотизма и считался одним из итальянских синьорий. Ломбардия оставалась спокойной под властью Франческо Сфорца, а Тоскана - под властью Дома Медичи. Неаполитанское королевство, завоеванное Альфонсо Арагонским в 1442 году, также управлялось в духе просвещенного деспотизма, в то время как Венеция, которая так долго формировала отдельное государство, благодаря недавнему приобретению домена на твердой земле, вошла в сообщество итальянских политиков. Таким образом, страна окончательно разделилась на пять великих составляющих элементов — Миланское герцогство, Республику Сан—Марко, Флоренцию, Рим и Неаполитанское королевство - все они, хотя и сильно отличались друг от друга предыдущей историей и конституционными особенностями, теперь одушевлены общим духом.[2] Политически они были склонны к деспотизму; ибо, хотя Венеция продолжала оставаться республикой, правительство венецианской олигархии было всего лишь деспотизмом, приведенным в действие. В интеллектуальном плане тот же энтузиазм по отношению к изучению классики, та же художественная энергия и тот же импульс к возрождению итальянской литературы вызвали у нескольких центров страны более острую симпатию, чем они испытывали раньше. Дипломатическая сеть охватывала города; и вокруг лидеров конфедерации группировались низшие города, республиканские или тиранические, в зависимости от обстоятельств, подобно спутникам вокруг светил солнечной системы. Когда Константинополь был взят турками в 1453 году, Италия почувствовала необходимость подавить свою старую ревность, и Николай V. убедил четыре великие державы подписать с ним договор о мире и дружбе. Политический такт и проницательность Лоренцо Медичи позволили ему разработать и обосновать принцип равновесия, который тогда был введен в итальянскую политику; не было и какой-либо очевидной причины, по которой равновесие, с таким трудом завоеванное, так умело поддерживаемое, не могло бы сохраниться, если бы Лодовико Сфорца

не пригласил французов в 1494 году. До этого момента недавние войны в Италии были вызваны главным образом посягательствами Венеции и кумовством сменявших друг друга пап. Они не вызвали нового энтузиазма, враждебного интересам мира. Империя была ликвидирована и забыта как устаревшая древность. Италия, казалось, наконец-то решила управлять своими делами по взаимному согласию пяти великих держав.

[1] Я попытался проанализировать метод Козимо в статье "Флоренция и Медичи", *Этюды и зарисовки в Италии*.

[2] Эта централизация Италии в пяти великих державах не была достигнута без депрессии или полного исчезновения небольших городов. Феррари насчитывает семнадцать городов, погибших, по его меткому выражению, в конце гражданских войн. *Storia delle Rivoluzioni d' Italia*, iii. 239.

И все же под этой показной структурой дипломатии зияла пустота. Тирании представляли собой временную политическую необходимость. Они не были продуктом прогрессивного социального роста, удовлетворяющего и регулирующего органические функции нации. Они далеки от того, чтобы быть конечным результатом медленного, преднамеренного нарастания состояний, которые они впитали в себя, мы видим в них кульминацию противоречивых настроений, великолепные раковые образования и обманы отчаянной болезни. Та прочная основа национальной морали, которая позволяет монарху твердо придерживаться симпатий и интересов народа, которым он, по-видимому, руководит, но который он на самом деле выражает, подвела их. Поэтому каждый отдельный деспот дрожал за свой трон, в то время как Италия, как в зловещей картине, нарисованной ее историком, чувствовала, что все стихии объединяются, чтобы поглотить ее надвигающейся бурей. Страна землетрясений предсказала катаклизм, справиться с которым она была не в состоянии. Катастрофу определило, казалось бы, незначительное событие. Сфорца обратился к Франции и после катастрофического свержения Карла VIII. весь ход событий изменился. Вместо внутреннего самоуправления с помощью какой-либо системы равновесия Италия подверглась череде вторжений, закончившихся иностранной тиранией.

Проблема, почему итальянцам не удалось достичь единства целостной нации, косвенно обсуждалась на предыдущих страницах истории коммун и развития деспотизма. Мы уже видели, что их концепция муниципальной независимости сделала узкую олигархию из облеченных избирательными правами бюргеров лордами города, которая, в свою очередь, угнетала страну и подвластных ей бургов. Каждое завоевание республикой низводило какую-нибудь деревню или центр гражданской жизни до состояния крепостничества. Голоса жителей больше не были слышны при обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы. Они подчинялись диктату своих хозяев, немногих, получивших избирательные права в восходящем содружестве. Таким образом, как указывал Гвиччардини в своих "Рассуждениях Макиавелли", подчинение Италии господствующей республике означало бы исчезновение бесчисленных политических сообществ и господство тесной олигархии от Альп до Ионического моря.[1] 3200 бюргеров, составлявших Флоренцию в 1494 году, или дворяне Золотой книги Венеции, благодаря такому объединению страны под властью победоносной республики стали бы суверенами, управляющими ресурсами нации ради своей прибыли. Ужас этой катастрофы сделал Венецию ненавистной для ее родственных содружеств в конце XV века и оправдал, согласно взглядам Гвиччардини на историю, действия Козимо Медичи в 1450 году, когда он

укрепил Милан, поддержав ее деспота Франческо Сфорца.[2] Одним словом, республиканская свобода, как сейчас понимают этот термин, была неизвестна в Италии. Доминирующей идеей была муниципальная автономия, подразумевающая право муниципалитета управлять своими завоеваниями ради собственной выгоды. Продвинуться от этой стадии мышления к высокоразвитой концепции национальной республики, централизующей силы Италии и в то же время дающей волю ее местной энергии, было бы невозможно. Этот вид республиканского единства подразумевает предшествующее объединение людей в какой-либо другой форме правления. Кроме того, это требует системы представительства, распространенной на все слои нации. Таким образом, сама их природа не позволяла республиканским институтам, завоеванным итальянцами в раннем средневековье, быть достаточными для обеспечения их независимости в национальной республике.

[1] Указ.соч. Изд. том i. стр. 28.

[2] *Ib.* том iii. стр. 8.

Далее с большим основанием можно задать вопрос, почему Италия не стала монархией и, опять же, почему она так и не создала конфедерацию, объединившую Коммуны, подобно тому как швейцарские кантоны были объединены для взаимной поддержки и самообороны. Когда мы приступаем к первому из этих двух вопросов, наш немедленный ответ должен заключаться в том, что итальянцы испытывали укоренившееся нежелание к монархическому союзу.[1] Их самые энергичные усилия были направлены против этого, когда казалось, что это угрожает им. Следует помнить, что они не были новым народом, нуждавшимся в концентрации, чтобы обеспечить свое простое существование. Даже в великие дни древнего Рима они были не тем, что мы привыкли называть нацией, а конфедерацией муниципалитетов, управляемых владычицей земного шара. Когда Рим пал, фрагменты политического тела Италии, хотя и были грубо потрясены, сохранили некоторую долю былой жизненности, которая связывала их с прошлым. Новые итальянцы смотрели скорее в прошлое, чем в будущее; и как в их литературе не хватало инициативных сил, так и в их политических системах они не отваживались начинать все сначала. Хотя сам Рим был разрушен, тень имени Рима, могучая память о римском величии все еще витала над ними. Вместо современной столицы и современного короля у них была идея для места сбора, духовного города для их метрополии. Также не было никакой непосредственной причины, по которой они должны были пожертвовать своей местной независимостью ради получения безопасности, обеспечиваемой сувереном. Только в более позднюю эпоху Италия на горьком опыте узнала, что единство любой ценой было бы приемлемо лицом к лицу с организованными армиями современной Европы. Но когда в Средние века представился шанс обеспечить себе эту защиту, он, должно быть, был куплен подчинением иностранцам, терпимостью к феодализму, исчезновением римской культуры в законах и обычаях варваров. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что сами итальянцы отвергли это. Более того, проблема объединения Италии в монархию никогда не была столь практически простой, как проблема формирования наций из тевтонских племен. Отсутствовал не только инстинкт клановости, но и до 800 года все попытки создать монархическое государство были пресечены все еще угрожающей близостью Греческой империи и растущим могуществом церковного Рима. Мы видели, как готы допустили ошибку, подчинившись Империи и объединив свою власть с приходящей в упадок организацией. Мы снова увидели, как лангобарды допустили ошибку, приняв католическое христианство и таким образом запутавшись в политике папского Рима. И готы, и лангобарды совершили ошибку, пощадив

Вечный город; или, может быть, точнее будет сказать, что ни один из них не был достаточно силен, чтобы наложить руку насилия на священную и таинственную столицу и удерживать ее как свою резиденцию монархии против всего мира. Пока Рим оставался независимым, ни Равенна, ни Павия не могли возглавлять королевство на полуострове. Тем временем Рим придавал свой престиж развитию духовной державы, которая, не подверженная никаким династическим слабостям, с упорной силой идеи, которая не может умереть, была нацелена на подчинение Европы. Папство нуждалось в Италии как основе своей деятельности и не могло мириться с соперником, который мог низвести престол Святого Петра до уровня обычного епископства. Поэтому Рим, поколение за поколением, защищал так называемые свободы Италии от всех желающих; и когда он призвал франков, это было сделано для того, чтобы сломить растущую власть ломбардских монархов. Пакт между папами и Карлом Великим, как бы мы ни толковали его значение, еще больше устранил возможность образования королевства, разделив Италию на две части с отдельными взглядами на верность; и поскольку власть ни папы, ни императора, один из которых был безоружен, а другой отсутствовал, была достаточно строгой, чтобы сдерживать рост независимых городов, к предыдущим ограничениям национального единства был добавлен третий и чрезвычайно важный фактор.

[1] Гвиччардини (*Соч. Ined. i. 29*) замечает: "О, каково качество жизни в Италии, о, каков уровень темперамента человека в моде у ханно ингеньо и форце, не может ли провинция легко справляться со статусом в обществе единого императора". Он снова говорит о ее разобщенности как о "странном способе жизни", который является вторым после антиквизиции консуэтодином и инклинацио суа". Но Гвиччардини, с тем дефектом зрения, который это делало его неспособным оценить ситуацию в целом, в то время как он так глубоко анализировал ее детали, не принимая во внимание великие нации Европы. См. выше, стр. 40, 41.

После 1200 проблема меняет свой аспект. Теперь мы должны спросить себя, почему, когда борьба с Империей закончилась, когда Фридрих Барбаросса потерпел поражение при Леньяно, когда Ломбардская и Тосканская лиги были в полной силе, прежде чем фракции гвельфов и гибеллинов перепутали основные пружины политической деятельности, и пока национальное ополчение все еще было энергичным, коммуны не продвинулись от концепции местной и муниципальной независимости к концепции национальной свободы в конфедерации, подобной Швейцарскому Бунду. Можно предположить, что итальянцы не видели непосредственной необходимости в конфедерации, которая ограничила бы абсолютную автономию нескольких их территорий. Только свет, пролитый последующими событиями на их раннюю историю, заставляет нас понять, что в данный момент они упустили уникальную возможность. Чего они тогда желали, так это свободы для экспансии каждого по своему политическому типу, свободы для развития промышленности и торговли, свободы для социальной организации города, любимого его жителями превыше нации в целом. Более того, особые трудности стояли на пути конфедерации. Коммуны были не округами, как швейцарские кантоны, а городами, находящимися в состоянии войны с окружающими их землями и враждующими между собой. Взаимно ревнивые и недоверчивые, с населением страны, которое лишь частично подчинялось их правлению, эти центры итальянской свободы находились в совершенно ином положении, чем крестьянские общины Швица, Ури, Унтенвальдена. Более того, Италия не могла бы быть объединена на федеральном уровне без согласия Неаполя и Церкви. Королевство Обеих Сицилий, ставшее окончательно монархическим в результате нормандского завоевания, представляло собой серьезное препятствие; и хотя регно могло быть отвергнуто и поглощено энергичным согласованным движением с Севера и центра, все еще оставалась оппозиция

папства. Недавней политикой пап было поддерживать свободные города в их войне с Фридрихом. Но они сделали это только потому, что не могли допустить, чтобы соперник находился рядом с их опорой духовной власти; и те самые причины, которые заставили их встать на сторону городов в освободительных войнах, пробудили бы их враждебность к федеративному союзу. Поощрять итальянский бунд, посреди которого они обнаружили бы Церковь безоружной и стоящей на одном уровне с могущественными городами Ломбардии и Тосканы, должно быть, казалось им самоубийственной ошибкой. Такой коалиции, если бы она была предпринята, не могли бы не противостоять изо всех сил; ибо вся история Италии доказывает, что Макиавелли был прав, когда утверждал, что Церковь упорно поддерживала нацию в разобщенности ради достижения своих собственных эгоистичных целей. Кроме того, мы должны добавить о престиже, который Империя сохранила для итальянцев, неспособных представить себе какое-либо цивилизованное, человеческое общество, главой которого представитель цезаря не был бы назначен Богом. Хотя материальная власть императоров шла на убыль, она все еще существовала как доминирующая идея. Италия по-прежнему была Садам Империи в не меньшей степени, чем Престолом Христа на земле. После того как бурги вырвали у Фридриха то, что они считали своими разумными правами и привилегиями, они сложили оружие и удовлетворились процветанием под сенью империи. Воздвигнуть политическую ассоциацию в качестве оплота против Священной Римской империи и посредством формирования этой защиты стать независимой и объединенной нацией, вместо того чтобы оставаться совокупностью разрозненных городков, показалось бы им чуть ли не святотатством. До этого момента Церковь и Империя были, по крайней мере теоретически, согласованными. Они были солнцем и луной священной социальной системы, которая управляла Европой светом и мощью. Но Инвеститурные войны привели их к антагонизму, и результатом этой ссоры стало еще большее разделение итальянцев, еще большее удаление надежды на национальное единство в область недостижимых вещей. Великие вечеринки усиливали общественную зависть и придавали внешнюю форму и содержание борьбе города с городом. Возможность конфедерации в широком масштабе была настолько далека, что каждый город стремился установить внутри себя один из двух противоречащих принципов, и энергия людей тратилась на борьбу, которая натравливала соседей на соседей на поле войны и на рыночной площади. Неразбериха, истощение и деморализация, порожденные этими конфликтами, определили приход к власти деспотов; и после 1400 года Италия могла быть объединена только под железным правлением тирана. К такому вселенскому деспотизму стремился Джан Галеаццо Висконти, когда чума положила конец его планам. Чезаре Борджиа сделал для этого самые высокие ставки. Лев X. мечтал об этом для своей семьи. Макиавелли в конце "*Принципи*", когда трагедия Италии была почти завершена, призвал к этому. Но даже для этого последнего шанса объединения было уже слишком поздно. Великие нации Европы были в движении, и судьбы Италии зависели от Франции и Испании. Когда Карл V остался победителем в борьбе шестнадцатого века, он сформировал стереотипные представления о разделении Италии в интересах своей собственной династической политики. Единственной итальянской державой, которая оставалась неизменной на протяжении всех перемен, было папство — первое, занявшее видное положение после распада старой Западной империи, последнее, кто пострадал от упадка, несмотря на превратности судьбы, унижения, расколы и внутренние преобразования. Поскольку папство создало и поддерживало разделенную Италию, поскольку оно противопоставляло себя каждой последующей перспективе объединения, оно пережило угасание итальянской независимости и оказало помощь той имперской тирании, благодаря которой разобщенность нации была подтверждена и продлена до нынешнего столетия.

ГЛАВА III.

ЭПОХА ДЕСПОТОВ.

Характерные черты Италии Четырнадцатого и пятнадцатого веков—Отношение Италии к Империи и Церкви—Незаконный титул итальянских властителей—Свободное проявление личности—Фридрих II. и влияние его примера—Эдзелино да Романо—Шесть разновидностей итальянских деспотов—Феодальные сеньоры—Наместники Империи—Военачальники народа—Кондотьеры—Племянники и сыновья пап—Видные бюргеры—Неспособность итальянцев к самоуправлению в Содружествах—Насильственное удержание власти поощряло личные способности —Условия жизни деспота—Примеры бытовой преступности в правящих домах—Описание итальянского тирана Макколеем —Описание тирана Савонаролой и Маттео Виллани—Поглощение Меньших большими тираниями в четырнадцатом веке—История Висконти—Франческо Сфорца—Роль, которую играли в итальянской политике военачальники—Наемническая война—Альберико да Барбиано, Браччо да Монтоне, Сфорца Атендоло—История династии Сфорца—Убийство Галеаццо Марии Сфорца—Этика тираноубийства в Италии—Отношение деспотов к искусству и литературе—Сигизмондо Пандольфо Малатеста—Герцог Федерико Урбинский—Школа Витторино и двор Урбино—Кортегиано Кастильоне—Идеалы итальянского придворного и современного джентльмена—Общая ретроспектива.

Четырнадцатый и пятнадцатый века можно назвать Эпохой деспотов в истории Италии, поскольку двенадцатый и тринадцатый - это эпоха Свободных городов, а шестнадцатый и семнадцатый - эпоха иностранного порабощения. Именно в эпоху деспотов сложились условия Возрождения, и само Возрождение приобрело в Италии определенный характер. При тирании, в разгар интриг, войн и революций своеобразная индивидуальность итальянцев получила свое окончательное развитие. Эта индивидуальность, столь же примечательная выдающейся гениальностью и рассеянным талантом, как и застенчивостью и преднамеренным пороком, определила качества эпохи Возрождения и подала пример всей Европе. Италия была лидером в воспитании западных народов и первой осознала современный тип жизни, отличный от классической и средневековой.

В эту эпоху деспотов Италия представляет собой зрелище нации, лишенной центрального правительства и сравнительно не подверженной влиянию феодализма. Право императора стало номинальным и служило скорее предлогом для узурпаторов, чем источником порядка. Визиты, например, Карла IV. и Фридриха III. это были либо походы за подаянием, либо праздничные экскурсии, в ходе которых честолобивые авантюристы покупали титулы городских властей, а тщеславным придворным оказывались бессмысленные почести. Только во времена правления Максимилиана Германия провела более серьезную политику в отношении Италии, которая к тому времени стала центральным пунктом европейских интриг. Впоследствии Карл V. применил силу для восстановления имперских прав на итальянские города, действуя не столько в интересах империи, сколько для усиления испанской монархии. В то же время папство, которое так много сделало для подрыва авторитета Империи, осуществляло власть, одновременно аномальную и плохо признаваемую за исключением непосредственных членов Церкви. Уничтожив дом Гогенштауфенов и присвоив себе право даровать инвеституру

Неаполитанского королевства иностранцам, папы не только нанесли смертельный удар имперскому влиянию, но и подготовили путь для своего собственного изгнания в Авиньон. Это повлекло за собой потерю второго великого органа власти, к которому Италия привыкла для поддержания какого-то единства нации. Более того, Церковь, хотя и была бессильна объединить всю Италию под своим собственным влиянием, обладала достаточной властью, чтобы предотвратить образование ни Миланом, ни Венецией, ни Неаполем значительного королевства. Результатом стал постоянно повторяющийся процесс составления, расчленения и перекомпоновки в различных формах разрозненных элементов итальянской жизни. Партии гвельфов и гибеллинов, унаследованные от войн XIII века, пережили политические интересы, которые их породили, и долгое время после того, как они перестали иметь какое-либо реальное значение, оставались непреодолимым препятствием на пути к умиротворению страны.^[1] Единственным важным государством, которое поддерживало непрерывную династическую преемственность, какой бы спорной она ни была в этот период, было королевство Двух Сицилий. Единственными великими республиками были Венеция, Генуя и Флоренция. Из них Генуя, после того как Венеция ослабила ее могущество и процветание, оказалась в тени сменявших друг друга миланских лордов, в то время как Флоренции было суждено в конце долгой борьбы пасть под власть семьи деспотов. Вся остальная Италия, особенно к северу от Апеннин, была полем битвы тиранов, чей титул был незаконным, то есть не основанным на феодальных принципах, не унаследованным обычным образом от Империи, а обычно преподносимым в дар или вымогаемым в качестве приза у господствующих партий в крупных городах.

^[1] Уже в 1526 году мы находим восклицание поэта—бурлеска Фоленго (*Орландино*, ii. 59)-

Chè se non fusser le gran parti in quella,
Dominerebbe il mondo Italia bella.

Если мы рассмотрим устройство этих тираний, то найдем множество доказательств их деспотической природы. Наследование от отца к сыну всегда было неопределенным. Законность рождения едва ли соблюдалась. Последние Ла Скалас были бастардами. Арагонский дом в Неаполе происходил от бастарда. Габриэлло Висконти разделил со своими сводными братьями наследие Джан Галеаццо. Линию Медичи продолжили принцы более чем сомнительного происхождения. Подозрение пало на рождение Фредерика Урбинского. Дома Эсте и Малатеста почитали своих бастардов в той же степени, что и законных отпрысков. Великое семейство Бентивольи в Болонье было обязано своим влиянием в конце пятнадцатого века неизвестному и, вероятно, фальшивому претенденту, которого политика Козимо Медичи увела с шерстяных фабрик Флоренции. Сыновья пап принадлежали к самым гордым аристократическим семьям. При выборе правителя дворянство учитывалось меньше, чем личные способности. Власть, однажды приобретенная, удерживалась силой, и история правящих семей - это один длинный перечень преступлений. И все же города, управляемые таким образом, были упорядоченными и процветающими. Полицейские правила были тщательно установлены и поддерживались губернаторами, в чьих интересах было управлять спокойным государством. Культура была широко распространена, независимо от ранга или богатства. Множились общественные здания колоссального величия. Тем временем люди в

целом привыкали к той самосознательной и разумной деятельности, которая поощряется образом жизни, характерным для политических и социальных центров в условиях непрекращающегося соперничества и перемен.

При итальянских деспотизмах мы наблюдаем почти противоположность всем влияниям, оказанным в тот же период на народы Севера. Нет постепенного поглощения крупных вассалов монархиями, нет постоянной преданности правящей династии, нет феодальной помощи или военной службы, связанной с владением земель, нет тенденции централизовать всю интеллектуальную деятельность расы в какой-либо столице, нет подавления индивидуального характера сильно предвзятыми общественными чувствами, непреложным законом или подавляющим весом социальной иерархии. Напротив, все стремится к свободному проявлению личных страстей и личных целей. Хотя вассалы деспота - это не его солдаты и не его верные вассалы, а его придворные и налогоплательщики, постоянные объекты его жестокости и страха, все же у каждого подданного есть шанс стать принцем, подобным Сфорце, или спутником принцев, подобных Петрарке. Равенство рабства имеет большое значение для демократизации нации, а всеобщая ненависть к тирану приводит к объединению против него всех классов. Отсюда следует брожение высокомерных и самонадеянных страстей в груди как низших, так и высших.^[1] Быстрые изменения в правительстве учат людей заботиться о себе и полагаться только на себя в мировой битве; в то время как необходимость хитрости и политики в ведении сложных дел обостряет интеллект. Применение всех средств, которые могут обеспечить достижение цели в условиях социального насилия, поощряет универсальность, непредвзятую моральными соображениями. В то же время свободное потворство порокам суверена является примером потакания своим желаниям для подданного, а его потребность в незаконных инструментах является практической санкцией силы во всех ее формах. Таким образом, игре личности, будь то в борьбе с обществом и соперниками или в удовлетворении индивидуального каприза, позволена любая свобода. Сила заменяет право, а чувство закона вытесняется простым страхом перед принуждением. Что удивительного, если Бенвенуто Челлини стал результатом того же общества, что и Чезаре Борджиа? В чем чудо, если Италия при таких обстоятельствах породила самообытные характеры и разносторонний интеллект в большем изобилии, чем любая другая нация в любой другой период, за единственным исключением Греции, вышедшей из эпохи своих деспотов? Несчастьем Италии было то, что на смену эпохе деспотов пришла не эпоха свободного политического существования, а эпоха иностранного рабства.

^[1] См. Гвиччардини, "Dialogo del Reggimento di Firenze", *Соч. Ined.* том ii. стр. 53, за критику мотивов тиранубийства в Италии.

Фридрих II. в то же время был последним императором, который лично поддерживал имперскую власть в Италии, а также основателем новой системы правления, которую впоследствии использовали деспоты. Его основание сарацинской колонии в Ночере как ядра армии, готовой выполнять его приказы со скрупулезным пренебрежением к итальянским симпатиям и обычаям, научило всех будущих правителей низводить своих подданных до состояния безоружной пассивности и вести свои войны с помощью немецких, английских, швейцарских, гасконских, бретонских или венгерских наемников, в зависимости от обстоятельств. Фредерик, опять же, перенял у своих мусульманских предшественников на Сицилии искусство налогообложения до

предельных пределов национальных возможностей и основал прецедент взимания пошлин с помощью Catasto, или графика, с имущества, приписанного каждому отдельному лицу в государстве. Он также уничтожил самоуправление городов и округов, сохранив за собой право назначать должностных лиц и установив систему судебной юрисдикции, которая исходила от трона. И снова он привел пример государя, извлекающего прибыль из промышленности своих подданных с помощью монополий и защитных пошлин. На этом пути за ним последовали выдающиеся преемники, особенно Сикст IV. и Альфонсо II. короля Арагона, который обогатился на торговле кукурузой и оливковым маслом в своих голодающих провинциях. Наконец, Фридрих создал прецедент двора, сформированного по образцу двора восточных султанов, в котором камергеры и секретари носили ранг потомственных дворян, а государственные функции были возложены на личных слуг монарха. Этот двор придал силу тем привычкам к вежливой культуре, роскошной жизни и личной роскоши, которые сыграли столь заметную роль во всем последующем итальянском деспотизме. Возникает соблазн несколько преувеличить в оценке прямого влияния примера Фредерика. Во многих отношениях, несомненно, он просто несколько опередил свой возраст; и то, что мы, возможно, склонны приписать ему лично, последовало бы при естественном развитии событий. И все же остается фактом, что он первым осознал тип культивируемого деспотизма, который господствовал по всей Италии в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Итальянская литература зародилась при его дворе, и многие сарацинские обычаи государственного управления были переданы через него из Палермо в Ломбардию.

В то время как Фредерик предвещал сравнительно современных тиранов грядущей эпохи, его наместник на севере Италии Эццелино да Романо олицетворял зверства, к которым они всегда склонны были склоняться. Считая себя с каким-то ужасным почитанием божественно назначенным бичом человечества, этот монстр при жизни был проклят как отклонение от "доброй расы людей", а после своей смерти он стал героем дьявольского мифа. Но в последующие столетия итальянской истории такие, как он, были слишком распространены; безнравственность, с которой он достигал своих эгоистичных целей, систематически перенималась такими князьями, как Висконти, и сводилась к правлению такими теоретиками, как Макиавелли. Эдзелино, маленький, бледный, жилистый человечек, с ужасом на лице и энтузиазмом к злу в сердце, жил врагом роскоши, холодным к пафосу детей, мертвым для очарования женщин. Единственной его страстью была жажда власти, усиленная жаждой крови. Первоначально дворянин Веронской марки, он основал свою незаконную власть на посту капитана императорской партии, делегированном ему Фридрихом. Верона, Виченца, Падуя, Фельтре и Беллуно сделали его своим капитаном в интересах гибеллинов, предоставив ему как судебное, так и военное превосходство. То, как он страшно злоупотреблял своей властью, как против него проповедовался крестовый поход,^[1] и то, как он умер в тишине, подобно загнанному кабану, срывая со своих ран повязки, которые наложили на него враги, чтобы сохранить ему жизнь, печально известны в истории. Только в Падуе он построил восемь тюрем, в двух из которых содержалось по триста пленников в каждой; и хотя палач никогда не прекращал заниматься там своим ремеслом, они всегда были полны. Эти подземелья были созданы для пыток своим шумом, нехваткой воздуха, света и простора. Эццелино сделал себя ужасным не только казнями и тюремным заключением, но и увечьями и пытками. Когда он захватил Фриолу, он приказал лишить население всех возрастов, полов, занятий глаз, носов и ног и отдать его на милость стихии. В другой раз он замуровал семью принцев в замке и оставил их умирать с голоду. Богатство, положение и красота вызывали его неудовольствие не меньше, чем неподчинение. Он был не только хитер, но и жесток. Сыновья предавали своих отцов,

друзья - товарищей под ложной защитой его обещаний. Гигантским примером его интриги стал государственный переворот, с помощью которого ему удалось заманить в ловушку 11 000 падуанских солдат, только 200 из которых избежали страданий его тюрем. Таким образом, своим абсолютным презрением к закону, своей непомерной жестокостью, продолжительными массовыми убийствами и причинением чумы целым народам Эццелино утвердил в Италии идеал тирана, идущего к своей цели любыми средствами. Напрасно человечество этой расы было возмущено этим отвратительным зрелищем. Тщетно монахи собирали охваченные жалостью толпы людей на равнине Пакуара, чтобы слезами и раскаянием искупить оскорбление, нанесенное святым на небесах яростью Эццелино. Она глубоко завладела итальянским воображением и благодаря очарованию отвращения, способному завораживать, в конце концов оказалась заразительной. Мы склонны спрашивать себя, не безумны ли такие люди — ли в случае Нерона, маршала де Реца или Эццелино любовь ко злу и жажда крови не являются маниакальным извращением варварских страстей, которые даже у каннибала нездоровы.[2] Существует ли на самом деле такая вещь, как Гематомания, Жажда крови? Но если мы ответим на этот вопрос утвердительно, нам придется указать, сколько Висконти, Сфорцески, Малатести, Борджиа, Фарнези и принцев Анжуйского и Арагонского домов в списке этих маньяков? Эццелино действительно был лишь первым в длинной и ужасной процессии, самым наводящим ужас, потому что самым ранним, прообразом всех остальных.

[1] Александр IV. выпустил письма для этого крестового похода в 1255 году. В следующем году об этом проповедовал архиепископ Равенны.

[2] См. Приложение № I.

Жестокость Эццелино была не просто яростью берсерка или Ликантропией, охватывавшей его порывами и оставлявшей обессиленным. Это было устойчиво и непрерывно. В его безумии, если так можно назвать эту бесчеловечность, был метод; он использовал его до конца, укрепляя свою тиранию. И все же, поскольку это перешло все границы и подготовило его падение, можно сказать, что оно овладело его натурой, обуреваемой безумным аппетитом. Применяя терминологию болезней к этим исключительным монстрам, мы не должны допускать, что их зверства были, по крайней мере поначалу, вне их контроля. Моральное помешательство часто является не чем иным, как гипертрофией какой-нибудь вульгарной страсти — похоти, насилия, жестокости, ревности и тому подобного. Тиран, поставленный выше закона и менее подверженный влиянию общественного мнения, чем частное лицо, может легко позволить жадности к удовольствиям или любви к кровопролитию приобрести болезненные масштабы в своей натуре. Тогда его не без основания называют мономаньяком. В кругу своего извращенного аппетита он проявляет себя иррациональным. Он становится марионеткой страстей, которые здравомыслящий человек не может даже представить в своем воображении, жертвой желания, постоянно повторяющегося и вечно обреченного оставаться неудовлетворенным; и никакая галлюцинация не сродни безумию больше, чем мираж радости, которая заставляет душу жаждать больше, чем это было раньше, пароксизм неестественного удовольствия, который утомляет жаждущие его нервы.

В лице Фридриха, современного автократа, и Эццелино, легендарного тирана, мы находим самые ранние образцы двух типов деспотизма в Италии. Их слава еще долгое время после их смерти сильно влияла на воображение людей, запечатлелась в итальянской литературе и породила сознание тирании в умах безответственных правителей.

В течение четырнадцатого и пятнадцатого веков мы находим, грубо говоря, шесть видов деспотов в итальянских городах.^[1] Из них *первый* класс, который является очень небольшим, имел династическое или наследственное право, вытекающее из длительного сеньориального владения несколькими округами. Наиболее выдающимися являются дома Монферрата и Савойи, маркизы Феррары, принцы Урбино. В то же время трудно понять, где провести грань между таким наследственным господством, как у семьи Эсте, и тиранией, основанной на благосклонности народа. Малатести из Римини, Полентани из Равенны, Манфреды из Фаэнцы, Орделаффи из Форли, Кьявелли из Фабриано, Варани из Камерино и другие могли бы претендовать на место среди первых, поскольку их города подчинились им без длительного периода республиканской независимости, подобного тому, который предшествовал деспотизму в случаях, которые будут упомянуты далее. Тем не менее, эти семьи называли себя капитанами городов, которыми они управляли; и во многих случаях они получали дополнительный титул викариев Церкви.^[2] Даже Эстенсы стали наследственными капитанами Феррары в конце тринадцатого века, хотя они также признали верховенство папства. Фактически в Италии не существовало никаких прав за пределами Империи; и деспоты любого происхождения или комплекции с радостью принимали поддержку, которую мог оказать титул, полученный от Империи, Церкви или Народа. Оказавшись на передовой среди суматохи гражданских войн и принятые толпой в качестве умиротворителей фракций, они получили подтверждение своего аномального авторитета, представившись лейтенантами или наместниками трех великих держав. К *второму* классу относятся те дворяне, которые получили титул наместников империи и построили незаконную власть на основе имперского права в Ломбардии. Из них семьи Делла Скала и Висконти являются выдающимися примерами. Найдя в своем официальном качестве готовую основу, они расширили ее за справедливые пределы и вопреки Империи учредили династии. *Третий* класс очень важен. Дворяне, наделенные военной или судебной властью в качестве капитанов или подестов свободных городов, использовали свою власть для порабощения городов, которыми они были выбраны для управления. Именно таким образом почти все многочисленные тираны Ломбардии, Каррарези в Падуе, Гонзаги в Мантуе, Росси и Корреджи в Парме, Торренсы и Висконти в Милане, Скотти в Пьяченце и так далее, впервые основали свои деспотические династии. Этот факт в истории итальянской тирании примечателен. Купель чести, так сказать, была у граждан этих великих городов. Поэтому, когда пределы полномочий, делегированных народом их военачальникам, были превышены, власть князей стала заведомо незаконной. Незаконность несла с собой все последствия нечистой совести, всю ненадежность узурпированного господства, все опасности извне и изнутри, которым подвергается деспотичный правитель. В *четвертом* классе мы обнаруживаем, что принцип силы действует еще более открыто. К нему могут быть отнесены те кондотьеры, которые по своему усмотрению грабили города. Знаменитый Угуччоне делла Фаджиуола, который пренебрег своей победой над гвельфами при Монте-Катини, чтобы укрепить свою власть в Лукке и Пизе, является ранним примером тирана такого рода. Другой его преемник, Каструччо Кастракане, герой романа Макиавелли. Но только в первой половине XV века профессиональные кондотьеры стали достаточно могущественны, чтобы основать такие королевства, как, например, королевство Франческо Сфорца в Милане.^[3] К *пятому* классу относятся племянники или сыновья пап. Княжество Риарио в Форли, Делла Ровере в Урбино, Борджиа в Романье, Фарнезе в Парме образуют особый вид деспотизма; но все они имеют сравнительно позднее происхождение. До папства Сикста IV. и Иннокентия VIII. Папы не задумывались о том, чтобы таким образом обеспечивать своих родственников. Кроме того, можно отметить, что в этих тираниях была существенная слабость. Поскольку они должны были

быть вычленены из Церковных штатов, папа, утвердивший своего сына, скажем, в Романье, умер прежде, чем смог увидеть, как он утвердился в провинции, которую следующий папа стремился вырвать из его рук, чтобы передать ее своему собственному фавориту. Структура Церкви не смогла бы долго выдерживать эту позорную борьбу между папскими семьями за династическое владение церковной собственностью. К счастью для существования папства, волна контрреформации, начавшаяся после разграбления Рима и великого Северного раскола, положила конец кумовству в его самой неприкрытой форме.

[1] Эта классификация по необходимости должна быть несовершенной, поскольку многие тирании частично принадлежат к двум или более видам, которые я упомянул.

[2] См. Guicci. *Ист.* конец книги 4.

[3] Джон Хоквуд (умер в 1393 году), английский авантюрист, отобрал Котиньолу и Баньякавалло у Григория XI. Во второй половине пятнадцатого века попытки кондотьеров установить тиранию были наиболее частыми. Браччо да Монтоне обосновался в Перудже в 1416 году и стремился, не без веских оснований, заполучить итальянское королевство. Франческо Сфорца, прежде чем завоевать Милан, начал формировать деспотию в Анконе. Соперник Сфорцы, Джакомо Пиччинино, вероятно, преуспел бы в своей попытке, если бы Фердинанд Арагонский не предательски убил его в Неаполе в 1465 году. В результате дезорганизации, вызванной Карлом VIII, Видоверо из Брешии в 1495 году обосновался в Чезене и Кастельнуово и был убит Пандольфо Малатестой по наущению Венеции. После смерти Джан Галеаццо Висконти в 1402 году генералы, которых он нанял для консолидации своих обширных владений, попытались разделить добычу между собой. Неаполь, Венеция, Милан, Рим и Флоренция со временем остро осознали риск, связанный с тем, что капитан-авантюрист может беспрепятственно следовать своим курсом.

Остается упомянуть *шестой* и последний класс деспотов. Это опять же большое дело первостепенной важности. Выдающиеся граждане, такие как Медичи во Флоренции, Бентивольи в Болонье, Бальони в Перудже, Вителли в Читта-ди-Кастелло, Гамбакорти в Пизе, такие как Пандольфо Петруччи в Сиене (1502), Ромео Пеполи, ростовщик из Болоньи (1323), плебей Алтиклинио и Аголанте из Падуи (1313), Джованни Виньяте, миллионер из Лоди (1402), приобрели более чем должный вес в ведении дел, и постепенно склонялся к тирании. В большинстве этих случаев огромное богатство было первоначальным источником деспотического господства. Не было редкостью покупать города вместе с их синьорией. Так, Росси купили Парму за 35 000 флоринов в 1333 году; Аппиани продали Пизу; Асторре Манфреди продал Фаэнцу и Имолу в 1377 году. В 1444 году Галеаццо Малатеста продал Пезаро Алессандро Сфорца, а Фоссомброне - Урбино; в 1461 году Червия была продана Венеции той же семьей. Франческетто Сибо приобрел графство Ангильяра. Города, наконец, обрели свою рыночную стоимость. Было известно, что Болонья стоила 200 000 флоринов, Парма - 60 000, Арrezzo - 40 000, Лукка - 30 000, и так далее. Но личные качества и благородство крови также могут породить деспотов шестого класса. Таким образом, Бентивольи утверждали, что происходят от бастарда короля Энцо, сына Фридриха II, который долгое время был почетным узником в Болонье. Бальони, после затяжной борьбы с соперничающей семьей Одди, были обязаны своим превосходством способностям и энергии в последние годы пятнадцатого века. Но соседство с папской властью и их собственные внутренние раздоры сделали власть этой семьи в Перудже

ненадежной. Как и в случае с Медичи и Бентивольи, могло пройти много поколений, прежде чем такие бюргерские семьи приняли династическую власть. Но к этой цели они всегда шли.

История буржуазных деспотов доказывает, что Италия в пятнадцатом веке переживала естественный процесс стремления к тирании. Сисмонди может попытаться продемонстрировать, что Италия "не несет ответственности за преступления, которыми ее запятнали ее тираны". Но факты показывают, что она несла ответственность за выбор деспотов вместо того, чтобы оставаться свободной, или, скорее, что она инстинктивно подчинялась закону социальной эволюции, по которому князья должны были быть заменены муниципалитетами в конце тех ожесточенных внутренних конфликтов и изнурительных войн на почве ревности, которыми завершились средние века. Макиавелли, при всей его любви к свободе, вынужден признать, что в его время самые могущественные провинции Италии стали неспособны к свободе. "Никакая случайность, какой бы весомой она ни была и насильственной, никогда не смогла бы вернуть Милану или Неаполю свободу из-за их полной коррупции. Это ясно из того факта, что после смерти Филиппо Висконти, когда Милан попытался вернуть себе свободу, она не смогла ее сохранить."^[1] Прав ли Макиавелли, связывая эту неспособность к самоуправлению с разложением морали и религии, можно усомниться. Но несомненно, что во всех государствах Италии, за единственным исключением Венеции, действовали причины, враждебные республикам и благоприятные деспотизму.

^[1] *Discorsi*, i. 17. Флорентийский философ замечает в том же отрывке: "Города, некогда развращенные и привыкшие к правлению принца, никогда не смогут обрести свободу, даже если принц со всеми его родственниками будет истреблен. Один принц нужен, чтобы уничтожить другого; и городу нет покоя, кроме как с приходом нового лорда, если только одному бюргеру благодаря его доброте и выдающимся качествам не удастся сохранить его независимость при жизни".

В этой классификации итальянских тиранов можно заметить, что сохранение их власти было почти повсеместно насильственным. Как правило, они приобретали это в первую очередь через народ и поддерживали это с помощью насилия. Ранг не имел ничего общего с их притязаниями. Незаконнорожденные папы, которым нравится Сикст IV. не имевший родословной купец вроде Медичи, сын крестьянина вроде Франческо Сфорца, богатый ростовщик вроде Пеполи имели почти равные шансы с дворянами из древних домов Эсте, Висконти или Малатеста. Главным аргументом в пользу последнего была фамильярность, которая за долгие годы правления приучила народ к их правлению. После изгнания у них было больше шансов вернуться к власти, чем у парвенуса, чей партийный лозунг и эмблемы были сравнительно свежими и не вызывали чувства лояльности — если, конечно, слово "лояльность" можно применить к тому предпочтению установленному и привычному, которое заставляло толпу, отвлеченную пререканиями доктринеров и интриганов, приветствовать возвращение Бентивольи или Малатесты. Деспотизм в Италии, как и в Древней Греции, был демократическим. Он набирал в свои ряды представителей всех классов и возводил свои троны на суверенитете угнетаемых им народов. Импульс к свободной игре амбициозной индивидуальности, о которой говорило такое положение вещей, был огромен. Способности могли бы возвести самого захудалого монаха на кафедру Святого Петра, самого захудалого солдата - в миланское герцогство. Дерзость, энергичность, беспринципное преступление были главными предпосылками успеха. Только после того, как Чезаре Борджиа продемонстрировал свое великолепие при французском дворе, пока итальянский авантюрист не сравнялся с королевской семьей в ее законном великолепии,

низость его происхождения и легкомыслие его притязаний предстали в ярком свете.^[1] В самой Италии, где не существовало освященной веками иерархии классов и источника благородства в лице монарха, один человек мог сравниться с другим, при условии, что он знал, как заявить о себе. Условиям общества, основанного на этих принципах, мы можем приписать непревзойденное появление великих личностей среди тиранов, а также необычайное упорство и энергию таких рас, как висconti. В борьбе за власть и в поддержании незаконной власти избранные спортсмены вышли на первый план. Борьба, посредством которой они установили свою тиранию, усилия, с помощью которых они защищали ее от внешних и внутренних врагов, приучили их к выносливости и отваге. Они обычно жили в атмосфере опасности, которая отнимала всю их энергию. Их активность была экстремальной, а страсти соответствовали их неистовой жизненной силе. В таких людях не могло быть ничего мелкого или посредственного. Когда в деспотической семье рождался слабак, его братья убивали его или он был свергнут бдительным соперником. Таким образом, только испытанные гладиаторы с железными нервами, стоящие выше религиозных и моральных угрызений совести, мертвые для национальной привязанности, отточенные в вероломстве, научившиеся применять жестокость и террор, использующие первоклассные способности мозга, воли и телесные силы на службе трансцендентному эгоизму, только *виртуозы* политического ремесла, как теоретизировал Макиавелли, могли выжить и выстоять на этой опасной арене.

^[1] Брантом *Капитан чужеземцев*, "Дискурс 48", рассказывает о вступлении Борджиа в Шинон в 1498 году и добавляет: "Король, стоявший у окна, видел, как он прибыл, и не может быть сомнений в том, что он и его придворные высмеивали все это состояние, как неподобающее мелкому герцогу Валентинуа".

Жизнь деспота обычно была полна затяжного ужаса. Замурованный в надежных местах на высоких скалах или заключенный в мрачных крепостях, таких как миланский Кастелло, он окружал себя иностранными войсками, охранял свою спальню отборной охраной и следил за едой и питьем, чтобы они не были отравлены. Его главными сподвижниками были художники, литераторы, астрологи, шуты и изгнанники. У него не было настоящих друзей или равных, и по отношению к собственной семье он придерживался крайне подозрительной позиции, оправданной частыми интригами, которым он подвергался.^[1] Его робость граничила с манией. Как Альфонсо II. в Неаполе его пытали призраки заморенных голодом или задушенных жертв; подобно Эццелино, он испытывал таинственное очарование астрологии; подобно Филиппо Марии Висконти, он трепетал при звуке грома и приставлял один отряд телохранителей следить за другим рядом с его персоной. Он не смел надеяться на спокойный конец. Никто не верил в естественную смерть принца: принцев должны были отравлять или колоть.^[2] Из тринадцати членов семьи Каррара чуть более чем за столетие (1318-1435) трое были свергнуты или убиты близкими родственниками, один был изгнан соперником из своего государства, четверо были казнены венецианцами. Из пяти членов семьи Ла Скала трое были убиты своими братьями, а четвертый был отравлен в изгнании.

^[1] Посмотрите, что Гвиччардини в своей *Истории Флоренции* говорит о подозрительном нраве даже такого тирана, как культурный и философствующий Лоренцо Медичи. Посмотрите также несравненно красноречивую и проникновенную аллегорию *Соспетто* и ее применение к тиранам Италии в "*Чинкве Канти*" Ариосто (С. 2. Стр. 1-9).

[2] Наш драматург Вебстер, чей гений был очарован преступлениями итальянского деспотизма, заставляет герцога Браччано воскликнуть на смертном одре:-

"О ты, мягкая естественная Смерть, ты - сородич-близнец
сладчайшего Сна!" ни одна грубобородая комета
Не взирает на твой тихий уход; унылая сова
не бьется о твоё окно; хриплый волк
Не чует твоей падали: жалость овеивает твоё тело,
В то время как ужас подстерегает принцев".

Случаи бытовых преступлений можно было бы умножить на сотни. Помимо тех, которые последуют на этих страницах, достаточно отметить убийство Джованни Франческо Пико его племянником в Мирандоле (1533); убийство его дяди Оливеротто да Фермо; убийство Джованни Варано его братьями в Камерино (1434); братоубийство Остазио да Поленты (1322); братоубийство Обиццо да Поленты в следующем поколении и убийство Уголино Гонзаги его братьями; убийство Джаном Франческо Гонзагой своей жены; убийство Джаном Франческо Гонзагой своей жены. отравление первой жены Франческо Сфорца, Полиссены, графини Монтальто, с маленькой дочерью, совершенное ее тетей; и убийство Галеотто Манфреди его женой в Фазенце (1488).

Перечислить все катастрофы царствующих семей, произошедшие только в пятнадцатом веке, было бы совершенно невозможно в рамках этой главы. И все же, только сосредоточившись на более важном, можно составить сколько-нибудь адекватное представление об опасностях итальянского деспотизма. Таким образом, Джироламо Риарио был убит своими подданными в Форли (1488), а Франческо Вико деи Префетти - в церкви Сан-Систо в Витербо[1] (1387). В Лоди в 1402 году Антонио Физирага сжег главных членов правящего дома Вистарини на городской площади, а через несколько месяцев сам умер от яда. Его преемник при тирании, Джованни Виньяте, был заключен Филиппо Марией Висконти в деревянную клетку в Павии и в отчаянии разбил себе голову о ее прутья. В ту же эпоху Габрино Фондуло вместе убил семьдесят членов семьи Кавалькабо в своем замке Макастормо с целью установления их тирании над Кремоной. Впоследствии он был обезглавлен как предатель в Милане (1425). Оттобон Терци был убит в Парме (1408), Никола Боргезе - в Сиене (1499). Альтобелло Даттири в Тоди (около 1500 г.), Раймондо и Пандольфо Малатеста в Римини и Оддо Антонио ди Монтефельтро в Урбино (1444 г.).[2] Варани были убиты до одного человека в церкви Святого Доминика в Камерино (1434), Тринчи в Фолиньо (1434) и Кьявелли из Фабриано в церкви в День Вознесения (1435). Это массовое истребление трех царствующих семей представляет собой один из самых романтических эпизодов в истории итальянского деспотизма. От резни варани единственный ребенок, Джулио Чезаре, двухлетний мальчик, был спасен своей тетей Торой. Она спрятала его в охапке сена и отнесла в Тринчи в Фолиньо. Едва она нашла это убежище, как Тринчи были разрушены, и ей пришлось бежать со своей ношей к Кьявелли в Фабриано. Там ее ожидали те же сцены кровопролития. В третий раз она обратилась в бегство и теперь прятала своего драгоценного подопечного в женском монастыре. Впоследствии мальчик был похищен из города верхом на лошади солдатом-авантюристом. Пережив три массовых убийства родственников, он вернулся в качестве деспота в возрасте двенадцати лет в Камерино и стал выдающимся генералом. Но ему не суждено было спокойно закончить свою жизнь. В конце концов, Чезаре Борджиа убил его вместе с тремя его сыновьями, когда ему исполнилось

шестьдесят. Менее романтической, но не менее значимой в анналах тирании является история тринчи. Аристократ-соперник Фолиньо, Пьетро Расилья, был ранен в свою честь главой правящего дома. Он ухитрился убить двух братьев, Николу и Бартоломмео, в своем замке Ночера; но третий, Коррадо Тринчи, сбежал и жестоко отомстил своему врагу. С помощью Браччо да Монтоне он овладел Ночерой и всеми ее жителями, за исключением жены Пьетро Расилья, которую ее муж сбросил с зубчатой стены. Затем Коррадо вырезал мужчин, женщин и детей клана Расилья числом в триста человек, свершив свою месть с подробностями зверства, слишком адскими, чтобы подробно останавливаться на этих страницах. Записано, что тридцать шесть ослов, нагруженных своими искалеченными конечностями, прошли парадом по улицам Фолиньо, являя собой ужасающее зрелище для жителей. Затем он правил городом с помощью насилия, пока воинственный кардинал деи Вителлески не отомстил обществу за столько зла, уничтожив тирана и пятерых его сыновей в том же году. Столь же фантастичны анналы великого дома Бальони в Перудже. Выросшие в 1389 году на руинах буржуазной фракции под названием Распанти, они основали свою тиранию в лице Пандольфо Бальони, который был убит вместе с шестьюдесятью членами своего клана и последователями свергнутой ими партией. Новый деспот, Бьердо Микелотти, был ранен в плечо отравленным кинжалом своим родственником, аббатом Сан-Пьетро. Затем, в 1416 году, город подчинился Браччо да Монтоне, который возвысил его до небывалого могущества и славы. После его смерти в семье начались новые раздоры, от которых ее снова спасли Бальони в 1466 году, теперь наконец добившиеся успеха в своей длительной войне с соперничающей семьей Одди. Но они не поддерживали свой деспотизм в спокойствии. В 1500 году один из членов этого дома, Грифонетто дельи Бальони, устроил заговор против своих родственников и ночью убил их в их дворцах. По словам Матараццо, эта трагедия является воплощением всего самого яркого и ужасного во внутренней вражде итальянских тиранов.[3] Перипетии семьи Бентивольи в Болонье представляют собой еще одну серию катастроф, вызванных не столько их личными преступлениями, сколько яростью гражданской войны, бушевавшей вокруг них. Джованни Бентивольо основал династию в 1400 году. В следующем году он был зарезан и забит в бочке с вином разъяренным населением, которое решило, что он предал их интересы в битве. Его сын Антонио был обезглавлен папским легатом, и многих членов семьи по возвращении из ссылки постигла та же участь. Со временем Бентивольи завоевали всеобщее обожание; и когда Пиччинино заточил наследника их дома Аннибале в замок Варано, четверо юношей из семьи Марескотти, рискуя своей жизнью, взялись за его спасение и возвели в сан синьора Болоньи. В 1445 году Канетоли, могущественные вельможи, ненавидевшие популярную династию, пригласили Аннибале и весь его клан на праздник по случаю крещения, где они истребили всех членов царствующего дома. Ни один Бентивольо не остался в живых. В отместку за эту резню Марескотти с помощью населения целых три дня преследовали Канетоли в Болонье и прибили их дымящиеся сердца к дверям дворца Бентивольо. Затем они вытащили из неизвестности во Флоренции бастарда Санти Бентивольо, который внезапно оказался возведенным из шерстяной фабрики на трон. Был ли он настоящим Бентивольо или нет, не имело большого значения. Дом стал необходим Болонье, и его популярность была крещена в кровопролитии четырех массовых убийств. То, что осталось от его истории, можно вкратце пересказать. Когда Чезаре Борджиа осадил Болонью, Марескотти заинтриговали его, и Бентивольи принесли в жертву восьмерых из их числа, несмотря на их давние заслуги перед династией. Оставшиеся в живых с помощью Юлия II вернулись из ссылки в 1536 году, чтобы стать свидетелями окончательного изгнания Бентивольи и принять участие в разрушении дворца, где их предки прибили к стенам сердца Канетоли.

[1] Семья Префетти накормила убийцу в своем замке, а затем отдала его живым на съедение своим собакам.

[2] Сфорца Аттендоло убил Терци ударом копья в спину. Пандольфо Петруччи убил Боргезе, своего тестя. Раймондо Малатеста был зарезан двумя своими племянниками, переодетыми отшельниками. Даттири был привязан голым к доске и убит по частям людьми, которые кусали его плоть, отрезали ломтики, продавали и ели ее, распределяя его живое тело как своего рода адское таинство между собой.

[3] Смотрите статью "Перуджа" в моих *набросках по Италии и Греции*.

Было бы достаточно легко умножить количество записей о преступлении, за которое мстят преступлением, о силе, отраженной насилием, об измене, нагроможденной на предательство, об оскорблении, оплаченном мошенничеством. Действительно, можно было бы составить огромную книгу, не содержащую ничего, кроме эпизодов этой мрачной истории деспотизма, то трагических и патетических, то наводящих ужас возвышенностью страстей, то вызывающих презрение низостью выявленных мотивов, то вызывающих отвращение избытком физических ужасов, то завораживающих зрелищем героической отваги, ума и решимости. Однако было сказано достаточно, чтобы описать атмосферу опасности, в которой дышали и действовали тираны и из которой ни один из них никогда не был способен обрести свободу. Даже княжеский дом, столь хорошо основанный в своей династии и столь великолепный в своем параде культуры, как дом Эстенси, предлагает длинный список ужасающих трагедий. Одна принцесса казнена за прелюбодеяние со своим пасынком (1425); ублюдок бастарда пытается захватить трон и предан смерти вместе со всей своей родней (1493); жена отравлена своим мужем, чтобы помешать ей отравить его (1493); два брата замышляют заговор против законных глав дома и пожизненно заключены в тюрьму (1506). Таков был лабиринт заговора и контрзаговора, силы, противостоящей насилию, в котором жили принцы, воспетые Ариосто и Тассо.

Изолированный, преследуемый преступлениями и безжалостный, в то же время свирепый и робкий, деспот нередко превращал порок в тонкое искусство для своего развлечения и открыто бросал вызов человечеству. Его удовольствия были склонны к экстравагантности. Непомерная похоть и утонченная жестокость утоляли его раздражительный и пресыщенный аппетит. Он уничтожал жалость в своей душе и кормил своих собак живыми людьми или тратил свои мозги на изобретение новых пыток. От политической игры он снова получал лихорадочное удовольствие, играя за государства и города, как человек играет в шахматы, и стараясь извлечь максимум удовольствия из различных поворотов мастерства и случайности. Было бы преувеличением утверждать, что все принцы Италии принадлежали к этому типу. Более здравомыслящие, лучшие и благородные из них — люди типа Джан Галеаццо Висконти, Джан Гранде делла Скала, Франческо и Лодовико Сфорца — находили более гуманное удовольствие в укреплении своей империи, цементировании своих союзов, обществе ученых людей, дружбе великих художников, основании библиотек, строительстве дворцов и церквей, осуществлении обширных завоевательных планов. Другие, как Галеаццо Висконти, потворствовали сравнительно невинному пристрастию к великолепию. Некоторые, как Сигизмондо Пандольфо Малатеста, сочетали пороки варвара с энтузиазмом ученого. Другие, опять же, такие как Лоренцо Медичи и Фредерик Урбинский, являли собой образец умеренности в управлении государством и благородной широты культуры. Но тенденция к вырождению была фатальной во всех деспотических домах. Напряжение тирании оказалось слишком сильным. Преступность,

незаконность и ощущение опасности, передаваемые от отца к сыну, породили монстров в облике людей. Последний Висконти, последний Ла Скалас, последний Сфорца, последний Малатеста, последний Фарнези, последний Медичи - одни из худших образцов человеческой натуры.

Блестящее описание итальянского тирана Маколеем в его эссе о Макиавелли заслуживает тщательного изучения. Можно, однако, отметить, что картина слишком благоприятна. Маколей опускает более мрачные преступления деспотов и рисует свой портрет почти исключительно с таких людей, как Джан Галеаццо Висконти, Франческо и Лодовико Сфорца, Фредерик Урбинский и Лоренцо Медичи. Точка зрения, которую он пытается установить — что политическая безнравственность в Италии была национальным эквивалентом жестокости Севера, — приводит его к идеализации вежливой утонченности, дисциплинированных страстей, твердой и пронизательной политики, власти над людьми и превосходного правления, которыми отличались самые благородные итальянские принцы. Когда он говорит, что "Бессмысленная жестокость была не в его натуре: напротив, там, где на карту не ставилось никаких политических целей, его нрав был мягким и гуманным", он, кажется, забывает Джана Марию Висконти, Коррадо Тринчи, Сигизмондо Пандольфо Малатесту и Чезаре Борджиа. Когда он пишет: "Его страсти, подобно хорошо обученным войскам, подчиняются правилам и в своей самой своевольной ярости никогда не забывают о дисциплине, к которой они привыкли", - он оставляет Франческо Марию делла Ровере, Галеаццо Марию Сфорца, Пьера Луиджи Фарнезе, Александра VI за бортом. Если бы все деспоты были такими, какими описывает Маколей, революций и заговоров четырнадцатого и пятнадцатого веков не было бы. Однако следует отметить, что в XVI веке поведение тирана по отношению к своим подданным приняло внешнюю форму мягкости. По мере того как Италия смешивалась с европейскими нациями и тирания в итальянских государствах была легализована, деспоты разработали политику не терроризма, а ослабления сил (Лоренцо Медичи - яркий пример) и стремились быть правителями по-отечески.

То, что я сказал об итальянском деспотизме, - не просто причудливая картинка. Действительные подробности истории Милана, бесчисленные трагедии Ломбардии, Романьи и Анконского похода во времена господства деспотических семейств гораздо ужаснее любого вымысла; и воображению было бы нелегко изобрести столь ошеломляющую смесь дикого варварства с современной утонченностью. Разоблачения Савонаролы^[1] и описания деспота Виллани читаются как отрывки из "Республики" Платона, как наиболее содержательная критика тирании Аристотелем. Пролог к шестой книге "Хроник" Маттео Виллани может быть процитирован как прекрасный пример суждения, выносимого современными итальянскими мыслителями своим правителям (Libro Sesto, глава i): "Преступления деспотов всегда препятствуют добродетелям хороших людей и часто сводят их на нет. Их удовольствия противоречат морали. Они поглощают богатства своих подданных. Они враги людям, которые возрастают в мудрости и величии души в своих владениях. Они уменьшают своими поборами богатство народов, которыми они управляют. Их необузданная похоть никогда не бывает удовлетворена, но их подданным приходится терпеть такие бесчинства и оскорбления, какие время от времени может подсказать их фантазия. Но поскольку жестокость тирании видна всем в этих и многих других зверствах, нам нет необходимости перечислять их заново. Достаточно выделить одну черту, странную внешне, но знакомую на самом деле; ибо что может быть более необычного, чем видеть принцев древнего и прославленного происхождения, склоняющихся перед деспотами, людей высокого происхождения и освященной веками знати, часто посещающих их столы и принимающих их щедроты? И все же, если мы задумаемся о конце всего этого, слава тиранов

часто оборачивается нищетой и разорением. Кто может преувеличить их убожество? Они не знают, на кого опереться; и их придворные всегда ожидают падения деспота, с радостью оказывая свое влияние и прилагая все усилия, чтобы уничтожить его, несмотря на прежнее раболепие. Этого не происходит с наследственными королями, потому что их поведение по отношению к своим подданным, а также их хорошие качества и все обстоятельства, в которых они находятся, по своей природе противоположны поведению тиранов. Следовательно, те самые причины, которые порождают, укрепляют и приумножают тирании, скрывают и питают в себе источники их низвержения и гибели. Воистину, это величайшее ничтожество тиранов".

[1] Смотрите сокращенный отрывок из его проповедей в книге Виллари "Жизнь Савонаролы" (англ. Тр. том ii. стр. 62). Наиболее тщательный анализ деспотической преступности содержится в *Трактате Савонаролы о правлении и управлении Чинтой во Флоренции*, Траттато ii. глава. 2. *Della Malitia e pessime Condizioni del Tyranno*.

Можно возразить, что эта огульная критика, исходящая из-под пера гражданина Флоренции, находящегося в состоянии войны с Миланом, носит характер инвективы. Тем не менее, хроники бургов, которые были обязаны материальным великолепием своим деспотам, могут привести множество доказательств, подтверждающих осуждение Виллани. Матараццо, например, чья симпатия к дому Бальони столь поразительна и который ликует по поводу отличия, оказанного ими Перудже, с не меньшей горечью пишет о пагубных последствиях их неправильного правления.[1] Следует отметить, что Виллани и Матараццо сходятся во мнении об особом зле, навлекаемом на население их тиранами. Похоть и насилие занимают первое место. Затем следует вымогательство; затем защита беззаконников и преступников от лучших граждан. Но флорентиец, обладающий интеллектуальной проницательностью, указывает пальцем на один из главных пороков их правления. Они задерживают развитие умственного величия в своих государствах и сдерживают рост гениальных людей. Ариосто, в период сравнительного спокойствия шестнадцатого века, когда тирании уступили протекторату Испании, подводит итог воспоминаниям прошлого в следующем запоминающемся отрывке:[2] "Счастливы королевства, где закон устанавливает человек с открытым сердцем и безупречностью! Поистине несчастны и достойны сожаления те, где царят несправедливость и жестокость, где бремя, становящееся все более тяжким, возлагается на людей тиранами, подобными тем, что сейчас в изобилии водятся в Италии, чья бесчестность через годы будет отмечаться как не менее черная, чем при Калигуле или Нероне". Гвиччардини с поразительной краткостью отмечает:[3] "Раствор, которым цементируются государства тиранов, - это кровь граждан".

[1] Арка. История. xvi. 102. Смотрите мои *Наброски в Италии и Греции*, стр. 84.

[2] Cinque Canti, ii. 5.

[3] Ricordi Politici, ccxlii.

В истории итальянского деспотизма два момента первостепенной важности потребуют внимания. Первый - это процесс, посредством которого большие тирании поглощали меньшие в четырнадцатом веке. Вторая - это отношение главного кондотьера к тиранам пятнадцатого века. Эволюцию этих двух явлений невозможно проследить более четко, чем с помощью изучения истории Милана, которое в то же время представляет подробную картину политики и характера итальянского деспота в этот период. Династии Висконти и Сфорца с 1300 по 1500 год соединяли годы, разделявшие Средневековье и Ренессанс, период свободных городов и

период, в течение которого Италии было суждено стать театром действий более могущественных наций. Их союзы и дипломатические отношения подготовили почву для вмешательства иностранцев в дела Италии. Их родословная иллюстрирует власть, приобретенную военными авантюристами на полуострове. Масштабность их политических планов свидетельствует о самых высоких амбициях, которые когда-либо удавалось потворствовать итальянским князьям. Великолепие их двора и уровень их культуры свидетельствуют о высоком уровне цивилизации, которого достигли итальянцы.

Власть Висконти в Милане была основана на власти семьи Делла Торре, которая предшествовала им в качестве народных главнокомандующих в конце XIII века. Отон, архиепископ Милана, впервые заложил прочную основу для господства своего дома, заключив Наполеоне Делла Торре и пятерых его родственников в три железные клетки в 1277 году и добившись того, что император и народ Милана назначили его племянника Маттео Висконти императорским викарием. Маттео, возглавлявший партию гибеллинов в Ломбардии, был образцом благоразумного итальянского деспота. С 1311 года, когда он, наконец, преуспел в своих попытках посягнуть на суверенитет Милана, до 1322 года, когда он отрекся от престола в пользу своего сына Галеаццо, он управлял своими государствами скорее силой характера, хитрости и проницательности, чем насилием или жестокостью. Превосходный как полководец, он был еще лучшим дипломатом, завоевав больше городов деньгами, чем мечом. Всю свою жизнь, как и подобало вождю гибеллинов того времени, он сохранял яростную вражду к Церкви. Но незадолго до смерти с ним произошла перемена. Он проявлял признаки суеверного ужаса и начал опасаться лежащего на нем запрета отлучения от церкви. Эта слабость вызвала подозрения у его сыновей, ужасных, похожих на волков мужчин, которых Маттео до сих пор контролировал с помощью удил и уздечки. Поэтому они убедили его отречься от престола в 1322 году, и когда в том же году он умер, они похоронили его тело в тайном месте, чтобы оно не было эксгумировано и развеяно по ветру в соответствии с папским эдиктом против него.^[1] Галеаццо, его сыну, повезло меньше, чем Маттео, прозванному лангобардами Иль Гранде. Император Людовик Баварский бросил его в тюрьму по случаю его визита в Милан в 1327 году и освободил только по заступничеству его друга Каструччо Кастракане. До такой степени растущая тирания Висконти все еще зависела от их должности, делегированной Империей. Этот Галеаццо женился на Беатриче д'Эсте, вдове Нино ди Галлура, о которой Данте говорит в восьмой песни "Чистилища", и имел от нее сына по имени Аzzo. Аzzo купил город вместе с титулом императорского наместника у того самого Людовика, который заключил в тюрьму его отца.^[2] Оказавшись таким образом под тиранией своего деда, он продолжил укреплять ее еще больше, присоединив десять ломбардских городов, которые он подчинил господству Милана. В то же время он укрепил свою собственную власть, убив в 1329 году своего дядю Марко, который стал слишком могущественным полководцем. Джовио описывает его как светлокожего, голубоглазого, кудрявого человека, страдающего наследственным заболеванием подагрой.^[3] Аzzo умер в 1339 году, и ему наследовал его дядя Луккино. В "Луккино" впервые проявляется темная сторона характера Висконти. Жестокий, капризный и ревнивый, он провел свою жизнь в постоянном ужасе. Его племянники, Галеаццо и Барнабас, составили против него заговор и были сосланы во Фландрию. Его жена, Изабелла Фиески, интриговала с Галеаццо и опозорила его своими романами с Уголино Гонзагой и Дандоло, дожем Венеции. В конце концов подозрения между этой разношерстной парой возросли до такой степени, что, пока Луккино замыслил убийство Изабеллы, ей удалось отравить его в 1349 году. Несмотря на эти внутренние бедствия, Луккино был могущественным генералом и губернатором. Он купил Парму у Обиццо

д'Эсте и поставил город Пизу в зависимость от Милана. Уже в его политике мы можем проследить вторжение, которое характеризовало планы миланских деспотов, которые всегда замыслили продвинуться за пределы Апеннин в качестве прелюдии к полному порабощению Италии. Луккино оставил сыновей, но ни один из них не доказал свою законность.^[4] Следовательно ему наследовал его брат Джованни, сын старого Маттео иль Гранде, и архиепископ Милана. Этот человек, друг Петрарки, был одним из самых выдающихся персонажей четырнадцатого века. Оказавшись во главе шестнадцати городов, он присоединил Болонью к тирании Висконти в 1350 году и стал достаточно сильным, чтобы бросить вызов папе. Климент VI, возмущенный его посягательствами на папскую территорию, вызвал его в Авиньон. Джованни Висконти ответил, что отправится туда во главе 12 000 кавалеристов и 6000 пехотинцев. В Миланском кафедральном соборе он взошел на свой трон с посохом в левой руке и обнаженным мечом в правой; таким его всегда изображают на картинах. История ответа Джованни папскому легату хорошо рассказана Корио:^[5] "После мессы в соборе великодушный архиепископ обнажил сверкающий меч, который он носил на бедре, и левой рукой схватил крест, сказав: "Это мой духовный скипетр, и я буду владеть мечом, как своим мирским, для защиты церкви". вся моя империя". "После этого он разослал курьеров, чтобы нанять жилье для своих солдат и обоза на шесть месяцев. Приезжие в Авиньон не находили себе места в городе, и папа был вынужден отказать столь ужасному гостю. В 1353 году Джованни присоединил Геную к Миланскому княжеству и умер в 1354 году, установив власть Висконти над всем севером Италии, за исключением Пьемонта, Вероны, Мантуи, Феррары и Венеции.

^[1] Мы можем сравнить то, что Данте вкладывает в уста Манфреда в "Чистилище" (песнь iii.). Великий поэт-гибеллин протестует здесь против использования отлучения от церкви в качестве политического оружия. Его чувство справедливости не позволяет ему поверить, что Бог может считаться с приговором священников и понтификов, вынесенным по злобе приверженцев; однако примеры Фридриха II и этого Маттео Висконти доказывают, насколько ужасающими, даже для самых смелых, продолжали оставаться эти приговоры. Немногие обладали решительной волей Галеаццо Пико ди Мирандолы, скончавшегося в 1499 году под церковным запретом, который он нес в течение шестнадцати лет.

^[2] Это было в 1328 году. Аzzo согласился заплатить 25 000 флоринов. Огромное состояние Висконти, накопленное за годы мирной оккупации, всегда сослужило им хорошую службу, когда наступали плохие времена и когда императору не хватало наличных. Аццо заслуживает особой похвалы от студента-искусствоведа за изысканную восьмиугольную башню Сан-Готтардо, которую он построил из терракоты с мраморными пилястрами в Милане. Это один из красивейших памятников средневековой итальянской архитектуры.

^[3] Луккино и Галеаццо Висконти оба страдали подагрой, причем последний до такой степени, что стал почти калекой.

^[4] Это само по себе не было бы препятствием для наследования при итальянской тирании. Но бастарды Луккино были неподходящего происхождения, чтобы продолжить правление своего отца, в то время как их пылкий дядя был именно тем человеком, который поддержал честь и расширил власть Висконти.

^[5] История Милана, 1554, стр. 223.

TheПравление архиепископа Джованни знаменует новую эпоху в деспотизме Висконти. Теперь они больше не являются успешными соперниками семьи Делла Торре или зависимыми от императорского каприза, а самостоятельными монархами, обладающими прочно установившейся властью в Милане и обширной подвластной территорией. Их династия, хотя и основанная на силе и поддерживаемая насилием, получила признание; и вскоре мы увидим, как они вступают в союз с королевскими домами Европы. После смерти Джованни сыновья Маттео вымерли. Но Стефано, последний из его семьи, оставил троих детей, которые теперь унаследовали земли и города дома. Их звали Маттео, Бернабо и Галеаццо. Между этими тремя князьями был осуществлен раздел наследия Джованни Висконти. Маттео взял Болонью, Лоди, Пьяченцу, Парму, Боббио и некоторые другие города меньшего значения. Бернабо получил Кремону, Крему, Брешию и Бергамо. Galeazzo held Como, Novara, Vercelli, Asti, Tortona, and Alessandria. Миланом и Генуей должны были править все трое совместно. Здесь можно заметить, что расчленение итальянских деспотий между сонаследниками было нередким источником беспокойства и причиной слабости их династий. В то же время эта практика естественным образом вытекала из незаконного характера титула тирана. Он относился к своим городам как к частям личной собственности, которые он мог распределять по своему усмотрению, а не как к единому целому, которое можно было бы завещать одному правителю для общего блага всех его подданных. В результате такого раздела брат был заинтересован в убийстве брата, чтобы произвести реорганизацию семейных владений. Нечто подобное произошло и в этом случае. Маттео предался звериной чувственности, а два его брата, считая его слабым и способным дискредитировать их правление, стали причиной его убийства в 1355 году.[1] Затем они совместно поколебали миланцев с единодушием, замечательным для деспотов. Галеаццо считался самым красивым мужчиной своего возраста. Он был высоким и грациозным, с золотистыми волосами, которые он заплетал в длинные косы, или завязывал сеткой, или же распускал и увенчивал цветами. Любящий показуху и великолепие, он тратил большую часть своего огромного состояния на шоу и фестивали, а также на строительство дворцов и церквей. Та же любовь к великолепию побудила его добиваться королевских браков для своих детей. Его дочь Виоланта была выдана замуж за герцога Кларенса, сына Эдуарда III. из Англии, который получил вместе с ней в приданое сумму в 200 000 золотых флоринов, а также пять городов, граничащих с Пьемонтом.[2] Для этого брата Черного принца, должно быть, было странным покинуть Лондон, где улицы еще не вымощены, дома крыты соломой, кровати застелены соломой и где вино продавалось как лекарство, и попасть в роскошные дворцы Ломбардии, обнесенные стенами из мрамора и возвышающиеся высоко над гладкими каменными улицами. О его браке с Виолантой Джовио рассказывается несколько любопытных подробностей. Он говорит, что Галеаццо по этому случаю преподнес великолепные подарки более чем 200 англичанам, так что считалось, что он превзошел в щедрости величайших королей. На банкете Джан Галеаццо, брат невесты, возглавляя отборную компанию знатных юношей, подносил к столу с каждым блюдом свежие подарки.[3] "В одно время речь шла о шестидесяти прекраснейших лошадях с шелковой и серебряной попоной; в другое время - о доспехах, ястребах, гончих, конской сбруе, прекрасных кирасах, доспехах из кованой стали, шлемах, украшенных гребнями, плащах, расшитых жемчугом, поясах, драгоценных камнях, оправленных в золото, и большом количестве ткани из золота и малинового материала". для изготовления одежды. Этот пир был таким обильным, что остатков, взятых со стола, хватило бы на 10 000 человек". Петрарка, как мы помним, присутствовал на этом празднестве и сидел среди принцев. Именно таким образом Галеаццо продемонстрировал свое богатство феодальной знати Севера и в то же время протянул руку дружеского покровительства величайшему

литератору Европы. Тем временем он также женил своего сына Джана Галеаццо на Изабелле, дочери короля Франции Иоанна, потратив по этому случаю, как говорят, аналогичную сумму денег в честь королевского союза.^[4]

^[1] М. Виллани, v. 81. Сравните Corio, стр. 230. Корио называет дату 1356 года.

^[2], а именно: Альба, Кунео, Карастро, Мондовико, Браида. See Corio, p. 238, who adds sententiously, 'il che quasi fu l' ultima roina del suo stato.'

^[3] Корио (стр. 239, 240) приводит меню банкета.

^[4] Сисмонди говорит, что он дал 600 000 флоринов Карлу, брату Изабеллы, но власти расходятся во мнениях относительно фактической суммы.

Галеаццо держал свой двор в Павии. Его брат правил в Милане. Бернабо продемонстрировал все худшие пороки рода Висконти. Его система налогообложения была самой суровой и в то же время настолько прибыльной, что, по оценкам Джовио, он смог обеспечить жильем девять своих дочерей на сумму около двух миллионов золотых монет. Любопытный пример его тирании связан с его охотничьим хозяйством. Снабдив своих подданных содержимым из 5000 гончих, он назначил офицеров объезжать окрестности и проверять, не слишком ли эти животные тощие или слишком упитанные, чтобы быть в хорошей форме для охоты. Если что-то оказывалось неправильным в их управлении, крестьяне, у которых они были расквартированы, должны были пострадать лично и их имущество.^[1] Этот Бернабо также отличался хладнокровной жестокостью. Вместе со своим братом он разработал и добился публичного объявления эдиктом о том, что государственные преступники будут подвергнуты серии пыток, растянувшихся на сорок дней. В этой адской программе нашлось место для всех видов пыток, и дни передышки были рассчитаны таким образом, чтобы продлить жизнь жертв для дальнейших страданий, пока, наконец, от них мало что не осталось, что не было изрублено, изрублено и содрано с кожи.^[2] До таких крайностей терроризма были доведены деспоты в поддержании своей незаконной власти.

^[1] 'Per cagione di questa caccia continoamente teneva cinque mila cani; e la maggior parte di quelle distribuiva alla custodia de i cittadini, e anche a i contadini, i quali niun altro cane che quelli potevano tenere. Questi due volte il mese erano tenuti a far la mostra. Onde trovandoli macri in gran somma di danari erano condannati, e se grossi erano, incolpandoli del troppo, erano multati; se morivano, li pigliava il tutto.—Corio, p. 247.

Прочтите М. Виллани, vii. 48, историю крестьянина, которого отдали на растерзание собакам Бернабо за то, что он убил зайца. Корио (стр. 247) описывает наказания, которым он подвергал своих подданных, осужденных за браконьерство, — выколотые глаза, сожженные дома и т.д. Молодому человеку, которому приснилось, что он убивает кабана, выкололи глаз и отрубили руку, потому что он неосторожно рассказал о своем видении спорта во сне. Однажды он сжег двух монахов, которые осмелились протестовать. Мы можем сравнить Понтана, "De Immanitate", том i, стр. 318, 320, с аналогичной жестокостью у Фердинанда, короля Неаполя.

^[2] Эту программу можно прочитать у Сисмонди, iv. 282.

Галеаццо умер в 1378 году, и ему наследовал в его собственной части владений Висконти его сын Джан Галеаццо. Теперь началась одна из тех долгих, неспешных междоусобиц, которые

были столь обычным явлением между членами правящих семей Италии. Бернабо и его сыновья замыслили завладеть поместьем молодого принца. Он, с другой стороны, решил сместить своего дядю и объединить все княжество Висконти под своей властью. Мастерство было оружием, которое он выбрал в этой схватке. Запершись в Павии, он не скрывал своей физической трусости, которая была настоящей, в то время как симулировал робость духа, совершенно чуждую его темпераменту. Он делал вид, что поглощен религиозными обрядами, и постепенно внушил своему дяде и двоюродным братьям и сестрам презрение к нему как к бедняге, с которым при случае можно быстро расправиться. В 1385 году, подготовив таким образом почву для государственной измены, он объявил о своем намерении совершить паломничество к Богородице Варезской. Отправившись из Павии с личной охраной из немцев, он проехал близ Милана, где его дядя и двоюродные братья вышли ему навстречу. Джан Галеаццо изобразил вежливое приветствие, но, увидев своих родственников в пределах досягаемости, он отдал лозунг по-немецки своим войскам, которые окружили Бернабо и взяли его в плен вместе с сыновьями. Джан Галеаццо немедленно выступил в Милан, отравил своего дядю в темнице и провозгласил себя единственным правителем наследства Висконти.[1]

[1] Описание этого переворота можно с пользой прочитать в Corio, стр. 258.

Правление Джана Галеаццо, начавшееся с этого государственного переворота (1385-1402), составляет очень важную главу в истории Италии. Мы можем сначала увидеть, что это был за человек, а затем перейти к прослеживанию его целей и достижений. Джовио описывает его как удивительно степенного и вдумчивого мальчика, настолько мудрого не по годам, что его друзья опасались, что он не вырастет мужчиной. Никакие удовольствия в дальнейшей жизни не отвлекали его от бизнеса. Охота, соколиный промысел, женщины одинаково не привлекали его. Он занимался умеренными физическими упражнениями для сохранения своего здоровья, много читал и медитировал, а также расслаблялся в беседах с литераторами. Чистый интеллект, по сути, достиг совершенной независимости в этом принце, который был намного выше шумных удовольствий и бурной деятельности эпохи, в которую он жил. В возведении общественных зданий он был великолепен. Чертоза Павии и Миланский кафедральный собор были обязаны своим основанием его чувству великолепия. В то же время он достроил Павийский дворец, начатый его отцом, и сделал его самым благородным жилым домом в Европе. Павийский университет был поднят им из состояния упадка в состояние большого процветания, частично благодаря щедрым пожертвованиям, а частично благодаря мудрому выбору профессоров. В своих военных начинаниях он проявлял родственный вкус к масштабным инженерным проектам. Он обдумал и частично осуществил план поворота рек Минчо и Brenta из их русла и осушения лагун Венеции. Таким образом, он намеревался атаковать своего последнего великого врага, Республику Сан-Марко, в ее самом сильном пункте. И все же посреди этих грандиозных замыслов он был способен позаботиться о самых незначительных деталях экономии. Его любовь к порядку была настолько точной, что можно сказать, что он применил метод банковской конторы к управлению государством. Именно он изобрел бюрократию, создав особый класс высокооплачиваемых клерков и секретарей департаментов. Их обязанность состояла в том, чтобы заносить в книги и бухгалтерские книги мельчайшие статьи его личных расходов и расходов из его государственного кошелька; отмечать детали по нескольким налогам, чтобы иметь возможность представить обзор всех государственных доходов; и записывать имена, качества и притязания его генералов, капитанов и чиновников. Отдельный кабинет был отведен для его корреспонденции, всю которую он хранил в точных копиях.[1] Применяя этот торговый механизм к управлению своими обширными владениями, в

то время, когда государственная экономика была мало понята в Европе, Джан Галеаццо значительно увеличил свое богатство по сравнению со своими соседями. Говорят, что его доход за один год составил 1 200 000 золотых флоринов, с добавлением 800 000 золотых флоринов, взимаемых в результате чрезвычайных вызовов.^[2] Личная робость этого грозного принца помешала ему повести свои армии в бой. Поэтому он считал необходимым нанять наемных генералов и взял к себе на службу всех главных кондотьеров того времени, тем самым дав толчок обычаю, которому было суждено развратить всю военную систему Италии. Из этих людей, которых он хорошо знал, как выбирать, он сам был мозгом и движущим началом. Он мог бы похвастаться, что никогда не делал и шага, не просчитав стоимость, тщательно обдумав цель и соразмерив средства со своей целью. Каким безумием, должно быть, казались такому человеку крестоносцы прошлых веков или рыцарственные князья Северной Германии и Бургундии, которые тратили свои силы на такие невыгодные и невыполнимые предприятия, как покорение, например, Швейцарии! Ни одна черта в его характере не напоминает нам о Средневековье, если не считать того, что, как говорили, он заботился о реликвиях с суеверной страстью, достойной Людовика XI. Сисмонди резюмирует описание этого экстраординарного деспота в следующих предложениях, которые можно процитировать из-за их наглядной краткости: "Лживый и безжалостный, он соединял с безмерным честолюбием предприимчивость, а с непоколебимым постоянством - личную робость, которую он и не пытался скрывать. Малейшее неожиданное движение рядом с ним повергало его в пароксизм нервного ужаса. Ни один принц не нанимал столько солдат для охраны своего дворца и не принимал таких многократных мер предосторожности из недоверия. Казалось, он признавал себя врагом всего мира. Но пороки тирании не ослабили его способностей. Он использовал свое огромное состояние без расточительства; его финансы всегда процветали; в его городах были хорошие гарнизоны и продовольствие; его армии хорошо платили; все искатели приключений, разбросанные по всей Италии, получали от него пенсии и были готовы вернуться к нему на службу, когда потребуется. Он поощрял воинов новой итальянской школы; он хорошо знал, как отличать, вознаграждать и завоевывать их привязанность."^[3] Таков был тиран, который стремился ни к чему иному, как подчинить всю Италию власти Висконти, и который мог бы достичь своей цели, если бы его карьера завоевателей не была остановлена Флорентийской республикой, а впоследствии и прервана преждевременной смертью.

^[1] Giovio is particular upon these points: 'Ho veduto io ne gli armari de' suoi Archivi maravigliosi libri in carta pecora, i quali contenevano d' anno in anno i nomi de' capitani, condottieri, e soldati vecchi, e le paghe di ogn' uno, e 'l rotulo delle cavallerie, et delle fanterie: v' erano anco registrate le copie delle lettere le quali negli importantissimi maneggi di far guerra o pace, o egli haveva scritto ai principi o haveva ricevuto da loro.'

^[2] Описание, данное Корио (стр. 260, 266-68) приданого в виде денег, посуды и драгоценностей, подаренных Валентиной Висконти Луи Орлеанскому, является хорошим доказательством богатства Джана Галеаццо. Помимо города Асти, она взяла с собой в качестве денег 400 000 золотых флоринов. Ее драгоценные камни были оценены в 68 858 флоринов, а ее тарелка - в 1667 парижских марок. Инвентарь любопытный.

^[3] "История итальянских республик" (1 том. Лонгманс), стр. 190.

На момент своего вступления на престол Висконти уже вытеснил Корреджи и Росси из Пармы, Скотти из Пьяченцы, Пелавичини из Сан-Доннино, Торниелли из Новары, Понцони и

Кавалькабо из Кремоны, Беккариа и Лангуски из Павии, Физираги из Лоди, Брусати из Брешии. Их гадюка проглотила всех этих мелких змей.^[1] Но семья Каррара все еще правила в Падуе, Гонзага в Мантуе, Эсте в Ферраре, в то время как великий дом Скала владел Вероной. Планы Джана Галеаццо сначала были направлены против династии Скала. Основанный, как и дом Висконти, на императорской власти, он достиг наибольшего расцвета при гибеллинском генерале Кане Гранде и его племяннике Мастино в первой половине четырнадцатого века (1312-51). Мастино сам лелеял проект создания Итальянского королевства; но он умер, так и не приблизившись к его осуществлению. Вырождение его дома началось с трех его сыновей. Двое младших убили старшего; из оставшихся в живых более сильный убил более слабого, а затем умер в 1374 году, оставив свои владения двум своим бастардам. Один из них, по имени Антонио, убил другого в 1381 году,^[2] а затем стал жертвой Висконти в 1387 году. При покорении Вероны Джан Галеаццо ухитрился использовать семью Каррара, хотя эти принцы были связаны брачными узами со Скалигерами и могли все потерять в результате их падения. Затем он предпринял нападение на Падую и заручился сотрудничеством Венеции. В 1388 году Франческо да Каррара был вынужден уступить свою территорию генералам Висконти, которые в том же году завладели для него Тревизанскими границами. Именно тогда венецианцы слишком поздно осознали ошибку, которую они совершили, допустив аннексию Висконти Вероны и Падуи, когда они должны были быть укреплены как защитные сооружения между его растущей властью и ими самими. Теперь, став хозяином Севера Италии,^[3] за исключением Мантуи, Феррары и Болоньи, Джан Галеаццо обратил свое внимание на эти города. Альберто д'Эсте правил в Ферраре, Франческо да Гонзага - в Мантуе. Политика Висконти заключалась в том, чтобы ослабить этих двух принцев, выставив их одиозными в глазах своих подданных.^[4] Соответственно, он возбудил ревность маркиза Феррары к своему племяннику Обиццо до такой степени, что Альберто обезглавил его вместе с матерью, сжег его жену и повесил третьего члена своей семьи, помимо того, что замучил до смерти всех предполагаемых сообщников несчастного молодого человека. Против маркиза Мантуи Джан Галеаццо замышлял еще более дьявольский заговор. С помощью поддельных писем и искусно подстроенных инцидентов он заставил Франческо да Гонзага заподозрить свою жену в неверности его секретарше.^[5] В приступе ревнивой ярости Франческо приказал казнить свою жену, мать нескольких его детей, вместе с секретарем. Затем он обнаружил измену Висконти. Но было слишком поздно для чего-либо, кроме бессильной ненависти. Адское устройство увенчалось успехом; маркиз Мантуанский был дискредитирован своим преступлением не меньше, чем маркиз Феррарский. Казалось бы, эти люди были не того уровня, чтобы быть успешными вилланами, и что Джан Галеаццо рассчитывал на этот недостаток в их характере. Их жестокость вызывала к ним скорее отвращение, чем страх. Теперь вся Ломбардия была распростерта ниц перед миланским тираном. Его следующим шагом было ступить в Тоскану. Для этой цели нужно было заполучить Пизу; и здесь он снова прибегнул к своей дьявольской политике подстрекательства других людей к преступлениям, от которых в долгосрочной перспективе выигрывал только он один. Пизой в то время правила семья Гамбакорта во главе со старым купцом по имени Пьетро. У этого человека был друг и секретарь по имени Якопо Аппиано, которого Висконти убедили обратить Иуду, заманить в ловушку и убить своего благодетеля и его детей. Убийство произошло в 1392 году. В 1399 году Герардо, сын Якопо Аппиано, который отдал Пизу в распоряжение Джана Галеаццо, продал ему этот город за 200 000 флоринов.^[6] Следующей атаке подверглась Перуджа. Здесь Пандольфо, глава семьи Бальони, обладал полуконституционной властью, которую Висконти сначала помогли ему превратить в тиранию, а затем, после убийства Пандольфо, присвоили себе.^[7] Вся Италия и даже Германия теперь начали с тревогой

относиться к узурпации власти миланским деспотом. Но вялый император Вацлав отказался предпринимать против него какие-либо действия; более того, в 1395 году он даровал Висконти инвеституру Миланского герцогства за 100 000 флоринов, оставив за собой только Павию. В 1399 году герцог наложил руки на Сиену; и в следующие два года чума пришла ему на помощь, ослабив правящие семьи Лукки и Болоньи, Гуиницци и Бентивольи, так что теперь он смог завладеть этими городами.

[1] Il Biscione, или Великий Змей, - так обычно называли тиранию Висконти (см. М. Виллани, vi. 8), намекая на их эмблему с изображением обнаженного ребенка, выходящего изо рта змеи.

[2] Корио, стр. 255, рассказывает, как было совершено убийство. Антонио пытался представить все так, будто его брат Бартоломео встретил свою смерть в ходе судебного преследования за печально известные любовные связи.

[3], *однако*, Савойя не была в его руках, и маркизат Монферрат оставался номинально независимым, хотя он держал его наследника в своего рода почетном заключении. Венеция тоже сохраняла грозный нейтралитет, наблюдая за завоеваниями Висконти.

[4] Политика, принятая Висконти в отношении Эстенси и Гонзаги, была рекомендована Макиавелли (Диск iii. 32): 'quando alcuno vuole o che un popolo o un principe levi al tutto l' animo ad uno accordo, non ci è altro modo più vero, nè più stabile, che fargli usare qualche grave scelleratezza contro a colui con il qual tu non vuoi che l' accordo si faccia.'

[5] Эта дама была двоюродной сестрой, а также свояченицей Джана Галеаццо Висконти, который во втором браке взял в жены Катерину, дочь Бернабо Висконти. Этот факт делает его вероломство еще более позорным.

[6] Аппиани удалились в Пьомбино, где основали мелкую деспотию. Преступление Аппиано, которое привело к тирании его детей, похоже на преступление Тремакольдо, убившего своих хозяев, Вистарини из Лоди, и на преступление Луиджи Гонзаги, который основал герцогский дом Мантуи, убив своего покровителя Пассерино Буонакольси.

[7] Пандольфо был убит в 1393 году. Джан Галеаццо овладел Перуджей в 1400 году, проложив себе путь к узурпации власти, в результате чего Биордо Микелотти, преемник Бальони, был убит своим другом Франческо Гидалотти. Следует заметить, что при каждой аннексии он действовал медленно и уверенно, облизывая свою жертву после того, как задушил ее, и перед тем, как проглотить, подобно удаву.

В Италии не осталось никакой силы, кроме Флорентийской республики и изгнанного, но непобедимого Франческо да Каррара, способной противостоять его дальнейшему продвижению. Флоренция задержала его завоевания в Тоскане. Франческо удалось вернуться в Падую. Тем не менее опасность, угрожавшая всей Италии, была неминуемой. Герцог Миланский находился в расцвете мужественности — богатый, преуспевающий и полный умственных сил. Его приобретения были надежно закреплены; его армии в хорошем состоянии; его казна полна до краев; его генералам высоко платили. Все его помощники в городе и в лагере уважали железную волю и глубокую политику деспота, который руководил их действиями, сидя в своем кресле в Милане. Он один знал, как использовать мозги и руки, которые служили ему, держать их в узде и с помощью их упорядоченного действия сделать себя не одним, а десятком людей. Наконец, когда все остальные надежды Италии на независимость рухнули, в Ломбардии с

яростью вспыхнула эпидемия чумы. Джан Галеаццо удалился в свою изолированную крепость Мариньяно, чтобы спастись от инфекции. И все же там, в 1402 году, он заболел. В небе появилась комета, на которую он указал как на знак своей приближающейся смерти — "Бог не мог не возвестить о конце столь могущественного правителя", - сказал он своим приближенным. Он умер в возрасте 55 лет. Италия глубоко вздохнула. Опасность миновала.

Систематический план, задуманный Джаном Галеаццо по порабощению Италии, способности и сила интеллекта, которые поддерживали его при его исполнении, и власть, с которой он подчинял людей своей воле, едва ли являются более экстраординарными, чем внезапный распад его герцогства после его смерти. Слишком робкий, чтобы самому выходить на поле боя, он подготовил за время своей службы группу великих командиров, среди которых наиболее выдающимися были Альберико да Барбино, Фачино Кане, Пандольфо Малатеста, Якопо даль Верме, Габрино Фондуло и Оттобон Терцо. Пока он был жив и руководил ими, все шло хорошо. Но когда он умер, двое его сыновей были еще совсем мальчиками. Он должен был доверить их личности, а также управление своими с трудом завоеванными владениями этим капитанам совместно с герцогиней Екатериной и неким Франческо Барбаварой. Этот человек был телохранителем герцога, а теперь стал любовником герцогини. Генералы отказались сотрудничать с ними; и каждый ухватился за те части наследства Висконти, которые мог получить легче всего. Обширная тирания первого герцога Миланского рухнула в один день. Целое, не основанное ни на каких законных правах, но искусственно удерживаемое вместе силой и умением, его составные части либо восстановили свою независимость, либо стали добычей авантюристов.^[1] Многие отпрыски старых изгнанных семей восстановили свою власть в подчиненных городах. Мы снова слышим о Скотти в Пьяченце, Росси и Корреджи в Парме, Бенцони в Креме, Рускони в Комо, Соарди и Коллеони в Бергамо, Ланди в Боббио, Кавалькабо в Кремоне. Фачино Кане захватил Алессандрию; Пандольфо Малатеста захватил Брешию; Оттонбон Терцо обосновался в Парме. Тем временем Джованни Мария Висконти был провозглашен герцогом Милана, а его брат Филиппо Мария занял Павию. Габриэлло, незаконнорожденный сын первого герцога, укрепился в Креме.

^[1] Анархия, царившая в Ломбардии после смерти Джана Галеаццо, затрудняет что-либо большее, чем обозначение некоторых из этих узурпаций. Corio, стр. 292 и последующие, содержат подробности.

В деспотических семьях Италии, как уже упоминалось, наблюдалась прогрессирующая тенденция к вырождению. Напряжение тирании, поддерживаемое силой и коварством на протяжении поколений, злоупотребление властью и удовольствиями, изоляция и ужас, в которых обычно жили деспоты, породили своего рода наследственное безумие.^[1] В случае Джованни Марии и Филиппо Марии Висконти эти предрасполагающие причины безумия, вероятно, были усилены тем фактом, что их отец и мать были двоюродными братьями, внуками Стефано, сына Маттео иль Гранде. Как бы то ни было, врожденная свирепость расы проявилась у Джованни как мономания, а ее врожденная робость - как нечто сродни безумию у его брата. Джан Мария, герцог Миланский, ни в чем, кроме названия, не отличался жестокостью и похотью. Он использовал собак своих предков больше не для охоты на кабанов, а на живых людей. Все преступники Милана и все, кого он мог объявить преступниками, даже те, кто участвовал в его собственных чудовищных деяниях, были преданы его адскому занятию. Его егерь, Скварчия Гирамо, приучил собак выполнять свои обязанности, кормя их человеческим мясом, и герцог наблюдал, как они разрывают его жертвы на куски с жадностью

сумасшедшего.[2] В 1412 году некоторым миланским дворянам удалось убить его и выбросить его изуродованный труп на улицу. Говорят, что проститутка усыпала его розами. Филиппо Мария тем временем женился на вдове Фачино Кейна,[3] которая принесла ему почти полмиллиона флоринов в приданое вместе с солдатами ее мужа и городами, которые он захватил после смерти Джан Галеаццо. С помощью этого союза Филиппо теперь постепенно возвращал себе ломбардскую часть герцогства своего отца. Небольшие города, очищенные убийствами от своих узурпаторов, снова попали в руки миланского деспота после серии внутренних и политических трагедий, которые залили их улицы кровью. Пьяченца полностью обезлюдела. Есть записи, что в течение года только трое из ее жителей оставались в стенах.

[1] Я могу обратиться к доктору Модсли ("Разум и материя") за научным изложением теории безумия, развитой накопленными и наследственными пороками.

[2] Корио, стр. 301 упоминает по имени Джованни да Пустерлу и Бертолино дель Майно как "лачерати да и кани дель Дука". Члены семей этих людей впоследствии помогли его убить.

[3] Беатриче ди Тенда, жена Фачино Кане, была на двадцать лет старше герцога Миланского. Как только Висконти почувствовал себя уверенно в своем герцогстве, он выдвинул против нее ложное обвинение в прелюбодеянии с юным Микеле Оранбелли и, несмотря на ее невинность, обезглавил ее в 1418 году. Макиавелли описывает этот акт вероломства с тацитарной лаконичностью (1st. Fior. lib. i. vol. i. p. 55): 'Dipoi per esser grato de' benefici grandi, come sono quasi sempre tutti i Principi, accusè Beatrice sua moglie di stupro e la fece morire.'

Филиппо, последний из тиранов Висконти, был чрезвычайно уродлив, и так болезненно относился к своей дурно сложенной персоне, что едва осмеливался показываться за границей. Обычно он жил в тайных покоях, часто переходил из комнаты в комнату и, когда выходил из своего дворца, отказывался от приветствий на улицах. В качестве примера его нервозности хронисты сообщают, что он не мог вынести раскатов грома.[1] В то же время он унаследовал большую часть понимания характера своего отца и его способности контролировать людей, более смелых и активных, чем он сам. Но ему не хватало решительности и широких взглядов Джана Галеаццо. Он колебался в политике и продолжал планировать заговоры, которые, казалось, не имели цели, кроме его собственного невыгодного положения. Чрезмерная осторожность заставила его окружить капитанов своих войск шпионами и сдерживать их в тот момент, когда он опасался, что они могут стать слишком могущественными. Этот недостаток уверенности нейтрализовал преимущество, которое он мог бы получить, выбрав подходящие инструменты. Таким образом, его выбор Франческо Сфорца в качестве своего полководца против венецианцев в 1431 году был мудрым решением. Но он не мог привязать к себе великого солдата удачи. Сфорца взял плату Флоренции у своего старого покровителя и в 1441 году принудил его к разорительному миру, одним из условий которого был брак единственной дочери герцога Миланского, Бьянки, с сыном крестьянина из Котиньолы. Бьянка была незаконнорожденной, а у Филиппо Марии не было наследника мужского пола. Великая семья Висконти пришла в упадок. Следовательно, после смерти герцога в 1447 году Сфорца обнаружил, что для него открыт путь в Миланское герцогство, которое он сначала завоевал силой, а затем предъявил права на свою жену. Противоположный иск был выдвинут Орлеанским домом, поскольку Людовик Орлеанский женился на Валентине, законной дочери Джана Галеаццо.[2] Но оба эти утверждения были недействительны, поскольку инвеститура,

дарованная Вацлавом первому герцогу, исключала женщин. Таким образом, Милан вновь оказался открыт для конкуренции узурпаторов.

[1] Наиболее полным рассказом о Филиппо Марии Висконти, написанным современником, является рассказ Пьеро Кандидо Децембрио ("Муратори", том хх.). Изучающий, однако, должен читать между строк этой биографии, поскольку Децембрио, по просьбе Леонелло д'Эсте, убрал темные тона в портрете своего мастера. Смотрите переписку в книге Росмини "Жизнь Гуарино да Верона".

[2] Это требование Орлеанского дома к Милану было одним из источников французского вмешательства в итальянские дела. Если судить по итальянским обычаям, притязания Сфорцы через Бьянку были такими же вескими, как притязания орлеанских принцев через Валентину, поскольку незаконнорожденность на полуострове не считалась настоящим законом. Говорят, что Филиппо Мария завещал свое герцогство Неаполитанской короне по завещанию, уничтоженному после его смерти. Если бы это завещание вступило в силу, оно могло бы объединить Италию под властью одного суверена. Но вполне вероятно, что зависть Флоренции, Венеции и Рима к Неаполю усилилась бы настолько, что привела бы к кровопролитной войне за престолонаследие и ускорила французское вторжение.

После смерти последнего герцога в Милане вспыхнуло неугасимое стремление к свободе. Несмотря на столько поколений деспотов, народ по-прежнему считал себя суверенным и основал республику. Но государство, служившее Висконти почти два столетия, не могло в одно мгновение избавиться от своей слабости и полагаться только на себя. Республика, чувствуя необходимость в помощи наемников, была достаточно близорука, чтобы привлечь Франческо Сфорца в качестве главнокомандующего против венецианцев, которые воспользовались анархией в Ломбардии, чтобы продвинуть свою власть к западу от Адды.

Сфорца, хотя и был самым способным генералом того времени, был именно тем человеком, которому здравый смысл должен был внушать бюргерам недоверие. В ходе одной блестящей кампании он отбросил венецианцев за реку Адда, сжег их флот при Казаль-Маджоре на реке По и наголову разбил их армию при Караваджо. Затем он вернулся завоевателем в Милан, подчинил окружающие города, блокировал миланцев в их столице и вынудил их принять его как своего герцога в 1450 году. Италия упустила прекрасную возможность. Если бы Флоренция и Венеция только вступились за Милан и стимулировали ослабевающую энергию Генуи, четыре могущественные республики в федерации могли бы сохранить свободу всего полуострова и противостоять иностранному вмешательству. Но Козимо Медичи, который молча устанавливал деспотизм своей собственной семьи во Флоренции, предпочел видеть герцога в Милане; а Венеция, ведомая дожем Франческо Фоскари, думала только о территориальном расширении. Шанс был упущен. Свободы Милана были уничтожены. В герцогстве была основана новая династия, основанная на ложных наследственных притязаниях, которые, пока они сохранялись, придавали своего рода окраску высшим, но все еще незаконным притязаниям орлеанского дома. На данном этапе истории Италии невозможно удержаться от суждения, что итальянцы стали неспособны к местному самоуправлению и что преобладающая тенденция к деспотизму была результатом не случайностей в любой комбинации, а внутренних и неизбежных законов эволюции.

Именно в этот период старые деспотии, основанные имперскими викариями и военачальниками народа, были вытеснены военными авантюристами, точно так же, как

несколько позже кондотьер и кандидат папы были объединены в Чезаре Борджиа. Поэтому сейчас самое подходящее время взглянуть на расцвет и влияние генералов-наемников в Италии, прежде чем перейти к очерку истории семьи Сфорца.

После того, как войны на Сицилии, которые вели анжуйские князья, прекратились (1302 г.), был сформирован отряд распущенных солдат, в основном иностранцев, под командованием фра Руджиери, тамплиера, и охватил Юг Италии. Джованни Виллани отмечает это как первый признак бедствия, которому было суждено оказаться столь фатальным для мира в Италии.^[1] Но это была не просто случайная вспышка бандитизма, подобная этой, которая установила систему кондотьеров. Причины были гораздо более глубокими - в природе итальянского деспотизма и в особых требованиях республик. Мы уже видели, как Фридрих II счел удобным использовать сарацин в своей войне со Святым Престолом. То же желание заполучить войска, неспособные сочувствовать коренному населению, побудило тиранов Скала и Висконти нанять немецкую, бретонскую, швейцарскую, английскую и даже венгерскую гвардию. Эти иностранные войска остались в распоряжении тиранов и заменили национальное ополчение. Население Италии было зарезервировано для уплаты налогов; иностранцы вели войны князей. Эта политика не была иначе как популярной. Это освободило все классы от воинской повинности, предоставив бюргеру свободу заниматься своим ремеслом, крестьянину обрабатывать свои поля и обезоружив дворян, которые все еще были непокорными и беспокойными в городских стенах. Тот же обычай получил распространение и среди республик. Богатые флорентийцы предпочитали спокойно сидеть дома или выезжать за границу по торговым делам, в то время как военные операции они доверяли наемным генералам.^[2] Венеция, ревниво относившаяся к своим собственным гражданам, не взимала никаких сборов на своей непосредственной территории и взяла за правило никогда не доверять свои армии венецианцам. Ее адмиралы, действительно, были выбраны из знатных семей Лагун. Но ее войска были подчинены дисциплине иностранцев. Церковная война, опять же, по необходимости должна была вестись на тех же принципах; ибо не часто случалось, чтобы появлялся папа, подобный Юлию II, радующийся звуку пушек и лагерной жизни. Таким образом, княжества и республики постепенно денационализировали свои армии и стали проводить кампании с помощью иностранных наемников под руководством оплачиваемых командиров. Генералы, желая, насколько возможно, сделать свои войска подвижными и компактными, подавили пехоту и сосредоточили свое внимание на совершенствовании кавалерии. Тяжеловооруженные кавалеристы под командованием профессиональных капитанов сражались в битвах за Италию; в то время как деспоты и республики строили планы в своих замках или обсуждали в своих залах советов военные объекты, к которым солдаты удачи были равнодушны. Плата, получаемая воинами, была более значительной, чем у самых квалифицированных рабочих в любом мирном ремесле. Опасности военной службы в Италии, проводимой на самых искусственных принципах, были невелики; в то время как возможности потакать своим желаниям — грабить во время войны и развлекаться в краткие периоды мира — привлекали к этой службе всю горячую кровь страны.^[3] Таким образом, со временем профессия кондотьера привлекла более нуждающуюся знать Италии, и ряды их воинов пополнялись горожанами и крестьянами, которые сознательно выбрали жизнь, полную приключений.

^[1] VIII. 51.

[2] Мы можем вспомнить, как испанский генерал Кардона в 1325 году злоупотреблял своим командованием флорентийскими войсками, чтобы содержать богатых членов республиканского ополчения на нездоровых участках, вымогая у них деньги в качестве платы за свободу от опасной или утомительной службы.

[3] Матараццо в своей "Хронике Перуджи" дает живую картину итальянского города, в котором дворяне из поколения в поколение занимались ремеслом кондотьеров, в то время как люди вербовались в их банды — к полному разрушению морали и мира в обществе.

Сначала иностранные войска деспотов нанимались в качестве личной охраны и находились под контролем своих нанимателей. Но капитаны вскоре стали независимыми и заключили военные контракты за свой счет. Первым заметным примером бродячего отряда, существующего ради грабежа и продающего свои услуги любому, кто предложит цену, была так называемая Великая рота (1343 г.), которой командовал немец Гуарньери, или герцог Вернер, который написал на своем нагрудном знаке: "Враг Бога, Сострадания и Пощады". Эта группа была нанята в 1348 году лигой домов Монферрат, Ла Скала, Каррара, Эсте и Гонзага, созданной для борьбы с Висконти.

"В середине четырнадцатого века, - пишет Сисмонди, [1] "все солдаты, служившие в Италии, были иностранцами: в конце того же столетия все или почти все они были итальянцами". Это предложение указывает на важнейшее изменение в системе кондотьеров, произошедшее при жизни Джана Галеаццо Висконти. Альберико да Барбиано, дворянин из Романьи и предок миланского дома Бельгийозо, избрал карьеру кондотьера и основал Труппу, названную Труппой Святого Георгия, в которую он не допускал никого, кроме итальянцев. Следствием этого правила стало то, что он итализировал профессию наемника-оружейника на будущее. Все великие полководцы того периода сформировались в его рядах в ходе тех войн, которые он вел на стороне герцога Миланского. Двое приобрели первостепенное значение — Браччо да Монтоне, который изменил систему своего хозяина, заменив тактику отдельных отрядов кавалерии сплошной фалангой, в которой Барбиано двигал свои войска; и Сфорца Атендоло, который придерживался старого метода. Сфорца получил свое имя из-за своей огромной физической силы. Это был крестьянин из деревни Котиньола, которому предложили сменить мотыгу на меч, и он бросил свою кирку в дуб с криком: "Если она останется там, это знак того, что я разбогатею". Топор воткнулся в дерево, и Сфорца отправился основывать род герцогов. [2] После смерти Барбиано в 1409 году Сфорца и Браччо разделились и сформировали две отдельные компании, известные как Сфорцески и Браччески, которые вели между собой, иногда совместно, но обычно в оппозиции, все войны в Италии в течение следующих двадцати лет. Эти старые товарищи, которые расстались в погоне за своим некоторым преимуществом, обнаружили, что им больше терять, чем приобретать, побеждая друг друга в любом кровавом или неудобном решающем сражении. Поэтому они приняли систему агитации, которая должна была стоять им как можно меньше, но которая позволяла им демонстрировать способность шахматиста придумывать хитроумные маты. [3] И Браччо, и Сфорца умерли в 1424 году, и им наследовали соответственно Николо Пиччинино и Франческо Сфорца. Эти двое мужчин, в свою очередь, стали главными чемпионами Италии. В то же время внимание привлекли другие кондотьеры. Семья Малатеста из Римини, герцогский дом Урбино, Орсини и Вителли из римских государств, Варани из Камерино, Бальони из Перуджи и младший Гонзаги предоставили республикам и князьям профессиональных лидеров с испытанным мастерством и независимыми ресурсами. Вассалы этих благородных домов были превращены в воинов, и

вожди приобрели в своей бродячей военной жизни большее значение, чем они могли бы приобрести в узких рамках своих маленьких государств.

[1] Том v. стр. 207.

[2] Это общепринятое обозначение. Корио, стр. 255, не обращает внимания на низкое происхождение Сфорцы, но говорит, что ему было всего двенадцать лет, когда он поступил на службу в корпус Болдрино да Панигале, кондотьера Церкви. Его крепкие физические качества передавались по наследству многим поколениям в его семье. Его сын Франческо был высоким и хорошо сложенным, лучшим бегуном, прыгуном и борцом своего времени. Он маршировал летом и зимой с непокрытой головой; почти не нуждался во сне; был скуп на диету и потакал своим желаниям только в том, что касалось женщин. Галеаццо Мария, хотя и был запятнан отвратительными пороками, был могущественным принцем, который правил своим герцогством сильной рукой. О его незаконнорожденной дочери Катерине, жене Джироламо Риарио, рассказывается история, иллюстрирующая сильную грубую жилку, которая все еще отличала этот выводок принцев. [См. Деннистоун, "Герцоги Урбино", том i, стр. 292, рассказ Боккалини об осаде Форли, выдержанной Катериной в 1488 году. Сравните Сисмонди, том vii. стр. 251.] Катерина Риарио Сфорца как женщина не была недостойной наследницей личного героизма своего деда и его государственного гения.

[3] Мне придется обратить внимание на недостатки этой системы в другом месте, при рассмотрении *Принципов* Макиавелли. В этом трактате флорентийский историк объясняет все разорение Италии в XVI веке использованием наемников.

Биография одного из этих кондотьеров заслуживает особого внимания, поскольку она иллюстрирует превратности судьбы, которым подвергались эти люди, а также их отношения к своим покровителям. Франческо Карманьюола был пьемонтцем. Впервые он привлек к себе внимание в битве при Монце в 1412 году, когда Филиппо Мария Висконти отметил его способности и храбрость, а затем повысил его до капитана отряда. Помогая привести герцогство Висконти к порядку, Карманьюола оказался опозоренным и без веских на то оснований заподозренным герцогом Миланским; и в 1426 году он взял плату венецианцев против своего старого хозяина. В течение следующего года он продемонстрировал выдающиеся свои способности полководца, ибо разгромил объединенные силы Пиччинино, Сфорца и других капитанов Висконти и взял их в плен при Макало. Карманьюола не сажал в тюрьму и не убивал своих врагов.[1] Он дал им свободу, и четыре года спустя ему пришлось потерпеть поражение от Сфорца при Сончино. Последовали и другие повороты судьбы, которые навлекли на него подозрение в недобросовестности или неспособности. Когда он вернулся в Венецию, государство приняло своего капитана со всеми почестями и проявило необычную помпезность при его приеме на аудиенцию Совета. Но как только их бархатные лапы сомкнулись на нем, они бросили его в тюрьму, объявили тайный импичмент за его поведение и 5 мая 1432 года вывели его с кляпом во рту на казнь на площади Пьяцца. Не было указано никаких причин для этого судебного убийства. Был ли Карманьюола осужден за государственную измену? Был ли он наказан за неудачную кампанию предыдущих лет? Венецианская республика тайной, которой она окутала этот мрачный акт мести, стремилась внушить всем своим чиновникам смутную тревогу.

[1] Такой акт насилия, каким бы он ни соответствовал морали Чезаре Борджиа, Венецианской республики или герцога Миланского, был бы прямо противоположен кодексу чести,

используемому среди кондотьеров. Действительно, среди противоречий этого периода нет ничего более необычного, чем гуманность на поле боя, проявленная наемными капитанами. Война велась не столько против вражеских армий, сколько против населения провинций. Авантюристы уважали жизни друг друга и относились друг к другу с вежливостью. Они были братством, которое играло в предвыборную кампанию, а не представителями сил, серьезно настроенных на уничтожение друг друга. Макиавелли говорит (Principal. cap. xii.): "Авеано усато, огни индустрии за леваром, через се "солдат фатики и пауры, без аммаццандо нелле зуффе, ма пиглиандоси приджони и сенца тальи". В то же время вольность, которую они позволили себе в отношении городов и районов, в которые они вторглись, хорошо иллюстрируется разграблением Пьяченцы в 1447 году войсками Франческо Сфорца. Анархия разграбления длилась сорок дней, в течение которых жители были без разбора проданы в рабство или подвергнуты пыткам из-за спрятанных сокровищ. Sism. vi. 170.

Но вернемся к Миланскому герцогству. Франческо Сфорца вступил в столицу как завоеватель в 1450 году и был провозглашен герцогом. Он так и не получил санкции Империи на свой титул, хотя Фридрих III. был, как говорится, щедр на такие почести. Но великий кондотьер, обладавший состоянием, не заботился о внешней демонстрации монархии. Он правил твердо, мудро и по тем временам хорошо, заботясь о процветании своих государств, поддерживая хорошую дисциплину в своих городах и не теряя позиций из-за глупых или амбициозных планов. Говорят, что Людовик XI Французский провозгласил себя учеником Сфорца в области государственного управления, и нельзя было отдать большей дани его политической проницательности, чем эта. В 1466 году он умер, оставив троих сыновей: Галеаццо, герцога Миланского, кардинала Асканио и Лодовико по прозвищу Моро.

"Короне Франческо, - говорит Рипамонти, - было суждено перейти более чем к шести наследникам, и эти пять наследований были завершены серией трагических событий в его семье. Галеаццо, его сын, был убит из-за своих отвратительных преступлений в присутствии своего народа, перед алтарем, в разгар священных обрядов. Последовавший за ним Джованни Галеаццо был отравлен своим дядей Лодовико. Лодовико был заключен в тюрьму французами и умер от горя в темнице.^[1] Один из его сыновей погиб таким же образом; другой, после многих лет страданий и изгнания, был восстановлен в бездетной старости на троне, который был подорван, и когда он умер, его династия угасла. Это было возмездием за измену Франческо Миланскому государству. Именно ради таких успехов он провел свою жизнь в вероломстве, лишениях и опасности. "В этих быстрых сменах мы прослеживаем, помимо деморализации семьи Сфорца, действие новых сил извне. На сцену вышли Франция, Германия и Испания, и против этих великих держав политика итальянского деспотизма была бессильна.

^[1] Говорят, что в замке Лох есть грубо нарисованное настенное изображение человека в шлеме над камином в комнате, известной как его тюрьма, с этой легендой, *Вуаля, что касается содержания*. Традиция отдает его Иль Моро.

Сейчас мы достигли порога настоящего Возрождения, и для итальянской политики открывается новый период. Деспоты собираются помериться силой с народами Севера. Именно Лодовико Сфорца по приглашению Карла VIII прибыл в Италию и положил начало эпохе иностранного порабощения. Следовательно, его биографии принадлежит отдельная глава. Но жизнь Галеаццо Марии, мужа Боны Савойской и дяди по браку короля Франции Карла VIII, составляет неотъемлемую часть той истории миланских деспотов, которую мы до сих пор прослеживали. В

нем повторились страсти Джана Марии Висконти с добавлением экстравагантного тщеславия. В частности, мы можем отметить его парадную поездку во Флоренцию в 1471 году, когда он хвастался богатствами, вымоганными у его миланских подданных, перед трезвомыслящими гражданами все еще свободного города. Пятьдесят лошадей для герцогини, пятьдесят всадников для герцога, закутанных в золотые одежды; сотня латников и пятьсот пехотинцев для личной охраны; пятьсот пар гончих и множество ястребов; его сопровождали. Его свита придворных насчитывала две тысячи всадников: на это великолепие было потрачено 200 000 золотых флоринов. Макиавелли (1-я. Фиор. lib. 7) отмечает этот визит герцога Миланского как поворотный момент от суровой простоты к роскоши и распушенности в нравах флорентийцев, которых Лоренцо Медичи уже подмял под свое ярмо. Самая экстравагантная похоть, самая низкая и подлая жестокость ежедневно доставляли Галеаццо Марии удовольствие.^[1] Это был тот, кто кормил своих жертв мерзостями или хоронил их заживо, и кто находил удовольствие в нанесении увечий или унижении достоинства тех, кого он сделал своими доверенными лицами и друзьями. Подробности его убийства в 1476 году, хотя и хорошо известны, настолько интересны, что я могу быть извинен за то, что делаю паузу, чтобы повторить их здесь; особенно потому, что они иллюстрируют моральную характеристику этого периода, которая тесно связана с деспотизмом. Трое молодых миланских дворян, получивших образование в области классической литературы у Монтано, выдающегося болонского ученого, впитали из своих занятий греческой и латинской историей пламенную жажду свободы и смертельную ненависть к тиранам.^[2] Их звали Карло Висконти, Джироламо Ольджати, и Джаннандреа Лампуньяни. Галеаццо Сфорца ранил двух последних в том, что мужчинам дороже всего — в их чести и собственности^[3] — оскорбив сестру Ольджати и лишив Лампуньяни покровительства аббатства Мирамондо. Дух Гармония и Виргиния воспламенился в друзьях, и они решили избавить Милан от ее деспота. После нескольких встреч в саду Сан-Амброджо, где они обдумывали свои планы, они возложили свой проект тираноубийства в качестве священного подношения святому покровителю Милана.^[4] Затем, проведя несколько дней в упражнениях пуаньяра ради тренировки,^[5] они заняли свое место на территории церкви Святого Стефана. Там они приняли причастие и обратились в молитве к Первомученику, чей храм вот-вот должен был быть освящен убийством чудовища, ненавистного Богу и человеку. Утром 26 декабря 1476 года герцог въехал в Сан-Стефано. В одно и то же мгновение кинжалы трех заговорщиков поразили его — Ольджати в грудь, Висконти в спину, Лампуньяни в живот. Он воскликнул: "Ах, Дио!" - и замертво рухнул на тротуар. Другам не удалось сбежать; Висконти и Лампуньяни были убиты на месте; Ольгиати был схвачен, подвергнут пыткам и растерзан до смерти.

^[1] Следует прочитать "Дневники Санеси" Аллегретто Аллегретти в Муратори, ххiii, стр. 777, и "Корио", стр. 425, чтобы узнать подробности его удовольствий. Посмотрите также "Его характер" Макиавелли, 1-я. Fior. lib. 7, том ii. стр. 316. И все же Джовио называет его справедливым и твердым правителем, запятнанным только пороком необузданной чувственности.

^[2] Изучение классики, особенно Плутарха, в это время, как и во время Французской революции, будоражило воображение патриотов. Лоренцо Медичи апеллировал к примеру Тимолеона в 1537 году, а Пьетро Паоло Босколи - к примеру Брута в 1513 году.

^[3] 'Le ingiurie conviene che siano nella roba, nel sangue, o nell' onore.... La roba e l'onore sono quelle due cose che offendono più gli uomini che alcun' altra offesa, e dalle quali il principe si debbe guardare: perchè e' non può mai spogliare uno tanto che non gli resti un coltello da vendicarsi; non può tanto disonorare uno che non gli resti un animo ostinato alla vendetta.' Mach. Диск. iii. 6.

[4] Смотрите молитву Ольгиати святому Амвросию у Сисмонди, vii. 87, и в Mach. Ist. Фиор. библиотека. 7.

[5] Хроника Джованни Санци, цитируемая Деннистоуном, том i, стр. 223, описывает заговорщиков, репетирующих на деревянной марионетке.

В промежутке, прошедшем между дыбой и клещами, Ольгиати успел обратиться к священнику, который призвал его покаяться, с запоминающейся речью: "Что касается благородного поступка, за который я вот-вот умру, именно это успокаивает мою совесть; на это я надеюсь, что Судья всех простит. Далекий от раскаяния, если бы мне пришлось десять раз возвращаться к жизни, чтобы десять раз умереть в тех же муках, я бы, не колеблясь, посвятил свою кровь и все свои силы столь возвышенной цели. "Когда палач встал над ним, готовый приступить к нанесению увечий, он, как говорят, воскликнул: *Mors acerba, fama perpetua, stabit vetus memora fasti* — моя смерть безвременна, моя слава вечна, память о содеянном будет длиться вечно". Ему было всего двадцать два года.[1] В очертаниях этой истории присутствует античное величие, странным образом смешанное со средневековым католицизмом в деталях, что делает ее типичной для эпохи Возрождения. Заговоры против правителей были обычным явлением в то время в Италии; но ни один из них не был таким чистым и благородным, как этот. О Заклинании Пацци (1478), которое Сикст IV направил против Медичи, чтобы навлечь на него вечную дурную славу, мне придется говорить в другом месте. Здесь достаточно мимоходом упомянуть патристическую попытку Джироламо Джентиле выступить против Галеаццо Сфорца в Генуе в 1476 году и более эгоистичный заговор Николо д'Эсте в том же году против своего дяди Эрколе, который удерживал маркизат Феррары в ущерб своим собственным притязаниям. Последняя трагедия запомнилась тем, что Эрколе отомстил за нее. Он обезглавил Николо и его двоюродного брата Аццо вместе с двадцатью пятью его товарищами, эффективно предотвратив этим кровопролитием любые будущие попытки лишить его титула. Разваливаясь, как эти четыре заговора, в течение двух лет и демонстрируя различные черты античного героизма, простого патриотизма, династических разногласий и церковного вероломства, они представляют примеры различных форм и причин политических трагедий с примечательной и многозначительной лаконичностью.[2]

[1] Всю историю можно прочитать у Рипамонти под заголовком "Исповедь Ольджати"; у Корио, который был пажом герцога и очевидцем убийства; и в седьмой книге "Истории" Макиавелли. Краткое изложение и ссылки Сисмонди, том vii. стр. 86-90, они очень полные.

[2] Следует отметить, что в Церкви произошло очень много тираноубийств — например, убийства Франческо Вико деи Префетти, Варани, Кьявелли, Джулиано де Медичи и Галеаццо Марии Сфорца. Выбор государственной службы как наилучшего повода для совершения этих преступлений указывает на настороженность, которую тираны проявляют в своих дворцах и на улицах. Банкеты и празднества предоставляли возможности другого рода; и именно в таких случаях разыгрывались семейные трагедии, такие как убийство Оливеротто своего дяди и государственная измена Грифонетто Бальони.

Таково было действительное состояние Италии в конце пятнадцатого века. Ни общественной, ни частной морали в нашем понимании этого слова не существовало. Преступления тиранов против своих подданных и членов их собственных семей породили соответствующий порядок преступности у людей, над которыми они тиранили. На жестокость отвечали заговором. Тираноубийство стало почетным занятием, и пословица "Тот, кто отдает свою жизнь, может

отнять жизнь тирана" вошла в обиход. На этом этапе, возможно, было бы неплохо взглянуть на мнения относительно публичных убийств, которые преобладали в Италии. Макиавелли в "Дискурсиях" iii. 6 обсуждает весь предмет со своим обычным холодным и исчерпывающим анализом. Рассмотрение моральной стороны вопроса не является частью его критического метода. Он обращается с фактами истории научно. О том, с каким уважением относились к тираноубийце во Флоренции, свидетельствует возведение "Юдифи" Донателло в 1495 году у ворот Палаццо Пабблицо с надписью " *exemplum salutis publicæ cives posuere*". Все политические теоретики согласны с тем, что избавление государства от его деспота - добродетельный поступок. Они расходятся только в его мотивах и полезности. In Guicciardini's *Reggimento di Firenze* (Op. Ined. vol. ii. стр. 53, 54, 114) обсуждаются различные мотивы тираноубийства, и делается вывод, что *почитай соно стати, что сиано мосси достоин любви, свободы, справедливости, отечества, высшей похвалы.* [1] Донато Джаннотти (Опера, том i, стр. 341) предлагает заговорщику подумать, достаточно ли простого уничтожения деспота, чтобы вернуть его городу истинную свободу и хорошее управление — предостережение, которым мог бы воспользоваться Лоренцино Медичи при убийстве герцога Алессандро; ибо он убил одного тирана только для того, чтобы освободить место для другого. Собственная апология Лоренцино (Varchi, том iii, стр. 283-295) является важным документом, поскольку показывает, что убийца деспота рассчитывал на сочувствие благородных людей. То же самое можно сказать и о вердикте духовника Босколо (Arch. Stor. vol. i. p. 309), который заявил, что заговор против тирана не был преступлением. Деморализация эпохи на этом не закончилась. Сила, которая заменила Закон в правительстве, стала, так сказать, главной движущей силой общества. Убийства, отравления, изнасилования и государственные измены были обычными случаями как в частной, так и в общественной жизни. [2] В таких городах, как Неаполь, вину за пролитую кровь можно искупить невообразимо низко. Жизнь человека стоила едва ли больше, чем жизнь лошади. Дворцы знати кишели профессиональными головорезами, а великие духовные лица заявляли о праве своих жилищ на убежище. Папы продавали отпущение грехов за самые ужасные излишества и заранее предоставляли индульгенции за совершение преступлений похоти и насилия. Успех был мерилom, по которому оценивались поступки; и человек, который мог помочь своим друзьям запугать врагов и проложить себе путь к богатству любыми выбранными им средствами, считался героем. Использование Макиавелли слова *virtù* в этом отношении наиболее поучительно. Оно полностью утратило христианское представление о добродетели и сохранило лишь ту часть римских *virtus*, которая применима к мужеству, интеллектуальным способностям и личной доблести того, кто достиг своей цели, какой бы она ни была. Результатом такого положения вещей стало то, что индивидуальность характера и гениальность получили в это время в Италии более свободный простор, чем в какой-либо другой период современной истории.

[1] "Действительно, очень мало было тех, чьим мотивом для тираноубийства была чистая любовь к свободе своей страны; и они заслуживают высочайшей похвалы".

[2] Совершенно невозможно дать полное представление об итальянском обществе в этом аспекте. Студентов следует отсылать к рассказам романистов, которые собрали наиболее драматические происшествия и представили их в форме занимательных легенд. Здесь может быть достаточно упомянуть Бартоломео Коллеони, Анджело Полициано и Понтано, которые все были обязаны своим началом жизни убийству своих отцов наемными убийцами; Варчи и Филельфо, на чьи жизни покушались головорезы; Челлини, Перуджино, Мазаччо, Берни, в биографиях каждого из которых яд и нож играют свою роль. Если литераторы и художники

подвергались этим опасностям, то можно легко представить, какие опасности подстерегают великих и благородных.

В то же время не следует забывать, что в этот период искусство и культура Возрождения достигли кульминации. Филельфо получал золото Филиппо Марии Висконти. Гуарино Веронский давал наставления наследнику Феррары, а Витторино да Фельтре - детям маркиза Мантуанского. Лионардо восхищал Милан своей музыкой и волшебным миром живописи. Полициано изливал сладкое красноречие во Флоренции. Фичино излагал Платона. Боярдо пел прелюдию к "мелодиям Ариосто" в Ферраре. Пико делла Мирандола мечтал о примирении еврейской, языческой и христианской традиций. Необходимо отметить эти факты мимоходом; точно так же, когда мы обозреваем историю литературы и искусств, нам подобает помнить о преступлениях и безумии покровительствовавших им деспотов. Это была эпоха, в которую даже самые дикие и вероломные тираны ощущали облагораживающее влияние и священную жажду знаний. Сигизмондо Пандольфо Малатеста, сеньор Римини, может быть выбран как истинный тип принцев, которые сочетали романтическое рвение к культуре с пороками варваров.^[1] На монетах с портретами этого человека, а также на медальонах, вырезанных из красного веронского мрамора в его церкви в Римини, изображен узкий лоб, выступающий над кустистыми бровями, длинный крючковатый нос, впалые щеки и капризные, страстные, сжатые губы. Все лицо, кажется, готово вспыхнуть внезапной яростью, слить свой самоконтроль в судороге ярости. Сигизмондо Пандольфо Малатеста убил трех жен подряд, надругался над собственной дочерью и покушался на целомудрие собственного сына. В нем так много от простого дикаря. По его приказу Лео Альберти великолепная церковь Святого Франческо в Римини была возведена Лео Альберти в стиле, более достойном языческого пантеона, чем христианского храма. Он украсил его изысканными мраморными барельефами, триумфами стиля раннего Возрождения, вырезал свое имя и эмблемы на каждом свитке, фризе и смотровой площадке здания и посвятил там святилище своей наложнице - *Диве Изотте Сакрум*. Так много в нем принадлежит неоязычеству пятнадцатого века. Он привез из Греции бранные останки философа Гемиста Плетона, похоронил их в саркофаге возле своей церкви и написал на могиле такой эпитафия: "Эти останки Гемиста Византийского, главного из мудрецов своего времени, Сигизмондо Пандольфо Малатеста, сына Пандольфо, командующего войной против короля турок в Мореи, побуждаемого могучей любовью, которой он горит к ученым людям, доставлены сюда и помещены в этот сундук". 1466. "Он, самый раздражительный и беспокойный из людей, он терпеливо читал книги и терпеливо переносил противоречия педантов в ходе долгих дискуссий по философии, искусству и литературе. Так много в нем принадлежало новому духу грядущей эпохи, в которой стремление к эрудиции было страстью, а чары науки были сильнее чар любви. В то же время, как кондотьер, он продемонстрировал все измены, двуличие, жестокость, святотатство и изворотливую политику, к которым только мог стремиться самый отъявленный злодей того времени.

^[1] Более полный рассказ о нем смотрите в моей статье "Зарисовки в Италии и Греции", *Римини*.

Было бы легко, следуя по стопам Тирабоски, описать покровительство, оказанное в пятнадцатом веке литераторам князьями, — покровительство, оказанное Николаем III Феррарским Гуарино и Ориспе, — блестящие обещания его сына Леонелло, который переписывался с Поджо, Филельфо, Гуарино, Франческо Барбаро и другими учеными, — щедрость герцога Борсо, чей кошелек был открыт для бедных студентов. Или мы могли бы вспомнить великолепную культуру неаполитанского двора, где Альфонсо поручил воспитание

своего ужасного сына Фердинанда заботам Лоренцо Валлы и Антонио Беккаделли.[1] Однако более глубокое понимание природы итальянского деспотизма во всех его фазах можно получить, если отправиться из Милана в Урбино и набросать портрет доброго герцога Фредерика.[2] Жизнеописание Фредерика, графа Монтефельтро, титулованного герцогом Урбино в 1474 году папой Сикстом IV., охватывает большую часть пятнадцатого века (р. 1422, ум. 1482). Маленький уголок старой Умбрии, лежащий между Апеннинскими и Адриатическим морем, Римини и Анконой, составлял его вотчину. Грубо говоря, все герцогство занимало всего сорок квадратных миль, и большая его часть состояла из голых склонов холмов и разрушительных оврагов. И все же эта бедная территория стала центром великолепного двора. "Федерико, - говорит его биограф Муцио, - содержал свиту, столь многочисленную и знатную, что могла соперничать с любым королевским двором". Рыцарство Италии стекалось в Урбино, чтобы поучиться манерам и военному искусству у самого благородного полководца своего времени. "Его семейство, - слышим мы от Веспасиано, - состоявшее из 500 ртов, которых он развлекал за свой счет, управлялось не столько как рота солдат, сколько как строгая религиозная община. Не было ни азартных игр, ни ругани, но мужчины беседовали с предельной трезвостью. " В списке судебных чиновников мы находим сорок пять графов герцогства и других государств, семнадцать джентльменов, пять секретарей, четырех преподавателей грамматики, логики и философии, четырнадцать клерков в государственных учреждениях, пятерых архитекторов и инженеров, пятерых чтецов за едой, четверых переписчиков рукописей. Библиотека, собранная Веспасиано за четырнадцать лет кропотливого труда, содержала копии всех обнаруженных на тот момент греческих и латинских авторов, основные трактаты по теологии и истории церкви, полный цикл итальянских поэтов, историографов и комментаторов, различные медицинские, математические и юридические труды, эссе по музыке, военной тактике и искусству, а также такие книги на иврите, которые были доступны переписчикам. Каждый том был переплетен в малиновый и серебряный цвета, и вся коллекция стоила более 30 000 дукатов. Одних доходов герцогства не могло хватить на содержание такого большого дома и этой прекрасной библиотеки, не говоря уже о строящемся дворце и церквях, которые требовали украшения. Федерико был обязан своим богатством службе в качестве генерала. Военная служба сформировала его профессию. "В 1453 году, - говорит Деннистоун, - его военное жалованье от Альфонсо Неаполитанского превысило 8000 дукатов в месяц, и в течение многих лет он получал от него и его сына ежегодную мирную пенсию в размере 6000 за прошлые заслуги. В конце своей жизни, будучи генерал-капитаном итальянской лиги, он получал на войне 165 000 дукатов ежегодного жалованья, из них 45 000 были его собственной долей; в мирное время всего 65 000. "Как кондотьер, Федерико был известен в этот век сломленной веры своей прямоотой и искренностью. Только один эпизод сомнительной практики — поимка Верукьо в 1462 году с помощью поддельного письма, якобы присланного Сигизмондо Малатестой, — запятнал его репутацию честного человека. К своим солдатам на поле боя он был внимателен и великодушен; к своим врагам - сострадательен и милосерден.[3] "В военной науке, - говорит Веспасиано, - его не превосходил ни один полководец того времени; соединяя энергию с рассудительностью, он побеждал благоразумием в той же степени, что и силой. Подобная осторожность наблюдалась во всех его делах; и ни в одном из его многочисленных сражений он не потерпел поражения. Я также не могу упустить из виду строгое соблюдение добросовестности, в котором он никогда не подводил. Все, кому он когда-то дал свое слово, могли бы засвидетельствовать его неукоснительное выполнение". Тот же биограф добавляет, что "он был необычайно религиозен и наиболее строго соблюдал Божественные заповеди. Не проходило и утра, чтобы он не прослушал мессу, стоя на коленях.

[1] Панормита; автор, между прочим, бесстыдного "Гермафродита". Этот факт знаменателен. Нравственное чувство угасло, когда такого ученика доверили такому наставнику.

[2] Следующими подробностями я в основном обязан "Мемуарам герцогов Урбино" Джеймса Деннистоуна; 3 тома., Longmans, 1851. "Жизнь герцога Фредерика" Веспасиано (Vite di uomini illustri, стр. 72-112) - один из самых очаровательных литературных портретов, дошедших до нас. Более того, она имеет ценность личных мемуаров, поскольку Веспасиано поддерживал тесные отношения с герцогом в качестве его библиотекаря.

[3] Смотрите свидетельство Франческо ди Джорджо; Деннистоун, том i, стр. 259. Разграбление Вольтерры, однако, легло пятном на его человечность.

Мальчиком Федерико получил образование в школе Витторино да Фельтре в Мантуе. Джан Франческо Гонзага пригласил этого выдающегося ученого к своему двору в 1425 году для обучения своих сыновей и дочери, собрав вокруг себя подчиненных учителей грамматики, математики, музыки, живописи, танцев, верховой езды и всех благородных занятий. Система, которой руководил Витторино, включала в себя не только получение стипендии, но и занятия мужественными видами спорта и воспитание морального облика. Многие из самых благородных итальянцев были его учениками. Гиберто да Корреджо, Баттиста Паллавичини, Таддео Манфреди из Фаэнцы, Габриэлло да Кремона, Франческо да Кастильоне, Никколо Перротти вместе с графом Монтефельтро жили в доме Витторино, общаясь с более бедными учениками, которых великодушный философ воспитывал в любви к учебе. Амброджо Камальдолезе в письме Никколо Никколи дает такую оживленную картину мантуанской школы: "Я снова поехал навестить Витторино и посмотреть его греческие книги. Он пришел встретить меня с детьми принца, двумя сыновьями и дочерью семи лет. Старшему мальчику одиннадцать, младшему пять. Есть также другие дети лет десяти, сыновья дворян, а также другие ученики. Он преподает им греческий, и они могут хорошо писать на этом языке. Я видел перевод из святого Златоуста, сделанный одним из них, который мне очень понравился". И снова несколько лет спустя: "Он привел ко мне Джованни Лучидо, сына маркиза, мальчика лет четырнадцати, которого он воспитал, и который затем декламировал двести строк, сочиненных им на тему представлений, с которыми император был принят в Мантуе. Стихи были прекрасны, но сладость и элегантность его декламации делали их еще более изящными. Он также показал мне два предложения, добавленные им к Евклиду, которые доказывают, насколько выдающимся он обещает стать в математических исследованиях. Была также маленькая дочь маркиза, лет десяти, которая прекрасно пишет по-гречески; и их посещали многие другие ученики, в том числе благородного происхождения. "На медали, отчеканенной Пизанелло в честь Витторино да Фельтре, изображен пеликан, кормящий своих детенышей из раны на собственной груди, — символ самопожертвования учителя. [1] Я надеюсь вернуться ко второму тому этой работы к Витторино. Здесь достаточно отметить, что в этой хорошей школе герцог Урбинский приобрел ту прочную культуру, которая отличала его на протяжении всей жизни. Спустя годы, когда на него навалились заботы по многочисленным делам, мы слышим от Веспасиано, что он все еще продолжал заниматься учебой, читая "Этику, политику и физику" Аристотеля, слушая вслух труды Святого Фомы Аквинского и Скотта, просматривая в одно время греческих отцов церкви, а в другое - латинских историков. [2] О том, с какой пользой он провел свой день в Урбино, можно судить по рассказу его биографа: "На рассвете он был верхом на лошади с четырьмя или шестью конными слугами, не более, и с одним или двумя пешими слугами без оружия. Он отъезжал верхом на три-четыре мили и возвращался, когда остальные придворные вставали с

постели. Спешившись, он слушал мессу. Затем он вышел в сад, открытый со всех сторон, и до обеда давал аудиенции тем, кто был в списке. За столом все двери были открыты; любой мужчина мог войти туда, где находился его светлость, потому что он никогда не ел иначе, как при полном зале. В зависимости от времени года он зачитывал следующие книги: в Великий пост - духовные сочинения; в другое время - историю Ливия; все на латыни. Его пища была простой; он не ел сладостей и не пил вина, за исключением напитков из граната, вишни или яблок. "После обеда он выслушал причины и произнес приговор на латинском языке. Затем он навещал монахинь Санта-Кьяры или наблюдал за играми молодых людей Урбино, пользуясь любезностью совершенной свободы со своими подданными. Его репутация покровителя искусств и учености была широко распространена. "Послушать, как он разговаривает со скульптором, - говорит Веспасиано, - можно было подумать, что он мастер своего дела. В живописи он также проявил самую проницательность; и так как он не мог найти среди итальянцев достойных мастеров масляных красок, он послал во Фландрию за одним из них, который нарисовал бы для него философов, поэтов и учителей Церкви. Он также привез из Фландрии мастеров гобеленового искусства. Понтано, Фичино и Поджио посвятили его имени важные работы; а Пирро Перротти в предисловии к "Рогу изобилия" своего дяди рисует причудливую картину приема, который, несомненно, ожидал столь ученую книгу в Урбино.[3] Но Фредерик был не просто состоявшимся принцем. Совпадающие свидетельства доказывают, что он оставался хорошим мужем и постоянным другом на протяжении всей своей жизни, что он контролировал свою природную вспыльчивость и подавлял чувственные аппетиты, которым в тот век распущенной морали он мог бы потакать без упреков. В своих отношениях к подданным он показал, каким должен быть монарх-отец, фамильярно беседуя с жителями Урбино, обращаясь к ним с непокрытой головой, интересуясь нуждами бедных ремесленников, помогая нуждающимся, давая приданое девочкам-сиротам и помогая попавшим в беду лавочникам с займами. Рассказываются многочисленные анекдоты, которые иллюстрируют его уважение к своим старым слугам и его заботу о благополучии и благоустроенности своего государства. В то время, когда папа и король Неаполя зарабатывали деньги на монополии на зерно, герцог Урбинский наполнял свои зернохранилища из Апулии и продавал хлеб в год дефицита по дешевой цене своим бедным подданным. Он также не позволил бы своим сотрудникам привлекать неимущих к ответственности за долги, возникшие в результате таких покупок. Он обычно говорил: "Я не купец; этого достаточно, чтобы спасти мой народ от голода". Мы должны помнить, что этот превосходный принц был напрямую заинтересован в поддержании процветания и доброй воли своего герцогства. Его профессией было военное дело, и район Урбино снабжал его лучшими войсками. Тем не менее, это не должно умалять уважения к дальновидности и доброжелательности кондотьера, который знал, как выполнять свое призвание с гуманностью и великодушием. Федерико носил орден Подвязки, которым наградил его Генрих VII. Неаполитанский орден Горностая и папские награды в виде Розы, Шляпы и Шпаги. Он служил трем понтификам, двум королям Неаполя и двум герцогам Милана. Флорентийская республика и более чем одна Итальянская лига назначили его своим полководцем на местах. Если его военная карьера была менее блестящей, чем у двух Сфорца, Пиччинино или Карманьоллы, он избежал преступлений, на которые честолюбие толкало некоторых из этих людей, и скал, о которые они разбивались. После своей смерти он передал процветающее герцогство, образованный двор, известное имя и руководство Итальянской лигой своему сыну Гвидобальдо.

[1] Прендилаква, биограф Витторино, говорит, что он умер в такой бедности, что расходы на его похороны пришлось покрывать самостоятельно.

[2] Пий II. в своих Комментариях он приводит интересный отчет о беседах о тактике древних, которые он вел с Фридрихом в 1461 году в окрестностях Тиволи.

[3] Предисловие к оригинальному изданию "Рога изобилия" стоит прочитать из-за живого впечатления, которое оно производит на личность Федерико: "Восхищение божественным и лам корпоративного процесса, мембранорум роба эксимиум, венеранде орис дигнитатем, этатис матурам гравитатем". , божественный квандам, верховное правление и гуманный союз, общая практика, талем, по сути, поддерживающий европейского принца в вопросе о будущем верховном понтифике и универсальном сенате, омниум верховного суда и тотис церковной империи, правитель-модератор конституции".

Молодой герцог, двор которого, описанный Кастильоне, можно сказать, послужил образцом хорошего воспитания для всей Европы, начал жизнь под самыми счастливыми покровительствами. От его наставника Одасио из Падуи мы слышим, что даже в отрочестве он заботился только об учебе и мужских видах спорта. Его память была настолько цепкой, что по прошествии десяти или пятнадцати лет он мог повторять наизусть целые трактаты и никогда не забывал того, что решил сохранить. В латинском и греческом языках он стал опытным ученым,[1] и хотя он ценил поэтов, он проявил особые способности к философии и истории. Но его развитие было не по годам развитым. Его рвение к учебе и чрезмерное рвение, с которым он посвящал себя физическим упражнениям, подорвали его телосложение. Он стал инвалидом и умер бездетным, после того как в течение многих лет являл своему двору пример терпения в болезни и достойной жизнерадостности в условиях вынужденного бездействия. Его жена, Элизабетта Гонзага, одна из самых известных женщин своего времени, была не менее образцом благородного поведения и безмятежного удовлетворения.

Таковы были два последних принца династии Монтефельтро.[2] Необходимо помнить об их достоинствах, останавливаясь на характеристиках итальянского деспотизма в пятнадцатом веке. Герцогство Урбино, как устоявшаяся династия, не основанная на насилии, а также как центр действительно гуманной культуры, составляло, правда, исключение из правил итальянских тираний: и все же, если мы исключим это состояние из наших расчетов, ограничив наше внимание экстравагантными беззакониями семьи Борджиа, или эксцентричностью Висконти, или темными преступлениями неаполитанского двора, мы получим ложное представление о многогранном характере Италии, в которой в то время пороки и добродетели преобладали. были так странно смешаны. Мы никогда не должны забывать, что то же общество, которое произвело на свет Филиппо Марию Висконти, Галеаццо Марию Сфорца, Сигизмондо Малатесту, Фердинанда Арагонского, породило также Лоренцо де Медичи и Федерико да Монтефельтро. Только изучая жизнь всех этих людей в совокупности, мы можем получить правильное представление о многогранной личности итальянского Возрождения, о смешении лоска и варварства.

[1] Нелегко сказать, что подразумевал панегирист того периода под "полным знанием греческого" или "беглым письмом по-гречески" у принца. Я подозреваю, однако, что мы не должны понимать под этими фразами ничего похожего на настоящее знакомство с греческой

литературой, а скорее такие поверхностные знания, которые позволили бы читателю латинских книг понять намеки и цитаты. Следует отметить, что Полициано счел нужным польстить Гвидобальдо в греческой эпиграмме.

[2] После смерти Гвидобальдо герцогство продолжила семья Делла Ровере, один из которых, Джованни, префект Рима и племянник Сикста IV., женился на сестре герцога Джованне в 1474 году.

Более подробный отчет о трактате Бальдассаре Кастильоне *"О Кортесиано"* станет подходящим завершением этой главы о деспотах. Это правда, что его книга была написана позже рассматриваемого нами периода, [1] и он описывает придворную жизнь в ее наиболее изящном аспекте. Однако вся предшествующая история последних двух столетий постепенно создавала условия, при которых процветал его придворный; и итальянец эпохи Возрождения, каким он предстал остальной Европе, был именно таким джентльменом, каким он себя изображает. Для историка его книга имеет такую же ценность в своей области, как *"Принцип Макиавелли"*, Автобиография Бенвенуто Челлини и Дневник Бурхарда.

[1] Она была написана в 1514 году и впервые опубликована in folio венецианским Альди в 1528 году. Мы находим английский перевод Томаса Хоби еще в 1561 году. В то время она была в руках всех аристократов Европы. Интересно сравнить *"Кортесиано"* с *"Галатео"* Делла Казы, опубликованным в 1558 году. *"Галатео"* претендует на роль руководства для джентльменов в светском общении, и изложенные в нем мельчайшие правила удовлетворили бы самого взыскательного пуриста нынешнего столетия. В области нравов и их этического анализа мы, безусловно, ничего не достигли за последние три столетия. Принцип, на котором основаны эти правила поведения, - это не этикет или мода, а уважение к чувствам других. Было бы трудно составить более философский трактат о второстепенных обязанностях, налагаемых на нас условиями жизни общества, — о таких мелочах, как правильный способ сморкаться или пользоваться салфеткой, которые относятся к единому правилу действовать так, чтобы не причинять неудобств нашим соседям.

В начале своего *"Кортесиано"* Кастильоне знакомит нас с урбинским двором — утонченным, рыцарственным, остроумным, культурным, нежным — по общему признанию, самым чистым и возвышенным двором в Италии. Он объединяет герцогиню Элизабетту Гонзага; Эмилию Пиа, жену Антонио да Монтефельтро, чье остроумие столь же острое и деятельное, как у шекспировской Беатриче; Пьетро Бембо, чичероновского литературного диктатора шестнадцатого века; Бернардо Биббиену, покровителя Берни, автора *"Каландры"*, чей портрет Рафаэля в *"Питти"* позволяет нам оценить его врожденную любовь к юмору; Джулиано Медичи, герцога Немурского, мраморное изваяние которого украшает скульптуру Берни. изображение Микеланджело до сих пор охраняет гробницу в Сан—Лоренцо; вместе с другими рыцарями и джентльменами, менее известными - двумя генуэзцами Фрегози, Гаспаро Паллавичини, Лодовико, графом Каносским, Чезаре Гонзагой, Унико Аретино и юмористом фра Серафино. Эти дамы и джентльмены беседуют вместе, как это было принято в Урбино, в гостиной герцогини в течение четырех вечеров подряд. Тема их беседы - Идеальный придворный. Кем должен быть тот человек, который заслуживает имени Кортесиано, и как он должен себя вести? Предмет обсуждения сразу переносит нас в ушедшую эпоху. Сейчас никто не спрашивает, что делает придворного идеальным; но в Италии эпохи Возрождения, в связи с переходом от республиканских к деспотическим формам правления, которые мы проследили на предыдущих

страницах, этот вопрос был одним из самых серьезных. Культура и хорошее воспитание, удобства общения, интеллектуальные удовольствия едва ли существовали вне сферы дворов; одним из последствий Возрождения образования стало то, что приобретение светских знаний стало затруднительным, и пролетариат тогда был менее образованным, чем в эпоху Данте. Честолюбивые люди, желавшие приобрести репутацию солдат или поэтов, политиков или ораторов, приходили ко двору и служили выбранному ими государю на войне, или за столом совета, или даже на более скромных государственных должностях. Следовательно, уметь вести себя с достоинством, знать, как завоевать расположение своего господина и заручиться благосклонностью своих сверстников, сохранять свою личную честь и добиваться уважения, не вызывая ненависти, вызывать восхищение и избегать зависти, затмевать всех достойных соперников в физических упражнениях и владении оружием, содержать надежную экипировку и свиту, обучаться искусству вежливого общения, вести непринужденную и остроумную беседу, чувствовать себя как дома на тренировочном дворе, в банкетном зале, будуаре и совете - умение вести дела, разбираться в дипломатии, жить на виду у всего мира и в то же время соблюдать подобающую уединенность и дистанцию - эти и сотни других вещей были вершиной и совершенством культуры джентльмена. Поскольку дворы в настоящее время были единственными центрами, в которых мог блистать человек высокого происхождения и талантов, из этого следовало, что идеальный придворный и идеальный джентльмен были синонимичными понятиями. Таким образом, трактат Кастильоне можно назвать эссе о характере истинного джентльмена, каким он предстал в Италии. Исключая все качества, присущие какому-либо искусству или призванию, он определяет те существенные характеристики, которые были необходимы для социального совершенства в шестнадцатом веке. Любопытно наблюдать, насколько неизменны законы настоящей вежливости и утонченности. Придворный Кастильоне, с одним или двумя несущественными отличиями, является современным джентльменом, таким, каким хотели бы быть все образованные люди в наши дни.

Первое требование к идеальному придворному - это то, что он должен быть благородным. Граф Каносский, предложивший предмет для обсуждения, утверждает это как аксиому. Гаспар Паллавичино отрицает такую необходимость.^[1] Но после оживленной дискуссии его мнение отвергается на том основании, что, хотя благородные добродетели можно найти среди людей неясного происхождения, все же человек, намеревающийся стать придворным, должен начинать с престижа благородного происхождения. Затем он должен быть искусен в обращении с оружием и отважен на поле боя. Однако он не обязан владеть специальной наукой полководца и не должен в мирное время проявлять исключительную преданность военному искусству: это свидетельствовало бы о грубости натуры или тщеславии. Опять же, он должен преуспеть во всех мужественных видах спорта и упражнениях, чтобы, по возможности, победить настоящих профессионалов в каждой игре или продемонстрировать мастерство на их собственной площадке. Однако и здесь ему следует избегать простой показухи, которая недостойна мужчины, стремящегося быть джентльменом, а не спортсменом. Еще одно незаменимое качество - грациозность во всем, что он делает и говорит. Чтобы сохранить эту элегантность, он должен остерегаться любой формы жеманства: "Пусть он избегает жеманства, как если бы это была самая опасная скала; и пусть он ищет во всем определенную небрежность, чтобы скрыть свое искусство и показать, что все, что он говорит или делает, исходит от него без усилий или обдумывания". Порок жеманства во всех его проявлениях и способы избежать его обсуждаются с такой тонкостью понимания, которая сделала бы честь Честерфилду нынешнего

столетия, впервые выводящему своего сына в общество. Кастильоне заходит так далеко, что осуждает педантизм надуманных слов и вычурность тщательно продуманных костюмов как опасные формы жеманства. Его придворный должен говорить и писать решительно и свободно. Ему не обязательно быть пуристом в использовании языка, но он может использовать такие иностранные фразы и современные идиомы, которые распространены в хорошем обществе, стремясь только к простоте и ясности. К совершенству владения оружием он должен добавить вежливую культуру письма и основательную ученость, избегая того варварства французов, которые считают невозможным быть хорошим солдатом и способным учеником одновременно. Тем не менее, его знания всегда следует держать в резерве, чтобы придать блеск и изюминку его остроумию, а не выставлять напоказ просто для демонстрации эрудиции. Он должен иметь практическое представление о музыке и танцах; ему было бы полезно петь и трогать различные струнные и клавишные инструменты, чтобы поднять себе настроение и понравиться дамам. Если он может сочинять стихи и петь их под свой собственный аккомпанемент, тем лучше. Наконец, он должен разбираться в искусстве живописи и скульптуры, ибо критика, даже если человек не является ни поэтом, ни художником, является элегантным достижением. Таковы основные качества Кортегиано.

[1] Италия раньше, чем любая другая европейская нация, разработала теоретическую демократию. Данте определял истинное благородство как личное превосходство в человеке или в его предках; он также называл "нобильту" сестрой "философии". Поджо в своем "Диалоге о благородстве", в который он вводит Никколо Никколи и Лоренцо Медичи (брата Козимо), решает, что только заслуги составляют истинное благородство. Соколиная охота - гораздо менее благородные занятия, чем сельское хозяйство; происхождение от длинного ряда исторических преступников не является почетным. Он утверждает, что жизнь в замках Франции и Англии, а также рыцарство разбойников в Германии являются варварскими. Лоренцо ссылается на авторитет Аристотеля в пользу благородной крови; Поджио оспаривает процитированный отрывок и показывает превосходство латинского слова "нобилитас" (различие) над греческим термином [греческий: *евгения*] (хорошее происхождение). Затем обсуждаются несколько видов аристократии в Италии. В Неаполе дворяне презируют бизнес и бездельничают. В Риме они управляют своими поместьями. В Венеции и Генуе они занимаются торговлей. Во Флоренции они либо занимаются коммерцией, либо живут за счет продуктов своей земли в праздности. Весь взгляд на предмет выдает либеральный и научный дух, полностью свободный от предрассудков. Макиавелли ("Дискорси", i. 55) очень суров к аристократии, которую он определяет как "тех, кто живет в праздности за счет продуктов своих поместий, не занимаясь сельским хозяйством или каким-либо другим полезным занятием". Он указывает, что венецианских дворян неправильно так называть, поскольку они торговцы. В разных районах Италии были совершенно разные представления о дворянстве. Неаполь всегда был аристократическим, благодаря своим связям с Францией и Испанией. Феррара поддерживала рыцарство дворов. С другой стороны, те государства, которые были демократизированы, как Флоренция, республиканскими обычаями, или, как Милан, деспотизмом, придавали меньше значения рождению, чем таланту и богатству. Только в эпоху господства Испании (вторая половина шестнадцатого века) Козимо I. отвлек молодых флорентийцев от их меркантильных занятий и зачислил их в свой орден Святого Стефана, а патриции Генуи носили кинжалы с надписью "для наказания злодеев".

Предписания, которые установлены для использования его знаний и общего поведения, сводятся к настоятельной рекомендации проявлять такт и осторожность. Придворный должен

изучить характер своего принца и проявлять величайшую деликатность в обращении к нему, чтобы заручиться его благосклонностью и не утомлять его назойливостью. Давая свои советы, он должен быть скромным; но он должен взять за правило никогда не жертвовать своей собственной свободой суждения. Повиноваться своему господину в бесчестных делах было бы умалением его достоинства; и если он обнаружит какую-либо низость в характере принца, лучше уволиться со службы.[1] Придворный должен быть осторожен, чтобы заранее составить благоприятное мнение о себе в местах, которые он намеревается посетить. Большое внимание уделяется его выбору одежды и экипировке его слуг. В этих отношениях он должен стремиться сочетать индивидуальность с простотой, чтобы производить впечатление новизны без экстравагантности или эксцентричности. Он должен быть очень осторожен в своих дружеских отношениях, тщательно отбирая своих партнеров и допуская к близости только одного или двух.

[1] Из многих отрывков в "Кортегиано" ясно, что Кастильоне рисует характер независимого джентльмена, для которого самосовершенствование во всех человеческих качествах имеет гораздо большее значение, чем овладение искусством доставлять удовольствие. Обстоятельства сделали придворную жизнь наилучшей из возможных; но в ней нет и следа французского подобиюстрастия "oeil-de-boeuf".

В связи с общей темой такта и вкуса кардинал Библиена представляет подробное обсуждение различных видов шуток, что доказывает высокую ценность, придаваемую в Италии любым проявлениям остроумия. Похоже, что даже розыгрыши не считались дурным тоном, но на непочтительность и грубость было наложено табу как на хамство. Простая непристойность особенно осуждается, хотя следует признать, что многие шутки, одобренные в то время, теперь показались бы невыносимыми. Но существенным моментом, на который следовало обратить внимание тогда, как и сейчас, было поощрение веселья с помощью ума, а не простых трюков и неуклюжих изобретений.

Завершая эту главу об итальянском деспотизме в четырнадцатом и пятнадцатом веках, будет полезно бросить взгляд назад, на пройденный путь. В этот период произошли большие внутренние перемены, которые были совершены. Свободные города, процветавшие в двенадцатом и тринадцатом веках, уступили место тирании, по большей части незаконной по своему происхождению и поддерживавшейся силой. В отсутствие династического права насилие и ремесло были инструментами, с помощью которых деспоты основывали и сохраняли свою власть. И все же настроения итальянцев в целом не были неблагоприятными для роста княжеств. Напротив, силы, движущие обществом, внутренний инстинкт нации и законы прогресса и развития с каждым годом все увереннее вели к укреплению деспотизма. Город за городом теряли способность к самоуправлению, пока, наконец, Флоренция, так долго бывшая центром политической свободы, не пала под игом своих торговых князьков. Историкам трудно не почувствовать ни монархического, ни республиканского уклона. И все же эту внутреннюю и постепенную революцию в штатах Италии нельзя рассматривать ни как повод для ликования по поводу суверенитета, ни как повод для оплакивания упадка свободы. Это было всего лишь частью неизбежного процесса, который итальянцы разделяли, в соответствии с особенностями своего положения, с остальной Европой.

При изучении истории Висконти и Сфорца наше внимание, естественно, было направлено на личные и политические пороки деспота. В противовес такому количеству насилия и предательства мы изучили характер одного из лучших принцев, появившихся на свет в этот

период. Однако следует иметь в виду, что герцог Урбинский был гораздо менее представителем своего класса, чем Франческо Сфорца, и что цели и представления Джан Галеаццо Висконти формировали идеал, к которому стремился итальянский принц духа, если у него была такая возможность. История искусства и литературы этого периода относится к другой области исследования; и отдельная глава должна быть посвящена рассмотрению политической морали в том виде, в каком она была теоретизирована итальянцами в конце этих двух столетий интриг. Но, настаивая на насилии и пороках тиранов, казалось необходимым завершить обзор их эпохи описанием итальянского аристократа таким, каким его сделала придворная жизнь. Кастильоне показывает его в самом лучшем виде: темные тени на картине опущены; требования самой совершенной культуры и тон самого чистокровного общества Италии изображены с элегантностью ученого и вкусом истинного джентльмена. Факт остается фактом: различные влияния, действовавшие в Италии в эпоху деспотов, сделали возможным представление об этом идеале. Нигде больше в Европе портрет, исполненный такого достоинства и обходительности, сочетающий мужество солдата с ученостью студента и достижениями художника, щедрость свободы с любезностью обслуживания, не был написан с натуры и признан образцом, которому должны подражать все члены приличного общества. Итальянские государства могли бы обладать более благородными характерами и героическими добродетелями, если бы они продолжали пользоваться своей древней свободой самоуправления. Между тем мы должны отдать должное итальянскому деспотизму в том, что под его сенью сформировался тип современного джентльмена.

ГЛАВА IV.

РЕСПУБЛИКИ.

Различные физиономии итальянских республик—Сходство их характера как муниципалитетов—Права гражданства—Причины беспорядков в Содружествах—Вера в пластичность конституций—Пример Генуи—Конституция Савонаролы—Беседа Макиавелли со Львом X.—Сложность интересов и фракций—Пример Сиены—Небольшие размеры итальянских городов—Взаимное недоверие и зависть к содружествам—Примечательное исключение Венеции—Конституция Венеции—Ее мудрая система правления—Контраст флорентийских превратностей—Магистратуры Флоренции —Балия и Парламент —Искусство Медичи—Сравнение Венеции и Флоренции в отношении интеллектуальной активности и мобильности—Параллели между Грецией и Италией—Существенные различия—Меркантильный характер итальянских городов—"Траттато дель Гуверно делла Фамилья"—Буржуазный тон Флоренции и идеал бюргера—Наемное оружие.

Деспотии Италии представляют собой зрелище государств, основанных на силе, контролируемых и формируемых по воле государей, целью которых в каждом случае было поддержание узурпированной власти с помощью наемного оружия и лишение народа политической активности. Таким образом, итальянские княжества, как бы они ни различались по своему происхождению, характеру своего управления или своему отношению к Церкви и империи, все они тяготеют к одному типу. Эгоизм деспота, сознающего свои эгоистичные цели и намеренного в их осуществлении, составлял побудительный принцип у всех в равной степени.

Республики, напротив, отличаются ярко выраженными характеристиками. История каждого из них - это история развития определенных специфических качеств, которые изменили общий для всех них тип муниципальной организации. Их различия заключаются главным образом в различных формах, которые принимали учреждения радикально схожего дизайна, а также в тех специфических местных условиях, которые сделали венецианцев левантийскими купцами, перуджийцев искателями приключений, генуэзских адмиралов и пиратов, флорентийских банкиров и так далее. Каждое государство приобрело определенную физиономию в результате длительного действия внешних обстоятельств и сохранения определенных политических пристрастий. Таким образом, Сиена, исключенная из морской торговли своим положением, оставалась, в общем, верной партии гибеллинов; в то время как Перуджа, расположенная на расстоянии нескольких миль, также лишенная возможности торговой экспансии, с упорством поддерживала дело гвельфов. Анналы одного города описывают долгую череду сложных партийных распрей, на протяжении которых государство оставалось свободным; гвельфийские пристрастия другого подвергли его постепенному вторжению пап, в то время как его гражданская независимость была под угрозой и ослаблена соперничеством нескольких знатных семей. Лукка и Пистойя подобным же образом сильно контрастируют: последняя пребывает в состоянии вражды и фракции, которые связали ее по рукам и ногам с Флоренцией, первая после многих превратностей достигла внутреннего спокойствия под властью узкой олигархии.

Но, признавая эти различия, которые проявляются частично в том, что можно назвать национальными особенностями, а частично в конституционных различиях, мы можем проследить единый курс исторического развития во всех странах, за исключением Венеции. Это то, что натурфилософы могли бы назвать морфологией итальянских государств. Начнем с того, что все итальянские республики были муниципалитетами. То есть, подобно греческим государствам, они состояли из небольшой группы бюргеров, которые одни обладали привилегиями управления, вместе с большей частью населения, которое, хотя и платило налоги и разделяло коммерческие и социальные преимущества города, не имело права голоса в его управлении. Гражданство передавалось по наследству в тех семьях, которые его когда-то приобрели, и каждая республика имела свой собственный критерий права и ревностно охраняла его от посягательств неквалифицированных лиц. Во Флоренции, например, бюргер должен принадлежать к одному из Искусств.^[1] В Венеции его имя должно быть вписано в Золотую книгу. Соперничество, к которому привела эта система муниципального управления, было главным источником внутренней слабости содружества. Бюргеры также не были достаточно дальновидны или философичны, чтобы пополнять свои ряды постоянным приемом новых членов из числа богатых, но не имеющих избирательных прав граждан.^[2] Только это могло спасти их от смерти в результате истощения и разложения, которым они подвергались. Итальянская концепция гражданства может быть изложена словами одного из их самых ярых критиков, Донато Джаннотти, который пишет о выборщиках в государстве:^[3] *'Non dico tutti gli abitanti della terra, ma tutti quelli che hanno grado; cioè che hanno acquistato, o egliino o gli antichi loro, факультет управления и магистратура; он в somma che sono участвует в управлении государством и родителями.'* Ни у одного итальянца не было представления о представительном правительстве в нашем понимании этого термина. Проблема всегда заключалась в том, как наиболее удобно передать управление государством в руки наиболее приспособленных из тех, кто был квалифицирован как бюргеры, и как предоставить каждому бюргеру причитающуюся ему долю в правительстве; а не в том, как отобрать людей,

делегированных от всего населения. Самые мудрые из их политиков-философов стремились установить смешанную конституцию, которая должна была сочетать преимущества княжества, аристократии и демократии. Исходя из того факта, что подходящих бюргеров насчитывалось около 5000 человек, и исходя из предположения, что среди них большая часть будет довольствоваться свободой и правом голоса в администрации, в то время как определенная часть стремилась к почетным отличиям, а некоторые стремились к помпезности титульного президентства, они думали, что эти несколько желаний могут быть удовлетворены и примирены в республике, состоящей из общего собрания граждан, избранного сената и дожа. В этих теориях очевидно влияние исследований Аристотеля[4] и пример Венеции. В то же время примечательно, что при этом совершенно не учитываются остальные 95 000 человек, которые внесли свой вклад в процветание города.[5] Теория государства не основывается ни на абстрактном принципе, подобном принципу божественного права Империи, который определял рассуждения Данте в Средние века, ни на божественном праве королей, с которым мы, англичане, были знакомы в семнадцатом веке, или, опять же, на правах людей, на которых были основаны демократии Франции и Америки. Право, рассматриваемое итальянскими политиками, - это право бюргеров управлять государством в своих интересах. Фактически, Венеция была единственной итальянской республикой, которая успешно поддерживала такого рода олигархию на протяжении столетий внутреннего спокойствия. Остальные подверглись серии революций, которые в конце концов закончились их порабощением.

[1] С Виллари, *Жизнеописание Савонаролы*, том i, стр. 259, можно ознакомиться относительно дальнейшего выделения Бенефициати, Статуи, Агравеццати во Флоренции. См. также Varchi, том i. стр. 165-70. Обратитесь к Приложению ii.

[2] Следует упомянуть, что положение о приеме достойных лиц в гражданство было частью Конституции Флоренции 1495 года. Однако этот принцип не был признан республиками в целом.

[3] О правительстве Сиены (том i, стр. 351 его собрания сочинений): "Я говорю не о всех жителях государства, а о всех тех, кто имеет ранг; то есть, кто приобрел, лично или через своих предков, право занимать магистратуру, короче говоря, о тех, кто является *participes imperandi et parendi*". То, что уже было сказано в главе II "О происхождении итальянских республик" будет объяснено это определение бюргерства.

[4] Было бы очень интересно подробно проследить влияние Политики Аристотеля на практических и теоретических государственных деятелей эпохи Возрождения. Все работы Джаннотти; рассуждения де Пацци, Веттори, Аччиуоли и двух Гвиччардини о состоянии Флоренции (*арх. Св. Ит.* том i.); и "*Рассуждения о правлении Флоренции*" Макиавелли, адресованные Льву X., в целом иллюстрируют действие идей Аристотеля. Во Флоренции в 1495 году Савонарола навязал бюргерам свою Конституцию, апеллируя к доктрине Аристотеля и примеру Венеции [см. Сеньи, стр. 15, и сравните речи Паголо Антонио Содерини и Гвидо Антонио Веспуччи в "*Истории Италии*" Гвиччардини, том ii. стр. 155 издания Розини по тому же поводу]. Сеньи, стр. 86, упоминает речь Пьера Филиппо Пандольфини, аргументы которого, по его словам, были почерпнуты из Аристотеля и проиллюстрированы историей Флоренции. Итальянские доктринеры, похоже, вообразили, что, умело манипулируя существующими институтами, они могли бы построить государство, подобное тому, которое Аристотель назвал [греческое: *politeia*], в котором должны быть справедливо представлены все слои общества.

Венеция, между тем, была практическим примером возможного процветания такой конституции с ярко выраженным олигархическим уклоном.

[5] Эти цифры, 100 000 для населения и 5000 для бюргеров, указаны округло. Во Флоренции, когда в 1495 году был открыт Консильо Маджоре, выяснилось, что всего флорентийцев насчитывалось около 90 000 человек, в то время как квалифицированных бюргеров было не более 3200. В 1581 году население Венеции насчитывало 134 890 человек, из которых 1843 были взрослыми патрициями [см. Ниже, стр. 209].

Нетерпимые к иностранному правлению и ослепленные теоретическим превосходством Империи из-за необходимости смотреть дальше своих собственных муниципальных институтов, каждый город в двенадцатом веке стремился внедрить в уже существующий механизм бурга такую систему, которая обеспечила бы его независимость и передала управление в руки его граждан. Но принятие плохих законов, или несоблюдение мудрых предписаний, или, опять же, страсти отдельных лиц и партий вскоре нарушили равновесие, установившееся в этих маленьких сообществах. Стремление к большей власти, чем им полагается, подтолкнуло одну часть бюргеров к насилию. Любовь к независимости или простое неподчинение подтолкнули другую часть к сопротивлению. Ситуация еще больше осложнилась из-за местной или соседней знати. Затем последовали войны фракций, проскрипции и изгнания. Изгнав своих соперников, партия, находящаяся у власти, на некоторое время перестроила институты республики в соответствии со своими интересами. Тем временем оппозиция в изгнании всячески разжигала недовольство в городе, которое, несомненно, усугубляла эта недалековидная политика. Результатом были внезапные революции, сопровождавшиеся в большинстве случаев массовыми убийствами, последовавшими за победоносным возвращением преступников. К действию этих грешных настроений — *umori* — это слово, применяемое старшими флорентийскими историками к смутам, сопутствующим группировкам, - следует добавить зависть соседних городов, алчность интригующих принцев, пристрастие гвельфов и гибеллинов, измену и эгоизм генералов-наемников, а также ложную внешнюю политику, которая заставляла итальянцев полагаться на помощь Франции, Германии или Испании. Мало-помалу, под длительным действием этих тревожных сил, каждая республика, в свою очередь, становилась слабее, более запутанной в политике, более недоверчивой к себе и своим собственным гражданам, более разделенной на мелкие, но неистребимые группировки, пока, наконец, не становилась жертвой либо какого-нибудь иностранного властелина, либо Церкви, либо амбициозной семьи среди своих членов. Небольшие масштабы итальянского содружества, взятые по отдельности, способствовали быстрым переменам и придавали чрезмерную ценность выдающемуся богатству или беспринципным способностям бюргеров. Колебания между демократией и аристократией и обратно, повторение изматывающих разногласий и деморализующее влияние случайного деспотизма настолько сломили дух каждого государства, что в конце концов граждане забыли свое древнее стремление к свободе и были рады принять тиранию ради защиты, которую она якобы распространяла на жизнь и собственность.

Этим превратностям подверглись все республики Италии, за исключением Венеции. Точно так же они разделяли общую веру в то, что конституции могут создаваться по желанию, что содружество - это нечто пластичное, способное принимать облик и форму, навязанные ему спекулятивными политиками. Это убеждение так прочно укоренилось, и государственные деятели Италии стали настолько самосознательными, отчасти благодаря опыту своей

изменчивой истории, а отчасти благодаря изучению античности, что едва ли можно сказать, что идея государства как чего-то, обладающего органической жизнеспособностью, существовала среди них. Принцип постепенного роста, который придает свою ценность, например, английской конституции, не был признан итальянцами. И опять же, их прошлая история не научила их необходимости, столь четко определенной и признанной греческими государственными деятелями, поддерживать любой ценой неизменный характер республик, которые, несмотря на свои небольшие масштабы, стремились к постоянству.^[1] Самые насильственные и произвольные изменения, которые могли придумать спекулятивные способности теоретика или которые могли навязать партийные предрассудки, казались им не только возможными, но и естественными.

^[1] Значение [греч. *êthos*этнос] не было полностью непризнанным политическими теоретиками. Джаннотти (том i, стр. 160 и том ii, стр. 13), например, переводит это словом "темперамент".

Очень примечательный пример этой тенденции рассматривать государство как пластичный продукт политической изобретательности дают "Анналы Генуи". После столетий страданий от превратностей, общих для всех итальянских вольных городов — разногласий между фракциями гвельфов и гибеллинов, между знатью и народом, между получившими избирательные права гражданами и пролетариатом, — после подчинения власти иностранных хозяев, особенно Франции и Милана, и после того, как их разорвали на куски соперничающие дома Адорни и Фрегози, генуэзцы наконец получили свободу из рук Андреа Дориа в 1528 году. Затем они приступили к разработке новой Конституции для защиты своей свободы; и чтобы уничтожить память о старых партиях, которые привели к их краху, они стерли все свои фамилии, за исключением двадцати, под той или иной из которых все граждане были обязаны записаться.^[1] Это была не что иное, как попытка создать новые *роды* путем стирания различий, установленных природой и традицией. Чтобы провести параллель со схемой, столь искусственной по своему методу, мы должны вернуться к истории Сикиона и изменениям, произведенным Клисфеном в дорийских племенах.

^[1] См. Varchi, *St. F. lib. vii. cap. 3.*

За исключением подобных насильственных мер, вся история таких городов, как Флоренция, обнаруживает череду подобных попыток. Когда, например, Медичи были изгнаны в 1494 году, флорентийцы оказались без действующей конституции и приступили к ее созданию. Сначала дело было передано двум выдающимся юристам, Гвидо Антонио Веспуччи и Паоло Антонио Содерини, которые выступали за и против создания Большого совета по венецианскому образцу перед синьорией во Дворце Палаццо. На этом этапе Савонарола в своей проповеди на третье воскресенье Адвента^[1] предложил, чтобы каждая из шестнадцати компаний составила план, который должен быть представлен гонфалоньерам, которые должны выбрать четыре лучших, и чтобы из этих четырех синьория выбрала наиболее совершенную. В то же время он высказался в пользу имитации венецианского Консильо Гранде. Его схема, как хорошо известно, была принята.^[2] Просматривая все политические труды флорентийских философов и историков, мы находим ту же веру в искусственные и произвольные изменения государства. Макиавелли высказывает свое мнение, что, несмотря на коррупцию Флоренции, мудрый законодатель мог бы добиться ее спасения.^[3] Требовалось только умение. Там лежал воск; художнику-ученому оставалось только взяться за него рукой и смоделировать.

^[1] 12 декабря 1494 г.

[2] Сеньи (стр. 15, 16) говорит, что Савонарола заслуживал уважения флорентийцев за эту Конституцию не меньше, чем Нума римлян. Варчи (том i, стр. 169) считает, что Консильо Гранде был единственным хорошим учреждением, когда-либо принятым флорентийцами. Мы можем сравнить Джаннотти ("*Сопра Сиенской республики*", стр. 346), чтобы прийти к аналогичному мнению. Гвиччардини, как в *Истории Италии*, так и в *Истории Флоренции*, полностью отдает Савонароле честь принятия этой Конституции. С той же целью можно сослаться на Нарди и Питти. Ни один из этих критиков ни на мгновение не усомнился в том, что то, что было теоретически наилучшим, должно было быть признано практически осуществимым.

[3] *Сент-Фуор*. библиотека iii. 1. 'Firenze a quel grado è pervenuta che facilmente da uno savio dator di leggi potrebbe essere in qualunque forma di governo riordinata.'

Это доминирующая мысль, которая пронизывает его трактат о правильном устройстве государства Флоренция, адресованный Льву X.[1] Более совершенный политический механизм, чем тот, который изобрел Макиавелли в этом эссе, трудно себе представить. Это подобно часам с отдельными отсчетами часов, минут, секунд, а также оборотов Луны и планет. Все сложные интересы партий и классов в государстве, традиционное превосходство семьи Медичи, права Церкви и отношения Флоренции с иностранными державами были тщательно рассмотрены и предусмотрены. Недостаток этого совершенного произведения искусства в том, что оно оставалось всего лишь машиной, созданной для удовлетворения требований момента и бессильной против тех потрясений, которые характеры и страсти живых людей должны вносить в работу Государства. Если бы Флоренция была колонией, основанной в новой стране, где не было соседей, кроме дикарей, или если бы это было учреждение, защищенное извне от алчности эгоистичных соперников, то такая конституция могла бы быть навязана ей с выгодой. Но ожидать, что город, в котором господствуют древние предрассудки, связанный тысячью тонких уз не только с остальной Италией, но и со странами Европы, и прогнивший насквозь во многих своих важнейших членах, может быть восстановлен к первоизданной силе доктринером, каким бы способным он ни был, было химерично. Ход событий противоречил этим тщетным ожиданиям. Тем временем несколько трезвомыслящих и позитивных наблюдателей смутно осознавали нестабильность чисто умозрительного процесса разработки конституции. Варчи в весомом отрывке о недостатках флорентийской республики указывает, что ее слабость частично проистекала из насилия фракций, но также в значительной степени из безоговорочной веры в докторов права.[2] История флорентийской конституции, по его словам, - это история изменений, произведенных сменой взаимно враждебных партий, каждая из которых в своих собственных интересах подрывает работу своей предшественницы, и каждая, в свою очередь, опирается на теории юристов, которые, не обладая практическими способностями к политике, устанавливают произвольные правила для управления государственными делами. Тем не менее, даже Варчи разделяет преобладающее убеждение в том, что правильный метод заключается в том, чтобы сначала создать совершенную политическую систему, а затем наложить ее, как печать, на материал содружества. Его критика направлена против юристов, а не против философов и практиков-дипломатов.

[1] Язык этого трактата заслуживает внимания. Поговорив о различиях между республиками и княжествами и показав, что Флоренции больше подходит первая, а Милану - вторая форма правления, он говорит: "Ma perche fare principato dove starebbe bene repubblica" и т. Д. ... "si perche Firenze" и "*subietto attissimo di pigliare questa forma*" и т. Д. Фразы, выделенные курсивом, показывают, насколько тщательно Макиавелли рассматривал содружество как пластичное. Мы

можем сравнить все тщательно продуманное эссе Гвиччардини "Искусство Флоренции" (Соч. *Ined.* том ii.), а также "Беседы", адресованные Алессандро де Пацци, Франческо Веттори, Руберто Аччиуоли, Франческо Гвиччардини и Луиджи Гвиччардини кардиналу Джулио де Медичи по поводу принятия флорентийской конституции в 1522 году (*Арх. История.* том i.). Ни один из этих людей не сомневался, что его лекарство исцелит республику, подорванную медленной чахоткой.

[2] *St. Fior. lib. vi. cap. 4; том i. стр. 294.*

В этом смысле и в этой степени итальянские республики были плодом конструктивного мастерства; и велика была политическая проницательность, проявленная среди итальянцев таким положением вещей. Граждане размышляли о прошлом, сравнивали свои институты с институтами соседних государств, изучали древность и применяли весь свой интеллект к единственной цели - придать содружеству определенную форму. Предрассудки и страсти искажали их планы, и каждое последующее изменение правительства, как правило, преследовало лишь временную цель. Таким образом, республикам, как я уже намекал, не хватало той защиты, которую греческие государства получили, цепляясь каждое за свой собственный характер. Греки были не менее застенчивы в своей политической практике и философии; но после эпохи Номофетов, когда они пережили почти все фазы, через которые может пройти государство, они осознали важность сохранения традиционного характера своих конституций в неприкосновенности. Спарта с исключительным упорством придерживалась кодекса Ликурга, а афиняне, продвигаясь шаг за шагом в развитии демократии, были полны решимости осуществить идеал, который они поставили перед собой.

Религия, которая в Греции, благодаря своему местному и генеалогическому характеру, способствовала этой стабильности, оказалась в Италии одной из самых мощных причин беспорядков. Греческий город вырос под покровительством местного божества, кровь которого во многих случаях передавалась знатым семьям города. Этот бог предков дал независимость и автономию государству; и когда появился Номофет, считалось, что он истолковал и сформулировал неотъемлемый закон, который оживлял политическое тело. Таким образом, содружество было божественно основанным и божественно направляемым организмом, самодостаточным, не зависящим от иностранной санкции, не ставящим под сомнение свои права. Итальянские города, напротив, черпали свой закон из общего *права* имперской системы, а свою религию - из общего шрифта христианства. Они не могли забыть свое происхождение, с трудом вырванное из существующих институтов, которые предшествовали им и которые все еще оставались господствующими в мире цивилизованного человечества. Самодостаточная автономия греческого государства, обязанного верности только своему божеству-покровителю и присущему ему Номосу, не имела аналогов в Италии за пределами Венеции. Все остальные республики осознавали свою зависимость от внешней власти и считали себя *изначально* искусственными, а не естественными творениями.

Задолго до того, как какое-либо итальянское государство, кроме Венеции, приобрело истинный конституционный облик, возникли партии, пустившие такие прочные корни, что последующая история республик стала летописью их фракций. На этот момент я уже ссылался, но он слишком важен, чтобы пройти мимо него без дальнейших иллюстраций. Великое разделение гвельфов и гибеллинов внесло жизненно важный разлад в каждую часть народа, установив две антагонистические теории, уважающие право верховного правления. Затем последовали

мелкие ссоры дворян с горожанами, расколы между более богатыми и бедными бюргерами, зависть ремесленников и торговцев, а также разногласия между той или иной знатной семьей. Эти различные элементы разногласий сменяют друг друга с поразительной быстротой; и по мере того, как каждый уступает место другому, часть его вреда остается в политическом теле, пока, наконец, не исчезнет возможность самоуправления.^[1] История Флоренции, или Генуи, или Пистойи снабдила бы нас достаточными иллюстрациями каждого из этих препятствий на пути формирования твердого политического темперамента. Но Сиена представляет собой, пожалуй, лучший пример того, до какой степени такая вражда может нарушить состояние государства. То, как этот город управлял своим правительством в течение долгих лет, оправдало Варчи, назвавшего его "беспорядком, так сказать, и хаосом республик, а не упорядоченным и дисциплинированным содружеством".^[2] Разногласия в Сиене были полностью внутренними. Они возникли в результате противостояния пяти последовательных фракций, или *монти*, как называли их жители Сиены. Первый из них назывался *Монте-де-Нобили*; ибо Сиена, как и все свободные города Италии, первоначально контролировалась определенными знатными семьями, которые составляли народ и не допускали других граждан к государственным должностям. Со временем плебеи разбогатели, а знать разделилась между собой на партии. Раздоры между этими дворянами достигли такой степени, что в конце концов они сочли невозможным управлять страной и согласились передать ее на время девяти плебейским семьям, выбранным из числа самых богатых и влиятельных. Это привело к появлению *Монте-де-Нове*, которые должны были управлять городом в интересах знати, в то время как последние посвятили себя преследованию своей личной вражды. Ослабленные междоусобицами, патриции стали жертвой своих собственных созданий, *Монте-де-Нове*, которые, в свою очередь, правили Сиеной как олигархи, отказываясь отказаться от вверенной им власти. Однако со временем их наглость стала невыносимой. Население взбунтовалось, свергло *Нове* и наделило верховной властью двенадцать других семей смешанного происхождения. *Монте-де-Додичи*, созданные таким образом, проходили почти тем же путем, что и их предшественники, за исключением того, что они, по-видимому, управляли городом справедливо. Устав от такой формы правления, народ сменил их шестнадцатью мужчинами, выбранными из отбросов плебеев, которые приняли титул *Riformatori*. Эти новые *Монте-де-Седичи* или *де'Форматори* проявили большую честность в управлении делами, но, как это обычно бывает у красных республиканцев, они были не прочь пролить кровь. Их жестокость заставила народ с помощью уцелевших патрицианских домов, вместе с *Нове* и *Додичи*, восстать и избавиться от них. Последний руководящий орган, сформированный в этой дьявольской пятичастной фуге безумного государственного управления, получил название *Монте-дель-Пополо*, потому что в него входили все, кто тогда имел право входить в Великий Государственный совет. И все же фракции старшего *Монти* все еще выживали; и о том, до какой степени они поглотили население, можно судить по тому факту, что после поражения *риформатори* 4500 сиенцев были изгнаны. Следует иметь в виду, что с созданием каждого нового *Монте* в городе формировалась новая партия, и традиции этих партий передавались из поколения в поколение. Наконец, в начале шестнадцатого века Пандольфо Петруччи, принадлежавший к *Монте-де-Нове*, сделал себя на самом деле, если не номинально, магистром Сиены и герцогом Флоренции, позже в том же столетии распространив свое владычество на республику.^[3] В голом перечислении этих сменяющих друг друга фракций есть что-то почти гротескное; однако мы должны помнить, что под их сухими названиями скрываются все элементы классовой и партийной розни.

[1] Макиавелли, несмотря на свою любовь к свободе, говорит (*Св. Фьор. lib. vii. 1*): 'Coloro che sperano che una repubblica possa essere unita assai di questa speranza s'ingannano.'

[2] Том i. стр. 324-30. Смотрите также, Сеньи, стр. 213, и Джаннотти, том i, стр. 341. De Comines describes Siena thus: 'La ville est de tout temps en partialité, et se gouverne plus follement que ville d'Italie.'

[3] Сиена капитулировала в 1555 году перед испанскими войсками, которые передали ее герцогу Космо I. в 1557 году.

Что делало рост партий еще более пагубным, как уже упоминалось, так это малочисленность итальянских республик. Варчи насчитал 10 000 *фуочи* во Флоренции, 50 000 *бокче* светских людей и 20 000 *бокче* религиозных. По словам Цукканьи Орландини, в 1495 году во Флоренции проживало 90 000 флорентийцев, из которых только 3200 были бюргерами. Венеция, по словам Джаннотти, насчитывала примерно в тот же период 20 000 *фуочи*, каждый из которых снабжал государство двумя мужчинами, годными к ношению оружия. Эти расчеты, хотя и явно приблизительные и не основанные на точных данных, показывают, что республика с населением в 100 000 душ, из которых 5000 должны быть гражданами, заняла бы выдающееся место среди итальянских городов.[1] В государстве такого размера, разделенном враждой всех видов, от высочайшего политического антагонизма до самой низкой личной антипатии, изменения были осуществлены очень легко. Малейшее нарушение равновесия в любом квартале давало о себе знать по всему городу.[2] Мнения каждого бюргера были известны и подсчитаны. Отдельные люди благодаря своему богатству, способности помогать бедным гражданам или подавлять их, а также силе своих личных способностей приобрели опасное значение. Во Флоренции политическое равновесие было налажено настолько удачно, что звон большого колокола во дворце означал революцию, а поднять крик о *Палле* на улицах было равносильно нападению на интересы Медичи. Громкие призывы к *Пополо и свободе* были ничем иным, как бунтом, караемым законом. Сеньи рассказывает, как Якопино Аламани, употребивший эти слова возле статуи Давида на площади в личной ссоре, был обезглавлен за это в тот же день.[3] Переход трех или четырех семей из одной фракции в другую изменил политическую ситуацию в целой республике и, возможно, привел к изгнанию шестой части населения, получившего избирательные права.[4] После этого последуют интриги преступников, жаждущих вернуться, включая переговоры с вялыми партийными лидерами в городе, союзы с враждебными государствами и контракты, которые ставят под угрозу будущее поведение содружества в интересах нескольких мстительных граждан. Биографии таких людей, как Козимо де Медичи старший и Филиппо Строцци, проливают ярчайший свет на эти тонкости и сложности партийной политики Флоренции.

[1] Возможно, стоит сравнить точное возвращение венецианского населения в 1581 году, предоставленное Ириарте ("*Жизнь одного патриция Венеции*", стр. 96). Общее число жителей составляло 134 600 человек. Из них 1843 были взрослыми патрициями; 4309 женщин и детей патрицианского сословия; Читтадини всех возрастов и обоих полов - 3553; монахи, монахини и священники - 3969; евреи - 1043; нищие - 187.

[2] Мы могли бы упомянуть, в качестве известных примеров, фракции Нери и Бьянки, появившиеся в Пистойе в 1296 году из-за ссоры семьи Канчеллиери, расчленение Флоренции в

1215 году из-за вражды между Буондельмонти и Амидеи, трагедию Имельды Ламбертацци, которая расстроила Болонью в 1273 году, студенческий бунт, который чуть не отдал Болонью в руки Ромео де Пеполи в 1321 году, все действия семьи Строцци в период угасания флорентийской свободы, мелочная зависть Черки и Донати, подробно описанная Дино Компаньи в 1294 году.

[3] Сеньи, *Сент-Фиор*. стр. 53.

[4] В качестве примера возьмем то, что Марко Фоскари сообщил в 1527 году венецианскому сенату о партиях во Флоренции (*Отв. ред.* серия ii. том i. стр. 70). *Compagnacci*, одна из трех великих партий, насчитывала всего 800 человек.

В дополнение к злу внутренних разногласий мы должны учитывать все источники взаимного недоверия, которым подвергались республики. Поскольку итальянцы не имели представления о представительном правительстве, они никогда не задумывались о конфедерации. Жажда автономии в каждом штате была так же велика, как в древности в городах Греции. Быть независимым от братской республики, хотя такая свобода была куплена ценой тирании местной семьи, было первой целью каждого содружества. В то же время эта страсть к независимости была лишь сравнима с алчностью иностранной узурпации. Второй целью каждой республики было расширение своей власти за счет соседей. Как Пиза поглотила Амальфи, так Генуя разрушила Пизу, а Венеция сделала все возможное, чтобы нанести ущерб Генуе. Флоренция стерла с лица земли конкурирующий город Полуфонте, а Милан дважды превращал Пьяченцу в дикую местность. Мысль о том, что великие морские державы Италии или ведущие города Ломбардии должны постоянно сотрудничать ради общей цели, ни на минуту не допускалась. Такие лиги, которые были созданы, считались временными. Когда их непосредственная цель была достигнута, участники вернулись к своему первоначальному соперничеству. Милан, когда по случаю смерти Филиппо Марии Висконти у нее появился шанс на свободу, отказался признать свободы ломбардских городов и стал жертвой Франческо Сфорца. Флоренция, руководствуясь пагубной политикой Козимо Медичи, помогла поработить Милан и Болонью вместо того, чтобы вступить в республиканский союз против их общих врагов, тиранов. С Пизой, Ареццо и другими подвластными городами Тосканы она обращалась с такой эгоистичной жестокостью, что они представляли для нее главную опасность в трудную минуту.[1] Конкуренция в торговле усилила взаимную ненависть свободных городов. Такие государства, как Венеция, Флоренция, Пиза, Генуя, существование которых зависело от торгового богатства и которыми управляли деловые люди, использовали любую возможность, чтобы разорить конкурента на рынке. Дух итальянской политики был настолько низок и узок, что никто не считал непатриотичным или бесчестным со стороны Флоренции высасывать саму жизнь из Пизы или со стороны Венеции душить такого опасного конкурента, как Генуя.

[1] Смотрите инструкции, предоставленные Аверардо деи Медичи, цитируемые Фон Роймоном в его *Жизни Лоренцо*, т. ii. стр. 122, немецкое издание.

Таким образом, ревность государства к государству, партии к партии и семьи к семье держала Италию в постоянном разобщении; в то время как были выработаны дипломатические привычки, которые делали невозможным принятие какой-либо простой политики. Когда итальянцам пришлось справиться с великими нациями Европы, республики Венеция, Генуя, Милан, Флоренция должны были объединиться и опираться на вес папской власти. Тогда они могли бы противостоять всему миру. Вместо этого эти города не представляли ничего, кроме

взаимной вражды, враждебности и зависти к общему врагу. Более того, итальянцы настолько привыкли к мелким интригам и системе баланса сил внутри полуострова, что не могли осознать масштабов надвигающейся опасности. Политическому деятелю эпохи Возрождения, привыкшему к небольшому театру итальянской дипломатии, воспитанному в традициях Лоренцо Медичи, руководствующемуся в своих расчетах старыми притязаниями папы и императора, охваченному страхом перед Венецией, Миланом и Неаполем и пока лишь смутно сознающему истинную силу Франции или Испании, было трудно понять, что абсолютно единственный шанс для Италии заключался в союзе любой ценой и в любой форме. Макиавелли действительно, кажется, слишком поздно осознал эту истину. Но события преподали ему урок, который сделал невозможным осуществление его заветных планов; он также не смог найти принца, достаточно могущественного, чтобы осуществить свою Утопию. О Республиках он оставил всякую надежду.

По сравнению с законами, действовавшими в других республиках Италии, Венеция во многих отношениях была заметным исключением. Отделенная от остальной Италии лагунами и направленная своей торговлей к восточным берегам Средиземного моря, Венеция не принимала участия в группировках, раздиравших остальную часть полуострова, и ей сравнительно нечего было опасаться иностранного вторжения. Ее позиция выражала гордую и почти презрительную изоляцию. Во время войн Ломбардии за независимость она сохраняла нейтралитет, и ее имя не фигурирует среди подписантов Констанцского мира. И папство, и Империя признали ее независимость. Ее истинная политика заключалась в укреплении своей морской империи и держании в стороне от дел Италии. Пока она придерживалась этого курса, она оставалась предметом зависти и восхищения остальной Европы.^[1] Только когда она попыталась расширить свое влияние на материке, она вызвала враждебность итальянских держав, и ей пришлось в одиночку принять на себя основную тяжесть Камбрейской лиги.^[2] Ее эгоистичная осмотрительность была источником страха задолго до этой эпохи: когда она стала агрессивной, ее признали обычным и невыносимым врагом.

^[1] Де Комин в своих *Мемуарах о правлении Карла VIII*. (том ii, стр. 69), рисует поразительную картину впечатления, произведенного на его сознание хорошим правительством штата Венеция. Это можно сравнить с тем, что он говорит о безумии Сиены.

^[2] См. Mach. 1-й. *Fior. lib. i.* 'Avendo loro con il tempo occupata Padova, Vicenza, Trevigi, e dipoi Verona, Bergamo e Brescia, e nel Reame e in Romagna molte città, cacciati dalla cupidità del dominare vennero in tanta opinione di potenza, che non solamente ai principi Italiani ma ai Rè oltramontani erano in terrore. Onde congiurati quelli contra di loro, in un giorno fu tolto loro quello stato che si avevano in molti anni con infiniti spendii guadagnato. Скамья подсудимых перед Аббино в вопросе о конечном темпе борьбы за партию, без борьбы за независимость, без борьбы за свободу действий, в уединении от всего остального, в согласии с основными принципами Италии."Именно Франческо Фоскари первым в сколько-нибудь значительной степени отвел республику в сторону от ее старой политики. Он вмешивался в итальянские дела и стремился вторгнуться на материк. За это, а также за чрезмерную популярность, которую он приобрел таким образом, Совет Десяти подверг его и его сына Якопо самому ужасающе длительному мученичеству, которое когда-либо подвергала безжалостная олигархия [1445-57].

Внешняя безопасность Венеции приравнивалась к ее внутреннему спокойствию. Благодаря продолжающейся свободе от партийных распрей венецианцы смогли следовать

последовательному курсу конституционного развития. Фактически они единственные из итальянских городов установили и сохранили характер своего государства. Первоначально основав республику под председательством дожа, который совмещал должности генерала и судьи и правил совместно с представительным советом знатных граждан (697-1172), венецианцы постепенно придали этой форме правления строго олигархический характер. Они начали с ограничения власти дожа, которому, хотя и избирали пожизненно, в 1032 году было запрещено назначать своего сына на высший государственный пост. В 1172 году избрание дожа было передано от народа Большому совету, который, как кооптирующий орган, стремился стать близкой аристократией. В 1179 году герцогская власть была еще больше ограничена созданием сената под названием Карантия для отправления правосудия; в то время как в 1229 году Сенат Прегади, расположенный между дожем и Большим советом, стал неотъемлемой частью конституции. Этому последнему сенату были поручены все обсуждения вопросов мира и войны, голосование по поставкам продовольствия, утверждение законов. И Карантия, и Прегади были избраны Великим советом, который к этому времени стал фактическим сувереном государства Венеция. Здесь нет необходимости упоминать о дальнейших ограничениях, наложенных на власть дождей институтом чиновников по имени Корретори и Инквизитори, в чьи обязанности входило следить за надлежащим соблюдением коронационных клятв, или правилами, которые не позволяли верховному магистрату предпринимать какие-либо важные действия, кроме как совместно с тщательно отобранными коллегами. Было сказано достаточно, чтобы показать, что конституция Венеции представляла собой пирамиду, покоящуюся на основании Большого совета и поднимающуюся к украшенной орнаментом вершине, через Сенат и Коллегию дождей. Но принимая это старое сравнение — первоначально счастливая мысль Донато Джаннотти, как говорится^[1] — мы не должны забывать, что жизненная сила Большого Совета ощущалась во всей этой сложной системе и что одни и те же люди постоянно появлялись в разных качествах. Именно это делает великое событие 1297-1319 годов столь важным для будущих судеб Венеции. В этот период Большой совет был ограничен определенным числом знатных семей, которые отныне имели наследственное право принадлежать к нему. Каждый потомок члена Большого Совета мог занять свое место в нем в возрасте двадцати пяти лет; и никакие новые семьи, за исключением самых исключительных случаев, не были допущены к этой привилегии.^[2] С закрытием Большого совета, как назывались постановления этого кризиса, администрация Венеции была навечно передана в руки нескольких великих домов. Окончательное завершение олигархии было придано в 1311 году учреждением знаменитого Совета десяти,^[3] который осуществлял надзор за всеми магистратурами, составлял Высший судебный суд и, наконец, контролировал всю внешнюю и внутреннюю политику Венеции. Изменения, на которые я таким образом кратко указал, следует рассматривать не как насильственные изменения в конституции, а скорее как последовательные шаги в ее развитии. Даже Совет Десяти, который на первый взгляд кажется самой тиранической государственной машиной, когда-либо созданной для порабощения нации, на самом деле был естественной кульминацией эволюции, которая последовательно продвигалась с 1172 года. Первоначально созданный в смутные времена, последовавшие за закрытием Большого совета, с явной целью обуздания неуправляемой знати и предотвращения появления заговорщиков вроде Тьеполо, Совет десяти был специально разработан для того, чтобы сдерживать несколько порядков в государстве и сохранять его олигархический характер в неприкосновенности. Они избирались Великим консильо и по истечении срока своих полномочий были обязаны дать строгий отчет обо всем, что они сделали. Венецианская знать также не стремилась к этой должности. Напротив, его обязанности были настолько

обременительны и столь велика была ненависть, которой время от времени подвергались Десять человек при исполнении своих функций, что не всегда было легко заполнить их вакансии. Пришлось даже принять закон о том, что эти Десять человек не завершили свою магистратуру до назначения их преемников.[4] Поэтому их можно рассматривать как избранный комитет граждан, которые добровольно делегировали диктаторские полномочия этому небольшому органу, чтобы сохранить свое собственное господство, централизовать ведение важных дел, сохранить секретность в управлении республикой и избежать критики, которой подвергалось более публичное правительство таких штатов, как Флоренция.[5] Слабость этой части государственной машины заключалась в следующем: созданная с плохо определенными и почти неограниченными полномочиями,[6] предназначенная для замещения других государственных чиновников в особо важных случаях, и состоящая из людей, чьи способности ставили их в самый первый ряд граждан, Десятка вряд ли могла со временем превратиться в постоянно деспотирующую силу - деспотизм в недрах олигархии. Таким образом, во всем механизме венецианского государства мы прослеживаем действие постоянной аристократии, терпящей, с целью обеспечения своего собственного превосходства, тот уровень арбитражного контроля, который в определенных случаях, как у двух Фоскари, приравнивался к жесточайшей тирании. Подчинившись Совету Десяти, венецианская знать укрепила свою власть над народом и сохранила единство в своей политике.

[1] Том ii. его работ, стр. 37. На стр. 29 он описывает население Венеции как разделенное на "Popolari", или плебеев, занимающихся мелкой промышленностью, и так далее: "Cittadini", или средний класс, рожденный в государстве и имеющий большее значение, чем плебеи; "Джентилуomini", или хозяева Венеции на море и суше, числом около 3000 человек, что соответствует бюргерам Флоренции. То, что он говорит о Конституции, относится исключительно к этому высшему классу. Тщательно продуманная работа М. Ириарта *"Жизнь венецианского патриция и захват власти"*, Париж, 1874 г., содержит полный анализ венецианской государственной машины. Посмотрите, в частности, что он говорит о беспомощности дождей, гл. xiii. "Рекс в форо, сенатор в курии, пленник в ауле" - это была расхожая фраза, которая выражала контраст между их парадным достоинством и реальным рабством. У них не было личной свободы, и их всегда губила должность. Необходимо было принять закон, обязывающий избранного дожа принять навязанное ему обременительное звание. Венецианские олигархи утверждали, что это хорошо, что один человек должен умереть за народ.

[2] См. Джаннотти, том ii. стр. 55, где упоминаются пятнадцать человек, признанных виновными в заговоре Байамонте Тьеполо, и тридцать человек, облагороженных во время генуэзской войны.

[3] Фактическое число членов этого Совета составляло семнадцать, тогда как десять были связаны с Синьорией, которая состояла из дожа и шести советников.

[4] Джаннотти, том ii. стр. 123.

[5] Дипломатические трудности народного правительства, "говерно ларго", в отличие от "говерно стретто", с большой проницательностью изложены Гвиччардини, *Соч. Изд. том ii. с. 84. Ср. том iii. с. 272.*

[6] 'è la sua autorità pari a quella del Consiglio de' Pregati e di tutta la città,' says Giannotti, vol. ii. p. 120.

Ни одно государство никогда не оказывало большего влияния на своих граждан, чем Венеция. Случаев измены Республике было немного. Против постановлений Совета, какими бы произвольными они ни были, никто не пытался восстать. Венецианец молча поклонился и повиновался, зная, что за всеми его действиями следят, что у его правительства длинные руки в чужих землях и что вызвать восстание в группе бюргеров, столь тщательно контролируемых общими интересами, было бы невозможно. Дополнительную безопасность венецианцы получили благодаря мягкому и благотворному управлению подвластными городами и процветанию, в котором процветало их население. Когда во время войны Камбрейской лиги Венеция предоставила свободу своим городам на материке, они добровольно вернулись к ее верности. Дома жители лагун, которые никогда не видели вражеской армии у своих ворот и налоги которых были невелики по сравнению с налогами остальной Италии, считали дворян виновниками своего беспримерного счастья. Между тем, эти дворяне были купцами. Праздность была неизвестна в Венеции. Вместо того чтобы разрабатывать новые конституции или планировать месть наследственным врагам, венецианец занимался своей торговлей на море, управлял отдаленными провинциями, отстаивал интересы государства в чужих городах и участвовал в морских сражениях республики. В Венеции было принято назначать своих патрициев адмиралами только на море и никогда не вверять свои армии командованию бюргеров. В этой политике, несомненно, была своя мудрость, поскольку с помощью этих средств у знати не было возможности проводить широкомасштабные интриги в итальянских делах и никогда не было шанса приобрести опасное влияние за границей. Но это обязывало государство подчиняться системе оплачиваемых кондотьеров и наемных войск, за которыми ревниво следили и которым едва ли когда-либо можно было доверять, что оказалось почти таким же разорительным для Венеции, как и для Флоренции.

Трудно представить себе больший контраст, чем тот, который представляет Флоренция Венеции. В то время как Венеция следовала одному последовательному курсу постепенного роста и казалась непоколебимой, Флоренция оставалась в постоянном движении и менялась по мере того, как менялась сила фракций или партийных лидеров.[1] Когда борьба гвельфов и гибеллинов, Нери и Бьянки, истощила ее в четырнадцатом веке, она на некоторое время подчинилась косвенному влиянию королей Неаполя, которые были признаны вождями Партии гвельфов. Оттуда она на несколько месяцев перешла в руки деспота в лице герцога Афинского (1342-43). После подтверждения ее республиканской свободы последовало соперничество между пролетариатом и средними классами (Чомпи, 1378). В течение пятнадцатого века ее постоянно беспокоило соперничество ее знатных купеческих семей. Правление Альбицци, которые сражались с Висконти и расширили территорию Флоренции путем многочисленных завоеваний, было фактически деспотизмом тесной олигархии. Этот этап ее карьеры завершился возвышением семьи Медичи, которая руководила ее делами, демонстрируя конституционное равенство на протяжении четырех поколений. В 1494 году это положение вещей было сильно поколеблено. Флорентийцы изгнали Медичи, которые начали сбрасывать свои маски и напускать на себя вид полновластных; затем они воссоздали свое Содружество, насколько могли, по образцу Венеции, и этой новой форме правления Савонарола придал квазитеократический оттенок, назвав Христа королем Флоренции.[2] Но внутренние элементы раздора были слишком сильны для поддержания этого режима. Медичи были отозваны; и на этот раз Флоренция попала под тень церковного правления, находясь под контролем Льва X и

Климента VII через руки прелатов, которых они сделали опекунами и советниками своих племянников. В 1527 году последняя попытка обрести свободу пролила неумирающий блеск на благороднейший из итальянских городов. Разграбление Рима парализовало папу. Его семья была вынуждена покинуть дворец Медичи. Большой совет был восстановлен: был избран гонфалоньер; Флоренция перенесла тяготы своей памятной осады. В конце ее испытаний, подвергнутая одинаковым угрозам со стороны папы и императора, которые пожимали руки над ее распростертым трупом, преданная своим генералом, печально известным Малатестой Бальони, и проданная своими собственными эгоистичными гражданами, она была вынуждена подчиниться наследственному суверенитету Медичи. Напрасно Лоренцино из этого дома притворился Брутом и убил своего двоюродного брата герцога Алессандро в 1536 году. Козимо преуспел в том же году и получил титул великого герцога, который он передал линии полуавстрийских принцев.

[1] "Nunquam in eodem statu permanserunt", - говорит Марко Фоскари (цитируется выше, стр. 42 его отчета). Поток Флоренций глубоко поразил венецианца.

[2] Гонфалоньер Каппони в 1528 году установил табличку на Общественном дворце с надписью: "Иисус Христос Рекс Флорентини Попули С.Ф. декрето элект". Эта надпись дана по-другому. См. Varchi, том i, стр. 266; Segni, стр. 46. Нет ничего более существенного в различии между Венецией и Флоренцией, чем политический идеализм, подразумеваемый в этом религиозном освящении республики статутом. В моем эссе "Флоренция и Медичи" (*Очерки и этюды в Италии*) Я попытался сжать внутреннюю историю республики и проанализировать государственное устройство Медичи.

На протяжении всех этих перипетий флорентийцы отстаивали, обсуждали и применяли на практике все формы и фазы республиканского правления. Все искусство фракций, все махинации изгнанников, все мастерство демагогов, весь эгоизм партийных лидеров, вся ученость ученых, вся алчность подчиненных чиновников, вся смелость заговорщиков, вся изобретательность теоретиков и вся злоба предателей были последовательно или одновременно пущены в ход бюргерами, которые смотрели на свое государство как на нечто, что они могут формировать по своему желанию. Среди такой очевидной неразберихи, по крайней мере, ясно одно: Флоренс жила крайне активной и самосознательной жизнью, не признавая никаких принципов стабильности в своем телосложении, но всегда стремясь к тому идеалу *Регименто*, который так и не был реализован.[1]

[1] In his 'Proemio' to the 'Trattato del Reggimento di Firenze, Guicciardini thus describes the desideratum: 'introdurre in Firenze un governo onesto, bene ordinato, e che veramente si potesse chiamare libero, il che dalla sua prima origine insino a oggi non è mai stato cittadino alcuno che abbia saputo o potuto fare.'

Стоит более подробно рассмотреть различные магистратуры, с помощью которых осуществлялось управление Флоренцией в период с 1250 по 1531 год, и постепенные изменения в конституции, которые подготовили почву для тирании Медичи.[1] Только таким образом можно получить точное представление о разнице между республиканскими системами Венеции и Флоренции. До даты 1282 года, которая может быть установлена как поворотный момент во флорентийской истории, мы слышим о двенадцати анциани, по двое избранных от каждой сестры города, действовавших заодно с иностранным подестой и Капитаном народа, наделенным военной властью. В то время не делалось различия между

знатью и плебеями, и город, хотя и был гвельфом, не ввел строгих законов против семей Гибеллинов. Однако к концу тринадцатого века важные изменения произошли в самих элементах содружества. Анциани были вытеснены приорами искусств. Восемь приоров вместе с новым должностным лицом, названным гонфалоньером юстиции, образовали синьорию, которая находилась на общественных началах во Дворце и занимала свой пост всего два месяца.[2] Никто, кто не был зачислен в одну из художественных или коммерческих гильдий, отныне не мог занимать государственные должности. В то же время были приняты суровые меры, получившие название *Ordinanze della Giustizia*, по которым дворяне были навсегда исключены из правительства, а гонфалоньер юстиции был назначен поддерживать гражданский порядок, обуздывая их гордыню и буйство чувств.[3] Эти изменения конституции, внесенные между 1282 и 1292 годами, придали Флорентийской республике особый характер. Отныне Флоренцией управляли исключительно купцы. И Варчи, и Макиавелли высказали неблагоприятные мнения о статуте, превратившем Флорентийскую республику в содружество лавочников.[4] Но когда мы читаем эту критику, мы должны иметь в виду жестокость партийной борьбы в тот период и разногласия, которым постоянно подвергался город, разделенный между территориальной аристократией и коммерческой буржуазией. Если что-то и могло заставить *Ordinanze della Giustizia* казаться рациональным, так это хладнокровное прочтение *Хроники* Матараццо, в которой рассказывается о плачевном состоянии Перуджи из-за распрей ее патрицианских домов, Одди и Бальони.[5] Мир для республики, однако, не был обеспечен этими решительными мерами. Фракции Нери и Бьянки открыли четырнадцатый век битвами и проскрипциями, и в 1323 году конституцию снова пришлось изменить. На тот момент в синьорию восьми приоров с гонфалоньером юстиции, Коллегию двенадцати Буонуomini и шестнадцать гонфалоньеров компаний, называемых в совокупности *i tre maggiori*, или три высшие магистратуры, имели право только граждане гвельфов в возрасте тридцати лет, прошедшие квалификацию в одном из семи искусств Маджори и чьи имена выбирались по жребию. Этот способ избрания, самый демократичный из всех, какие только можно было принять, сохранялся на протяжении всех последующих изменений в государстве. Его непосредственной целью было утихомирить недовольство и устранить интриги, открыв магистратуру для всех граждан одинаково. Но, как отметил Нарди, это ослабило чувство ответственности у бюргеров, которые, когда их имена однажды были внесены в пакеты, хранящиеся для этой цели, почувствовали уверенность в своем избрании и не имели стимула поддерживать высокий стандарт честности. Сисмонди также относит к этой эпохе уход флорентийцев с военной службы.[6] Также, как показывает продолжение, эта мера не была эффективной для сдерживания личных амбиций вторгшихся партийных лидеров. *Скваттино* и *Борсе* стали инструментами в руках Медичи для укрепления их тирании.[7] К концу четырнадцатого века (около 1378 г.) флорентийцам пришлось столкнуться с новой трудностью. Граждане гвельфов начали злоупотреблять так называемым Законом предостережения, посредством которого гибеллины были исключены из правительства. Этот закон составил существенную часть мер 1323 года. За прошедшие полвека выросла новая аристократия, известная под именем *нобили пополани*, которая теперь угрожала республике тесной олигархией.[8] Разногласия, которые ранее бушевали между народом и патрициями, теперь были перенесены на эту новую аристократию и плебеев. Было признано необходимым отменить Предостережение, которое было сделано под предлогом исключения всех *новых homines* из правительства, и поставить членов низшего сословия в равные условия с членами высшего.[9] В эту эпоху Медичи, которые не принадлежали ни к древней аристократии, ни к более знатным домам *нобили пополани*, а скорее к так называемому *gente grassa* или крупным торговцам,

впервые приобрели значение. Именно законом Сальвестро Медичи в 1378 году конституция получила свое окончательное развитие в направлении равенства. И все же после всего этого выравнивания и яростных усилий, предпринятых пролетариатом по случаю восстания Чомпи, исключительный характер флорентийской республики был сохранен. Избирательное право никогда не распространялось на кого-то большего, чем на бюргеров, и дебатный вопрос практически всегда сводился к следующему: кому будет разрешено числиться гражданином в реестре? Фактически, используя многозначительные слова Макиавелли, мы можем подвести итог истории Флоренции до этого момента в одном предложении: "Флоренция в первоизданном виде среди лоро и нобили, представители и нобили пополо, в конечном итоге среди пополо и плебеев; и в конечном итоге произойдет то, чего добьется превосходная партия Римаса, которая разделится должным образом".[10]

[1] Я помещу в приложение (№ ii) переводы Варчи, книга iii. разделы 20-22 и Нарди, книга i, глава 4, в которых дается полный и ясный отчет о флорентийской конституции после 1292 года.

[2] См. Макиавелли, *Истина*. Fior. lib. ii. sect. II. Число приоров было сначала тремя, затем шестью и, наконец, восемью. До 1282 года город был разделен на сестры. Затем было сочтено удобным разделить его на кварталы, и цифры соответствовали этому изменению.

[3] Макиавелли, *Истина*. Fior. lib. ii. sect. 13, можно ознакомиться с историей Джано делла Белла и его памятным постановлением. *Хроника* Дино Компаньи содержит рассказ современника.

[4] См. Varchi, том i, стр. 169; Mach. *Ist. Fior.* конец книги ii.

[5] *Исторический архив*, том xvi. Смотрите также статью "Перуджа" в моих зарисовках по *Италии и Греции*.

[6] Том iii. стр. 347.

[7] Фразы "Squittino" и "Borse" см. в Приложении ii.

[8] Из этих новых дворян Альбицци и Риччи, смертельные враги, были самыми выдающимися. Первый стремился исключить Медичи из правительства.

[9] Количество статей в разное время варьировалось. Варчи считает, что в конечном итоге они состоят из семи маджори и четырнадцати минори.

[10] Просьба к *истории Фиорентины*. "Во Флоренции сначала разделилась знать, затем знать и народ, наконец народ и толпа; и часто случалось, что, когда одна из этих партий брала верх, она разделялась на два лагеря". Значение слова *Popolo* см. выше, стр. 55.

При следующем поколении конституционная история Флоренции вступает в новую фазу. Равенство, которое было введено во всех классах общества, в сочетании с отсутствием какой-либо государственной машины, подобной венецианской, подвергало Флоренцию в этот период посягательствам проникательных и эгоистичных парвеню. Медичи, которые до сих пор были никем, теперь начинают стремиться к деспотизму. Отчасти благодаря своему замечательному таланту интригана, отчасти благодаря умному использованию своего огромного состояния, а отчасти благодаря поддержке плебеев Козимо Медичи преуспел в монополизации власти. Политика Медичи заключалась в создании партии, зависящей в плане денежной помощи от их

богатства и связанной с их интересами теснейшими узами личной необходимости. В то же время они проявляли исключительную осторожность в поведении государства и тратили большие суммы на общественные работы. В их честолюбии не было ничего низменного; и хотя потомки должны осудить искусство, с помощью которого они стремились подорвать основы свободы в своем родном городе, мы вынуждены признать, что они разделяли самые благородные увлечения своей блестящей эпохи. Мало-помалу они продвинулись так далеко в порабощении Флоренции, что выборы всех магистратов, хотя и по-прежнему проводились по жребию, определялись по их выбору: имена только людей, преданных их интересам, допускались к спискам, из которых отбирались кандидаты на должность, в то время как запретительные меры различной степени строгости исключали их врагов из участия в правительстве.[1] Наконец, в 1480 году весь механизм республики был приостановлен Лоренцо Медичи в пользу Совета семидесяти, которого он назначил и с которым, действуя как Тайный совет, он управлял государством.[2] Ясно, что эта революция никогда не могла бы быть осуществлена без череды государственных переворотов. Инструмент для их осуществления был готов в руках партии Медичи в виде пагубной системы парламента и Балии, посредством которой народ, время от времени собирающийся на площади и запуганный правящей фракцией, передал всю полноту власти специальному комитету, назначаемому в частном порядке главами великого дома.[3] Также ясно, что столь масштабное политическое мошенничество не могло бы увенчаться успехом без значительной деморализации высших слоев населения. Медичи, по сути, покупали и продавали честь государственных чиновников, давали деньги взаймы, занимали прибыльные должности и не обращали внимания на казнокрадство, пока не создали достаточное количество *проклятых*, людей, которые могли получить все, сохраняя свою коррумпированную власть. Сформированная таким образом партия, включавшая даже таких выдающихся граждан, как Гвиччардини, Баччо Валори и Франческо Веттори, оказалась главным препятствием на пути восстановления флорентийской свободы в шестнадцатом веке.

[1] Что говорит Макиавелли (*Ist. Фуор.* vii. 1) "об искусстве Козимо" содержит суть политики, благодаря которой возвысились Медичи. Сравните ст. 4 и vii. 4-6 для его персонажа Козимо. Guicciardini (*Op. Ined.* vol. ii. p. 68) описывает использование Козимо экстраординарного налогообложения в качестве орудия нападения на своих врагов: "У нас есть могила в луого де пугнали, сообщество суоле использует чи ха подобные правила для мани". Маркиз Джино Каппони (*арх. Stor.* том i, стр. 315-20) анализирует всю политику Медичи в очень талантливой критике.

[2] Гвиччардини (*Соч. Ined.* том ii. стр. 35-49) раскрывает принцип и *modus operandi* этого Совета Семидесяти, с помощью которого Лоренцо контролировал выборы магистратур, направлял государственные средства на свои нужды и сделал свою волю законом во Флоренции. Советами, которые он заменил на тот момент, были Консильо дель Пополо и Консильо дель Комуне, о которых см. Нарди, lib i. глава 4.

[3] О работе парламента и Балии см. Varchi, vol. ii. стр. 372; Segni, стр. 199; Nardi, lib. vi. cap. 4. Сеньи говорит: "Парламент - это собрание флорентийского народа на площади Синьории. Когда синьория занимает свое место, чтобы выступить перед собранием, площадь охраняется вооруженными людьми, а затем людей спрашивают, хотят ли они дать абсолютную власть (Balìa) и авторитетность названным гражданам для их блага. Когда приходит утвердительный ответ, подсказанный отчасти склонностью, а отчасти принуждением, синьория немедленно

удаляется во дворец. Это все, что подразумевается под этим парламентом, который, таким образом, наделяет полной властью осуществлять изменения в государстве". Описание, данное Марко Фоскари, стр. 44 (loc. cit. выше) имеет тот же эффект, но венецианец более ясно показывает деспотическую природу института, находящегося в руках Медичи. Хорошо известно, насколько враждебно Савонарола относился к институту, который так легко поддался деспотизму. Это двустороннее он начертал на стенах Зала Совета в 1495 году:

"Е сапи чи вуоль парламента"

"Вуоль торти далле мани иль регджименто".

Сравните пословицу: "Чи диссе парламенто диссе гастаменто".

Эта тирания коммерческой семьи, правившая республикой без титула и с небольшой помпезностью принцев, просуществовала до тех пор, пока в 1531 году наследственное президентство в государстве не было передано Алессандро де Медичи, герцогу Чивита-ди-Пенна. Его преемник Козимо получил титул великого герцога от Пия V. в 1569 году, а его сын получил императорскую санкцию на этот титул в 1575 году. Восстановление в два разных периода свободного государства на более прочной основе Великого совета (1494-1512 и 1527-30) составило всего два эпизода в истории этого замаскированного, но упорного деспотизма. Если бы конституция Савонаролы была принята в тринадцатом, а не в конце пятнадцатого века, стабильность Флоренции могла бы быть обеспечена. Но в последнее время корни влияния Медичи были слишком тесно переплетены с частными интересами, зависть классов и фракций была слишком укоренившейся, чтобы какая-либо крупная и здоровая форма народного правления могла быть общепринятой. Кроме того, бюргеры были низведены до безвольного рабства, в котором честолюбие и алчность заняли место патриотизма; в то время как разложение нравов, поощряемое Медичи для подтверждения их собственной власти, было настолько широко распространено, что оправдывало Сеньи, Варчи, Джаннотти, Гвиччардини и Макиавелли в представлении флорентийцев как одинаково неспособных сохранить свою свободу и подчиниться контролю.

Исторические перипетии Флоренции были не менее примечательны, чем единство Венеции. Если в Венеции мы можем проследить постоянное и корпоративное существование государства, стоящего выше отдельных лиц, его составлявших, то во Флоренции демонстрируется личная активность и сознательные усилия ее граждан. Нигде сложные отношения классов к государству не могут быть изучены более подробно, чем в "анналах Флоренции". Ни в одном другом городе мнения не имели большего значения при определении исторических событий; и нигде влияние характера выдающихся людей не было более заметным. В этой напряженной политической атмосфере замечательный флорентийский интеллект, который Варчи прославлял как особую славу тосканской земли и который Вазари называл чем-то удачным в тосканском воздухе, был отточен до совершенства.^[1]

Последовательные поколения государственных деятелей-практиков и теоретиков приучали расу рассуждать о правительстве и рассматривать политику как науку. Литераторы были в то же время видными деятелями в государственных делах. Когда, например, изгнанники 1529 года подали в суд на герцога Алессандро перед Карлом V. в Неаполе Якопо Нарди изложил их доводы, а Франческо Гвиччардини опроверг их в интересах своего хозяина. Макиавелли изучал свою философию при дворах Франции и Германии, а также в лагере Чезаре Борджиа. Сеньи

разделял опасения Николо Каппони, когда гонфалоньеру был объявлен импичмент за государственную измену государству Флоренция. Этот список можно было бы продолжать почти до бесконечности, стремясь доказать тесную связь, которая существовала во Флоренции между мыслителями и действующими лицами. Ни одно другое европейское сообщество современности никогда не обрело столь тонкого понимания своего собственного политического существования, никогда так остро не размышляло о своей прошлой истории и никогда не проявляло такой изобретательности в попытках контролировать будущее. Венеция, напротив, была мало обязана творческому гению своих граждан. В Венеции государство было всем, а индивидуум - почти ничем. Мы находим лишь небольшое размышление о политике и отсутствие спекулятивной философии истории у венецианцев до времен Трифоне Габриэлли и Паруты. Все их записи позитивны и подробны. Обобщения и сравнения флорентийцев отсутствуют; и только в конце эпохи Возрождения венецианская история была написана как единое целое. Может показаться, что конституционная стабильность, составлявшая секрет силы Венеции, была также источником сравнительной интеллектуальной инертности. Этот контраст между двумя республиками проявился даже в их искусстве. Статуи Юдифи, тираноубийцы, и Давида, освободителя своей страны, украшали площади и лоджии Флоренции. Венецианские художники изображали свое содружество в образе прекрасной королевы, принимающей почтение своих подданных и всего мира. У Флоренции не было мифа, подобного тому, который делал Венецию Невестой моря и который оправдывал дожа, провозгласившего Катерину Корнаро дочерью Святого Марка (1471). Именно в личном мужестве и уме отдельных героев флорентийцы нашли отражение своего собственного духа; тогда как венецианцы олицетворяли свой город в целом и отдавали дань уважения Государственному гению.

[1] Варчи, ix. 49; Вазари, xii. стр. 158; Буркхардт, стр. 270.

Не просто причудливо сравнивать Афины, город сознательной политической активности, переменчивый, культурный и плохо приспособленный из-за самой своей свободы к длительной стабильности, с Флоренцией; Спарту, прочно основанную на древней конституции, безразличную к культуре и прочную ценой некоторой жесткости, с Венецией. Как в Греции афинские философы, особенно Платон и Аристотель, удивлялись неподвижности Спарты и идеализировали ее институты; так и теоретики Флоренции Савонарола, Джаннотти, Гвиччардини с завистью смотрели на государственную машину, обеспечившую Венеции покой и свободу. Параллель между Венецией и Спартой становится еще более примечательной, когда мы исследуем причины их упадка. Подобно тому, как эфоры, введенные сначала в качестве гарантии конституции, постепенно уничтожили влияние королевских семей, вытеснили сенат и осуществляли тиранический контроль над всеми департаментами государства, так и Совет десяти, опасный своими смутноопределенными диктаторскими функциями, низвел Венецию до деспотизма.[1] Постепенное сокращение венецианской аристократии и обнищание многих благородных семей, которые сделали голоса в Большом совете продажными и передали власть в руки очень ограниченной олигархии, дополняют параллель.[2] Одним из главных источников упадка как Венеции, так и Спарты была та близорукая политика, которая не позволяла знати пополнять свои ряды за счет приема новых семей. Система тайного правосудия, шпионажа и расчетливого терроризма, посредством которых как спартанское правительство, так и Венецианский совет навязывали гражданам свою волю, снова подавляли свободную жизнь

республики. [3] Венеция в конце концов стала деморализованной в политике и расточительной в частной жизни. Ее сужающаяся олигархия с одобрением наблюдала за национальным вырождением, зная, что легче контролировать порочное население, чем обуздывать нацию, привыкшую к мужским добродетелям.

[1] Аристотель называет спартанскую Эфоральность [греч. *изотираннос*]. Джаннотти (том ii, стр. 120) сравнивает "Десятку" с диктаторами. Мы могли бы сравнить борьбу спартанских царей с Эфоральностью с попытками дождей Фальери и Фоскари сделать себя главами республики не только номинально. Мюллер в своих "*Дорианцах*" отмечает, что "эфоральность была движущим элементом, принципом изменений в спартанской конституции и, в конечном счете, причиной ее роспуска". Сисмонди отмечает, что меры предосторожности, которые привели к созданию Совета Десяти, были "естественным элементом государственной конституции".

[2] Посмотрите, что Аристотель в "*Политике*" говорит о [греческом: *олигантропии*] и неравном распределении собственности. Что касается собственности венецианской знати, см. Sanudo, *Vite dei Duchi*, Murat. xxii. стр. 1194, который упоминает о благосклонности богатых семей к бедным. Они строили дома для аристократических бедняков, чтобы те жили в них бесплатно.

[3] Любопытный отрывок из "*Жизни Клеомена*" Плутарха (Перевод Клафа, том iv, стр. 474) в точности относится к венецианскому государственному управлению: "Они, спартанцы, поклоняются Страху, не так, как сверхъестественным силам, которых они боятся, считая это вредным, но думая, что их государственное устройство в основном поддерживается страхом ... и поэтому лакедемоняне поместили храм Страху рядом с Системой Эфоров, возведя эту магистратуру почти до царской власти".

Между Афинами и Флоренцией параллель не столь близка. Однако эти две республики похожи друг на друга свободой и разнообразием своих институтов. В Афинах, как и во Флоренции, происходили постоянные перемены и было высокоразвито политическое сознание. Выдающиеся люди играли одинаково важную роль и в тех, и в других. В обоих случаях гений личности был даже сильнее, чем характер государства. Опять же, поскольку Афины демонстрировали больше панэллинских настроений, чем любой другой греческий город, Флоренция неизменно более чутко реагировала на интересы Италии в целом, чем любое другое государство полуострова. Флоренция, как и Афины, была центром культуры нации. Как и Афины, она дала своим городам-побратимам законы в области языка, литературы, изобразительного искусства, поэзии, философии и истории. Без Флоренции маловероятно, что Италия заняла бы то место гордого превосходства, которое она так долго занимала в Европе. Флоренция никогда не достигала материального величия Афин, потому что ее власть по сравнению с остальной Италией была незначительной, ее фракции были постоянными, а ее связь с папством была постоянным источником слабости. Но многие из причин, разрушивших Афины, были в полном разгаре во Флоренции. Первым и главным был вздорный и переменчивый нрав демократии, так хорошо описанный Платоном и так умело проанализированный Макиавелли. Отсутствие согласия среди разносторонне развитых флорентийцев, богатых планами, но неспособных к согласованным действиям, было главным источником политической слабости. Варчи и Сеньи оба рассказывают, как, несмотря на богатство, способности и грозные силы, флорентийские изгнанники под руководством Филиппо Строцци (1533-1537) стали посмешищем Италии из-за своей нерешительности. Венецианские послы сходятся во мнении, что флорентийские бюргеры робки из-за избытка интеллектуальной мобильности. А Данте, чье понимание национальных

особенностей было наиболее острым, в приснопамятных строках описал темперамент своего непостоянного города (*Purg.* vi. 135-51).

Во многом эта нестабильность была вызвана тем фактом, что интеллект флорентийца, как и афинянина, был чрезмерно развит. Это переросло в простую сообразительность и превзошло само себя. Далее мы можем отметить тиранию, которую обе республики осуществляли над городами, которые когда-то были свободными. Афины создали деспотическую империю вместо формирования Ионической конфедерации. Флоренция обратила Пизу в самое жалкое рабство, сделала себя ненавистной Ареццо и Вольтерре и никогда не прекращала покушений на свободы Лукки и Сиены. Все эти государства, которые как тосканская федерация должны были стать ее опорой в трудную минуту, воспользовались первой же возможностью сбросить ее иго и помочь ее врагам. Затраты Флоренции на отвоевание Пизы после ухода Карла VIII в 1494 году не поддаются исчислению. И как только она оказалась в затруднительном положении во время осады 1329 года, и Ареццо, и Пиза перешли на сторону ее врагов.

Не стоит слишком далеко заходить в исторических параллелях, как бы интересно ни было отметить повторение одних и тех же явлений в отдаленные периоды и при различных условиях общества. В то же время наблюдать за фундаментальными точками расхождения не менее выгодно. Многие особенности греческой истории объясняются тем фактом, что греческое содружество состояло из граждан, живущих в праздности, которых содержали их рабы и которые были связаны с государством военной службой и выполнением гражданских обязанностей. С другой стороны, отличительной чертой Венеции и Флоренции было то, что их граждане были торговцами. Венецианцы вели торговлю с Левантом; флорентийцы были промышленниками и банкирами: один город посылал своих сыновей за море для обмена; другой был полон спекулянтов, рассчитывавших процентные ставки и скидки и заключавших контракты с правителями на ведение дорогостоящих войн. Меркантильный характер этих итальянских республик настолько важен для их истории, что будет нелишним немного подробнее остановиться на этой теме. Мы видели, что флорентийцы превратили торговлю в условие существования бюргерства. Джаннотти, описывающий жизнь одного из главных патриотов республики,^[1] гласит: "Эгли штетте боттега, приди к великой стороне ноздрей, кози нобили приди к игнобили". Приводить примеры в столь ясном и очевидном вопросе было бы излишним: иначе я мог бы показать, как Барди и Перуцци, Строцци, Медичи, Питти и Пацци, хотя они стояли в одном ряду с принцами при дворах Франции, Рима или Неаполя, были ростовщиками, закладчиками и скупщиками векселей в каждом крупном городе Европы. Статуя Медичи, украшающая великолепные потолки Пизанского собора, до сих пор раскачивается над лавкой ростовщика в Лондоне. И хотя такие великие семьи, как Ротшильды, в последние дни успешно отстаивали аристократизм богатства, нажитого ростовщицеством, все еще остается удивительным фактом, что дочь средневековых банкиров подарила французам монарха в шестнадцатом веке.

^[1] *Сулле азиони дель Ферруччо*, том i, стр. 44. Отчет Марко Фоскари о состоянии Флоренции, который уже цитировался неоднократно, содержит любопытный аристократический комментарий к жизни знаменитых флорентийцев в магазинах. См. Приложение ii. Даже Пьеро Медичи отказался от неаполитанского феода на том основании, что он был торговцем.

Очень живую картину образа жизни и образа мыслей, характерных для итальянского бюргера, можно составить, внимательно прочитав трактат Аньоло Пандольфини "*Управление семьей*".

Это эссе должно быть прочитано вместе с "*Кортегуано*" Кастильоне всем, кто желает понять частную жизнь итальянцев в эпоху Возрождения.^[1] Пандольфини жил во времена Флорентийской войны с Филиппо Висконти в изгнании и возвращения Козимо Медичи. Он был нанят республикой для выполнения важных миссий, и его состояние было настолько велико, что в случае чрезвычайной помощи его вклады занимали третье или четвертое место в списке. В советах республики он всегда выступал за мир, и в частности, выступал против "Импрезы ди Лукка". С возрастом он отошел от государственных дел и посвятил себя учебе, религиозным упражнениям и загородным экскурсиям. У него была прекрасная вилла в Сигне, известная великолепием своего содержания во всех отношениях, подобающих джентльмену. Там он имел честь по различным поводам принимать папу Евгения, короля Рене, Франческо Сфорца и маркиза Пиччинино. Его сыновья жили с ним и проводили большую часть своего свободного времени в соколиной охоте. Их было трое: Карло, который добился большого положения в республике, Джанноццо, еще более выдающийся общественный деятель, и Пандольфо, который умер молодым. Его жена, одна из Строцци, умерла, когда Аньоло было от тридцати до сорока; но он больше никогда не женился. Он был большим другом Лионардо Аретино, который ничего не публиковал без его одобрения. Он дожил до восьмидесяти пяти с лишним лет и умер в 1446 году. Эти факты в достаточной степени указывают на то, каким человеком был предполагаемый автор "Очерка о семье", доказывая, что он проводил свой досуг среди принцев и ученых и что он играл определенную роль в общественных делах государства Флоренция. И все же его взгляд на человеческую жизнь полностью *буржуазен*, хотя ни в коем случае не неблагороден. По его концепции, первой из всех добродетелей является бережливость, которая должна регулировать использование не только денег, но и всех даров природы и удачи. Надлежащая экономия ума включает в себя гуманитарные науки, вежливые манеры, честное поведение и религию.^[2] Правильное использование тела подразумевает поддержание его в добром здравии с помощью воздержания, физических упражнений и диеты.^[3] Бережливость времени заключается в том, чтобы никогда не сидеть сложа руки. Сыновья Аньоло, которые в этом диалоге представлены беседующими со своим отцом, спрашивают его в связи с подарками судьбы, считает ли он желательными государственные почести. Этот вопрос вызывает длинную и яростную брань против жизни профессионального государственного деятеля, как по необходимости мошеннической, лживой, эгоистичной, жестокой.^[4] Частный человек среднего достатка действительно счастливее всех; и только чувство патриотизма должно побуждать его, не стремясь, но когда его ищут, служить государству на государственной должности. По-настоящему дорогое достояние человека - это его семья, его богатство, его хорошая репутация и его друзья. Чтобы быть успешным в ведении семейного хозяйства, мужчина должен выбрать большой и здоровый дом, где все его потомство — дети и внуки - могло бы жить вместе. Он должен владеть поместьем, которое обеспечит его зерном, вином, маслом, дровами, домашней птицей, фактически всем необходимым для жизни, так что ему, возможно, не придется покупать много. Основной пищей семьи будут хлеб и вино. Обсуждение полезности фермы побуждает Аньоло восхвалять удовольствие и прибыль, которые можно извлечь из жизни на вилле. Но в то же время необходимо содержать городской дом; и именно здесь сыновья семьи должны получать образование, чтобы они могли научиться осторожности и избегать порока, зная его уродство. Чтобы покрывать расходы, необходимо заниматься каким-либо ремеслом, отдавая предпочтение производству шелка или шерсти; и в этом должна участвовать вся семья, глава которой распределяет различного рода работу своим детям так, как он считает наиболее подходящим, и всегда нанимает их, а не посторонних. Таким образом, мы получаем три важнейших элемента жизни флорентийского горожанина: *casa*, или городской

дом, *вилла*, или загородная ферма, и *боттега*, или место работы. То, что следует далее, в основном касается деталей экономики. Расходы бывают двух видов: необходимые для ремонта дома, содержания фермы, пополнения запасов в магазине; и ненужные для посуды, украшения дома, лошадей, парадной одежды, развлечений. В этой теме Аньоло сурово критикует домашних паразитов, бравы и беспутных иждивенцев.[5] Чуть дальше он пускается в очередную обличительную речь против знати, *i signori*, от которой он хотел бы, чтобы его сыновья держались подальше любой ценой.[6] Это враждебность трудолюбивого бюргера к надменному, любящему удовольствия, праздному, беспечному человеку высокой крови и положения. В буржуазном доме, описанном Пандольфини, никто не может быть ленивым. Мужчинам приходится работать на улице и накапливать богатство, женщинам - сидеть дома и сохранять его. Характер хорошей домохозяйки обрисован очень детально. Пандольфини описывает, как, когда он только женился, он взял свою жену во владение домом и передал на ее попечение все его содержимое. Затем он пошел в их спальню, заставил ее вместе с ним преклонить колени перед Мадонной и помолился Богу дать им богатство, друзей и детей мужского пола. После этого он сказал ей, что честность будет ее величайшим обаянием в его глазах, а также ее главной добродетелью, и посоветовал ей отказаться от использования красок и косметики. Далее следует много разумных советов относительно соответствующего положения хозяина и хозяйки в доме, руководства прислужкой и правильного решения самых незначительных вопросов. Качество одежды, которая будет к лицу детям почетного гражданина по различным поводам, карманные деньги мальчиков, еда за общим столом - все это обсуждается с некоторой тщательностью: и жене дают понять, что она должна научиться не ревновать и не интересоваться делами, которые ее муж считает целесообразным держать в секрете.

[1] Я должен заявить, что Пандольфини датируется по крайней мере на столетие раньше, чем Каслионе, и что он представляет более примитивное состояние общества. Факты, которые я упомянул о его жизни, приведены со слов Веспасиано да Бистиччи. Ссылки сделаны на миланское издание 1802 года. Следует также добавить, что существуют веские причины для того, чтобы приписать данный трактат Лео Баттисте Альберти. Однако, поскольку предполагается, что это изображение семьи Пандольфини, я придерживаюсь старого названия. Но весь вопрос об авторстве "Семьи" будет подробно рассмотрен в последнем разделе моей книги, посвященном итальянской литературе. Лично я. Я принимаю теорию авторства Альберти.

[2] Прекрасное описание религиозного темперамента, стр. 74.

[3] То, что Пандольфини говорит о красоте тела, достойно грека: то, что он говорит об упражнениях, могло быть написано англичанином, стр. 77.

[4] Стр. 82-89 очень важны, поскольку показывают, насколько низко пало политическое искусство в Италии.

[5] Стр. 125.

[6] Стр. 175.

Очарование такого трактата, как у Пандольфини о семье, улетучивается, как только мы пытаемся кратко изложить его содержание. Однако приведено достаточно, чтобы показать насквозь *буржуазный* тон, царивший среди граждан Флоренции в пятнадцатом веке.[1] Очень

важные результаты стали естественным проявлением этого коммерческого духа в государстве. Говоря о *Ordinanze* суда, Varchi отмечает: 'в то время как они удаляются в части гражданского разногласия Флоренции, они почти полностью погасили все благородство чувств в флорентийцев, и, как правило, столько, чтобы урезать власть и надменность города как пресечь наглость тешатся.' [2] чуть дальше он говорит: значит, могут и все благоразумные люди видят, как плохо упорядоченных во всех вещах, а только в Великий Совет, была Содружества Флоренции; видя, что говорить иного, как только то, что вид мужчины, который в мудро устроен республики не должны выполнять любые магистратуры, что, купцы и ремесленники всякого рода, находящихся во Флоренции в одиночестве способен вступления в должность при исключении всех остальных.' Макиавелли, менее многословны, но гораздо более выразительно, чем Varchi, говорит о той же революции: 'это вызвало отказ от Флоренции не только оружия, но все благородство души.' [3] наиболее заметным следствием меркантильный характер республик была разорительной системе наемнической войны, со всеми вытекающими отсюда пороками честолюбивые капитаны приключения, безответственный солдатня, и издеваться над кампаний, принятых бесплатно итальянские государства. Это правда, что даже если бы итальянцы сохранили свои национальные ополчения в полной силе, они, возможно, были бы не в состоянии противостоять удару Франции и Испании ничуть не лучше, чем армии Фив, Спарты и Афин предотвратили гегемонию Македонии. Но у них, по крайней мере, было бы больше шансов, и они, возможно, не погибли бы так позорно из-за измены Альфонсо д'Эсте (1527), маркиза Пескары (1525), герцога Урбино (1527) и Малатесты Бальони (1530). [4] Макиавелли в весомом отрывке в конце первой книги своей флорентийской истории подводит итог различным причинам, которые способствовали отказу от использования национального оружия среди итальянцев эпохи Возрождения. Страх деспота перед своими подданными, верховенство Церкви священниками, ревность Венеции к своей собственной знати и коммерческая неповоротливость флорентийских бюргеров побудили все эти державы, в остальном столь разные, доверить свои армии наемным капитанам. "К вопросу о принципах озиози и к вопросу о вилиссимской армии, о том, что является пьесой моей истории", - презрительной фразой, которой он завершает свой анализ. [5]

[1] Варчи (книга x. загл. 69) цитирует флорентийскую пословицу: "Chiunque non sta a bottega è ladro". См. Выше, стр. 239.

[2] Варчи, том i, стр. 168; однако сравните том ii, стр. 87.

[3] *Исм. Fior. lib. ii. end.* Презрение Аристотеля к [греческому: *technitai*] проявляется в этих комментариях доктринеров.

[4] Было бы легко умножить случаи мошенничества и государственной измены со стороны итальянских кондотьеров. Я упомянул только примечательные примеры, относящиеся к критическому периоду в пять лет. Маркиз Пескарский предал Карлу V. лига освобождения Италии, к которой он присоединился в Милане. Герцог Феррарский принял армию Бурбона (тогда еще Фрундсберга) и снабдил ее продовольствием, направлявшуюся разграблять Рим, потому что он презирал папу и хотел захватить Модену для себя. Герцог Урбино, желая наказать Климента VII. за нанесение личных увечий, не оказал помощи Риму, когда тот подвергся разграблению лютеранами, хотя и был членом комиссии Итальянской лиги. Малатеста Бальони продал Флоренцию, которую он взялся защищать, императорской армии под командованием принца Оранского.

[5] "Поэтому моя история будет наполнена записями об этих ленивых принцах и самых жалких вооружениях". Сравните следующий отрывок из письма Макиавелли Франческо Гвиччардини (Соч. т. х. стр. 255): "Comincio ora a scrivere di nuovo, e mi sfogo". обвинение и принципы, ханно обречены на смерть из-за обстоятельств дела".

ГЛАВА V.

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ИСТОРИКИ.

Флоренция, город интеллекта—Алчность, любопытство и любовь к прекрасному—Флорентийская историческая литература—Философское изучение истории—Рикордано Малеспини—Флорентийская история в сравнении с хрониками других итальянских городов—Виллани—Дата 1300 г.—Статистика—Политические эссе и брошюры Данте—Дино Компаньи—Латинские истории Флоренции Пятнадцатого века—Лионардо Бруни и Поджо Браччолини—Историки первой половины Шестнадцатого века—Люди действия и литераторы: доктринеры—Флоренция между 1494 и 1537 гг.—Варчи, Сеньи, Нарди, Питти, Нерли, Гвиччардини—Политическое значение этих писателей—Последние годы независимости Флоренции и осада 1529 г.—Положение партий—Филиппо Строцци—Разные взгляды историков на слабость Флоренции—Их литературные качества—Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли—Ученые—государственники—Разлад между жизнью и литературой—Биография Гвиччардини—Его "История Италии", "Диалог Правление Флоренции", "История Фиорентины", "Рикорди" — Биография Макиавелли—Его план национального ополчения—Посвящение "Принцу"—Политическая этика итальянского Возрождения—Дискорси -Семь книг о военном искусстве и "История Флоренции".

В наше время Флоренция, по сути, была городом интеллекта. Другие народы превзошли итальянцев в их гениальности — качестве, которое придало сверхчеловеческую пронизательность Шекспиру и всеобщую симпатию Гете. Но нигде, кроме Афин, все население города не было так пронизано идеями, столь высокоинтеллектуальными по своей природе, такими острыми в восприятии, такими остроумными и утонченными, как во Флоренции. Утонченный дух итальянцев существовал в квинтэссенции среди флорентийцев. И это превосходство осознавали не только они, но и жители Рима, Ломбардии и Неаполя. Бонифаций VIII, когда он принимал послов христианских держав в Риме по случаю Юбилея в 1300 году, заметил, что все они были гражданами Флоренции. Острота, которую он, как говорят, произнес, *i Fiorentini essere il quinto elemento*, "что мужчины Флоренции образуют пятый элемент", вошла в пословицу. Первенство флорентийцев в литературе, изобразительном искусстве, юриспруденции, образовании, философии и естественных науках было признано по всей Италии.

Когда борьба за существование успешно прекращена и простой инстинкт самосохранения больше не поглощает деятельность людей, тогда начинают действовать три главные движущие силы цивилизации. Это алчность, или стремление к богатству и всему, что оно дает; любопытство, или желание открывать новые факты о мире и человеке; и любовь к красоте, которая является прародительницей всего искусства. Коммерция, философия, наука, ученость,

скульптура, архитектура, живопись, музыка, поэзия являются продуктами этих господствующих импульсов — фактически всего, что придает более высокую ценность жизни человека. Разные нации были охвачены этими страстями в разной степени. Некоторым было отказано в художественных способностях, которые обязаны своей энергией любви к красоте; другим - в философских способностях, которые начинаются с любопытства; и некоторые снова продемонстрировали лишь небольшую способность к накоплению богатства трудолюбием или расчетом. Редко можно встретить целую нацию, обладающую всеми качествами в равной мере. Такими, однако, были флорентийцы.[1] Простого вида города и его памятников было бы достаточно, чтобы доказать это. Но мы не сведены к необходимости разгадывать, что такое Флоренция, рассматривая ее церкви, дворцы и картины. Тот изумительный ум, которым она гордилась, ярко проявился в длинной череде историков и летописцев, которые передали нам биографию города в томах, отличающихся как проницательной проницательностью, так и четкостью очертаний и драматическим интересом. У нас есть картинные галереи страниц, на которых великие люди Флоренции оживают и, кажется, дышат и движутся, эпопеи о превратностях содружества с самого начала его существования, подробные трагедии и завершённые эпизоды, этюды об отдельных персонажах и идиллии, оторванные от основного течения ее истории. Вся масса этой исторической литературы проникнута духом критики и полна жизненного опыта. Авторы были либо актерами, либо зрителями драмы. Обученные изучению древности, а также в палатах совета республики и при дворах иностранных князей, они рассматривают предмет своей истории с высокой точки зрения, подкрепляя свои умозрительные выводы практическими знаниями и очищая свои суждения о современных событиях философией прошлого. Благодаря этому редкому сочетанию качеств флорентийцы заслуживают того, чтобы их называли первооткрывателями исторического метода в современном мире. Они первыми осознали, что невыгодно изучать историю государства изолированно, что не только войны и договоры, но и внутренние перипетии содружества составляют реальный предмет исследования,[2] и что мельчайшие детали, биографические, экономические или топографические, могут иметь наибольшую ценность. В то время как остальная Европа не разбиралась в статистике и была мало склонна проникать под поверхность событий к тайным пружинам поведения, во Флоренции постепенно сформировалась группа ученых-историков, которые осознали необходимость основывать свои расследования на тщательном изучении государственных документов и заметок современных наблюдателей.[3] Те же самые люди готовили себя к задаче критики путем глубокого изучения этической и политической философии в трудах Аристотеля, Платона, Цицерона и Тацита.[4] Они изучили методы классических историков и сравнили анналы Греции, Рима и Палестины с хрониками своей собственной страны. Они пытались разгадать гениальность и охарактеризовать особые качества наций, городов и отдельных людей, с которыми им приходилось иметь дело.[5] В то же время они не жалели усилий в поиске людей, обладающих точными знаниями во всех областях исследования, которые попадались им на глаза, так что их трактаты обладали свежестью оригинальных документов и очарованием личных воспоминаний. Многое, как я уже отмечал в другом месте, было связано с необычайно беспокойным характером флорентийцев, спекулятивных, изменчивых, беспокойных в своей политике. Те самые качества, которые подвергали содружество революциям, развивали интеллект его историков; ее недостаток стабильности был ценой, которую она заплатила за интеллектуальную разносторонность и остроту, не имеющую себе равных в наше время. "О, *ingenia magis acris quam matura*", - справедливо сказал Петрарка об остроумии флорентийцев, ибо им свойственно от природы иметь больше живости и проницательности, чем зрелости или серьезности".[6]

[1] Со времен греков ни один народ не сочетал любопытство и любовь к красоте, научное и художественное чутье в таких пропорциях, как флорентийцы.

[2] Смотрите критику Макиавелли Лионардо д'Ареццо и Мессера Поджо в Проэмио к его *Флорентийской истории*. Его собственная концепция истории, как попытки описать сам дух нации, в высшей степени философична.

[3] О высоком понимании итальянцами требований научной истории свидетельствует то, что Джовио рассказывает об архивах Джана Галеаццо (*Vita di Gio. Galeazzo*, стр. 107). After describing these, he adds: 'talche, chi volesse scrivere un' historia giusta non potrebbe desiderare altronde nè più abbondante nè più certa materia; perciocchè da questi libri facilissimamente si traggono le cagioni delle guerre, i consigli, e i successi dell' imprese.' The Proemio to Varchi's *Storie Fiorentine* (vol. i. pp. 42-44), which gives an account of his preparatory labors, is an unconscious treatise on the model historian. Точность, терпение, любовь к истине, искренность в критике и кропотливое исследование - всему этому отведено должное место. Сравните Гвиччардини, *Ricordi*, № cxliii., чтобы найти здравые замечания о долге историка собирать статистические данные о своей эпохе и стране.

[4] Предисловия к "критике Флоренции и Венеции" Джаннотти показывают, насколько глубоко его ум был пропитан *политикой* Аристотеля. Варчи признает прямое влияние Полибия и Тацита. Ливий - любимец Макиавелли.

[5] По этому вопросу отзывы итальянских послов неоценимы. Какими сухими философскими сборниками являются заметки Макиавелли о французском дворе и Чезаре Борджиа! Как пронизательны венецианские письма относительно мнений и качеств римских прелатов!

[6] Guicc. *Ricordi*, cciii. Указ. соч. т. i. с. 229.

1300 год знаменует собой первое развитие исторических исследований во Флоренции. Два великих писателя, Данте Алигьери и Джованни Виллани, в ту эпоху изучали разные направления, что определило будущее этой отрасли литературы для итальянцев. Для флорентийского гения не является чем-то необычным тот факт, что, хотя в главном городе Тосканы до упомянутой мной даты не хватало историков, рассказывающих о ее достижениях, ее первые историографические эссе должны были стать монументальными и эталонными для остальной Италии. Точно так же, как крупные города Ломбардии обрели муниципальную независимость несколько раньше, чем города Тосканы, так и историческое чувство развилось в долине По в период, когда в долине Арно не было летописца. Сир Рауль и Оттоне Морена, миланские летописцы, фра Салимбене, пронизательный и всесторонне изученный историк Пармы, Роландино, которому мы обязаны хроникой Эццелино и трагедией Тревизанских маршей, в XIII веке не имели соперников к югу от Апеннин. Даже Хроника семьи Малеспини, написанная на вульгарном языке от сотворения мира до 1281 года, которая занимает 146 томов коллекции Муратори и которая раньше была гордостью тосканских антикваров, недавно была показана как, по всей вероятности, компиляция, основанная на "Анналах Виллани". [1] Это делает очевидное появление научного смысла истории в 1300 году во Флоренции еще более примечательным. Чтобы оценить высокое качество работы, проделанной Виллани, достаточно перевернуть страницы некоторых ранних хроник городов-побратимов, которые все еще дышат духом неразумной средневековой промышленности, прежде чем исторический метод был критически воспринят. Наивность этих записей можно оценить по следующим выдержкам.

Римлянин пишет[2]: "Я Лодовико Бонконте Мональдески родился в Орвието и вырос в городе Риме, где я проживал. Я родился в 1327 году, в июне месяце, в то время, когда прибыл император Лодовико. Теперь я хочу рассказать всю историю моего возраста, учитывая, что я прожил сто пятнадцать лет без болезней, за исключением того, что при рождении я упал в обморок и умер от старости, пролежав в постели двенадцать месяцев кряду". "Хроника Милана Буригоццо, опять же, завершается такими словами:"[3] "Как вы увидите в Анналах моего сына, поскольку настигшая меня смерть мешает мне писать дальше". Хроники, задуманные и написанные в таком духе, представляют собой дневники событий, сборники странных историй и бабушкиных сказок, без глубокого чувства личной ответственности, лишённые в равной степени критики и художественного единства. Совершенно иной характер носит историческая литература, которая зарождается во Флоренции в начале четырнадцатого века.

[1] См. Пауля Шеффера-Бойхорста, *Флорентийский исследователь*, Лейпциг, 1874; Карл Гегель в своей защите *Compagni*, *Хроника динозавров Compagni, Versuch einer Rettung*, Лейпциг, 1875, признает доказательство фальсификации. См. предисловие, стр. v. Однако этот вопрос до сих пор оспаривается флорентийскими учеными высокого авторитета. Джино Каппони в своей *Истории Республики Флоренция* (приложение к первому тому, последнее примечание) отмечает, что, хотя Виллани популярны по тону, хроника Малеспини носит феодальный характер. Adolfo Bartoli (*Storia della Lett. It. vol. iii. p. 155*) рассматривает этот вопрос как все еще открытый. Обычай сохранять краткие *fasti* в архивах великих домов сделал такие компиляции, как "Хроника Малеспини", которые теперь считаются легкими и привлекательными. Христианского имени *Рикордано*, данного первому летописцу Малеспини, не существует. Было высказано предположение, что это из-за неправильного прочтения начального предложения, *Рикордано и Малеспини*.

[2] Муратори, том xii. стр. 529.

[3] Арка. *История*. том iii. стр. 552. И Мональдески, и Буригоццо, по-видимому, упоминают о своей собственной смерти. Вероятно, что их летописи в том виде, в каком они у нас есть, свободно использовались переписчиками или продолжателями, принявшими историческое "Я" после смерти титульных авторов.

Джованни Виллани рассказывает, как, посетив Рим по случаю Юбилея, когда 200 000 паломников заполнили улицы Вечного города, он был до глубины души тронут зрелищем руин свергнутой владычицы мира.[1] "Когда я увидел великие памятники Рима и прочитал истории и подвиги римлян, написанные Вергилием, Саллюстием, Луканом, Ливием, Валерием, Орозием и другими мастерами истории, которые рассказывали как о малых, так и о великих событиях из деяний римлян, я взял стиль и манера держаться у них, хотя, как ученик, я не был достоин столь обширной работы". Подобно нашему собственному Гиббону, размышляющему на ступенях Ара Чели, в пределах видимости Капитолия и в пределах слышимости молящихся монахов, он почувствовал, как *genius loci* взбудоражил его смесью удивления и пафоса. Затем, "размышляя о том, что наш город Флоренция, дочь и творение Рима, был на подъеме к великим достижениям, в то время как Рим был в упадке, я подумал, что будет уместно рассказать в этой новой Хронике обо всех деяниях и происхождении города Флоренции, насколько я смог собрать и обнаружить их, и вкратце продолжить деяния флорентийцев и другие примечательные события мира, пока это будет угодно Богу, надеясь на которого по Его милости я выполнил работу, а не из-за моих скудных знаний; и поэтому в 1300 году, вернувшись из Рима, я начал

составлять эту книгу в знак уважения к Богу и святому Иоанну и во славу нашего города Флоренции.' В этих отрывках прослеживается ключевая нота. Восхищение прошлым смешивается с предвидением будущего. Художник и патриот просыпаются вместе в Виллани при виде Рима и мысли о Флоренции.

[1] Библиотека. viii. cap. 36.

Результатом этого визита в Рим в 1300 году стала Хроника, которую Джованни Виллани вел в двенадцати книгах вплоть до 1346 года. В 1348 году он умер от чумы, и его работа была продолжена по тому же плану его братом Маттео. Маттео, в свою очередь, умер от чумы в 1362 году и оставил Хронику своему сыну Филиппо, который довел ее до 1365 года. Из трех Виллани Джованни - величайший и как мастер стиля, и как исторический художник. Маттео ценен за общие размышления, которые составляют отрывки из одиннадцати книг, носящих его имя. Филиппо был скорее ритором. Он известен как публичный лектор по "Божественной комедии" и как автор нескольких интересных, но скудных жизнеописаний выдающихся флорентийцев, своих предшественников или современников.

Хроника Виллани - это сокровищница четких очертаний, а не глубокого анализа. Он не только охватывает все события в Европе в анналах, которые оставляют желать лучшего в точности деталей и краткости изложения; но, что более важно для нашей настоящей цели, он передает живую картину внутреннего состояния флорентийцев и статистику города в четырнадцатом веке. Мы узнаем, например, что обычные доходы Флоренции составляли около 300 000 золотых флоринов,[1] взимались в основном в виде налогов — 90 200 исходя из октрои, 58 300 от розничной торговли вином, 14 450 от пошлин на соль и так далее посредством различных сборов, каждое из которых тщательно подсчитывается. Затем нам сообщают об обычных расходах Коммуны — 15 240 лир на подесту и его учреждение, 5880 лир на народного предводителя и его свиту, 3600 лир на содержание синьории во Дворце и так далее, вплоть до суммы в 2400 лир на корм львам, на свечи, факелы и костры. Суммы, публично расходуемые на раздачу милостыни; жалование послам и губернаторам; расходы на содержание государственного арсенала; оплата ночной стражи; деньги, потраченные на ежегодные игры, когда проводился палио; жалование городским трубачам; и так далее, все точно подсчитано. Фактически составлен обычный бюджет коммуны. Уровень чрезвычайных расходов во время войны оценивается по шкале сумм, проголосованных флорентийцами за продолжение войны с Марино делла Скала в 1338 году. В то время они ежемесячно вносили Венеции 25 000 флоринов, содержали полноценные гарнизоны в крепостях республики, а также оплачивали более 1000 вооруженных людей. Чтобы можно было получить правильное представление об этих балансах, Виллани тщательно описывает стоимость флорина и лиры, а также количество флоринов, чеканимых ежегодно. Описывая состояние Флоренции в этот период, он подсчитывает, что число горожан, способных носить оружие, в возрасте от пятнадцати до семидесяти лет составляет 25 000; население города составляет 90 000 человек, не считая монашеских общин и не считая чужеземцев, которых, по оценкам, около 15 000. Сельские районы, принадлежащие Флоренции, добавляют к этому расчету 80 000 человек. Далее отмечается, что превышение числа рождений мужского пола над женским ежегодно составляло во Флоренции от 300 до 500 человек, что от 8000 до 10 000 мальчиков и девочек учились читать; что было шесть школ, в которых от 10 000 до 12 000 детей изучали арифметику; и четыре средние школы, в которых от 550 до 600 человек изучали грамматику и логику. Далее следует список религиозных домов и церквей: среди благотворительных учреждений числятся

30 больниц, способных принять более 1000 больных. Здесь также можно упомянуть, что Виллани считает, что во Флоренции насчитывается 17 000 нищих, не считая 4000 нищих, больных и нищенствующих монахов.^[2] Не все эти нищенствующие были флорентийцами, но получали помощь от городских благотворительных организаций. Крупных шерстяных фабрик насчитывается более двухсот; и подсчитано, что ежегодно выпускалось от шестидесяти до восьмидесяти тысяч кусков ткани общей стоимостью около 1 200 000 флоринов. За счет этой отрасли жило более 30 000 человек. В *калимале* насчитывалось около двадцати фабрик, на которых из иностранной ткани изготавливались изысканные материалы. Ежегодно они импортировали около 10 000 единиц ткани на сумму 300 000 флоринов. По оценкам, обменных пунктов насчитывается около восьмидесяти. Состояния, нажитые во Флоренции торговлей и банковским делом, были колоссальными по тем временам. Виллани рассказывает нам, что великие дома Барди и Перуцци одолжили нашему королю Эдуарду III более 1 365 000 золотых флоринов.^[3] "И обратите внимание, - продолжает он, - что эти деньги были в основном собственностью лиц, которые передали их им на хранение". Этот долг должен был быть взыскан за счет доходов от шерсти и других доходов англичан; фактически, Барди и Перуцци вели переговоры о национальном займе, с помощью которого они надеялись получить превосходный процент со своего капитала. Спекуляция, однако, оказалась неудачной, и оба дома потерпели бы крах, если бы не их огромные владения в Тоскане. Мы слышим, например, о том, что барди купили деревни Верния и Мангона в 1337 году.^[4] Как бы то ни было, их кредит подвергся шоку, от которого он так и не оправился полностью; и немного позже, в 1342 году, после разорительных войн с семьей Ла Скала и Пизой, и после потери Лукки, они, наконец, прекратили выплаты и объявили себя банкротами.^[5] Шок, вызванный этим провалом для всей торговли христианского мира, хорошо описан Виллани.^[6] Огромное богатство, накопленное флорентийскими гражданами в торговле, можно представить себе еще лучше, если вспомнить, что Медичи в период с 1434 по 1471 год потратили около 663 755 золотых флоринов на раздачу милостыни и общественные работы, из которых 400 000 были предоставлены одним Козимо. Но вернемся к Виллани; не довольствуясь статистикой, которую я уже привел, он продолжает подсчитывать, сколько бушелей пшеницы, бочек вина и голов крупного рогатого скота было потреблено во Флоренции за год и неделю.^[7] Нам даже сказали, что в июле 1280 года 40 000 партий дынь въехали в ворота Сан-Фриано и были проданы в городе. Нельзя пренебрегать и манерами и костюмом флорентийцев: строгая и пристойная одежда горожан в старые добрые времена (около 1260 г.) контрастирует с новомодной модой, введенной французами в 1342 году.^[8] В дополнение ко всей этой разнообразной информации можно упомянуть то, что мы узнали от Маттео Виллани относительно основания Монте или Государственных фондов Флоренции в 1345 году,^[9] а также замечательные эссе об экономических и других последствиях чумы 1348 года, которое является прелюдией к продолжению Хроники его брата.^[10]

^[1] xi. 62.

^[2] x. 162.

^[3] xi. 88.

^[4] xi. 74. По этому случаю был принят закон, запрещающий гражданам становиться правителями округов на территории Флоренции.

[5] xi. 38.

[6] xi. 88.

[7] xi, 94.

[8] vi. 69; xii. 4.

[9] iii. 106.

[10] i. 1-8.

В своем обзоре последствий Черной смерти Маттео замечает не только сокращение населения, но и изменение общественной морали, перемещение собственности, рост цен, сокращение рабочей силы и увеличение числа судебных исков, которые были прямыми или косвенными последствиями ужасающей смертности. Среди подробностей, которые он сообщил по этим темам, заслуживают упоминания огромные суммы, переданные общественным благотворительным организациям Флоренции — 350 000 флоринов Обществу Орсаммикеле, 25 000 - *Compagnia della Misericordia* и 25 000 - больнице Санта-Мария-Нуова. Беднейшее население было почти полностью уничтожено чумой, так что эти средства по большей части были растрачены впустую, не по назначению и наживались недобросовестными администраторами.^[1] Основание Флорентийского университета также упоминается как одно из экстраординарных последствий этого бедствия.

[1] Маттео Виллани явно исключает больницу Святой Марии Нуовы, управление которой, похоже, было хорошим.

Вся работа Виллани остается уникальным в средневековой литературе памятником статистического терпения и экономической прозорливости, доказывающим, насколько далеко итальянцы в тот период опережали другие европейские нации.^[1] Цель Данте совершенно иная. Из его прозаических произведений мы мало что узнаем о статистике и исторических деталях. Его мышление было мышлением философа, который обобщает, и поэта, который улавливает характерные черты, а не летописца, стремящегося к скрупулезной точности в изложении фактов. Мне не нужно делать большего, чем упомянуть здесь сжатые и яркие портреты, которые он набросал в "Божественной комедии", всех главных городов Италии; но в его трактате "О монархии" мы имеем первую попытку политической спекуляции, первое эссе по конституционной философии, которое породила литература современной Европы; в то время как его письма, адресованные князьям Италии, кардиналам, императору и Флорентийской республике, точно так же являются первыми примерами политических памфлетов, излагающих рационализированную и последовательную систему прав и обязанностей наций. В "О монархии" Данте основывает теорию всеобщего правления на определенной концепции природы и судеб человечества. Среди анархии и раздоров Италии, где повсюду преобладал эгоизм, и где фракции папства и Империи были всего лишь прикрытием для партийной борьбы, Данте пытается вернуть своих соотечественников к возвышенному идеалу единой монархии, истинной *империи*, отличной от священнической власти Церкви, но не враждебной ей, — более того, скорее ищет одобрения у Наместника Христа на земле и предоставляет защиту Святому Престолу, как получающему свое собственное право из того же Божественного источника. Политическая наука в этом эссе рассматривается как самостоятельная отрасль философии, и положения, которые пытается установить Данте, подкрепляются аргументами,

подразумевающими много исторических знаний, хотя и причудливо схоластических в их применении. Послания содержат те же мысли: мир, взаимное уважение и повиновение общему руководителю, долг начальника по отношению к своим подчиненным и управляемых по отношению к своему господину призываются с не меньшей силой, но в более знакомом стиле и с прямым намеком на события, послужившие поводом для написания каждого письма. На самом деле это политические брошюры, адресованные мыслителем из своего уединения главным действующим лицам исторической драмы вокруг него. Здесь также было бы правильным не упомянуть об эссе "О вульгарном красноречии", которое, учитывая дату его появления, является не менее оригинальным и свидетельствует о новом духе в мире, чем трактат "О монархии". Это попытка написать историю итальянского языка как члена романских языков, обсудить качества нескольких его диалектов и доказать преимущества, которые можно получить от формирования общего литературного языка для Италии. Хотя Данте, конечно, был лишен того, что мы сейчас называем сравнительной филологией, и имел лишь небольшие знания о зачатках языков, которые он обсуждает, все же будет не более чем правдой сказать, что в этом эссе впервые применяется настоящий метод критического анализа к предмету и является первой попыткой научно обосновать происхождение и природу современного языка.

[1] Мы должны помнить, что наши собственные летописцы, Холинshed и Стоу, были на два столетия позже виллани.

Обсуждая исторические труды Данте и Виллани, невозможно, чтобы нам не вспомнился другой знаменитый флорентинец, чье имя долгое время было связано с гражданскими распрями, приведшими к изгнанию величайшего поэта Италии из его родного города. И все же иностранному критику нелегко разобраться с вопросом о "Хронике" Дино Компаньи — вопросом, который годами разделял итальянских студентов на два лагеря, который создал собственную обширную литературу и который до сих пор остается нерешенным.

Рассматриваемый вопрос ни в коем случае не является незначительным. В то время как одна сторона утверждает, что в этой Хронике содержится правдивое свидетельство очевидца, другая утверждает, что это наглая выдумка более позднего столетия, составленная на основе намеков Данте и малоизвестных документов семьи Компаньи и выраженная языком, в котором мало что есть от четырнадцатого века. Первый рассматривает это как достоверное повествование, которому недостает точности лишь в незначительных деталях. Другой клеймит его как совершенно ненадежную подделку и обращает внимание на бесчисленные ошибки, путаницу, неправильные представления и искаженное представление событий, которые ставят его подлинность за грань возможного. Послестаточного рассмотрения аргументов Схеффера, Фанфани, Джино Каппони и Исидоро дель Лунго мне кажется ясно установленным, что "Хроника Дино Компаньи" больше не может рассматриваться как абсолютно подлинный документ литературы четырнадцатого века. В том виде, в каком мы сейчас им располагаем, мы скорее обязаны рассматривать его как *рифацимента* некой подлинной истории, составленной в течение пятнадцатого века в прозе, носящей следы постбоккаччианского стиля сочинения.[1] Однако авторитет Дино Компаньи долгое время был таков, и литературная ценность монографии, носящей его имя, по-прежнему такова, что было бы дерзостью бесцеремонно отвергать "Хронику" как простой вымысел. Поэтому я предлагаю сначала дать отчет о книге с точки зрения ее заявленных достоинств, а затем обсудить, насколько смогу кратко, вопрос о ее подлинности.

[1] Первым критиком, поставившим под сомнение подлинность Compagni, был Пьетро Фанфани в статье *Il Pievano Arlotto*, 1858. Вскоре после этой даты этим делом занялся более компетентный немецкий авторитет П. Шеффер-Бойхорст. The works which I have studied on this subject are, 1. *Florentiner Studien*, von P. Scheffer-Boichorst, Leipzig, Hirzel, 1874. 2. *Dino Compagni vendicato dalla Calunnia di Scrittore della Cronica*, di Pietro Fanfani, Milano, Carrara, 1875. 3. *Die Chronik des Dino Compagni, Versuch einer Rettung*, von Dr. Carl Hegel, Leipzig, Hirzel, 1875. 4. *Die Chronik des Dino Compagni, Kritik der Hegelschen Schrift*, von P. Scheffer-Boichorst, Leipzig, Hirzel, 1875. 5. The note appended to Gino Capponi's *Storia della Repubblica di Firenze*. 6. *Dino Compagni e la sua Chronica*, per Isidoro del Lungo, Firenze, Le Mornier. К несчастью, последний названный труд, хотя он уже состоит из двух объемистых томов в большом 8-м томе, еще не завершен; и часть, в которой будет рассматриваться вопрос об авторстве и МИСС авторитет, еще не появилась.

1300 год, который Данте выбрал в качестве даты своего нисхождения с Вергилием в нижний мир и который положил начало "Хронике" Виллани, также упоминается Дино Компаньи в первом предложении предисловия к его работе. "Воспоминания о древних историях, - говорит он, - долгое время побуждали мой разум описывать опасные и злополучные события, от которых благородный город, дочь Рима, страдал много лет, и особенно во время юбилея в 1300 году". Дино Компаньи, чья "Хроника" охватывает период между 1280 и 1312 годами, принял сторону народа в борьбе 1282 года, был приором в 1289 и 1301 годах, а в 1293 году был избран гонфалоньером правосудия. Таким образом, он был выдающимся действующим лицом драмы тех смутных времен. Он умер в 1324 году, через два года и четыре месяца после смерти Данте, и был похоронен в церкви Санта-Тринита. Он был человеком того же склада, что и Данте; [1] горел любовью к своей стране, но еще больше любил правду; суров в суждениях, но вне подозрений в простой пристрастности; краток в высказываниях, но весом личным опытом, глубокой убежденностью, пророческой интенсивностью чувств, искренностью и справедливостью. Как историк, он сузил свои труды до области создания одной небольшой, но в высшей степени законченной картины. Он взялся рассказать о гражданских распрях своего времени и показать, как Флорентийское содружество было разрушено эгоизмом ее собственных граждан; и его "Хронику", хотя она ни в коем случае не является шедевром исторической точности или ясного изложения, невозможно превзойти по живости очертаний, графической ясности характеров, серьезности патриотического духа и острому анализу, который обнажает политическую ситуацию республики, раздираемой фракциями, в достопамятный период, охвативший революцию Джано делла Белла и борьбу за независимость Флоренции. о семействах Нери и Бьянки. Сравнение Дино Компаньи с любым современным итальянским летописцем показывает, что и здесь, на этих страницах, зародился новый дух. Муратори, гордившийся тем, что впервые напечатал их в 1726 году, поставил в один ряд с "Комментариями Цезаря"; Джордани приветствовал их автора как второго Саллюстия. Политическая проницательность и научная проницательность, которыми в столь высокой степени обладали флорентийцы, проявляются в полной зрелости. "Хроника" Компаньи возглавляет длинный список подобных монографий, уникальных в литературе отдельно взятого города. [2]

[1] Обращения к гражданам Флоренции в целом и проклятия некоторым из худших преступников среди партийных лидеров (особенно в книге ii. по случаю бедствий 1301 года) задуманы и произнесены в стиле Данте.

[2] Среди них я могу упомянуть "Историю восстания Чомпи" Джино Каппони, мемуары Джованни Кавальканти о периоде между 1420 и 1452 годами, рассказ Лео Баттисты Альберти о покушении

Поркари на жизнь Николая V., "Биографии" Веспасиано и "Эссе о заговоре Пацци" Полициано. Джинно Каппони, родившийся около 1350 года, был приором в 1396 году и гонфалоньером юстиции в 1401 и 1418 годах; он умер в 1421 году. Джованни Кавальканти был ревностным поклонником Козимо Медичи; он сочинил свою "Хронику" в тюрьме Стинче, куда был несправедливо заключен за долги коммуне Флоренции. Веспасиано да Бистиччи внес свой вклад в литературу Италии серией ценнейших портретов: все великие люди его времени изображены здесь с простотой, которая является признаком абсолютной искренности, Полициано присутствовал при убийстве Джулиано Медичи во Флорентийском кафедральном соборе. Далее мы вместе рассмотрим историков шестнадцатого века.

Аргументы против подлинности "Хроники" Дино Компаньи можно разделить на три группы. *Первое* касается самого человека. Утверждается, что, за исключением его должностей приора и гонфалоньера, у нас нет никаких свидетельств его политической деятельности, кроме того, что представлено спорной "Хроникой". Согласно его собственному рассказу, Дино сыграл первостепенную роль в сложных событиях 1280-1312 годов. Однако о нем не упоминают ни Джованни Виллани, ни Филиппо Валлани, ни Данте. Нет никаких записей о его смерти, за исключением рукописной записи в Мальябекском кодексе его "Хроники", датированной 1514 годом.^[1] он известен в литературе как автор нескольких текстов и речи Папы Иоанна XXII., стиль, который так грубо и средних веков, а сделать это невероятно, что тот же автор должен иметь в составе виртуозного пункты "Хроника одного лета". ^[2] В *второй* группе аргументов влияет на существо "Хроника одного лета" себя. Хотя Дино был настоятелем, когда Карл Валуа въехал во Флоренцию, он записывает это событие под датой воскресенья четвертого ноября, тогда как Карл прибыл первого ноября, а первое воскресенье месяца было пятым. Он отличается от совпадающих свидетельств других историков тем, что называет невесту Буондельмонте деи Буондельмонти Джантруффетти вместо Амидеи, а епископа Ареццо Пацци вместо Убертини. Он считает, что арти было двадцать четыре, тогда как их было двадцать один. Он помещает коронацию Генриха VII. в августе, а не в июне 1312 года. Он, по-видимому, имеет в виду дворец синьории, который не мог быть построен в ту дату, о которой идет речь. Он утверждает, что член семьи Бенивьяни был убит одним из галлигаев, тогда как в жилах убийцы текла кровь галли. Он представляет себя как первого гонфалоньера Правосудия, разрушившего дома мятежной знати, в то время как Бальдо де Руффоли, занимавший этот пост до него, ранее исполнял Указы. Говоря о Гвидо Кавальканти примерно в 1300 году, он называет его "uno giovane gentile"; и все же Гвидо женился на дочери Фаринаты дельи Уберти в 1266 году и, конечно, прожил в 1300 году не более нескольких месяцев. Мир с Пизой, который был заключен во время пребывания Компаньи на посту гонфалоньера, не упоминается, хотя это, должно быть, было одно из самых важных общественных событий, в которых он был заинтересован. Хронология безнадежно и неразборчиво запутана; в то время как описанные неточности и трудности изобилуют на каждой странице "Хроники", что представляет немалую трудность для ее последнего комментатора и защитника. *Третья* группа аргументов направлена против языка "Хроники" и ее авторитета. Фанфани, который в своей деструктивной критике проявил больше рвения, чем вежливости, взялся доказать, что стиль Дино в целом не отличается "чистотой, простотой и уместностью" треченто^[3]; что он изобилует выражениями более позднего периода, такими как *армата* для *oste*, *marciare* для *andare*, *accidò* для *acciocchè*, *onde* для *аффинче*; что в нем прослеживаются многочисленные подражания Данте; и что для проницательного исследователя ранней итальянской прозы его ошутимое *кватрочентисмо* лишь слегка завуалировано стойким налетом архаизма четырнадцатого века. Этот аргумент, основанный на

стиле, кажется самым сильным, который можно привести против подлинности "Хроники"; ибо, хотя возможно, что Дино допустил бесчисленные ошибки в отношении событий, в которых он принимал участие, невероятно, чтобы он мог предвидеть рост итальянского языка по крайней мере на столетие. И все же судьи, не менее компетентные в этом вопросе стиля, чем Фанфани, и гораздо более заслуживающие доверия как свидетели, Винченцо Наннуччи, Джино Каппони, Исидоро дель Лунго, придерживаются мнения, что "Хроника" Дино является шедевром итальянской прозы четырнадцатого века; и пока итальянские эксперты не придут к единому мнению, зарубежные критики должны воздержаться от своих суждений. Анализ стиля получает иное развитие у Шеффера-Бойхорста. В своем последнем эссе он пытается показать, что многие отрывки из "Хроники", особенно важный, который относится к *Ординаменти Джустичии*, были заимствованы у Виллани.[4] С этим критически важным оружием трудно обращаться, поскольку оно почти всегда режет в обе стороны. Тем не менее, немецкий историк привел, несомненно, веские доводы, доказав, что язык Виллани ближе к оригинальному *Ordinamenti*, чем язык Компаньи. Что касается г-жи авторитет, все кодексы "Хроники" Дино, дошедшие до наших дней в Италии, взяты из рукописи, переписанной Нофери Бузини и подаренной им Джованни Маццуоли по прозвищу Ло Страдино, который был членом Флорентийской академии и жадным коллекционером древностей. На этой рукописи стоит дата 1514 года. Недавнее происхождение этого основного кодекса и сомнительный характер Ло Страдино вызвали не безосновательные подозрения. Фанфани решительно заявил, что "Хроника", должно быть, была сфабрикована как мистификация некритичного антиквара, поскольку она внезапно появилась без родословной в тот момент, когда подобные подделки не были редкостью. Шеффер-Бойхорст в своем последнем памфлете придерживается мнения, что фальсификатором был либо сам Ло Страдино, которого его флорентийские приятели прозвали *Кронака Скорретта*, либо кто-то из его современников.[5] Итальянский автор "Хроники", Джусто Грион из Вероны, заявил, что Антонфранческо Дони является фабрикантом.[6] Однако эти гипотезы, мягко говоря, неудачны для тех, кто их выдвигает, и на самом деле служат скорее ослаблению, чем усилению деструктивной линии аргументации. Существует древний кодекс, о котором Фанфани и его последователи не знали. Это рукопись, датируемая, возможно, серединой пятнадцатого века, которая была приобретена для библиотеки Эшбернхэма в 1846 году. Эта рукопись была подробно описана профессором Полом Мейером; Исидоро дель Лунго публикует копию одной из ее страниц.[7] По какой-то необъяснимой небрежности этот последний и самый решительный защитник Компаньи не смог изучить рукопись собственными глазами.

[1] Это Кодекс Исидоро дель Лунго А. Примечание встречается также в рукописи Эшбернхэма, которую Дель Лунго относит к пятнадцатому веку.

[2] По этому поводу стоит упомянуть, что некоторые хорошие критики относят стихи к старейшине Дино Компаньи, который восседал как Древний в 1251 году. Смотрите обсуждение этого вопроса, а также авторства *Intelligenza*, на которое претендует Исидоро дель Лунго как автор "Хроники", в Эссе Боргоньини (*Scritti Vari*, Болонья, Романьоли, 1877, том i). Что касается речи папе Иоанну XXII, датированной 1326 годом, следует отметить, что это выступление было впервые напечатано Антоном Франческо Дони в 1547 году, и что его подлинность может быть оспорена. См. Карл Гегель, указ. соч., стр. 18-22.

[3] Наиболее важные из многочисленных эссе Фанфани о полемике вокруг Компаньи вместе с незначительными заметками его сторонников собраны в цитируемой выше книге, Примечание к стр. 241. Фанфани переходит все границы приличия в языке, который он использует, и в своих

высокомерных заявлениях о том, что его считают уникальным знатоком стиля четырнадцатого века. Эти утверждения он в некоторой степени основывает на том факте, что он обманул Делла Круска подделкой собственного изготовления, которая на самом деле была принята за *Исторический архив*. См. цит. по., стр. 181.

[4] *Хроника* и др., стр. 53-57.

[5] *Хроника* и др., стр. 39.

[6] См. указ. соч. Гегеля, стр. 6.

[7] См. Del Lungo, op. cit. том ii. стр. 19-23 и фактическое сравнение с первой частью стр. 1. Эта рукопись была куплена Дж. Либри у семьи Пуччи в 1840 году и продана лорду Эшбернхэму. Дель Лунго отождествляет его с рукописью, о которой Браччо Компаньи в семнадцатом веке говорил как о "копии пьесы антика, аппрессо синьора сенатора Пандольфини".

Таким образом, возникает вопрос о "Хронике" Дино Компаньи. Защитники ее подлинности, вынужденные признать вопиющие неточности Компаньи, прибегают к аргументам, вытекающим из внутреннего настроения автора, из трудностей согласования личного повествовательного инстинкта с духом четырнадцатого века, из гипотез об ошибках переписчика или отщательном литературном процессе переписывания позже, из отсутствия каких-либо положительных доказательств подделки и из общих соображений, влияющих на обоснованность деструктивной критики. В ходе полемики было четко доказано одно: книга может иметь лишь небольшую историческую ценность, если ее не подтвердить. Тем не менее, существует большой разрыв между неточностью и преднамеренной фальсификацией. До тех пор, пока лучшие знатоки итальянского стиля не согласятся с тем, что "Хроника" не могла быть написана во втором десятилетии четырнадцатого века, аргументы, приводимые на основе изучения зафиксированных в ней фактов, недостаточно убедительны, чтобы доказать подделку. Существует еще один вопрос о *куи боно?* который во всех проблемах литературного подлога должен сначала получить какое-то вероятное решение. Какие есть доказательства того, что тщеславие или алчность каких-либо сторон были удовлетворены его производством? Книга существует в рукописи около 1450 года, получила некоторое уведомление в рукописи 1514 года, но не была опубликована в мире до 1726 года. Предположим, что это была подделка, труд по ее изготовлению должен был быть огромным. При всех своих недостатках "Хроника" все равно осталась бы шедевром исторического исследования, воображения, сочувствия ушедшим чувствам, драматической энергии и владения языком антиквара. Но кто извлек выгоду из этого труда? Не автор подделки, поскольку он был мертв или похоронен более чем за два столетия до того, как его выдумка стала известной. Не семья Компаньи; ибо нет никаких свидетельств того, что они гордились тем, что были хранителями шедевра своих предков, и они не предпринимали никаких усилий в период, когда печатный станок был очень активен, чтобы предоставить эту жемчужину своих архивов общественности. Если кто-то возразит, что, исходя из гипотезы о подлинности, рукопись "Хроники" должна была быть обнародована до начала шестнадцатого века, мы можем привести два правдоподобных ответа. Во-первых, Дино был сторонником побежденного дела, и его семья ничего не выиграла, опубликовав язвительный политический памфлет во время триумфа его противников. Во-вторых, рукописи, имевшие еще большее литературное значение, исчезли в течение четырнадцатого века, чтобы быть воспроизведенными, когда их сюжеты снова возбуждают интерес в литературном мире. Показательным примером является история трактата Данте "*О вульгарном красноречии*". Что

касается стиля, то ни один иностранец не может претендовать на звание компетентного судьи. Читая знаменитое описание Флоренции в начале "Хроники" Дино, я, кажется, действительно, со своей стороны, замечаю постбюккаччианскую искусственность фразы. Тем не менее, ничто не делает невозможным, что "Хроника" в том виде, в каком мы ею располагаем, в текстах 1450 (?) и 1514 годов, может быть *фрагментом* более древнего и простого произведения. В том разделе моей истории, который посвящен итальянской литературе пятнадцатого века, у меня будет возможность показать, что подобная переработка древних текстов в соответствии с модой того времени была отнюдь не редкостью. Любопытные расхождения между *"Трактато делла Фэмилья"*, написанным Альберти, и приписываемым *Пандольфини*, могут быть объяснены только на основе гипотезы о таком *рифацименте*. Если исторические неточности, которыми изобилует "Хроника", привести в качестве убедительного доказательства ее фальсификации, то можно ответить, что автор столь виртуозного романа, естественно, стремился сохранить строгое соответствие документам, имеющим общепризнанную достоверность. Следовательно, сами эти грубые ошибки могут быть небезосновательно использованы для опровержения гипотезы о преднамеренном подлоге. Примечательно в этой связи, что Хронист упоминает Данте лишь в одном скудном упоминании, который, будь он литературным фальсификатором, вряд ли умолчал бы об этой теме. Поэтому, не рискуя высказывать однозначное мнение по вопросу, который по-прежнему вызывает разногласия среди самых компетентных итальянских судей, я не вижу причин отчаиваться в том, что проблема в конечном итоге будет решена менее неблагоприятным для Дино Компаньи способом, чем одобрили бы Шеффер-Бойхорст и Фанфани. Рассматриваемая как *подделка* более древнего документа XV века, "Хроника" утратила бы свой исторический авторитет, но по-прежнему оставалась бы интересным памятником флорентийской литературы и, конечно, не заслуживала бы безоговорочных названий "подделкой" и "фабрикацией", которыми ее без колебаний осыпали.[1]

[1] Следует надеяться, что завершение работы Дель Лунго может положить конец разногласиям с Компаньи либо путем убедительного подтверждения "Хроники", либо настолько слабой защитой, что дальнейшее пристрастие станет невозможным. Насколько его книга до сих пор появилась, в ней нет признаков окончательного триумфа. Самое важное, что в ней содержится, - это открытие рукописи Эшбернхэма. Если Дель Лунго не сможет доказать свою позицию, нам придется выбирать между абсолютным скептицизмом Схеффер-Бойхорста или измененной точкой зрения, принятой мной в тексте.

Двумя главными флорентийскими историками пятнадцатого века являются Лионардо Бруни из Аретцо и Поджо Браччолини, каждый из которых в качестве канцлера республики взялся написать летопись народа Флоренции с древнейших времен до своего времени. Лионардо Аретино относил запись к 1404 году, а Поджо Браччиолини - к 1455 году. Их истории составлены на латыни и во многом отражают педантичный дух эпохи, в которой они создавались.[1] Оба они заслуживают критики Макиавелли за то, что они заполнили свои страницы исключительно войнами и иностранными делами, в которых участвовала Флоренция, не понимая, что истинная цель историка - описать жизнь государства как единого целого, нарисовать портрет государства с должным учетом его особенностей.[2] К этой критике мы можем добавить, что и Лионардо, и Поджо были введены в заблуждение ложным вкусом раннего Возрождения. Их восхищение Ливием и педантичные приличия натруженного латинизма заставляли их уделять больше внимания риторике, чем существу своей работы.[3] Мы встречаемся с холодными имитациями и напыщенными обобщениями, где были бы приемлемы лаконичные детали и графические штрихи. Короче говоря, эти работы скорее являются исследованиями стиля в эпоху, когда

величайшие стилисты были всего лишь неудачниками и новичками, чем ценными историями. Итальянцы пятнадцатого века, стремившиеся соперничать с Цицероном и Ливием, преуспели лишь в том, что стали безжизненными тенями прошлого. История, написанная под вдохновением педантичной учености и с целью воспроизведения устаревшего стиля литераторами, которые не играли заметной роли в Содружестве,^[4] не могу претендовать на энергию и свежесть, которыми мы так восхищаемся в трудах таких людей, как Виллани, Джинно Каппони, Джованни Кавальканти и многих других. Тем не менее, даже сделав эти выводы, можно с уверенностью утверждать, что ни один город Италии в этот период Возрождения, за исключением Флоренции, не мог похвастаться столь компетентными историографами. Веспасиано в конце своей биографии Поджо оценивает их труд в предложениях, которые заслуживают того, чтобы их запомнили: "Среди других особых обязательств, которыми город Флоренция обязан мессеру Лионардо и Мессеру Поджо, есть то, что, за исключением Римского Содружества, ни одна республика или свободное государство в Италии не отличалась так сильно, как город Флоренция, поскольку у нее было два таких выдающихся писателя, описывающих ее деяния, как Мессер Лионардо и Мессер Поджо; ибо до времени написания их историй все было в величайшей неизвестности. Если бы Венецианская республика, которая может показать так много мудрых граждан, зафиксировала в письменном виде деяния, совершенные ими на море и суше, она была бы гораздо более прославленной, чем сейчас. И Галеаццо Мария, и Филиппо Мария, и все Висконти — их поступки тоже были бы более известны, чем они есть на самом деле. Нет такой республики, которая не должна была бы всячески награждать писателей, прославляющих ее деяния. Во Флоренции мы видим, что от основания города до дней мессера Лионардо и мессера Поджо не было никаких записей о том, что флорентийцы сделали на латыни или посвятили истории самим себе. Мессер Поджо следует примеру Мессера Лионардо и пишет, как и он, на латыни. Джованни Виллани тоже написал "всеобщую историю" на вульгарном языке всего, что происходило в каждом месте, и описывает события Флоренции так, как они происходили. То же самое сделал мессер Филиппо Виллани, последовавший за Джованни Виллани. Только они отличили Флоренцию написанными ими историями".^[5] Гордость гражданина и справедливое понимание ценности истории вместе со здравыми замечаниями о Венеции и Милане странным образом сочетаются в этом отрывке с педантизмом ученого пятнадцатого века.

^[1] "Народная история Флорентини" Поджо приводится в двадцатом томе собрания Муратори. *История Фиорентины* Лионардо, переведенная на итальянский Донато Аччаджуоли, была опубликована издательством Le Monnier (Флоренция, 1861). Высокая похвала, которой Уго Фосколо награждал последнего, по-видимому, вызвана недостатком фамильярности.

^[2] Смотрите предисловие к *"Истории Флоренции"* Макиавелли.

^[3] Лионардо Бруни, например, жалуется в предисловии к своей истории на то, что грубые имена его персонажей невозможно приспособить к отточенному стилю.

^[4] И Поджо, и Лионардо начинали жизнь в качестве папских секретарей; последний стал гражданином Флоренции только в конце своей карьеры.

^[5] *Посмотрите на иллюстрации*. Барбера, 1859; с. 425.

Историки первой половины шестнадцатого века - особая раса. Три поколения педантичной эрудиции и придворных или схоластических пустяков отделили литераторов от людей действия

и превратили литературу в предмет любопытства. Три поколения замаскированного деспотизма Медичи разрушили реальность свободы во Флоренции и развратили ее граждан до глубины души. И все же, как ни странно, именно в конце пятнадцатого века возродился гений тринадцатого. Итальянская литература культивировалась ради нее самой под покровительством Лоренцо Медичи. 1494 год знаменует возрождение духа старой свободы под звуки труб оратории Савонаролы. Среди всеобщего разложения общественной морали, из глубин лени и рабства, когда реальность свободы была утрачена, когда судьба и везение объединились, чтобы сделать конституционное восстановление разрушенных итальянских республик невозможным, интеллект флорентийцев проявился с большей, чем прежде, силой в ряде самых блестящих политических писателей, которые когда-либо иллюстрировали один короткий, но насыщенный событиями период в жизни одной нации. Этот период отмечен 1494 и 1537 годами. Он охватывает две последние попытки флорентийцев сбросить иго Медичи, катастрофическую осаду, в конце которой они пали жертвой эгоизма своих собственных партийных лидеров, преследование Савонаролы папой Александром, церковное правление пап Льва и Климента, угасание старшей ветви Медичи в лице двух ее бастардов (Ипполито, отравленный своим братом Алессандро, и Алессандро, отравленный своим кузеном Лоренцино) и окончательное угасание свободы при назначенной Испанией династии Медичи. младшая линия Медичи у герцога Козимо. Имена историков этого периода - Никколо Макиавелли, Якопо Нарди, Франческо Гвиччардини, Филиппо Нерли, Донато Джаннотти, Бенедетто Варки, Бернардо Сеньи и Якопо Питти. [1] В этих людях вновь проявляются умственные качества, которыми мы восхищаемся в Виллани, Данте и Компаньи, объединенные, действительно, в разных пропорциях, смягченные новой философией и ученостью эпохи Возрождения и проникнутые совершенно иной моралью. За два столетия свобода была утрачена. Выживает только стремление к свободе. Но после апатии пятнадцатого века это все еще страсть. Прямота инстинкта и сильные убеждения прежней эпохи были заменены на научное ясновидение, "стойко-эпикурейское принятие" фактов порочной цивилизации, что у таких людей, как Гвиччардини и Макиавелли, абсолютно ужасающе. Почти у всех авторов этого периода двойное лицо. Одну серию мемуаров они пишут для публики, а другую - для собственного удовольствия. В глубине души они горят рвением к свободе, но при этом продают свои способности тому, кто больше заплатит, — папам, которых они презирают, и герцогам, которых они поносят в частном порядке. Что делает литературные труды этих историков вдвойне интересными, так это то, что они велись по большей части независимо друг от друга; ибо, хотя они жили в одно и то же время и в некоторых случаях вели дружеские беседы друг с другом, они выражали разные оттенки политических взглядов, и их истории оставались в рукописи еще некоторое время после их смерти. [2] Поэтому исследователь эпохи Возрождения имеет преимущество в сравнении и очной ставке с целой группой независимых свидетелей одних и тех же событий. Помимо их собственной преднамеренной критики драмы, в которой все сыграли какую-то роль как актеры или зрители, мы можем использовать не менее важные свидетельства, которые они дают бессознательно, в соответствии с пристрастием к частным или политическим интересам, которыми они по отдельности руководствуются.

[1] Даты этих историков следующие:—

	РОДИЛСЯ.	УМЕР.
Machiavelli	1469	1527
Nardi	1485	1556

Guicciardini	1492	1540
Nerli	1485	1536
Giannotti	1492	1572
Varchi	1502	1565
Segni	1504	1558
Pitti	1519	1589

[2] У Варчи, правда, были перед глазами *История Флоренции* Нарди и *История Италии* Гвиччардини, когда он составлял свою *Историю Флоренции*. Но Сеньи и Нерли впервые были представлены прессе в прошлом веке; Питти - в 1842 году, а "*История Флоренции*" Гвиччардини - в 1859 году.

История Фиорентины Варчи простирается с 1527 по 1538 год; история Сеньи с 1527 по 1555 год; история Нарди с 1494 по 1552 год; история Питти с 1494 по 1529 год; история Нерли с 1494 по 1537 год; история Гвиччардини с 1420 по 1509 год. Вводные главы, которые в большинстве случаев знакомят с особым предметом каждой истории, содержат серию ретроспективных обзоров всей истории Флоренции, чрезвычайно ценных благодаря содержащейся в них подробной информации, а также критическим суждениям людей, проницательность которых была до предела обострена их практическим участием в политике. Возможно, не будет лишним указать на различные роли, сыгранные этими историками в событиях их собственного времени. Хорошо известно, что Гвиччардини управлял Болоньей и Романьей при папах-Медичи. Он также сыграл важную роль в том, что герцог Козимо стал главой республики в 1536 году. В Неаполе в 1535 году он защищал интересы герцога Алессандро против изгнанников перед Карлом V. Нарди в этом случае выступил секретарем и защитником Филиппо Строцци и изгнанников; его собственная история была составлена в изгнании в Венеции, где он и умер. Сеньи был племянником гонфалоньера Каппони и разделял тревоги умеренных либералов во время осады Флоренции. Питти был членом великого дома, который оспаривал руководство республикой у Медичи в пятнадцатом веке; его рвение к народной партии и ненависть к Паллески, возможно, до сих пор связаны с наследственной враждой. Джаннотти, в чьей критике флорентийской республики мы прослеживаем дух не менее демократичный, чем у Питти, также был участником событий осады, а впоследствии оказался среди изгнанников. В попытке кардинала Сальвиати (1537) примирить герцога Козимо и приверженцев Филиппо Строцци Джаннотти был выбран представителем последнего. Он писал и умер в изгнании в Венеции. Нерли снова принял участие в событиях тех смутных времен, но не на той стороне, связавшись с изгнанниками и действуя как шпион в их проектах. Все упомянутые мной авторы были гражданами Флоренции, и некоторые из них были членами ее самых знатных семей. Варчи, в котором ярче всего горит пламя флорентийского патриотизма и который, безусловно, является самым обширным летописцем того периода, был уроженцем Монтеварки. И все же, как это часто бывает, он был большим флорентийцем, чем флорентийцы; и событиям, которые он описывает, он по большей части был свидетелем. Герцог Козимо нанял его для написания этой истории; заслуга как принца, так и автора в том, что ее главы полны столь откровенной критики и столь неистового стремления к свободе. На самой первой странице своего предисловия Варчи осмеливается написать эти слова, касающиеся Флоренции: "дивенне, дико, ди стато пьютто, коррумпировано и лицензировано, тиранниде, че ди сан и модерата республики, принципато";[1], в котором он беспристрастно и справедливо обвиняет всех. Следует, однако, помнить, что в то время, когда

Варчи писал, младшая ветвь Медичи прочно утвердилась на троне Флоренции. Между этой ветвью и старшей линией всегда была холодность. Более того, все стороны согласились принять герцогство как божественно назначенный инструмент для спасения города от ее фракций и восстановления в нем спокойствия.^[2]

[1] "Это перешло, я говорю, от состояния коррумпированного и плохо управляемого содружества к тирании, а не от здоровой и уравновешенной республики к княжеству".

[2] См. *Свод. История.* том i. стр. xxxv.

В задачу этой главы не входило бы вдаваться в подробности истории Флоренции между 1527 и 1531 годами - годами ее последней борьбы за свободу, которые так превосходно описаны ее великими политическими летописцами. Скорее, моя цель - проиллюстрировать интеллектуальные качества философского анализа и острой наблюдательности, которыми отличались ее граждане. Тем не менее, необходим краткий обзор ситуации, чтобы прояснить различные точки зрения, которых придерживаются Сеньи, Нарди, Варчи, Питти и Нерли соответственно.

В рассматриваемый период Флоренция была, по всеобщему свидетельству этих авторов, слишком коррумпированной для реальной свободы и слишком беспокойной для спокойного принятия деспотизма. Иго Медичи разрушило чувство чести и гордости старых дворянских родов, в то время как политика, проводимая Лоренцо и папами, создала класс алчных профессиональных политиков. Город не довольствовался рабством; но бюргеры, отличавшиеся богатством или способностями, были эгоистичны, тщеславны и взаимно завидовали. Каждый человек искал выгоды для себя. Совместные действия казались невозможными. Партия Медичи, или Паллески, были либо крайними в своей преданности правящему дому и стремились установить тиранию; либо они были умеренными и стремились сохранить Медичи в качестве глав доминирующей олигархии. Точкойсоюза между этими двумя подразделениями партии было предубеждение в пользу классового господства, надежда получить власть и богатство для себя за счет возвышения княжеской семьи. Народная фракция, с другой стороны, согласилась с желанием поставить правительство города на широкую республиканскую основу. Но лидеры этой части граждан поддерживали плебейское дело по разным мотивам. Некоторые искали только путь к богатству и власти, который они никогда не смогли бы открыть для себя при олигархии, задуманной Паллески. Другие, именовавшиеся Фратески или Пьягнони, цеплялись за идеи свободы, которые ассоциировались с высокой моралью и страстным вероучением Савонаролы. Они действительно были становым хребтом нации, классом, который мог бы спасти государство, если бы спасение было возможно. Другая часть, увлеченная изучением древних авторов и проникнутая воспоминаниями о римском патриотизме, считала, что все еще возможно обеспечить свободу государства с помощью либеральных институтов. Этих людей мы можем назвать доктринерами. Их панацеей было установление смешанной формы правления, подобной той, которую так искусно проиллюстрировал Джаннотти. К этим партиям следует добавить красных республиканцев, или Арраббиати — название, первоначально предназначавшееся для худших приверженцев Медичи, но теперь применяемое к фанатикам якобинской внешности, — и либертинов, которые заботились только о такой форме правления, которая позволяла бы им потакать своим страстям.

Среди этого смешения интересов возникли, по сути, две политики в тот момент, когда положение Флоренции, которой угрожали папа и император по совместительству, и которую покинули Франция и остальная Италия, стало отчаянным. Одним из них был гонфалоньер Каппони, который выступал за умеренные советы и примирение с Климентом VII. Другим был гонфалоньер Кардуччи, который доводил дело до крайности и использовал энтузиазм Фратески для поддержания духа людей в осаде.^[1] Последняя политика восторжествовала над первой. Его принципами были непоколебимая вера во Франциска, хотя он явно оставался глух к Флоренции; доверие к генералам Бальони и Колонне, которые в глубине души были предателями дела, которое, по их словам, они защищали; и вера в пророчества Савонаролы, подкрепленные проповедями братьев Фояно, Бартоломмео и Заккарии. Какой бы необоснованной она ни была на самом деле, политика Кардуччи привлекла на свою сторону все, что осталось от благородства, патриотизма и свободолюбивого жара флорентийцев. Несмотря на безнадежность попытки, мы не можем сейчас без волнения читать о том, как храбро и отчаянно сражались эти последние поборники свободы, чтобы сохранить независимость своего города любой ценой, несмотря на подавляющее сопротивление. Память о Савонароле вдохновляла эту политику. Ферруччи был ее героем. Она провалилась. Напрасно флорентийцы опустошили Вальдарно, разрушили их прекрасные пригороды и сравнивали с землей их башни. Напрасно они растратили свои сокровища до последнего фартинга, безропотно переносили чуму и голод и по зову своей страны превратились в нацию солдат: Карл, Климент, Паллески и Малатеста Бальони — враги за городскими стенами и предатели за его воротами — были слишком сильны для сопротивления бюргеров, которые только вчера научились обращаться с оружием и вести войну самостоятельно.^[2] Флоренции пришлось капитулировать. Ядовитые Паллески, Франческо Гвиччардини и Баччо Валори проскрипциями, изгнаниями и налогами истощили силы и сломили дух государства. Цезарь и наместник Христа, новый Ирод и новый Пилат, обнялись и подружились над распростертым трупом проданной и зарезанной свободы. Флоренции было выплачено в качестве компенсации за оскорбление, нанесенное понтифику при разграблении Рима.

^[1] Гвиччардини, пишущий своего *Рикорди* в первые месяцы осады, рассуждает о силе веры (*Соч. Ined. vol. i. p. 83. Compare p. 134*): 'Esemplo a' di nostri ne è grandissimo questa ostinazione de' Fiorentini, che essendosi contro a ogni ragione del mondo messi a aspettare la guerra del papa e imperadore, senza speranza di alcuno soccorso di altri, disuniti e con mille difficoltà, hanno sostenuto in quelle mura già sette mesi gli e serciti, e quali non si sarebbe creduto che avessino sostenuti sette dì; e condotto le cose in luogo che se vincessino, nessuno più se ne maraviglierebbe, dove prima da tutti erano giudicati perduti; e questa ostinazione ha causata in gran parte la fede di non potere perire, secondo le predicazioni di Fra Jeronimo da Ferrara.'

^[2] Смотрите выше, стр. 238, что Джаннотти говорит о героическом Ферруччи.

Роль, сыгранная Филиппо Строцци в этой последней драме о свободах Флоренции, ничтожна и порочаща, но в то же время исторически поучительна, поскольку показывает, до какой степени пал благороднейший из флорентийцев. Все нападки Питти на Оттимати, какими бы горькими они ни были, оправданы неприкрашенным повествованием, которое мы читаем на страницах "Варчи и Сеньи" об этом самом порочном, эгоистичном, тщеславном и блестящем герое исторического романа. Женатый на Клариче Медичи, от которой у него была великолепная семья красивых и энергичных сыновей, он был более чем соперником княжеских родственников своей жены по своему богатству. И все же, несмотря на то, что Филиппо

провозгласил себя патриотом, он не смог последовательно использовать это огромное влияние в качестве противовеса авторитету Медичи. Именно он, например, посоветовал Лоренцо младшему провозгласить себя герцогом Флоренции. Как бы он ни выделялся среди всех людей своего времени остроумием, вежливостью, достижениями и роскошной жизнью, его бесхарактерность нейтрализовала эти лучезарные дары природы. Его личная мораль пользовалась дурной славой. Он поощрял наставлениями и примером худшие пороки своего века и нации, общаясь с молодыми людьми, которых обучал искусству распутной жизни и которым передавал свое собственное эгоистичное эпикурейство. Ему в значительной степени можно приписать развращенность флорентийской аристократии в шестнадцатом веке. В своих публичных действиях он был не менее нерешителен, чем беспринципен в частной жизни. Убедив Ипполито и Алессандро Медичи покинуть Флоренцию в 1527 году, он не выполнил своего обещания вырвать Пизу из их рук (движимый, как говорят, преступной привязанностью к молодому и красивому Ипполито) и впоследствии не разделял никаких тягот и ответственности осады. Действительно, затем он счел необходимым удалиться в изгнание во Францию под предлогом руководства своими обширными коммерческими делами в Лионе. После реставрации династии Медичи он вернулся во Флоренцию в качестве придворного герцога Алессандро, которому помогал в его юношеских распутствах. Поссорившись с Алессандро из-за оскорбления, нанесенного его дочери Луизе, и обвинения в убийстве, выдвинутого против его сына Пьеро, он ушел в оппозицию и изгнание, не столько по политическим, сколько по личным причинам. После убийства Алессандро он получил в Венеции титул "Второго Брута" от Лоренцо де Медичи, братоубийцы. Тем временем именно он выплатил герцогу Орлеанскому приданое Екатерины Медичи, помогая таким образом укрепить княжеский дом, против которого он замыслил заговор, благодаря тому великолепному иностранному союзу, который возвел потомка флорентийских векселедержателей на трон Франции. После всех этих перипетий Филиппо Строцци возглавил вооруженное нападение на владения герцога Козимо, был взят в плен в битве при Монтемурло и, наконец, убит в той самой крепости за пределами Порто-а-Фаэнца, которую он посоветовал Алессандро построить для устрашения флорентийцев.^[1] Историки, за исключением Нерли, сходятся во мнении, что он любил удовольствия и стремился к себе, многие изменения в политике которого были вызваны не убеждениями, а желанием получить максимальную свободу в беспорядочной жизни. В то же время мы не можем отказать ему в славе блестящих умственных качеств, царственной осанки и большого мужества.

^[1] Смотрите Варчи, том iii. стр. 61, о закладке первого камня в этот замок. Следует сказать, что мнения о смерти Филиппо расходятся. Нерли очень четко утверждает, что он покончил жизнь самоубийством. Сеньи склоняется к мысли, что он был убит приспешниками герцога Козимо.

Историки осады по-разному объясняют моральную и политическую слабость, которая оказалась истинной причиной разорения Флоренции. Питти, чье понимание ситуации, пожалуй, самое острое и который, безусловно, самый откровенный, относит неудачу флорентийцев не к трусости или глупости народной партии, а к злобе Паллески, двурушничеству и эгоизму богатой знати, которые в угоду своим собственным интересам отдавали предпочтение то одной, то другой из партий. Эти оттиматы — как он называет их, используя название, заимствованное из классической фразеологии, — независимо от того, исповедовали ли они Медицину или народное дело, всегда были склонны к самовозвеличиванию за счет народа или своих князей.^[1] Симпатии Питти были на стороне плебеев, политику которых во время осады проводил гонфалоньер Кардуччи. В то же время он признал слабость и неполноценность многих из этих людей, призванных из низкого жизненного

положения и от механических профессий к управлению содружеством. Состояние Флоренции при Пьеро Содерини — это *"non mai abbastanza lodato cavaliere"*, как он его называет, — было идеалом, к которому он возвращался с тоской в глазах. Сеньи, с другой стороны, осуждает честолюбие плебейских вождей и заявляет о своем мнении, что государство могло быть спасено только более умеренными среди влиятельных граждан. На самом деле он принадлежал к той части партии Медичи, которую Варчи называет нейтральной. У него были сильные аристократические наклонности, и он предпочитал правительство знати народной демократии, которая процветала при Франческо Кардуччи. Желая свободы Флоренции, Сеньи понимал, что республика не сможет устоять ни перед папой, ни перед императором в условиях кризиса, когда король Франции, который должен был оказать помощь в трудную минуту, был связан Камбрэйским договором и обещаниями, которые он дал Карлу в лице двух его сыновей. Политика, которую одобрял Сеньи, была той, которую Никколо Каппони подготовил перед своим падением — примирение с Климентом посредством вмешательства императора, согласно условиям которого Медичи должны были быть восстановлены как граждане, обладающие высшей властью, но не как монархи. Варчи, хотя и не менее остро осознавал ненадежность политики Кардуччи, был воодушевлен более демократическим духом. У него не было ни малейших пристрастий Сеньи к вигам, но он разделял патриотический энтузиазм, который в тот решающий момент придал всему штату великолепную отвагу перед лицом непреодолимых трудностей. И Сеньи, и Варчи понимали преувеличенное и, следовательно, пагубное влияние пророчеств Савонаролы на население Флоренции. Несмотря на продолжающиеся неудачи, люди продолжали верить предсказанию монахини о том, что после ее наказания Флоренция расцветет с удвоенным блеском и что ангелы в последнем случае охранят ее стены и отразят захватчиков. Есть что-то трогательное в этом заблуждении о великом городе, с детским упорством доверяющем обещаниям человека, которого на их глазах сожгли как самозванца, в то время как все это время их государственные деятели и генералы заключали сделки с врагом. Нарди более искренний Пьяноне, чем Сеньи или Варчи. Однако, когда он пишет после событий осады, его вера поколеблена; и хотя он выражает свою убежденность в том, что Савонарола был превосходным номофетом, он подвергает сомнению его пророческую миссию и сожалеет о том эффекте, который произвели его тщетные обещания. Нерли, как и следовало ожидать от дворянина, женатого на Катерине Сальвиати, племяннице Лео и тете Козимо, которая сам был придворным Климента и тайным советником Алессандро, поддерживает ноту Медичи во всех своих комментариях.

[1] Он заходит так далеко, что утверждает, что Лев X и Климент VII. хотели дать Флоренции либеральную конституцию, но их планы были расстроены алчностью и завистью потенциальных олигархов. См. *Арку. История*. том i. стр. 121, 131. Отрывки, процитированные из его "Апологии Каппуччи" относительно Макиавелли, Филиппо Строцци и Франческо Гвиччардини (*Arch. Stor.* vol. i. pp. xxxix. xxxviii.), очень поучительны; с такими жадными своекорыстными олигархами папы-Медичи не могли установить во Флоренции никакого правительства, кроме тирании.

Таким образом, от этих пяти авторов, пишущих с разных точек зрения, мы получаем полное представление о сложной политике Флоренции в период, когда ее жизненная сила была еще сильна, но когда она утратила всякую способность к централизованным или согласованным действиям. В проникательности, в силе анализа, с которой они проникают глубже поверхности, прослеживают следствия до причин, различают характер и рассматривают исторические факты как надлежащий предмет философских размышлений, у них много общего. Тот, кто видел картину Рембрандта "Анатомический зал", мог бы создать для себя другую картину, на которой

пять серьезных лиц этих терпеливых наблюдателей должны быть склонены над мертвым и изуродованным телом их родного города. Жизнь угасла. Науке ничего не остается, как со скальпелем в руках обнажить тайные причины распада. У каждого анатома есть свое мнение о природе болезни. Каждый записывает факты, выявленные при вскрытии, в соответствии со своими собственными впечатлениями.

Литературные качества этих историков очень различны и, по-видимому, проистекают из существенных различий в их характерах. Питти, безусловно, самый блестящий по стилю, сосредоточенный в выражениях вплоть до эпиграммы и взвешенный в суждениях. Нарди, хотя и лишен некоторых наиболее привлекательных качеств историка, бесценен искренностью намерений и кропотливой точностью. Философские, риторические и драматические пассажи, которые придают столько великолепия работам Гвиччардини, отсутствуют на страницах "Нарди". Он стремится представить ясную картину того, что произошло, но он не может оживить ее и никогда подробно не размышляет о предмете своей истории. В то же время ему не хватает *наивности*, которая делает Корио, Аллегретти, Инфессуру и Матараццо такими забавными. Он сплетничает так же мало, как Макиавелли, и не обладает глубокомыслием, которое могло бы восполнить недостаток пикантности. Наибольший интерес его хроника представляет в той части, которая касается Савонаролы, хотя даже здесь очевидна необычайно скрытная и сомневающаяся натура этого человека. Хотя он сочувствует политическим и моральным реформам Савонаролы, он вызывает сомнение в его внутренней искренности и не одобряет позицию семьи Пьянони.^[1] В своей оценке людей Нарди был удивительно осторожен, предпочитая всегда давать внешнюю связь событий, вместо анализа мотивов или критики характера.^[2] Он особенно умалчивает о плохих людях и преступных действиях. Поэтому, когда он выносит неблагоприятное суждение (как, например, в отношении Чезаре Борджиа) или отмечает темный поступок (как *ступрум*, совершенный в отношении Асторре Манфреди), важно его подтверждение историками, более склонными к скандалам. Сеньи гораздо более живой, чем Нарди, в то же время он не менее кропотлив в том, чтобы быть точным. Он проявляет пристрастие, особенно в своем восхищении Никколо Каппони и в своем предубеждении против Франческо Кардуччи, что придает ему индивидуальность, которой не хватает сдержанно-сухой хронике Нарди. Редко когда запутанные события особо драматического периода излагались более ясно, более сжато и с большей элегантностью стиля. Сеньи не хватает, по сравнению с Варчи, разве что объема, детализации и той чудесной смеси искренности, энтузиазма и рвения к правде, которая делает Варчи несравненным. Его зарисовки людей, критические замечания и отступления от статистических деталей гораздо менее обильны, чем у Варчи. Но в идиоматической чистоте языка он превосходит их. Варчи был избалован академическими привычками к композиции. Его язык расплывчатый и неуклюжий. Ему не хватает живости эпиграммы, отбора и заостренных фраз. Но его "История Фиорентины" остается самым ценным источником информации, которым мы располагаем о более поздних перипетиях республики, а очарование деталей компенсирует отсутствие стиля. Нерли в целом менее интересный писатель, чем те, которые были упомянуты; однако некоторые подробности, которые он рассказывает, например, о реформе нравов Савонаролы и литературных собраниях в садах Ручеллаи, мы больше нигде не находим.

[1] Книга ii. глава 16.

[2] See lib. ii. cap. 34: 'Nel nostro scrivere non intendiamo far giudizio delle cose incerte, e massimamente della intenzione e animo segreto degli uomini, che non apparisce chiara se non per

congettura e riscontro delle cose esteriori. E però stando termo il primo proposito, vogliamo raccontare quanto più possibile ci sia, la verità delle cose fatte, più tosto che delle pensate o immaginate.' This is dignified and noble language in an age which admired the brilliant falsehoods of Giovio.

Многие из моих читателей, несомненно, сочтут, что слишком много времени было потрачено на обсуждение этих летописцев осады Флоренции. И все же для изучающего историю они имеют почти уникальную ценность. Они предполагают возможности настоящей науки сравнительной истории и раскрывают живость исторического сознания, с которой не может сравниться ни одна другая нация. Насколько иным могло бы быть наше представление о превратностях судьбы Афин между 404 и 338 годами до н.э., если бы у нас была аналогичная плеяда современных греческих авторов!

Проследив развитие исторических исследований и политической философии во Флоренции с 1300 года до падения Республики, остается поговорить о двух величайших мастерах практического и теоретического управления государством — Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли. Эти два писателя сочетают в себе все отличительные качества флорентийских историографов в самом выдающемся совершенстве. В то же время они являются зеркалами того времени, в котором они оба сыграли выдающуюся роль, не только как авторы, но и как люди. В их биографиях и в их произведениях мы прослеживаем дух эпохи, лишенной моральной чувствительности, проницательной в анализе, но лишенной веры, надежды, энтузиазма и стабильности характера. Сухой свет интеллекта определял их суждения о людях, а также их теории правления. С другой стороны, отвратительные условия существования, которым они подвергались как слуги коррумпированных государств или орудия коварных принцев — как дипломаты, претворяющие в жизнь планы королей, подобных Фердинанду, или авантюристов, подобных Чезаре Борджиа, тайных советников таких пап, как Климент VII. а такие тираны, как герцог Алессандро Медичи, исказили их философию и притупили их инстинкты. Для исследователя шестнадцатого века они остаются загадками, разгадать которые непросто, потому что, как ни напрягай воображение, легко поставить себя на их место. Одна половина их письменных высказываний, похоже, расходится с другой половиной. Их действия часто противоречат их самым блестящим и решительным принципам; в то время как современники расходятся во мнениях относительно их частного характера и общественного поведения. Вся эта путаница, из-за которой сейчас, возможно, невозможно различить, кем на самом деле были Гвиччардини или Макиавелли, и что они на самом деле чувствовали и думали, происходит из-за аномалии непревзойденных способностей и непревзойденного знания мира, существующего без религиозной или политической веры в эпоху крайней развращенности общественной и частной морали. Никакая критика современной дезорганизации общества в Италии не может быть более строгой, чем молчаливый свидетель этих людей, безмерно великих по всем умственным качествам, но беспомощно дрейфующих в море противоречий и сомнений, не знающих истинной природы человечества, несмотря на всю их науку, потому что они не учитывают ни доброту, ни красоту в своих расчетах.

Франческо Гвиччардини родился в 1482 году. В 1505 году, в возрасте двадцати трех лет, он уже настолько отличился как студент юридического факультета, что синьория Флоренции назначила его публично читать "Институты". Однако, поскольку он предпочитал активную профессорскую работу, в это время он начал практиковать в коллегии адвокатов, где вскоре

зарекомендовал себя как способный адвокат и красноречивый оратор. Эта репутация, вместе с его серьезностью и проницательностью, побудила синьорию отправить его с посольством ко двору Фердинанда Арагонского в 1512 году. Так Гвиччардини приступил к настоящей работе своей жизни как дипломат и государственный деятель. Мы также можем с уверенностью заключить, что именно при дворе этого коронованного лицемера и предателя всей верности души он получил свои первые уроки политического цинизма. Испанский двор при Фердинанде Католике был совершенной школой вероломства, где даже итальянец мог разглядеть более глубокие проявления человеческой порочности и сформулировать для себя философию отчаяния. Его враги шептались, что здесь, на пороге своей общественной жизни, Гвиччардини продал свою честь, приняв взятку от Фердинанда.^[1] Несомненно, что скупость была одним из его главных грехов, и что с этого времени он предпочитал целесообразность справедливости и верил в политику поддержки силы искусным притворством.^[2] Вернувшись во Флоренцию, Гвиччардини в 1515 году был отправлен на встречу со Львом X. со стороны Республики в Кортоне. Лев, обладавший способностью распознавать способных людей и использовать их, снискал его расположение и три года спустя назначил губернатором Реджо и Модены. В 1521 году к его правлению присоединилась Парма. Климент VII сделал его вице-королем Романьи в 1523 году, а в 1526 году возвел в звание генерал-лейтенанта папской армии. Вследствие этого высокого поручения Гвиччардини разделил унижение, постигшее всех офицеров Лиги, которые во главе с герцогом Урбинским допустили разграбление Рима и заключение папы в тюрьму в 1527 году. Вина за это презренное проявление трусости или личной злобы, однако, не может быть возложена на него, поскольку он служил в армиях Лиги не в качестве генерала, а в качестве советника и главного репортера. В его обязанности входило не столько контролировать передвижения армии, сколько выступать в качестве арбитра в интересах папы Римского и держать Ватикан в курсе того, что происходит в лагере. В 1531 году Гвиччардини был назначен губернатором Болоньи, самым важным из всех папских наместничеств. Этот пост он оставил в 1534 году после избрания Павла III, предпочитая следить за судьбой принцев Медичи во Флоренции. В этом очерке его карьеры я не должен упускать из виду, что Гвиччардини был объявлен мятежником в 1527 году народным правительством из-за его хорошо известных предрассудков Медичи, и что в 1530 году он был назначен Климентом VII. чтобы наказать непокорных граждан. В последнем случае он отомстил себе за оскорбления, нанесенные ему в 1527 году, жестокостью, с которой довел проскрипцию до крайних пределов, отправляя своих врагов в нездоровые места ссылки, налагая на них невыносимые штрафы и используя все косвенные средства, которые могла изобрести его изобретательность, чтобы принудить их к преступлению и неповиновению.^[3] Поэтому, когда он вернулся, чтобы поселиться во Флоренции, он сделал это как креатура Медичи, поклявшийся поддерживать незаконнорожденного Алессандро в своей власти. Он был избран членом сената восьмидесяти лет; и он так рьяно поддерживал дело своего нового хозяина, что имел смелость выступить в защиту герцога перед Карлом V в Неаполе в 1535 году. В этом случае Алессандро, ставший невыносимым из-за своих деспотических привычек и, в частности, из-за оскорблений, которые он наносил женщинам всех рангов и положения во Флоренции, был привлечен изгнанниками к суду коллегии адвокатов Цезаря. Гвиччардини выиграл дело своего клиента и восстановил Алессандро, императорским подтверждением его деспотизма во Флоренции. Этот период его политической карьеры заслуживает особого внимания, поскольку он демонстрирует вопиющее противоречие между некоторыми из его неопубликованных сочинений и его действиями и подтверждает обвинения его врагов.^[4] То, что он должен был предпочесть правительство Оттимати, или богатых дворян, более популярной конституции, и что он должен был с верностью

придерживаться фракции Медичи во Флоренции, не является основанием для порицания.[5] Но когда мы видим, как он в частной беседе разоблачает уловки деспотов самым безжалостным использованием холодной критики и выступает за смешанное правительство по типу венецианской конституции, мы вынуждены признать вместе с Варчи и Питти, что его поддержка Алессандро была продиктована не столько лояльностью, сколько желанием удовлетворить собственные амбиции и алчность под покровительством венецианской конституции. тень тирании Медичи.[6] На самом деле он принадлежал к тем эгоистичным гражданам, которых осуждает Питти, дипломатам и светским людям, чья жажда власти побудила их играть на руку Медичи, желая высосать государство[7] самим себе и удерживать принца на ниточках порока и удовольствий для своей собственной выгоды.[8] После убийства Алессандро Козимо был поставлен во главе Флорентийской республики главным образом под влиянием Гвиччардини с титулом герцога. Козимо был всего лишь мальчиком и очень увлекался полевыми видами спорта. Гвиччардини поэтому рассчитывал, что при гарантированном доходе в 12 000 дукатов юноша будет доволен тем, что развлекается, в то время как он оставит управление Флоренцией в руках своего визиря.[9] Но здесь хитрый политик переусердствовал. Козимо носил старую голову на своих молодых плечах. С достойной скромностью и подобающим проявлением почтения он использовал Гвиччардини в качестве лестницы, чтобы взобраться на трон, а затем отбросил лестницу ногой. Первые дни его правления показали, что он намеревался быть единоличным хозяином Флоренции. Гвиччардини, поняв, что его игра испорчена, удалился на свою виллу в 1537 году и провел последние годы своей жизни за сочинением своих исторических трудов. Знаменитая "История Италии" была работой одного года этого вынужденного ухода на пенсию. Перед нами неизбежно встает вопрос, были ли некоторые из суровых критических замечаний, высказанных в адрес Медичи в его неопубликованных сочинениях, плодом тех же самых горьких часов досуга.[10] Гвиччардини умер в 1540 году в возрасте пятидесяти восьми лет, без наследников мужского пола.

[1] Смотрите "Апологию Каппуччи", *Свод. История.* том iv. часть 2, стр. 318.

[2] О жадности Гвиччардини см. Varchi, том i, стр. 318. Его *политические риторика* вполне оправдывают второй, хотя и не первый пункт этого предложения.

[3] См. Варчи, книга xii. (and especially cap. xxv.), for these arts; he says, 'Nel che messer Francesco Guicciardini si scoperse più crudele e più appassionato degli altri.'

[4] Зная, каким тираном был Алессандро, и помня, что написал Гвиччардини (*Ricordi*, № ccxlii.): "Кальцина на мурано, стати тиранни и песни читтадини: поверь сфорзарси огнюно". спасибо нелле читта за то, что она не с'авессино, а мураре тали палацци: "очень трудно одобрить его защиту герцога."

[5] Хотя даже здесь эгоистичные амбиции этого человека были очевидны современникам: "Он был волуто уно стату кол ном Оттимати, ма в фатти де Почи, не имел права на большую часть жизни", согласно закону о молте и высшем качестве, достоинствах гли си вении .' —Варчи, том i, стр. 318.

[6] История Фиорентины Гвиччардини и Регименто Флоренции (Соч. Прим. тома. i и iii.) можно ознакомиться с его частной критикой Медичи. Какое суждение вынесли о нем современники, можно почерпнуть из "Варчи", тома i, стр. 238, 318; ii. 410; iii. 204. Segni, pp. 219, 332. Нарди, том ii. стр. 287. Питти, цитируется в *Арх. История.* том i, стр. xxxviii., и "Апология Каппуччи" (*Арх.*

История. том iv. часть 2). It is, however, only fair to Guicciardini to record here his opinion, expressed in *Ricordi*, Nos. ccxx. and cccxxx., that it was the duty of good citizens to seek to guide the tyrant: 'Credo sia ufficio di buoni cittadini, quando la patria viene in mano di tiranni, cercare d'avere luogo con loro per potere persuadere il bene, e detestare il male; e certo è interesse della città che in qualunque tempo gli uomini da bene abbino autorità; e ancora che gli ignoranti e passionati di Firenze l'abbino sempre intesa altrimenti, si accorgerebbono quanta pestifero sarebbe il governo de' Medici, se non avessi intorno altri che pazzi e cattivi.'

[7] См. Varchi, том iii. стр. 204. 'Che Cosimo ... *succiarsi lo stato*.'

[8] Pitti dips his pen in gall when he describes these citizens: 'Cotesti vogliosi Ottimati; i quali non hanno saputo mai ritrovare luogo che piaccia loro, sottomendosi ora al Medici per l'ingorda avarizia; ora gittandosi al popolo, per non potere a modo loro tiraneggiare; ora rivendendolo a' Medici, vedutisi scoperti e raffrenati da lui; e sempre mai con danno della Repubblica, e di ciascuna parte, inquieti, insaziabili e fraudulentì.—'Apologia de' Cappucci,' *Arch. История*. xv. часть ii. стр. 215.

[9] Вот графический штрих в *истории* Варчи, том iii. стр. 202. Guicciardini is discussing the appointment of Cosimo de' Medici: 'Gli dovessero esser pagati per suo piatto ogn' anno 12,000 fiorini d' oro, e non più, avendo il Guicciardino, *abbassando il viso e alzando gli occhi*, detto: "Un 12,000 fiorini d' oro è—un bello spendere."

[10] Питти, похоже, придерживался этой точки зрения: см. "Апологию"Каппуччи"" (*Аpx. Stor.* vol. iv. part ii. p. 329): 'Tosto che 'l duca Cosimo lo pose a sedere insieme con certi altri suoi colleghi, si adirò malamente; e se la disputa della provvisione non l'avesse ritenuto, sarebbe ito a servire papa Pagolo terzo. Onde, restato confuso e disperato, si tratteneva alla sua villa di Santa Margarita a Montici; dove transportato dalla stizza ritoccò in molte parti la sua Istoria, per mostrare di non essere stato della setta Pallesca; e dove potette, accattò l'occasione di parere istrumento della Repubblica.' Guicciardini's own apology for his treatment of the Medici, in the proemio to the treatise *Del Reggimento di Firenze*, deserves also to be read.

Переходя теперь от государственного деятеля к литератору, мы находим в Гвиччардини одного из самых выдающихся историков любой нации и любой эпохи. Работа, по которой он наиболее известен, "История Италии", едва ли может быть превзойдена по мастерскому управлению очень сложным периодом, по подчинению частей целому, по спокойствию суждений и философской глубине мысли. Учитывая, что Гвиччардини в этом великом труде писал анналы своего времени и что ему пришлось распутывать запутанный клубок итальянской политики шестнадцатого века, эти качества весьма примечательны. Весь ход истории напоминает о пышности и достоинстве Ливия, в то время как серия портретов, набросанных с натуры безошибочной рукой анатома и художника, добавляет что-то от яркой силы Тацита. И все же Гвиччардини в этой работе заслуживает не столько похвалы как писатель, сколько как мыслитель. Налицо явное стремление сохранить стиль путем манипуляций и переосмысления, что неблагоприятно контрастирует с непринужденностью, беременной спонтанностью его неопубликованных работ. Его периоды почти бесконечны, а его риторика пространна и монотонна. Мы можем проследить стремление подражать авторам древности без той легкости, которая приобретается практикой, или вкуса, который дается природой.

Величайшее достоинство этой истории заключается в том, что она представляет нам научную картину политики и общества в первой половине шестнадцатого века. Картина изложена с

ясновидением и откровенностью, которые почти ужасны. Автор ни на мгновение не испытывает энтузиазма: ни один персонаж, каким бы великим он ни был в добрых или злых делах, не выводит его из состояния спокойной разочарованной критики. Он издает лишь несколько восклицаний ужаса или аплодисментов. Вера, религиозность, совесть, подчинение себя общественному благу не имеют места в его списке человеческих мотивов; интерес, честолюбие, расчет, зависть - вот силы, которые, согласно его опыту, движут миром. То, что сильный должен попираť слабого, что хитрый должен обходить невинных, что лицемерие, обман и лицемерие восторжествовали, кажется ему вполне естественным. Вся его теория человечности окрашена в печальные серые тона флегматичного, холодноглазого, недовольного, эгоистичного безразличия. Он не разгневан, не отчаялся, не возмущен, но флегматично рассудителен, оказавшись лицом к лицу с разорением своей страны. Для него мир был игрой интриг, в которой его друзья, враги и он сам играли роли, одинаково грязные, с серьезными лицами и сердцами, нацеленными только на удовлетворение низменных желаний. Соответственно, хотя его мастерство в деталях, понимание личных мотивов и анализ ремесла одинаково несравнимы, мы находим его неспособным формировать общие взгляды с широтой философской проницательности или проницательностью откровенного и независимого характера. Движения орла и льва должны быть непонятны пауку или лисе. Гвиччардини не мог ни ощутить истинное величие века, ни предвидеть новые силы, которые он порождает. Он не мог предугадать важных моментов лютеранского раскола; и хотя он осознал непосредственное влияние французского вторжения на итальянскую политику, он не смог понять революцию, намеченную на будущее потрясением современных наций. Критикуя папство, он видел пагубные последствия кумовства и светских амбиций, но у него не было инстинкта необходимости духовного и религиозного возрождения. Его оценка политической ситуации привела его к мысли, что отдельные элементы итальянской системы можно было бы использовать с пользой для себя путем применения поверхностных средств правовой защиты — например, путем развития деспотизма или олигархии, когда на самом деле разложение нации уже не поддавалось никакому лечению.

За последние двадцать лет миру были подарены два других шедевра Гвиччардини, "*Диалог Флорентийского царства*" и "*История Фиорентины*". Публиковать их сразу после смерти автора было бы нецелесообразно, поскольку они слишком откровенны, чтобы быть приемлемыми для династии Медичи. И все же в этих трудах мы находим Гвиччардини в его лучшем проявлении. Здесь он еще не облачился в мантию ратора, которая в "*Истории Италии*" сидит на нем несколько неуклюже. Его стиль более спонтанный; его высказывания менее сдержанны. Когда он пишет только для себя, он осмеливается более откровенно говорить о том, что он думает и чувствует. В то же время политическая проницательность государственного деятеля проявляется во всей своей силе. Я так часто пользовался обоими этими трактатами, что мне нет необходимости вдаваться в подробный анализ их содержания. Будет достаточно указать на некоторые отрывки, которые наилучшим образом отражают литературный стиль и научную проницательность Гвиччардини. "*Регименто ди Флоренце*" - это эссе о форме правления, для которой Флоренция лучше всего подходила. Начиная с обсуждения конституции Савонаролы, в которой отдается должное проницательности и оперативности, с помощью которых он спас содружество в критический момент (стр. 27-30), собеседники переходят к рассмотрению тирании Медичи (стр. 34-49). Это один из шедевров анализа Гвиччардини. Он показывает, как отправление правосудия, распределение общественных почестей и внешняя политика республики были извращены этой семьей. Он осуждает тираническое применение Козимо штрафов и податей (стр. 68), дерзость Пьеро

младшего (стр. 46) и присвоение общественных денег Лоренцо в свое личное пользование (стр. 43). И все же, излагая пороки этой тирании языком, который даже Сисмонди удовлетворился бы переводом и подписью, Гвиччардини не проявляет никакой страсти. Медици действовали всего лишь как подобает принцам, стремящимся к власти, хотя они подавляли дух народа, обескураживали политический пыл, гасили военное рвение и делали все, что в их силах, чтобы ослабить нацию, которой они управляли. Научный государственный не признает взаимных прав и обязанностей между правителем и управляемыми. Это испытание силы. Если тиран одержит верх, люди должны ожидать угнетения. Если, с другой стороны, народ восторжествует, он должен позаботиться об истреблении деспотического отродья: "Единственным верным средством было бы уничтожить их настолько, чтобы не осталось и следа, и использовать для этой цели киньяр или яд, как может быть удобнее всего; в противном случае малейшая уцелевшая искра наверняка вызовет неприятности в будущем" (стр. 215). Та же точная критика обнажает слабость демократии. Люди, говорит Гвиччардини, на самом деле всегда стремятся к собственной власти больше, чем к свободе государства (стр. 50), и мотивы даже тираноубийц очень редко бывают чистыми (стр. 53-54). Правительства, созданные либералами, полны недостатков. Великий совет, к примеру, флорентийцев невежествен в выборе должностных лиц, несправедлив в распределении налогов, едва ли менее предубежден против отдельных лиц, чем был бы тиран, и неспособен к дипломатической внешней политике (стр. 58-69). Затем следует обсуждение относительных достоинств трех основных форм правления — Губернаторства Оон, Губернаторства дельи Оттимати и Губернаторства дель Пополо (стр. 129). Гвиччардини уже раскритиковал первый и третий варианты.^[1] Теперь он выражает твердое мнение, что второе является наихудшим из того, что могло быть применено к реальным условиям Флорентийской республики (стр. 130). Его панегирик венецианской конституции (стр. 139-41) иллюстрирует его план объединения преимуществ трех видов и устранения их соответствующих пороков. Фактически, он заявляет, что Утопия шестнадцатого века — *Governo Misto* — политическое изобретение, которое очаровало воображение итальянских государственных деятелей примерно так же, как теория вечного двигателя привлекала научные умы в прошлом веке.^[2] Ниже приводится сложная схема применения принципов Местного самоуправления к существующему положению вещей во Флоренции. Завершается это ясное и ученое исследование (стр. 188) скорбным выражением сомнения, которое густым облаком нависло над всеми политическими спекуляциями как Гвиччардини, так и Макиавелли: "Я считаю это очень сомнительным, и я думаю, что многое зависит от случая, примет ли когда-нибудь эта дезорганизованная конституция новую форму или нет ... и, как я сказал вчера, у меня было бы больше надежд, если бы город был только молодым; учитывая, что государство в начале не только формируется с большей легкостью, чем то, которое состарилось при дурных правительствах, но все всегда складывается более благополучно и легче, пока удача еще свежа и не исчерпала себя" и т.д.^[3] Читая Диалог о конституции Флоренции, наконец, следует помнить, что Гвиччардини перенес его в 1494 год и что он говорит устами четырех собеседников. Поэтому мы можем предположить, что он намеревался, чтобы его читатели рассматривали его как произведение спекулятивной науки, а не практической политической философии. И все же нетрудно уловить смысл его собственного высказывания.

^[1] Ср. *Ricordi*, cxl.: "Я не люблю пополо, не люблю животных паццо, не люблю ошибок, не люблю путаницы, не люблю вкусов, не люблю дилетантов, не люблю стабильности". Следует отметить, что Гвиччардини здесь и в других местах использует термин "Пополо" в его более

полном демократическом смысле. Последовательное расширение бюргерского класса Флоренции вместе с изучением греческой и латинской политической философии привнесло в этот термин современное значение.

[2] Четкая критика трех форм правления содержится в Комментарий Гвиччардини ко второй главе первой книги *"Дискорси"* (Соч. Ined. vol. i. p. 6): 'E non è dubio che il governo misto delle tre spezie, principi, ottimati e popolo, è migliore e più stabile che uno governo semplice di qualunque delle tre spezie, e massime quando è misto in modo che di qualunque spezie è tolto il buono e lasciato indietro il cattivo.' Machiavelli had himself, in the passage criticised, examined the three simple governments and declared in favor of the mixed as that which gave stability to Sparta, Rome, and Venice. Тот же ход мыслей прослеживается в политических спекуляциях как Платона, так и Аристотеля. Афиняне и флорентийцы ощущали превосходящую стабильность спартанской и венецианской форм правления, точно так же, как французский теоретик мог бы идеализировать английскую конституцию. Существенным элементом Государственного управления, которое Флоренция утратила без возможности его восстановления, была группа потомственных патриотически настроенных патрициев. Это придало Венеции силы; и это то, что до сих пор отличало английскую нацию.

[3] Сравните с *"Ricordi Politici e Civili"*, № clxxxix., с плачем такого рода по поводу дряхлости королевств, почти возвышенным в своем стоицизме.

The *История Фиорентины* - это краткое изложение событий итальянской истории, особенно тех, которые касались Флоренции, между 1378 и 1509 годами. Другими словами, в нем рассказывается о превращениях республики при Медичи и администрации гонфалоньера Содерини. Этот шедевр исторического повествования с краткостью и откровенностью излагает всю серию событий, которые риторически и осторожно разворачиваются в *"Истории Италии"*. Наиболее заметны характеры Лоренцо Медичи (глава ix), Савонаролы (глава xvii) и Александра VI (глава xxvii). Непосредственные последствия французского вторжения никогда не рассматривались так умело, как в главе xi, в то время как весь прогресс Чезаре Борджиа в его злодейской карьере анализируется с исключительной отчетливостью в главе xxvi. Мудрость Гвиччардини нигде не проявляется так зрело, а его интеллект - так гибко, как в *"Истории Фиорентины"*. Студентам, желающим еще ближе проникнуть в суть мышления Гвиччардини, следует обратиться к 403 трудам *Рикорди о политике и цивилизации*, собранным в первом томе его *неизданной* оперы. В них есть все очарование, присущее случайным высказываниям, и их, подобно пословицам, можно носить как драгоценности на пальце времени.

Биография Никколо Макиавелли по большей части представляет собой отчет о его государственных заслугах перед государством Флоренция. Он родился 3 мая 1469 года в семье родителей, принадлежавших к зажиточному среднему классу флорентийских граждан. Его предки были знатными, ибо старая традиция, связывавшая его происхождение с феодальным домом Монтепертоли, была подтверждена документальными свидетельствами.[1] Его предки занимали высокие должности в Содружестве; и хотя их богатство и положение уменьшились, Макиавелли унаследовал небольшое земельное поместье. Его семья, первоначально поселившаяся в Валь-ди-Пеза, владела фермами в Сан-Кашано и в других деревнях флорентийского доминиона, список которых можно увидеть в декларации, представленной его отцом Бернардо в налоговую инспекцию в 1498 году.[2] Их богатство, без сомнения, было ничтожным по сравнению с тем, что горожане нажили торговлей во Флоренции; в те времена не

было принято брать с виллы больше, чем необходимое для жизни: все излишки предоставлялись городской Боттегой.[3] Тем не менее, после сравнения возвращения Бернардо Макиавелли его земельной собственности с завещанием Никколо Макиавелли,[4], что прославленный военный министр во все периоды своей жизни владел имуществом, достаточным ровно для того, чтобы содержать свою семью в приличном, если не сказать достойном стиле. О его образовании мы почти ничего не знаем. Джовио[5] утверждает, что он почти не владел латынью и что демонстрацией учености в своих работах был обязан цитатам, приведенным Марцеллом Виргилием. Это обвинение, которое, независимо от того, верно оно или нет, должно было нанести вред, утратило свою силу в эпоху, которая, как и наша, ценит эрудицию меньше, чем врожденный гений. Несомненно, Макиавелли знал вполне достаточно латинской и греческой литературы, чтобы сослужить свою службу; и его знакомство с некоторыми историками-классиками и философами является близким. В его работах даже слишком много парадных иллюстраций, заимствованных у Полибия, Ливия и Плутарха: вопрос только в том, опирался ли Макиавелли на переводы, а не на оригиналы. По этому поводу также стоит отметить, что его культура была скорее римской, чем эллинской. Если бы он в какой-либо период своей жизни так же глубоко изучал политические диалоги Платона, как он изучал истории Ливия, мы не можем не чувствовать, что его теории как управления, так и управления государством, возможно, были бы более созвучны здравомыслящему и нормальному человечеству.

[1] См. "Макиавелли" Виллани, том i, стр. 303. Изд. Ле Монье.

[2] Смотрите первый том издания Макиавелли, автор Mess. Фанфани и Пассерини, Флоренция, 1873; стр. lv. "Макиавелли" Виллани, ib. стр. 306. Доход оценивается примерно в 180л.

[3] См. Пандольфини, *Траттато-дель-Гуверно-делла-Фамилья*.

[4] Издание Фанфани и Пассерини, том i, стр. xcii.

[5] Elogia, глава 87.

В 1494 году, в день изгнания Медичи, Макиавелли был принят в канцелярию коммуны в качестве клерка; а в 1498 году он был назначен на должность канцлера и секретаря в *Совете свободы и ласе*. Это место он занимал лучшую половину пятнадцати лет, то есть в течение всего периода флорентийской свободы. Его дипломатические миссии, предпринятые по просьбе Республики, были очень многочисленными. Опуская менее важные, мы находим его в лагере Чезаре Борджиа в 1502 году, во Франции в 1504 году, с Юлием II в 1506 году, с императором Максимилианом в 1507 году и снова при французском дворе в 1510 году.[1] К этой сфере его общественной жизни относятся депеши и реляции, которые он отправлял домой, в синьорию Флоренции, его монография о резне в Синигалье, его трактаты о методах борьбы с Пизой, Пистойей и Вальдичьяной, а также те два замечательных исследования о зарубежных нациях, которые озаглавлены "*Ритратти делле Козе дель Алеманья и Ритратти-делле-Козе-ди-Франсия*". Кроме того, в 1500 году он заложил первые основы своей усовершенствованной военной системы. Политическая проницательность и патриотизм, за которые Макиавелли восхищались, нигде так не бросаются в глаза, как в проницательности, предложившей эту меру, и в неутомимом рвении, с которым он стремился претворить ее в жизнь. Размышляя о причинах слабости Италии при столкновении с такими нациями, как Франция, и сравнивая современную историю с древней, Макиавелли пришел к выводу, что повсеместное использование наемных

войск было главным секретом незащищенности Италии. Поэтому он задумал план создания национального ополчения и привлечения всего мужского населения на службу государству во время войны. Ему пришлось осторожно начать доводить этот план до сведения общественности, ибо оплотом системы наемничества были лень и роскошь бюргеров. Сначала он вынудил *Закон свободы и справедливости*, или военное министерство, потребовать службы по одному человеку на дом во всем флорентийском доминионе; но в то же время он приказал провести перепись всех мужчин, способных носить оружие. Его следующим шагом было принятие закона, по которому численность постоянного ополчения штата была установлена в 10 000 человек. Затем, в 1503 году, подготовив почву этими предварительными мерами, он обратился к Совету бюргеров с краткой речью, раскрыв принципы предлагаемой им реформы и взывая не только к их патриотизму, но и к их чувству самосохранения. Его целью было доказать, что оружие наемников должно быть обменено на национальное ополчение, если мы хотим сохранить свободу и независимость. Флорентийцы позволили убедить себя и, по рекомендации Макиавелли, проголосовали в 1506 году за новую магистратуру, названную *Новым порядком и Милицией*, для формирования рот, дисциплины солдат и поддержания ополчения в состоянии готовности к действительной службе.[2] Макиавелли стал секретарем этого совета; и с тех пор большая часть его времени тратилась на набор войск и практическое развитие его системы. Требуется близкое знакомство с итальянской военной системой четырнадцатого и пятнадцатого веков, чтобы понять важность этой реформы. Мы настолько привыкли к системам ополчения, воинской повинности и ландвера, посредством которых военная служба была национализирована среди современных народов, что нам нужно напрячь свое воображение, прежде чем мы сможем встать на точку зрения людей, для которых мера Макиавелли была гениальной новинкой.[3]

[1] Макиавелли никогда не носил титула посла в этих миссиях. Он работал секретарем. Его зарплата была мизерной. Мы находим, что он получал один дукат в день на содержание.

[2] Документы, относящиеся к учреждению *Нового Ордена и Милиции* к его деятельности в период с 6 декабря 1506 года по 6 августа 1512 года, вышедшие из-под пера Макиавелли, будут найдены напечатанными синьором Канестрини в *Архиве. История*. том xv. Стр. 377-453. Трактат Макиавелли "*О военном деле*", или "*Библиотека искусства гуэрры*", был работой его более поздней жизни; он был опубликован в 1521 году во Флоренции.

[3] Хотя Макиавелли заслуживает похвалы за эту военную систему, не следует забывать о роли Антонио Джакомини в ее внедрении. Питти в своей "*Жизни Джакомини*" (*Arch. Stor.* vol. iv. pt. ii. p. 241), говорится: "Авендо за будущее и продолжение фатто прова нелл фазииони и нелл батталья фанти дель доминио и делли эстерни, авева тропо на благо познания с точки зрения безопасности и могущества республики, служащей ее собственности, делли истрианиери". Макиавелли отправился комиссаром в лагерь Джакомини перед Пизой в августе 1505 года человек действия и человек теории пришли к соглашению: оба нашли в гонфалоньере Содерини главу республики, способного разделять их взгляды.

Следует признать, что новое ополчение оказалось неэффективным в трудную минуту. Возродить боевой дух нации, ослабшей от тирании и отдавшейся коммерции, просто гениальным ударом было не под силу даже Макиавелли. Когда Прато был разграблен в 1512 году, флорентийцы, лишенные войск, разделенные между собой и возглавляемые превосходным, но колеблющимся Пьеро Содерини, распахнули свои ворота перед Медичи. Джулиано, брат папы

Льва, и Лоренцо, его племянник, чьи статуи из бессмертного мрамора Микеланджело возвышаются на их могилах в Сан-Лоренцо, распоряжались республикой по своему усмотрению. Макиавелли, как военный министр антимедицинского правительства, был, конечно, опозорен и лишен своих назначений. В 1513 году его заподозрили в соучастии в колдовстве Пьетропаоло Босколи и Агостино Каппони, заключили в тюрьму Барджелло и пытали до четырех поворотов дыбы. Похоже, что он был невиновен. Лев X. освободил его по акту амнистии, принятому после того, как он надел тиару; и Макиавелли немедленно удалился на свою ферму близ Сан-Кашано.

Поскольку сейчас мы подходим к самому важному отрывку из биографии Макиавелли, возможно, было бы неплохо нарисовать из его частных писем картину жизни, на которую был обречен этот государственный деятель с беспокойным умом в уединении сельской местности.^[1] В письме от 10 декабря своему другу Франческо Веттори он пишет: "Я на своей ферме; и после моих последних неудач я не был во Флоренции двадцать дней. Я встаю с восходом солнца и иду в мой вырубаемый лес, где остаюсь на два часа, осматривая работу предыдущего дня и беседуя с дровосеками, у которых всегда какие-нибудь неприятности между собой или со своими соседями. Когда я выхожу из леса, я направляюсь к колодцу, а оттуда к месту, которое я использую для ловли птиц силками, с книгой под мышкой — Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из второстепенных поэтов, таких как Тибулл или Овидий. Я читаю историю их страстей, и пусть их любовь напоминает мне о моей собственной, что на некоторое время становится приятным времяпрепровождением. Затем я выхожу на дорогу, вхожу в дверь гостиницы, разговариваю с прохожими, расспрашиваю о местных новостях, слушаю самые разные сообщения и обращаю внимание на различные вкусы и настроение людей. Это подводит меня к обеду, когда я присоединяюсь к своей семье и ем плохие продукты со своей фермы. После ужина я возвращаюсь в гостиницу, где обычно нахожу хозяина, мясника, мельника и пару пекарей. С этими товарищами я весь день валяю дурака в карты или нарды: происходят тысячи ссор, тысячи оскорблений и оскорбительных диалогов, пока мы торгуемся из-за фартинга и кричим так громко, что их слышно в Сан-Кашано. Но когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и захожу в свою письменную комнату. На пороге я сбрасываю свою деревенскую одежду, запачканную грязью и слякотью, и облачаюсь в королевские придворные одежды; так достойно одетый, я вступаю в древние дворы людей древности, где меня принимают с любовью и где я питаюсь той пищей, которая принадлежит только мне и для которой я был рожден. Я не испытываю никакого стыда, разговаривая с ними и спрашивая их о причине их действий. Они, тронутые их человечностью, отвечают; в течение четырех часов я не чувствую раздражения, забываю обо всех заботах; бедность не пугает меня, и смерть не ужасает меня. Я увлечен их обществом. И поскольку Данте говорит, "что нет науки, если мы не сохраняем то, чему научились", я записал то, что почерпнул из их рассуждений, и составил трактат "*О принципе*", в котором я как можно глубже погружаюсь в науку об этом предмете, с рассуждениями о природе принципа, его нескольких видах и о том, как они приобретаются, как поддерживаются, как теряются. Если вам когда-либо нравились какие-либо из моих каракулей, это должно вам понравиться. Для принца, и особенно для нового принца, это должно оказаться приемлемым. Поэтому я посвящаю его Великолепии Джулиано".

^[1] Это письмо можно сравнить с другими, датированными примерно той же датой. In one (Aug. 3, 1514) he says: 'Ho lasciato dunque i pensieri delle cose grandi e gravi, non mi diletta più leggere le cose antiche, nè ragionare delle moderne; tutte si son converse in ragionamenti dolci,' etc. И снова он пишет (4 декабря 1514 г.): "Кто знает, что со мной происходит, кто знает, что такое счастье,

кто знает всю мою жизнь, кто знает, что такое разум, кто знает, что такое позор, что такое бесславие, что такое синус негодования, кто знает, что такое любовь". Позже мы можем заметить тот же язык. Thus (Feb. 5, 1515), 'Sono diventato inutile a me, a' parenti ed agli amici,' and (June 8, 1517) 'Essendomi io ridotto a stare in villa per le avversità che io ho avuto ed ho, sto qualche volta un mese che non mi ricordo di me.'

Далее в том же письме он пишет: "Я говорил с Филиппо Касавеккья об этой моей небольшой работе, должен ли я представить ее или нет; и если да, то должен ли я сам отправить или отнести ее ему. Я сомневался, стоит ли вообще представлять его, опасаясь, что Джулиано даже не прочтет его и что этот Ардингелли воспользуется моими последними трудами. С другой стороны, меня побуждает представить это преследующая меня необходимость, видя, что я поглощаю себя праздностью, и я не могу долго продолжать таким образом, не став презренным из-за бедности. Я бы хотел, чтобы эти синьоры Медичи начали как-нибудь использовать меня, хотя бы для того, чтобы заставить меня перекачивать камень.^[1] Если бы я впоследствии не привлек их к себе, я мог бы жаловаться только на себя. Что касается моей книги, то, если бы они прочитали ее, они бы поняли, что пятнадцать лет, которые я потратил на изучение государственного управления, не были потрачены впустую на сон или игру; и каждый должен быть рад использовать человека, который так наполнился опытом за счет других. В моей верности они не должны сомневаться. Всегда хранив веру, я не собираюсь учиться нарушать ее сейчас. Человек, который был верен и хорош в течение сорока трех лет, как я, вряд ли изменит свою натуру; и о моей верности и доброте достаточно свидетельствует моя бедность".

^[1] Compare the letter, dated June 10, 1514, to Fr. Vettori: 'Starommi dunque così tra i miei cenci, senza trovare uomo che della mia servitù si ricordi, o che creda che io possa esser buono a nulla. Ma egli è impossibile che io possa star molto così, perchè io mi logoro,' etc. Again, Dec. 20, 1514: 'E se la fortuna avesse voluto che i Medici, o in cosa di Firenze o di fuori, o in cose loro particolari o in pubbliche, mi avessino una volta comandato, io sarei contento.'

Это письмо, бесценное для изучающего труды Макиавелли, наносит ущерб его репутации. Это было написано всего через десять месяцев после того, как он был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам Медичи, всего через тринадцать месяцев после того, как республика, которой он так долго служил, была порабощена принцами, перед которыми он теперь пресмыкался. Это правда, что Макиавелли не был богат; его привычка к расточительности делала его состояние недостаточным для удовлетворения его потребностей.^[1] Это правда, что он с трудом переносил вынужденную праздность сельской жизни после того, как в течение пятнадцати лет занимался самыми важными делами Флорентийской республики. Но ни его бедность, которая, в конце концов, была лишь сравнительной, ни его бездеятельность, от которой он находил облегчение в учебе, не оправдывают тон заключения к этому письму. Когда мы читаем это, мы не можем не вспомнить язык другого изгнанника, который, пока он говорит нам, — другого изгнанника, который, пока он говорит нам, —

Приходите с нами на продажу,
Будьте альтруистами, и приходите на дурную улицу,
Знайте, что вы спасены по шкале альтруизма

— все еще может отвергнуть успехи своего мятежного города таким образом: "Если во Флоренцию нельзя войти с честью, нога моя никогда не ступит за ее стены. И что? Неужели я не

смогу ни под каким углом земли смотреть на солнце и звезды? неужели я не смогу под какой бы то ни было областью небес размышлять о сладчайших истинах, если только сначала не опозорюсь, нет, опозорюсь перед Флоренцией и ее народом? И хлеб, я ручаюсь, не подведет меня!" Если бы Макиавелли, который в этом самом письме Веттори цитировал Данте, вспомнил эти слова, они должны были бы упасть, как капли расплавленного свинца, на его душу. Но упадок века был таков, что, вероятно, он бы только пожал плечами и вздохнул: "Tempora mutantur, nos et mutamur в иллисе".

[1] Смотрите знакомое письмо от 10 июня 1514 г.

В некоторых отношениях Данте, Макиавелли и Микеланджело можно сказать, что Буонарроти были тремя величайшими умами, порожденными Флоренцией. Данте, находящийся в изгнании и в оппозиции, не желал иметь никаких отношений со своими гражданами. Микеланджело после осады работал на могилах Медичи для папы Климента в качестве подношения для укрепления Самминатио; в то время как Макиавелли умоляет, чтобы эти синьоры Медичи поставили его *ворочать камень*, если только так он сможет вырваться из бедности и серости. Мы должны помнить, что Микеланджело как художник был в неоплатном долгу перед Медичи за свое образование в садах Лоренцо. Более того, четверостишие, которое он написал для своей статуи Ночи, оправдывает нас в том, что мы рассматриваем эту часовню как кенотаф, созданный им в честь убитой Свободы. Макиавелли ничем не был обязан Медичи, которые опозорили и пытали его, и которым он противостоял во всех своих публичных выступлениях в течение пятнадцати лет. И все же, с каким даром он предстал перед ними как проситель, приползший к подножию их трона? Трактат "*О принципах*"; другими словами, знаменитый "*Principe*"; который, несмотря на то, что его неправильно истолковывают, как это могут захотеть сделать апологеты Макиавелли, или объясняют так, как обязан делать рациональный историк, все же несет яд на своих страницах. Вспоминая обстоятельства, при которых оно было составлено, мы можем оценить гордое смирение и безмерную гордыню посвящения. "Никколо Макиавелли Великолепному Лоренцо, сыну Пьеро де Медичи" - так гласит название. "Желая предстать перед вашим Великолепием с каким-нибудь доказательством моей преданности, я не нашел среди своей разнообразной мебели ничего, что я ценил бы больше, чем знание деяний великих людей, приобретенное мной благодаря долгому опыту в современных делах и постоянному изучению древних. Я долго и усердно прокручивал их в уме и теперь сжал в небольшую книжечку, которую посылаю вашему Великолепию. И хотя я считаю эту работу недостойной вашего присутствия, все же я уверен, что ваша человечность заставит вас ценить ее, если учесть, что я не мог бы сделать вам большего подарка, чем этот, позволивший вам за несколько часов понять то, чему я научился, преодолевая опасности и неудобства на протяжении долгих лет. ""Если ваше Великолепие соизволит когда-нибудь с вершины вашего роста обратить свой взор на мое низкое положение, вы узнаете, как несправедливо я вынужден терпеть великую и непрекращающуюся злобу фортуны ". Посвященная этому труду рукопись была отправлена для частного прочтения Великолепному. Она была опубликована только в 1532 году по приказу Климента VII, после смерти Макиавелли.

Я намерен приберечь "*Принципи*", считающийся высшим выражением итальянской политической науки, для отдельного изучения; и после введения к эссе Маколея о Макиавелли мне вряд ли нужно вдаваться в подробности обсуждения различных теорий, касающихся замысла этого трактата.[1] Тем не менее, это подходящее место для объяснения моего взгляда

на труды Макиавелли в связи с его биографией и для попытки соединить их в такое единство, какое мог создать столь строго логичный ум, как у него.

[1] Эссе Маколея, конечно, блестящее и всеобъемлющее. Я не согласен с его теорией итальянского деспота, как я объяснил на стр. 127 этого тома. Иногда он также прибегает к чисто сентиментальной риторике, как, например, когда он говорит о посвящении флорентийской истории Клименту: "Страдания и унижения зависимости, хлеб, который горше любой другой пищи, лестница, которая мучительнее любого другого подъема, не сломили дух Макиавелли. *Самая развращающая должность в развращающей профессии не развратила великодушное сердце Климента.*" Фраза, которую я выделил курсивом, возможно, и говорит правду о Церкви и папах в целом; но панегирик Клименту абсурден. Маколей, должно быть, смеялся про себя.

Что касается обстоятельств, при которых был написан "Принц", то уже сказано достаточно. Эгоистичная цель Макиавелли при изложении этого, на мой взгляд, очевидна. Он искал работу; он отчаялся в республике; он стремился предоставить правящим князьям убедительное доказательство своей способности к великим делам. Однако на этом основании не следует делать вывод, что *Принципи* был просто дешевой заявкой на должность. Напротив, в нем содержались самые зрелые и самые блестящие мысли Макиавелли, накопленные за долгие годы его государственной службы; и, как это ни странно, в нем воплотилась мечта философствующего патриота о возвращении Италии свободы. Флоренция, действительно, была потеряна. "Эти синьоры Медичи" были у власти. Но разве даже их нельзя было использовать для очищения священной земли Италии от варваров?

Если мы сможем попытаться проникнуть в глубины сознания Макиавелли на таком расстоянии во времени, мы можем предположить, что он пришел к выводу, что вольные города слишком коррумпированы для независимости. Единственным шансом Италии выстоять против великих держав Европы был союз под руководством принца. В то же время Утопия этого союза, которым он завершает *Принцип*, могла быть реализована только путем такой комбинации, которая либо нейтрализовала бы власть Церкви, либо приобрела бы Папу в качестве союзника по мотивам заинтересованности. Теперь, в период посвящения *Принципи* Лоренцо Медичи, Лев X стремился основать княжество в государствах Церкви.[1] В 1516 году он создал своего племянника герцогом Урбино, и считалось, что это было лишь прелюдией к еще большему величию. Флоренция в сочетании с Римом могла бы многое сделать для Италии. Тем временем Лео был еще молод, и его участия в самых амбициозных проектах следовало ожидать. Таким образом, момент был благоприятным для того, чтобы предложить Лоренцо встать во главе итальянского королевства, которое, объединившись под влиянием сильной воли одного монарха, могло бы справиться с нациями, более могущественными по численности и вооружению.[2] *Принципи*, следовательно, был добросовестно посвящен Медичи, и примечание, которым он заканчивается, не было фальшивым. Макиавелли надеялся, что то, чего Чезаре Борджиа только что не удалось достичь, Лоренцо Медичи с помощью более молодого папы, чем Александр, сможет укрепить свое княжество во Флоренции и взять под контроль состояние Церкви, обеспеченное политикой Юлия II. Можно усомниться в том, что такой знаток человеческих характеров, как Макиавелли, действительно многого ожидал от Лоренцо.

[1] Мы, однако, обязаны помнить, что Лев стал папой только в марте 1513 года, и что *Принципи* был почти завершен в декабре следующего года. Таким образом, Макиавелли нельзя приписать

то, что он знал так же хорошо, как мы знаем сейчас, до каких пределов могли дойти амбиции Медичи, когда он сочинял свой труд. Он написал в надежде, что это побудит их нанять его.

[2] Два длинных письма к о. Веттори (26 августа 1513 г.) и к Пьеро Содерини (без даты) следует изучать параллельно с "*Принсипи*", поскольку они проливают свет на высказанные там взгляды Макиавелли.

Эти обстоятельства делают мораль книги еще более примечательной. Преподавать политологию, лишенную банального лицемерия, было достойной целью. Но, стремясь обнажить пружины действия и отделить управление государством от морали, Макиавелли оказался вынужден признать систему перевернутой этики. Резкое разделение двух сфер, этической и политической, которое он предпринял, было чудовищным; и в конце концов он заменил человеческую природу бесчеловечностью. Не в силах избежать логики, которая связывает мораль того или иного рода с поведением, он придерживается ложного кодекса современной практики. Он верил, что правильный способ достичь такого блестящего результата, как освобождение Италии, - это действовать силой, хитростью, недобросовестностью и всеми мелкими уловками политического авантюриста. Общественная этика его времени опустилась до такого низкого уровня. Добиться успеха путем честных переговоров было невозможно. Игру в управление государством можно было вести только с помощью коварства и насилия. Даже явный гений Макиавелли был затемнен грязной средой интриг, в которой он работал всю свою жизнь. Даже его острая проницательность была ослеплена ложным великолепием авантюриста Чезаре Борджиа.

Сформулировать этику *Принсипи* - это не дьявольщина. В трактате нет изобретательного избытка озорства. Это просто справочник по принцкрафту, поскольку это искусство было широко распространено в Италии, где принципы общественной морали были переведены в термины материального обогащения, славы, наживы и величия. Никому и в голову не приходило судить людей по их мотивам, а по их практике; они считались не моральными, а политическими существами, ответственными, иными словами, не перед законом, а перед обязательством добиться успеха. Преступления, которые мы считаем ужасными, тогда одобрялись как великодушные, если можно было показать, что они были вызваны твердой волей и имели своей целью преднамеренный конец. Макиавелли и Паоло Джовио, например, оба восхваляют резню в Синигалье как шедевр искусства, не произнося ни слова в осуждение ее вероломства. Макиавелли насмехается над Джанпаоло Бальони за то, что у него не хватило смелости задушить своего гостя Юлия II и увенчать другие свои преступления этим знаменательным актом великодушия. Что означала добродетель в итальянском языке, мы уже видели. Единственным качеством, которое все презирали, была простота, однако она могла сочетаться с возвышенным гением и благородными целями. Именно потому, что Содерини был простодушен и имел доброе сердце, Макиавелли написал знаменитую эпиграмму "

Не забудь о мори Пьера Содерини"
"Альма и дельта ада алла бокка";
И Плутон ле гридо: Анима шокка,
Че за ад? va nel limbo de' bambini.

В ночь, когда умер Питер Содерини,
Его душа полетела в пасть ада:

"Что? Ад для тебя? Глупый дух! - воскликнул дьявол. - Твое место там, где живут младенцы.

Как в старину в Корчире, так и сейчас в Италии, "невинность, которая является основным компонентом подлинного благородства, была осмеяна и исчезла".^[1] Люди боялись не морального приговора общества, объявляющего их деградирующими в результате порочных или насильственных действий, а интеллектуальной оценки неспособности и клейма тупости. Они боялись прослыть в числе более слабых личностей; и спастись от этого презрения, совершая даже зверства, стало считаться мужественным поступком. Истина, которую упускали из виду почти все, заключалась в том, что высшая мудрость, первостепенная мужественность - это законопослушная честность, поступание правильно, потому что правильно есть правильно, пренебрегая последствиями. Ничто так отчетливо не проявляется в мемуарах Челлини, как этот момент, в то время как итальянские романы полны материалов, относящихся к той же теме. Поэтому нелепо предполагать, что итальянец судил о людях или поведении в каком-либо смысле в соответствии с нашими стандартами. Пинтуриккио и Перуджино считали, что нет ничего постыдного в том, чтобы работать на таких принцев, как Бальони, и на пап, таких как Александр VI. Лионардо да Винчи поставил свои таланты инженера на службу Чезаре Борджиа и использовал свой гений музыканта и художника для развлечения миланского двора, который, по словам Корио, должен был быть вопиюще и бесстыдно коррумпирован. Лео Баттиста Альберти, один из самых обаятельных и кротчайших личностей раннего Возрождения, точно так же одолжил свои архитектурные способности тщеславию беззаконного Сигизмондо Малатесты. Нет: *принцип* не противоречил общему тону итальянской морали; и Макиавелли нельзя справедливо обвинять в открытии нового адского метода. Концепция политики как простого искусства достижения целей сформировалась в его сознании благодаря изучению итальянской истории и социальных обычаев. Его идеализация Чезаре Борджиа и роман о Каструччо были первыми результатами теории, которую он сформировал, наблюдая за миром, в котором жил. *Принсипи* показал, что все было полностью организовано. Но то, что он добросовестно представил такое эссе деспотам своего родного города в тот конкретный момент своей карьеры и под давлением банального горя, является настоящим пятном на его памяти.

^[1] Thus. iii. 83. Весь отрывок о Корчире в третьей книге Фукидида (главы 82 и 83) буквально относится к моральному состоянию Италии в этот период.

Мы узнаем от Варчи, что Макиавелли ненавидели во Флоренции за его *Принсипи*, бедняки думали, что это научит Медичи лишать их чести, богатые рассматривали это как посягательство на их богатство, и оба видели в этом смертельный удар по свободе.^[1] Макиавелли вряд ли мог рассчитывать на это злонамеренное мнение, которое преследовало его до могилы: хотя в своем письме Веттори он выказал некоторые колебания по поводу уместности представления эссе Медичи, это было основано только на страхе, что конкурент присвоит себе заслуги за его труды. И снова он ни словом не обмолвился о том, что это была ловушка для поимки Медичи и совершения ими непростительных преступлений. Следовательно, мы можем заключить, что это объяснение цели *Principle* (которое, как ни странно, понравилось даже недавним критикам) было обнародовано либо им самим, либо его друзьями в качестве запоздалой мысли, когда он увидел, что работа не попала в цель, и в то время, когда он пытался скрыть гиперссылку MS. Бернардо Джунти в посвящении издания я полагаю, что Реджинальд Поул в 1532 году и

Реджинальд Поул в 1935 году были первыми, кто опубликовал эту причудливую теорию. Макиавелли не мог до 1520 года похвастаться патриотическим предательством, в котором его впоследствии обвинили, во всяком случае, настолько, чтобы потерять доверие семьи Медичи; ибо в том году кардинал Джулио де Медичи поручил ему написать историю Флоренции.

[1] *История Фиор.* lib. iv. cap. 15.

[2] См. Varchi, loc. cit. В этой связи следует изучить письмо, написанное Макиавелли о Гвиччардини из Карпи 17 мая 1521 года. К сожалению, оно слишком искажено, чтобы быть полностью понятным. Объяснив свое желание быть полезным Флоренции, но не тем способом, который больше всего одобряют сами флорентийцы, он говорит: "Мое кредо - найти истинный способ жить в Парадизо, передать дорогу Ада для беглянки".

The *Принципи*, после его посвящения Лоренцо, остался в MS., и Макиавелли не был нанят, несмотря на постоянные просьбы его друга Веттори.[1] Ему ничего не оставалось, как искать других покровителей и использовать свой досуг в новой литературной работе. Таким образом, между 1516 и 1519 годами мы находим его принимающим участие в литературных и философских дискуссиях Флорентийской академии, которые собирались в то время в садах Ручеллаи.[2] Именно здесь он прочитал свои Рассуждения о Первом десятилетии правления Ливия — серию глубоких эссе об управлении государством, текстами к которым служат высказывания римского историка. Изложив в "*Принципи* метод обретения или поддержания суверенной власти, он показывает в "*Дисcorsi*", какие институты необходимы для сохранения политического тела в состоянии активной деятельности. Следовательно, мы можем рассматривать *Discorsi* как в некотором смысле продолжение *Principe*. Но мудрость ученого политика больше не предоставляется в распоряжение суверена. Он обращается ко всем членам государства, которые заинтересованы в его процветании. Таким образом, враги Макиавелли смогли намекнуть, что после проповеди тирании в одном памфлете он изложил принципы противостояния тирану в другом, изменив направление ветра.[3] Истина здесь также заключается в критическом и научном качестве метода Макиавелли. Он довольствовался тем, что читал лекции либо князьям, либо бюргерам о политике как искусстве, изучению которого он приложил немало усилий, в то время как его интерес к демонстрации принципов делал его в какой-то мере безразличным к их применению.[4] Фактически, используя емкие слова Маколея, "принц отслеживает прогресс амбициозного человека, Рассуждает о прогрессе амбициозного народа". Те же принципы, на которых в первой работе объясняется возвышение личности, применяются во второй к более длительным и сложным интересам общества".

[1] Политические письма, адресованные Франческо Веттори в Рим и предназначенные, вероятно, для ока Льва X., были написаны в 1514 году. Речь, адресованная Льву, *sulla riforma dello stato di Firenze*, может быть отнесена, возможно, к 1519 году.

[2] Of these meetings Filippo de' Nerli writes in the Seventh Book of his Commentaries, p. 138: 'Avendo convenuto assai tempo nell' orto de' Rucellai una certa scuola di giovani letterati e d' elevato ingegno, infra quali praticava continuamente Niccolò Machiavelli (ed io ero di Niccolò e di tutti loro amicissimo, e molto spesso con loro convirsavo), s' esercitavano costoro assai, mediante le lettere, nelle lezioni dell' istorie, e sopra di esse, ed a loro istanza compose il Machiavello quel suo libro de' discorsi sopra Tito Livio, e anco il libro di que' trattati e ragionamenti sopra la milizia.'

[3] См. Питти, "Апология Каппуччи", *Арх. История.* том iv. часть ii. стр. 294.

[4] Посвящение *Дискорси* содержит фразу, напоминающую слова Макиавелли о *Принсипи*: "Главное в квелло, ио эспрессо, кванто ио так, и кванто ио, ио импарато в соответствии с лунной практикой и непрерывным поведением бога".

Семь книг по военному искусству можно с уверенностью отнести к тому же периоду жизни Макиавелли. Вероятно, они были написаны в 1520 году. Если мы осмелимся соединить досужие труды историка, согласно предложенному выше плану, этот трактат является дополнением к *Principle* и *Discorsi*. Как в своем анализе успешного тирана, так и в описании могущественного государства он настаивал на первостепенной необходимости ведения войны лично народом и его правителями. Военная организация великого королевства разрабатывается здесь в отдельном Очерке, и систематически излагается любимая схема Макиавелли по национализации ополчения Италии. Легкомысленное возражение Джовио о том, что философ не мог на практике управлять ни одной компанией, не является реальной критикой достоинств его теории.

К этому времени Медичи решили снискать расположение Макиавелли; и поскольку он выразил желание попасть хотя бы в "Роллинг Стоунз", они нашли для него тривиальную работу. Пришлось просить францисканцев в Карпи организовать отдельную провинцию их Ордена во флорентийских владениях; и ведение этого важного дела было поручено бывшему секретарю при дворах Максимилиана и Людовика. Несколько других миссий в последние годы его жизни были возложены на Макиавелли; но ни одна из них не имела большого значения; и когда в 1527 году было учреждено народное правительство, он не настолько восстановил доверие флорентийцев, чтобы вернуться к своей старой должности военного министра. Этот пост, учитывая его недавний союз с партией Медичи, он вряд ли мог ожидать получить; и поэтому маловероятно, что известие об избрании Джанотти вообще способствовало его смерти.[1] Разочарование, которое он, возможно, действительно испытывал: его моральная сила была растрачена в течение пятнадцати лет в попытке завоевать расположение принцев, которые теперь снова считались врагами своей страны. Когда республика была наконец восстановлена, он не оказался ни в том, ни в другом лагере. Предложения, которые он сделал Медичи, были приняты весьма холодно; однако они пользовались достаточной известностью, чтобы навлечь на него подозрение патриотов. Он не действовал искренне в соответствии с заповедью Полония: "Это превыше всего — быть верным самому себе". Его интеллектуальные способности, не сдерживаемые достаточной политической последовательностью или моральным возвышением, поместили его в число изгоев: — последовательность или моральное возвышение, поместили его в число изгоев: —
че не фурон рибелли,
Не фур феделли Дио, ма за себя.

Большим достижением этих лет стал состав "*Истории Фиорентины*". Заказ на эту работу он получил от Джулио де Медичи через студию *Officiali dello* в 1520 году с ежегодным пособием в размере 100 флоринов. В 1527 году, в год своей смерти, он посвятил законченную Историю папе Клименту VII. Этот шедевр литературного искусства, хотя его и можно обвинить в неточности и поверхностности,[2] знаменует эпоху в развитии современной историографии. Следует помнить, что она на несколько лет предшествовала великому труду Гвиччардини и что до даты ее появления итальянские летописцы довольствовались записями событий, личными впечатлениями и критикой определенных периодов. Макиавелли был первым, кто рассмотрел

жизнь нации в ее непрерывности, проследил действие политических сил через сменяющие друг друга поколения, сопоставил действия отдельных людей с эволюцией причин, над которыми они имели лишь слабый контроль, и прояснил основные черты национальной биографии путем исключения сравнительно несущественных деталей. Применяв таким образом философский метод к истории, Макиавелли обогатил науку о человечестве новым разделом. В его взгляде на национальное существование есть нечто, недоступное даже самому глубокому из классических историков. Его стиль адекватен предмету его работы. Никогда еще ясные и определенные мысли не выражались с большей точностью языком более мужской силы. Характеризуя этот стиль, мы непреодолимо вынуждены думать о запасных сухожилиях тренированного гладиатора. Хотя Макиавелли был поэтом, он не балуется риторическими украшениями.^[3] Его изображения, редкие и тщательно подобранные, кажутся необходимыми для мыслей, которые они иллюстрируют. Хотя он философ, он никогда не пускается в рассуждения. Факты и опыт настолько тщательно спрессованы в его сознании, что его широчайшие обобщения имеют реальное содержание. Элемент нереальности, если таковой существует, возникает из-за неправильного представления о человеческой природе. Макиавелли, по-видимому, изучал людей только в массах или как политические инструменты, но никогда как чувствующих и мыслящих личностей.

[1] См. Varchi, loc. cit.

[2] Смотрите критические замечания Аммирато и Романьози, цитируемые Канту, *Итальянская литература*, стр. 187.

[3] Мне придется поговорить в другом месте о комедиях Макиавелли, случайных стихотворениях, романе "Бельфегор" и т.д.

Макиавелли, согласно письму, адресованному его сыном Пьетро Франческо Нелли, умер от дозы лекарства, принятого не вовремя. На смертном одре его сопровождал монах, который принял его исповедь. Его личная мораль была весьма безразлична. Его презрение к слабости и простоте было нескрываемым. Его знание мира и людей превратилось в цинизм. Холодная философия, выраженная в его политических эссе, и саркастические речи, в которых он давал выход своему кислому юмору, сделали его непопулярным. Предполагалось, что он умер с богохульством на устах, превратив все святости человеческой природы в посмешище. Сквозь эти мифы, как сквозь туман, мы можем различить горечь этой великой, разочарованной души. Пустыня, в которой блуждают духи типа Макиавелли, слишком засушлива и воздушна для обитания грубых субстанциальных жуков вульгарной совести. Более того, как говорит Варчи, "В разговоре Макиавелли был приятен, услужлив со своими друзьями, другом добродетельных людей и, одним словом, достоин того, чтобы получить от природы либо меньшую гениальность, либо лучший ум".

ГЛАВА VI.

"ПРИНЦ" МАКИАВЕЛЛИ.

Искренность Макиавелли в этом эссе—Макиавеллизм—Его преднамеренная формулировка циничной политической теории—Анализ принца—Девять условий существования княжеств—Интересы Завоевателя, признанные единственным мотивом его политики—Критика Людовика XII.—Феодальная монархия и восточный деспотизм—Три способа подчинения свободного города—Пример Пизы—Княжества, основанные авантюристами—Моисей, Ромул, Кир, Тесей—Савонарола—Франческо Сфорца—Чезаре Борджиа— Личное отношение Макиавелли к нему—Восхищение Макиавелли гением Чезаре—Очерк карьеры Чезаре—О тех, кто достиг Власти преступлениями—Оливеротто да Фермо—Применение жестокости—Мессер Рамиро д'Орко—Пессимистическая мораль Макиавелли—О вере принцев—Александр VI.—Политика казаться добродетельным и честным—Отсутствие рыцарских чувств в Италии—Военная система могущественного принца—Критика наемников и вспомогательных сил—Необходимость национального ополчения—Искусство о войне—Патриотическое завершение трактата—Макиавелли и Савонарола.

После того, что уже было сказано об обстоятельствах, при которых Макиавелли составил "*Принципи*", мы вправе рассматривать его как искреннее выражение его политической философии. Интеллект ее автора был в высшей степени аналитическим и позитивным; он хорошо знал, как ограничить себя в самых строгих рамках выбранной им темы. В *Принципи* его целью было не написать нравственный трактат, а с научной точностью изложить искусства, которые он считал необходимыми для успеха абсолютного правителя. Поэтому мы можем принять это эссе как наиболее глубокое и ясное изложение принципов, которыми руководствовались итальянские государственные деятели в шестнадцатом веке. То, что макиавеллизм существовал до Макиавелли, теперь стало прописной истиной. Джан Галеаццо Висконти, Людовик XI Французский, Фердинанд Католик, Папская курия и Венецианский совет систематически проводили политику, изложенную в главах "*Принца*". Но не менее верно и то, что Макиавелли был первым в наше время, кто сформулировал теорию правления, в которой учитываются интересы только правителя, которая предполагает разделение между управлением государством и моралью, которая признает силу и обман среди законных средств достижения высоких политических целей, которая делает успех единственным критерием поведения и которая предполагает коррупцию, продажность и низость человечества в целом. Именно это возбудило враждебность Европы против Макиавелли, как только принц получил широкое распространение. Народы, привыкшие скорее к монархической, чем к деспотической форме правления, возмущались систематическим изложением искусства тирании, которое издавна практиковалось итальянцами. Жители Севера, чьи моральные устои все еще были сильны и которые сохранили уважение к общепринятой религии, не могли мириться с цинизмом, с которым Макиавелли анализировал свой предмет с чисто интеллектуальной точки зрения. Его имя стало притчей во языцех. "Я Макиавеллист?" - спрашивает ведущий в "*Веселых женах Виндзора*". Марлоу заставляет призрак великого флорентийца говорить прологом к *мальтийскому еврею* так:

Я считаю религию всего лишь детской игрушкой,
И считаю, что нет греха, кроме невежества.

Когда в Италии началась контрреформация и предпринимались отчаянные попытки обуздать спекулятивную свободу эпохи Возрождения, *Принципи* был осужден инквизицией. Тем временем ходили слухи, что испанские принцы и сыновья Екатерины Медичи на троне Франции пользовались ее страницами точно так же, как руководство по токсикологии могла бы изучать маркиза де Бринвилье. Макиавелли стал козлом отпущения за великие политические преступления; и во время религиозных войн шестнадцатого века не было недостатка в фанатиках, которые приписывали такие зверства, как Резня Святого Варфоломея, его пагубному влиянию. И все же эта книга на самом деле была не более и не менее как критическим сборником фактов об Италии, в высшей степени сжатым изложением политического опыта. В нем, как в зеркале, мы можем изучать черты итальянского деспота, который благодаря авантюре или наследству унаследовал управление королевством. В то же время установленные здесь политические принципы - это те, которыми руководствовались Венецианский совет и Папский двор, не в меньшей степени, чем действия Сфорца или Борджиа на пути к власти. Таким образом, это документ высочайшей ценности для иллюстрации итальянской совести в отношении политической морали.

"*Принципи*" начинается с заявления о том, что все формы правления могут быть классифицированы как республики или княжества. Некоторые из последних являются наследственными, другие - приобретенными. Из княжеств, приобретенных при жизни правителя, некоторые являются совершенно новыми, как Милан при Франческо Сфорца; другие присоединены к наследственным королевствам, как Неаполь к Испании. Опять же, такие приобретенные государства ранее привыкли либо к правлению одного человека, либо к самоуправлению. В конце концов, они побеждаются либо с помощью собственной армии завоевателя, либо с помощью чужих армий, либо благодаря удаче или способностям.^[1] Таким образом, с самого начала установлены девять условий, при которых могут рассматриваться княжества.

[1] Слово *Virtù*, которое я сумел перевести, почти эквивалентно греческому [греческий: *aretê*], до того как оно получило моральное определение, или римскому *Virtus*. Это очень далеко, как будет видно из продолжения "*Принципа*", от обозначения того, что мы подразумеваем под Добродетелью.

Короткую главу, посвященную Макиавелли наследственным княжествам, можно пропустить мимо ушей как сравнительно неважную. Характерно для итальянской политики, что единственным примером такой формы правления в Италии, который он приводит, является герцогство Феррара. В шестнадцатом веке государства и города так часто меняли владельцев, что ученый политик имел полное право ограничивать свое внимание методом создания и сохранения княжеств, приобретенных силой. Переходя к рассмотрению этого класса, Макиавелли переходит к действительному предмету своего эссе. Первый случай, который он обсуждает, - это случай принца, завоевавшего владения, которые он хочет как можно прочнее объединить со своими наследственными государствами. Новая территория может либо принадлежать той же национальности и языку, что и старые владения, либо нет. В первом случае будет достаточно уничтожить всю линию древних правителей и позаботиться о том, чтобы ни законы, ни повинности провинции существенно не изменились. Затем, со временем, благодаря естественной коалиции, оно станет частью старого королевства. Но если приобретенное владение будет отличаться по языку, обычаям и традициям от старого, тогда для завоевателя возникает реальная трудность. Чтобы укрепить свою империю и приучить

своих новых подданных к своему правлению, Макиавелли рекомендует ему либо поселиться в покоренной провинции, либо основать по всей ней колонии, но он ни в коем случае не должен полагаться только на гарнизоны. "Колонии, - замечает он, - не обходятся государю дорого, более лояльны и наносят меньше оскорблений подвластным государствам; те, кому они могут причинить вред, будучи бедными и рассеянными, лишены возможности причинять вред. Ибо следует заметить, что людей следует либо ласкать, либо растоптать, видя, что мелкие обиды могут быть отомщены, тогда как крупные уничтожают возможность возмездия; и поэтому ущерб, который должен быть нанесен, должен быть таким, чтобы не нужно было бояться мести ". Я цитирую этот отрывок как образец прямого и научного подхода Макиавелли к самым бесчеловечным потребностям государственного управления, как это было задумано им самим.[1] Он не прибегает к лицемерным оправданиям, чтобы замаскировать эгоизм завоевателя. Он даже не претендует на то, что принимает во внимание какие-либо интересы, кроме интересов амбициозного принца. Он обращается с человечеством так, как если бы оно было мрамором, из которого политический художник должен высечь форму, наиболее понравившуюся его фантазии. Он подсчитывает точную величину угнетения, которое сделает нацию неспособной к сопротивлению и избавит победителя от хлопот в его работе по созданию могущественного королевства для его собственного возвеличивания.

[1] Справедливо привлечь внимание к сильным выражениям, использованным Макиавелли в "Дискурси", lib. i. глава 18 и глава 26, о подлости и бесчеловечности, на которые осужден стремящийся к тирании.

На то, что Макиавелли говорит о смешанных княжествах, указывает тщательная критика итальянской политики Людовика XII. Французский король имел хорошо известные претензии на Миланское герцогство, которые венецианцы убеждали его удовлетворить. Они предложили объединить силы и разделить завоеванную провинцию Ломбардия. Макиавелли не винит Людовика за то, что он принял это предложение и действовал заодно с Республикой. Его ошибки начались в тот момент, когда он овладел Миланом, Генуей и большинством городов Северной Италии. Тогда его истинной политикой было уравновесить Венецию и Рим, установить протекторат над второстепенными государствами и не допускать в Италию всех опасных соперников. Вместо того чтобы действовать таким образом, он передал Романью в руки папы римского и разделил Неаполь с королем Испании. "Людовик действительно, - заключает Макиавелли, - был виновен в пяти серьезных ошибках: он разрушил надежды своих многочисленных и слабых союзников; он увеличил власть, и без того слишком большую, папства; он ввел иностранного монарха; он пренебрег проживанием в Италии; он не основал никаких колоний для поддержания своей власти. Если мне скажут, что Людовик поступил столь неосмотрительно по отношению к Александру и Фердинанду, чтобы избежать войны, я отвечу, что в каждом случае ошибка была настолько серьезной, насколько может быть серьезна любая война по своим результатам. Если мне напомнят о его обещании папе, я отвечу, что принцы должны знать, как и когда нарушить свою веру, что я и намерен доказать. Когда я был в Нанте, кардинал Руанский сказал мне, что итальянцы не знают, как вести войну: я возразил, что французы не разбираются в управлении государством, иначе они не позволили бы Церкви получить такую большую власть в Италии. Опыт показал, что я был прав, ибо французы сами погубили себя, возвеличив папство и присоединив Испанию к Неаполитанскому королевству".

В этой критике заключена сама суть политической проницательности. Она раскрывает секрет неспособности французов при Карле, Людовике и Франциске утвердиться в Италии. Парадные

походы, какими бы блестящими они ни были, временные завоевания, перекрестные союзы и кровавые победы не укрепляют королевство. Они разрушают государства и причиняют страдания народам, но их последствия проходят, итак называемые завоеватели оказываются в худшем положении, чем они были раньше. Италия была обречена на разорение этими непоследовательными мародерами, которые никогда не пытались с помощью внутренней организации основать существенную империю, пока на полуострове не был положен конец испанскому владычеству, и Австрия не получила путем браков то, чего Франция не смогла добиться силой оружия.

Четвертая глава "*Принципи*" посвящена параллели между монархиями и деспотизмами, которая интересна главным образом тем, что показывает, что Макиавелли ценил стабильность королевств, основанных на феодальных устоях. Франция выбрана в качестве лучшего примера одного, а Турция - в качестве другого. "Всей турецкой империей управляет один господин; остальные - его слуги; он делит свое королевство на сатрапии, в которые назначает разных администраторов, которых меняет по своему усмотрению. Но король Франции находится в центре освященного веками сообщества лордов, признанных таковыми своими подданными и любимых ими; у них есть свои собственные прерогативы, и король не может лишить их их без риска. "Отсюда следует, что принц, однажды свергнувший деспота, находит в своих руках правительственный механизм и группу подчиненных министров; в то время как тот, кто может свергнуть монарха, должен немедленно иметь дело со множеством независимых правителей, слишком многочисленных, чтобы уничтожить, и слишком гордых, чтобы примирить.

Теперь Макиавелли переходит к обсуждению наилучшего метода подчинения свободных городов, которые были приобретены князем. По его словам, есть три способа сделать это. - Первый - полностью уничтожить их; второй - править ими лично; третий - оставить им их конституцию под управлением выбранной вами олигархии и довольствоваться данью. Но, по правде говоря, единственный безопасный способ - это уничтожить их ". Это очень похоже на совет, который старый паук мог бы дать молодому: когда вы поймали большую муху, сразу же высосите ее; во всяком случае, высосите из нее столько крови, сколько сделает ее бессильной разорвать вашу паутину, и питайтесь ею потом на досуге. Затем он продолжает излагать свои доводы. "Тот, кто становится хозяином города, привыкшего к свободе, и не разрушает ее, должен быть готов к тому, что она сама погубит его, потому что это имя Свободы, эти древние обычаи Свободы, которые никакие годы и никакие выгоды не могут стереть с лица земли в сознании нации, которые не могут быть искоренены никакой предусмотрительностью или никакими усилиями, если только сами граждане не будут сломлены или рассеяны, всегда будут объединяющим фактором для революции, когда представится такая возможность". На эту потрясающую мораль, благодаря которой, надо отдать справедливость Макиавелли, проявляется энтузиазм патриота, указывает пример Пизы. Пиза, столетие находившаяся под пятой Флоренции — ее порты закрыты, ее поля заброшены из—за болотной лихорадки, ее гражданская жизнь угасла, ее искусства и науки подавлены, - все же не была полностью разрушена в истинном смысле обезлюдения или расчленения. Поэтому, когда Карл VIII в 1494 году вступил в Пизу и оратор Орланди схватил его за королевскую мантию и умолял вернуть ей свободу, это слово, единственное слово, которое толпа смогла уловить в его петиции, воспламенило нацию: львы и лилии Флоренции были стерты с общественных зданий; Марзокко был сброшен с колонны на набережной в Арно; и в одно мгновение мертвая республика пробудилась к жизни. Поэтому, утверждает Макиавелли, жизнеспособность свободного государства настолько непоколебима, что благоразумный завоеватель полностью уничтожит

его или будет править им лично железным прутом. Следует помнить, что это совет Макиавелли, флорентийского патриота, Лоренцо Медичи, флорентийскому тирану, который недавно воссел на шею этой неудержимой республики.

До сих пор мы рассматривали, каким образом государство, приобретенное завоевателем, должно быть объединено с его предыдущими владениями. Следующий раздел рассуждений Макиавелли, безусловно, самый интересный. В нем говорится о княжествах, созданных оружием, личными качествами и удачей авантюристов. Только Италия в шестнадцатом веке представила примеры этих тираний: следовательно, та часть *Принципи*, которая связана с ними, представляет особый интерес для исследователей эпохи Возрождения. Макиавелли начинает с основателей королевств, которые мало чем были обязаны судьбе и полагались на свои собственные силы. Приведенный им список, если его проверить с помощью современных представлений об истории, мягко говоря, любопытен. В него входят Моисей, Кир, Ромул и Тесей. Упомянув сначала Моисея, Макиавелли продолжает объяснять, что, хотя мы должны рассматривать его просто как инструмент Божьего замысла, принципы, на которых действовали другие основатели, "не отличались от тех, которые Моисей перенял у столь выдающегося учителя". То, чем эти люди по отдельности были обязаны судьбе, было всего лишь поводом для демонстрации того величия, которое было в них. Моисей застал народ Израиля поработанным в Египте. Ромул был изгнанником из Альбы. Киру пришлось иметь дело с персидским народом, уставшим от империи женоподобных мидян. Тесей взялся объединить разрозненные элементы афинской нации. Таким образом, у каждого из этих основателей была предусмотрена возможность, воспользовавшись которой он смог проявить свои выдающиеся качества.

Достижение в каждом случае впоследствии было обусловлено исключительно его собственными способностями, и завоевание, которого он добился с трудом, было сохранено с легкостью. Это исключение не лишено практического значения, как будет видно, когда мы перейдем к применению всей аргументации к дому Медичи в заключении трактата. Между тем первоначальные препятствия, которые приходится преодолевать новатору, огромны.

"Страстными врагами у него являются все те, кто процветает при старом порядке, друзьями - те, кто мог бы процветать при новом; но они равнодушны, отчасти из-за страха перед своими противниками, на стороне которых установленные закон и право, отчасти из-за недоверия, которое мешает людям верить в то, что ново и непроверено". Поэтому становится необходимым, чтобы новатор был подкреплён силой, чтобы он был в состоянии командовать, а не обязан просить помощи. Вот причина, по которой все пророки, которые использовали оружие для навязывания своих откровений, добились успеха, и почему те, кто верил только в свое личное господство, потерпели неудачу. Моисей, конечно, является ярким примером успешного пророка. Савонарола приводится как примечательный пример реформатора, "который потерпел крах в своей новаторской работе, как только толпа потеряла в него веру, поскольку у него не было средств укрепить веру тех, кто верил, или заставить поверить неверующих". В этой критике Макиавелли остается верен своей позитивной и научной философии природы человека. Он не допустит, чтобы в мире существовали другие постоянные силы, кроме расчетливых способностей решительных людей и мощи, проистекающей из физических сил.

Среди выдающихся примеров итальянских основателей, которые достигли княжеской власти благодаря своим способностям или воспользовавшись преимуществами, предоставленными им судьбой, Макиавелли выделяет Франческо Сфорца и Чезаре Борджиа. Первое - примечательный пример успеха, достигнутого чистой *добродетелью*: "Франческо, используя правильные средства и свои собственные исключительные способности, поднялся из ранга

частного лица до герцогства Миланского и с легкостью сохранил мастерство, приобретенное с бесконечным трудом". Чезаре, с другой стороны, иллюстрирует как силу, так и слабость *фортуны*: "он приобрел свое господство благодаря положению своего отца, и когда он потерял его, он также потерял свою власть, несмотря на то, что приложил все усилия и сделал все, что должен делать благоразумный и способный человек, чтобы прочно утвердиться в тех государствах, которые другие предоставили в его распоряжение". Нет необходимости подробно останавливаться на карьере Франческо Сфорца. Не он, а Чезаре Борджиа является героем Макиавелли в этом трактате, примером, из которого он извлекает уроки как подражания, так и избегания в интересах Лоренцо Медичи. Следует помнить, что Лоренцо, как и Чезаре, должен был бы начать с церковного благополучия в той честолюбивой карьере, к которой его подстрекает Макиавелли. В отличие от Франческо Сфорца, он был не простым солдатом-авантюристом, а принцем, рожденным в пурпуре и обязанным использовать те неопределенные преимущества, которые он извлекал из своего положения во Флоренции и из благосклонности своего дяди, папы римского. Таким образом, герцог Валентино, который в одно и то же время является для Макиавелли идеалом благоразумия и мужества в ведении дел, а также главным примером неустойчивости фортуны, снабжает философа всем необходимым для руководства своим выдающимся учеником. С герцогом Валентино Макиавелли вел интимную беседу, и нет никаких сомнений в том, что его воображение было ослеплено блестящими интеллектуальными способностями этого законченного мошенника. Отправленный в 1502 году Флорентийской республикой наблюдать за операциями Чезаре в Имоле с секретными инструкциями давать герцогу ложные обещания в надежде получить информацию, на которую можно было положиться, Макиавелли получил редкое удовольствие от игры в политическое экартез с самым тонким и беспринципным дипломатом своего времени. Он был свидетелем его ужасного, но благотворного управления Романьей. Он присутствовал при убийстве вождей группировки Орсини в Синигалье. Чезаре доверил ему, или сделал вид, что доверяет, свои личные амбиции, а также мотивы и меры своей тайной политики. В день избрания папы Юлия II. он выложил перед флорентийским секретарем всю свою прошлую историю и указал на единственную слабость, виновником которой считал себя. В этих испытаниях мастерства и в этом обмене доверием невозможно сказать, кто из двух игроков был более обманут. Но Макиавелли чувствовал, что Борджиа снабдил его совершенным образцом для изучения искусства управления государством; и это произвело на него такое глубокое впечатление, что даже после полного провала замыслов Чезаре он сделал его героем рассматриваемого нами политического романа. Его художественное восприятие совершенного и прекрасного, как в беспринципном поведении, так и в холодном расчете конфликтующих интересов, было удовлетворено устойчивым эгоизмом, упорным вероломством, глубоким недоверием к людям, самообладанием при осуществлении опасных замыслов, умеренным и преднамеренным применением жестокости для достижения определенных целей, которые он наблюдал в молодом герцоге и которые он идеализировал в своем *Принципи*. Эта природа саламандры, приспособившейся к своей стихии огня, "решительного ангела, наслаждающегося пламенем", для которого не было ничего святого, которого ничто не могло утешить, который ни на мгновение не приносил разум в жертву страсти, который был неспособен к слабости или утомлению, очаровала воображение Макиавелли. Моральные качества этого человека, низменные устои, на которых он воздвиг свою власть, невыразимые скандалы его личной жизни и ненависть всего христианского мира были ничтожны. Подобные соображения, в соответствии с условиями его предмета, должны были быть устранены до того, как он взвесит интеллектуальные качества авантюриста. "Если принять во внимание все достижения герцога,

— говорит Макиавелли, — то окажется, что он создал огромную основу для своей будущей власти; и я не знаю, какие наставления я мог бы преподать государю при его вступлении в должность лучше, чем те, которые можно извлечь из его примера". Именно так Макиавелли, гражданин, обращается к Лоренцо, тирану Флоренции. Он говорит ему: иди и поступай так же. И что же тогда это за "так же"?

Чезаре, будучи сыном папы римского, не на что было рассчитывать, кроме влияния своего отца. Сначала он намеревался использовать это влияние в Церкви; но после убийства своего старшего брата он сбросил с себя кардинальскую мантию и провозгласил себя политическим претендентом. Его отец не мог сделать его лордом какого-либо государства, если только это не была часть территории Церкви; и хотя, создав, как он это сделал, двенадцать кардиналов за один день, он добился от Священной коллегии санкции на инвеституру герцогства Романья, все же и Венеция, и Милан были против этого плана. И снова возникла трудность с великими баронскими домами Орсини и Колонна, которые в то время возглавляли все наемные войска Италии и которые, как римские аристократы, питали естественную ненависть к папе. Необходимо было воспользоваться их помощью в приобретении княжества Чезаре. Не менее необходимо было потакать их враждебности. В этих обстоятельствах Александр счел за лучшее пригласить французского короля в Италию, договорившись с Людовиком, что тот расторгнет свой брак в обмен на защиту, предоставленную Чезаре. Фракция Колонны тем временем должна была быть разгромлена, а Орсини польщен. Чезаре с помощью своих французских союзников и капитанов Орсини овладел Имолой и Фаэнцей, а оттуда двинулся на Романью. В этом предприятии он преуспел в полной мере. С самого раннего периода итальянской истории Романья была гнездом мелких тиранов, которые плохо управляли и не поддерживали мир в своих владениях. Поэтому города лишь вяло сопротивлялись Чезаре и вскоре были более чем довольны завоевателем, который ввел хорошую систему отправления правосудия. Но теперь возникли две трудности. Покорение Романьи было осуществлено с помощью французов и Орсини. Чезаре еще не сформировал собственного ополчения, и его союзники начинали что-то подозревать. Орсини проявили некоторую небрежность в Фаэнце; и когда Чезаре стал хозяином Урбино и укрепился в Тоскане, захватив Пьомбино, завоевания которого он завершил в 1500 и 1501 годах, Людовик начал ему завидовать. Проблема для герцога заключалась в том, как избавиться от двух сил, с помощью которых он приобрел прочную основу для своего будущего княжества. Его первым шагом было подкупить кардинала д'Амбуаза, чье влияние при французском дворе было огромным, и таким образом на некоторое время сохранить свой кредит у Людовика на плаву. Его вторая задача состояла в том, чтобы нейтрализовать власть Орсини, частично натравив их на Колонези, а частично заменив их в качестве капитанов. Ради последней цели он стал собственным кондотьером, привлекая под свои знамена соблазном щедрого жалованья всю мелкую знать римской Кампании. Таким образом, он собрал свои собственные силы и смог обойтись без небезопасной помощи наемных войск. На этом этапе его карьеры Орсини, обнаружив, что он обосновался в Романье, Урбино и частично в Тоскане, в то время как их собственные силы были на исходе, решили, если возможно, остановить карьеру этого грозного тирана путем убийства. Следствием этого стал заговор, известный как "Диета Ла Маджоне". В этом заклинании приняли участие кардинал Орсини, Паоло Орсини, его брат и глава великого дома, а также Вителлоццо Вителли, сеньор Читта-ди-Кастелло, Бальоне из Перуджи, Бентивольо из Болоньи, Антонио да Венассо из Сиены и Оливеротто да Фермо, каждый по отдельности. Результатом их махинаций против общего врага стало то, что Чезаре на мгновение потерял Урбино и был почти свергнут в Романье. Но

французы помогли ему, и он выстоял. И все же было невозможно поверить, что Людовик XII. позволил бы ему беспрепятственно продвигаться в своей завоевательной карьере; и пока он оставался между французами и Орсини, его положение по необходимости было ненадежным. Первый должен был быть отброшен, второй - искоренен; и все же у него не хватило силы вести открытую игру. "Поэтому он, - говорит Макиавелли, - обратился к хитрости и продемонстрировал такое мастерство в притворстве, что Орсини при посредничестве Паоло снова стали его друзьями". Жестокость Чезаре Борджиа могла сравниться только с его хитростью; и именно благодаря высочайшему применению своей силы обаяния он заманил врагов, которые замыслили против него заговор в Ла Маджоне, в свою ловушку в Синигалье. Паоло Орсини, Франческо Орсини, герцог Гравина, Вителлоццо Вителли и Оливеротто да Фермо - все они были воинами, привыкшими к интригам и кровопролитию, и не один из них был запятнан преступлениями самого жестокого вероломства. Однако искусство Чезаре Борджиа было таково, что в 1502 году ему удалось собрать их, отдельно от войск, в замке Синигалья, где он приказал их задушить. Уничтожив главарей оппозиции и призвав их силы к себе на службу, Чезаре, по выражению Макиавелли, "заложил хорошие основы для своей будущей власти". Он командовал достаточной территорией; он обладал светской и духовной властью своего отца; его боялись князья и уважал народ по всей Италии; его жестокость и вероломство, тонкость и смелость вызывали всеобщее восхищение. Но пока что он только заложил основы. Итальянской империи еще предстояло победить; ибо он ни к чему другому не стремился, и даже вероятно, что у него была идея секуляризации папства. Франция была главным препятствием на пути к его амбициям. Тревога Людовика наконец была поднята. Но собственная ошибка Людовика, приведшая испанцев в Неаполь, дала Чезаре возможность избавиться от французского контроля. Он поддерживал дело Испании и, интригуя то с одной державой, то с другой, делал себя одновременно грозным и желанным для обеих. Его географическое положение между Миланом и Неаполем подкрепляло эту политику. Еще одна трудность, которую ему предстояло преодолеть, была скорее в будущем, чем в настоящем. Если его отец умрет и будет избран новый папа, противоречащий его интересам, он может потерять не только поддержку Святого Престола, но и свои феоды Романья и Урбино. Чтобы справиться с этой непредвиденной ситуацией, он предпринял четыре меры предосторожности, о которых с большим восхищением упоминал Макиавелли. Во-первых, он систематически убивал наследников правящих семей во всех захваченных им городах — как, например, трех Варани в Камерино, двух Манфреди в Фаэнце, Орсини и Вителли в Синигалье и других, упоминать которых было бы утомительно. Таким образом, он не оставил наследника древних домов, который мог бы восстановить будущий папа. Во-вторых, он привязал к своей персоне пенсиями, должностями и денежными вознаграждениями всю римскую знать, чтобы иметь возможность держать нового папу в Риме пленным и безоружным. В-третьих, он довел Коллегию кардиналов путем подкупа, терроризма, отравлений и массовых выборов до такого состояния, что мог рассчитывать на избрание папы, если не его кандидата, то, по крайней мере, не враждебного его интересам. В-четвертых, он не терял времени даром, а продвигал свои завоевательные планы с предельной скоростью, чтобы, по возможности, к моменту смерти Александра управлять большой территорией. Макиавелли, который с одобрением отмечает эти четыре пункта, добавляет: "Поэтому тот, кто считает необходимым в своей новой власти обезопасить себя от врагов, приобрести союзников, добиться чего-либо силой или обманом и т.д. и т.п., не смог бы найти более энергичного и цветущего ансамбля, чем Чезаре". Таков панегирик, который Макиавелли, пишущий, как мне кажется, со всей добросовестностью и невинностью, описывает человеку, который в целом, возможно, является самым эгоистичным, вероломным и кровожадным из всех. известные

искатели приключений. Единственная вина, в которой он обвиняет его, заключается в том, что он не предотвратил избрание папы Юлия II, сосредоточив свое влияние либо на кардинале д'Амбуазе, либо на испанце.

Любопытно прочитать название главы, следующей за той, в которой критикуются действия Чезаре Борджиа: она гласит: "О тех, кто достиг власти преступлениями". Чезаре явно не был одним из этих людей в глазах Макиавелли, который ограничивает свое внимание Агафоклом из Сиракуз и Оливеротто да Фермо, разбойником, который приобрел власть в Фермо, убив своего дядю и благодетеля Джованни Фоглиани и всех высокопоставленных лиц города на банкете, на который он их пригласил. Это зверство, согласно кредо Макиавелли, было бы оправдано, если бы Оливеротто сочетал жестокость и утонченность в должных пропорциях. Но его дикость не была достаточно завуалирована; принц никогда не должен навлекать на себя ненависть насильственными преступлениями, а только использовать их как средство внушения ужаса. Кроме того, Оливеротто был настолько прост, что в конце концов попался в ловушку Чезаре Борджиа в Синигалье. Сам Чезаре приводит Макиавелли яркий пример того, как можно эффективно использовать жестокость. Обнаружив города Романьи в большом беспорядке, Чезаре решил усмирить их с помощью свирепости ужасного губернатора. Для этой цели он выбрал мессера Рамиро д'Орко, "человека жестокого и быстрого на действия, которому он дал всю полноту власти". Рассказывают историю о мессере Рамиро, которая очень причудливо иллюстрирует его характер: однажды он пинком отправил неуклюжего пажа в огонь и держал его там кочергой, пока тот не сгорел дотла. Действуя подобным образом, с полномочными полномочиями, Рамиро вскоре обеспечил относительное спокойствие во всей провинции. Но Чезаре не нравилось навлекать на свою администрацию ту ненависть, которую жестокость этого человека навлекла на его администрацию. Соответственно, однажды ночью он приказал обезглавить его и выставить на всеобщее обозрение вместе с плахой и окровавленным топором на площади в Чезене. Искусство, с которым Чезаре сначала привел Романью к порядку с помощью жестокости своего агента, а затем избежал гнусности этой жестокости, используя несчастное создание как ужасающий пример своей справедливости и власти, Макиавелли полностью одобряет. Его теория состоит в том, что жестокость должна применяться для определенных целей, но принц должен стараться, насколько это возможно, избегать ненависти, которую она вызывает. Отдавая справедливость как Макиавелли, так и Чезаре, следует сказать, что при правлении Борджиа управление Романьей было намного лучше, чем когда-либо прежде. Демонстрация дикого насилия, которую одобряет Макиавелли, возможно, была необходима, чтобы запугать столь озверевшее население.

В тех главах, которые Макиавелли посвятил описанию качеств, приличествующих принцу, ясно, что Чезаре Борджиа нередко попадался ему на глаза.^[1] Худшее, что можно сказать об Италии шестнадцатого века, это то, что такой аналитик, как Макиавелли, должен был быть способен идеализировать авантюриста, чья эгоистичная безнравственность была столь неприкрытой. Этика этого глубокого анатома человеческих мотивов была основана на убеждении, что люди всецело плохи. Обсуждая вопрос, что лучше - быть любимым или бояться, Макиавелли решает, что "гораздо безопаснее, чтобы тебя боялись, чем любили, если ты должен выбирать; учитывая, что ты можешь сказать о людях в целом, что они неблагодарны и переменчивы, лицемеры, склонны избегать опасности, жаждут наживы; пока ты служишь им, они предлагают тебе все, вплоть до самых своих детей, если ты ни в чем не нуждаешься; но когда тебе нужна помощь, они подводят тебя. Поэтому лучше всего не верить в их притворную любовь". Это формулировка, которую можно было использовать только в стране, где лояльность была неизвестна и где все

политические и социальные комбинации основывались на силе или удобстве. Принцы, однако, должны быть осторожны, чтобы не нанести ущерб чести или имуществу своих подданных, особенно последнему, поскольку люди "забывают убийство своих отцов быстрее, чем потерю своих денег". В другом разделе Макиавелли возвращается к той же теме и устанавливает в качестве аксиомы, что, поскольку подавляющее большинство людей плохие, принц должен научиться в целях самообороны быть плохим и должен использовать эту науку, когда и где он сочтет нужным, стараясь, однако, при любых обстоятельствах сойти за хорошего.

[1] В письме отцу Веттори (31 января 1514 г.) он пишет: "Герцог Валентино, опера по искусству подражания новому началу".

Он привносит ту же отчаянную философию жизни, тот же горький опыт человечества в свои рассуждения о вере князей. Глава, озаглавленная "Как принцам следует держать свое слово", является одной из наиболее блестяще составленных и насквозь макиавеллистских во всем трактате. Он начинается с утверждения, что сражаться в жизненных битвах в соответствии с законом - это по-человечески, полагаться на силу - жестоко; и все же, когда первого метода недостаточно, необходимо принять второй. Принц должен знать, как сочетать в себе природу человека и зверя; и в этом смысл мифа о Хироне, который стал наставником Ахилла. Он должен стремиться приобрести качества лисы и льва, чтобы одновременно избегать силков и защищаться от волков. Благоразумный государь не может и не должен хранить веру, когда это вредно или когда случай, при котором он обещал, миновал. Он всегда найдет благовидные предлоги для того, чтобы нарушить свое слово; и если он хорошо научится притворяться, ему будет нетрудно обманывать людей. Среди бесчисленных примеров успешных лицемеров Макиавелли не может назвать никого более выдающегося, чем Александр VI. "Он никогда не занимался ничем другим, кроме как обманывал людей, и никогда не думал ни о чем, кроме этого, и всегда находил подходящее дело для своей практики. Никогда еще не было человека, который с большей силой давал клятвы и связывал себя обязательствами или который меньше их соблюдал. Тем не менее, его уловки всегда удавались так, как он хотел, потому что он хорошо знал ту сторону света." Любопытно, что Макиавелли забыл, что вся тщательно продуманная жизненная политика Александра и его сына была разрушена именно из-за того, что они попали в одну из своих собственных ловушек, и что ошибка или предательство слуги расстроили расчеты двух самых искусных обманщиков своего времени.[1] Развивая ту же мысль, которая подразумевает, что в плохом мире правитель не может позволить себе быть хорошим, Макиавелли утверждает: "Нет необходимости, чтобы правитель был милосердным, лояльным, гуманным, религиозным, справедливым: более того, я рискну сказать, что если бы он обладал всеми этими качествами и всегда ими пользовался, они причинили бы ему вред. Но он должен *казаться*, что они у него есть, особенно если он новичок в своем княжестве, где ему будет совершенно невозможно проявлять эти добродетели, поскольку для поддержания своей власти он часто будет вынужден действовать вопреки человечности, милосердию, религии." Макиавелли не советует ему становиться плохим ради самого плохого, но знать, когда свернуть с пути добродетели ради сохранения своего королевства. "Он должен заботиться о том, чтобы не сказать ничего, что не было бы полно этих пяти качеств, и всегда должен проявлять все милосердие, всю преданность, всю человечность, всю справедливость, всю религию, особенно последнюю". На преимуществе репутации благочестивого Макиавелли настаивает самым решительным образом. Он указывает на то, как Фердинанд католик использовал предлог религиозного рвения, чтобы добиться завоевания Гранады, вторгнуться в Африку, изгнать

мавров, и как его вероломство в Италии, его лжесвидетельство Франции были окрашены ханжеской порядочностью.

[1] Возможно, это косвенный аргумент против легенды об их смерти.

После прочтения этих отрывков мы чувствуем, что, хотя, возможно, и верно, что Макиавелли лишь с научной откровенностью говорил о пороках, которые были присущи всем государственным деятелям его эпохи, — хотя итальянцы были настолько коррумпированы, что казалось безнадежным вести с ними справедливую борьбу, — все же в душе человека, у которого хватило духу сорвать эти ядовитые травы политики и перегнать их соки в квинтэссенцию для использования государем, которому он доверял судьбы Италии.[1] Почти невольно мы вспоминаем клятву, которую Артур дал своим рыцарям, когда он повелел им "никогда не совершать оскорблений или убийств и всегда избегать измены; также ни в коем случае не быть жестокими, но проявлять милосердие к тому, кто просит пощады, под страхом лишения их культа и господства короля Артура на веки вечные". В стране, где подобное рыцарство если бы главы Макиавелли когда-либо укоренились либо как идеал, либо как институт, они вряд ли были бы опубликованы. Итальянцам не хватало рыцарских добродетелей. Среди них философы могли научить принцев, что успех, приобретенный ценой чести, верности, человечности и истины, может быть выдающимся.

Приятно перейти от тех глав, в которых Макиавелли учит правителя, как управлять миром, используя пороки нечестивых, к его описанию военной организации, пригодной для поддержания великого королевства. Макиавелли не питает низменных амбиций по отношению к своему Государю: "Вдвойне будет славен тот, кто основал новое королевство, укрепил и украсил его хорошими законами, хорошим оружием, хорошими друзьями и хорошими образцами". В чем на самом деле заключается предприятие, на которое он так хотел подвигнуть Лоренцо, станет ясно в заключении. Тем временем он поощряет его примером Фердинанда католика подготовить свои чресла к великим начинаниям. Он призывает его быть осмотрительным в выборе секретарей, поскольку "первое мнение о принце и его способностях складывается у людей, которых он собрал вокруг себя". Он указывает, что ему следует избегать лести и обращаться за уважительным, но искренним советом. Наконец, он напоминает ему, что принц бессилен, если не может добиться повиновения своими руками. Крепости - сомнительный источник силы; против иностранных врагов они хуже, чем бесполезны; против подданных они ничего не стоят по сравнению с доброй волей народа: "лучшая из возможных крепостей - это укрыться от ненависти своих подданных". Следовательно, все зависит от правильного построения национального ополчения. Пренебрежение этим погубило итальянских принцев и позволило Карлу VIII. завоевать прекраснейшее из европейских королевств с помощью деревянных шпор и куска мела.[2]

[1] В *Discorsi*, lib. i. cap. 55, он называет Италию "коруттела-дель-мондо" и считает, что ее случай отчаянный; "не спешите спасти провинциалку в поисках темпи и вегетарианской коррозии, придите с Италией, сопрано, как всегда".

[2] Ссылки в этом параграфе сделаны на главы xx.-xxiv. и главу xii. из *Принципи*.

В своем рассуждении об армиях Макиавелли утверждает, что войска, с которыми князь защищает свое государство, являются либо его собственными, либо наемниками, либо вспомогательными подразделениями, либо смешанными. "Наемные и вспомогательные силы

бесполезны и опасны, и тот, кто основывает безопасность своего владычества на первых, никогда не утвердится прочно: видя, что они разобщены, амбициозны и недисциплинированы, лишены лояльности, жестоки по отношению к своим друзьям, трусливы среди врагов; у них нет страха Божьего, нет веры в людей; вы в безопасности с ними только до того, как на них нападут; в мирное время они грабят вас; на войне вы становитесь добычей ваших врагов. Причина этого в том, что у них нет ни другой любви, ни другой причины продолжать работу, кроме небольшой платы, которой далеко не достаточно, чтобы вызвать у них желание умереть за вас. Они готовы быть вашими солдатами до тех пор, пока у вас мир, но когда приходит война, их побуждением является улететь или улизнуть тайком. Должно быть, нетрудно установить истинность этого утверждения, поскольку разорение Италии вызвано не чем иным, как тем, что мы вот уже много лет зависим от наемного оружия".^[1] Здесь он затрагивает реальную слабость итальянских государств. Затем он продолжает объяснять прогнившую систему кондотьеров. Капитаны приключений - это либо способные люди, либо нет. Если это так, вам следует опасаться, как бы их амбиции не побудили их обратить оружие против вас или ваших союзников. Это случилось с королевой Джоанной Неаполитанской, которую Сфорца Аттендоло бросил в беде; с миланцами, когда Франческо Сфорца сделал себя их деспотом; с венецианцами, которые были вынуждены обезглавить Карманьолу, потому что боялись его. Единственная причина, по которой флорентийцы не были поработаны сэром Джоном Хоквудом, заключалась в том, что, будучи способным полководцем, он не добился больших успехов на поле боя. Точно так же им повезло спастись от Сфорца, который обратил свое внимание на Милан, и от Браччо, который строил планы против Церкви и Неаполя. Если бы Паоло Вителли одержал победу при Пизе (1498), он бы держал их по своему усмотрению. В каждом из этих случаев только удача спасла республику от военного деспотизма. Если, с другой стороны, капитаны наемников - люди бездарные, вы потерпите поражение на поле боя.

^[1] Смотрите главу xii. из *Принципи*.

Переходя к историческому развитию этой порочной системы, Макиавелли указывает, как после падения императорской власти в Италии верх взяли папство и республики. Священники и торговцы одинаково не желали ввязываться в войну. Поэтому они брали на жалованье наемные войска. Были сформированы роты Сфорцески и Браччески, а "после них пришли все те, кто правил этим видом войны вплоть до наших дней. Следствием их доблести стало то, что Италия подверглась нападению Карла, разграблению Людовика, принуждению Фердинанда, оскорблениям швейцарцев. Их метод состоял в том, чтобы укрепить репутацию своей кавалерии, подавляя пехоту. Поскольку они не имели собственного владычества и делали войну своим ремеслом, горстка пехотинцев не принесла им никакой славы, в то время как они были не в состоянии прокормить многих. Поэтому они ограничивались кавалерией до тех пор, пока в войске численностью в 20 000 человек не стало 2000 пехотинцев. Кроме того, они использовали всю свою изобретательность, чтобы избавить себя и своих солдат от усталости и опасностей, воздерживаясь от резни и взятия пленных без выкупа. Ночные атаки и вылазки были прекращены; частоты и траншеи в лагере были оставлены; никто не думал о зимней кампании. Все это было разрешено, или, скорее, введено, чтобы избежать, как я уже сказал, усталости и опасностей. Тем самым они довели Италию до рабства и оскорблений.' Вспомогательные войска, такие как французские войска, привлеченные Чезаре Борджиа, и испанцы, нанятые Юлием II, еще хуже. "Тот, кто не хочет выиграть игру, должен использовать эти

силы; ибо они гораздо опаснее наемников, видя, что в них готово дело гибели — они объединены вместе и склонны повиноваться своим собственным хозяевам. Макиавелли навязывает эту мораль одной из тех редких, но энергичных фигур, которые придают его рассуждениям мужественное достоинство. Он сравнивает вспомогательные войска с доспехами Саула, от которых отказался Давид, предпочитая сражаться с Голиафом с помощью камня и пращи. - Одним словом, руки, позаимствованные у другого, либо свисают с вашей спины, либо отягощают вас, либо затрудняют ваши действия. Принцу остается сформировать свои собственные войска и лично выступить на поле боя, как Чезаре Борджиа, когда он отказался от своих французских союзников и наемной помощи капитанов Орсини. Республики должны следовать тем же курсом, отправляя, как это делали римляне, на войну своих собственных граждан и контролируя законом личные амбиции победоносных генералов. Именно таким образом венецианцы процветали в своих завоеваниях, прежде чем приобрели свои провинции в Италии и переняли систему кондотьеров у своих соседей. "Следовательно, у принца должна быть только одна цель, одна мысль, одно искусство — искусство войны". Те, кто следовал этому правилу, достигли суверенитета, как Франческо Сфорца, ставший герцогом Миланским; те, кто пренебрег им, потеряли даже наследственные королевства, как последний Сфорца, который ушел из герцогства в частную жизнь. Даже среди удовольствий охоты принц должен всегда изучать географическое положение своей страны с целью ее защиты и должен до мельчайших подробностей знать такие стратегические законы, которые применимы повсюду. Он должен читать историю с той же целью и должен держать перед глазами пример тех великих людей прошлого, из которых он может извлечь уроки для своего руководства в настоящем.

Это подводит нас к изложению *Принципов*, которые содержат практический вопрос, к которому стремился весь трактат, патристическую мысль, которая отражает своего рода блеск даже на самых мрачных страницах, которые были до этого. Подобно Фетиде, Макиавелли окунул своего Ахиллеса в Стикс адских советов; подобно Хирону, он показал ему, как человеческая и звериная натуры должны сочетаться в том, кто должен выбивать зубы волкам и не попадаться в силки; подобно Гефесту, он выковал для него неуязвимые доспехи. Цель, к которой вела эта подготовка, - освобождение Италии от варваров. Рабство Израиля в Египте, угнетение персов мидянами, рассеяние афинян по деревням были случаями, позволившими Моисею, Киру и Тесею проявить свое величие. Новый правитель, который хотел бы завоевать честь в Италии и даровать своей стране неисчислимые блага, находит ее в настоящий момент "более поработенной, чем евреи, более угнетенной, чем персы, более разобщенной, чем афиняне, без вождя, без порядка, избитой, ограбленной, искалеченной, разоренной, подверженной всевозможным опустошениям". Судьба не могла бы предоставить ему более благородной возможности. - Посмотрите, как она молит Бога послать ей кого-нибудь, кто спас бы ее от этих варварских жестокостей и оскорблений! Посмотрите на нее, готовую следовать любым стандартам, если только найдется человек, который их поднимет!" Затем Макиавелли лично обращается к главе семьи Медичи. "И в настоящий момент нет места, более полного надежд для нее, чем ваш прославленный Дом, который благодаря своей доблести и удаче, благодетельствованный Богом и Церковью, главой которой он сейчас является, мог бы возглавить это выступление". Далее следует один из редких пассажей куртуазной риторики, которые, когда Макиавелли снисходит до них, придают особый блеск его стилю. Затем он снова переходит к разговору о средствах, которые следует немедленно использовать. Он призывает Лоренцо прежде всего не доверять наемникам или вспомогательным силам, а собрать свои

собственные силы и положиться на итальянскую пехоту. Если итальянские армии всегда терпели поражения на поле боя в течение последних двадцати лет, то это происходит не столько из-за их недостаточной храбрости, сколько из-за слабости их командиров. Лоренцо придется собрать силы, способные справиться со швейцарцами, испанцами и французами. Уважение, с которым Макиавелли говорит в этот решающий момент об этих иностранных войсках, доказывает, насколько велик был их престиж в Италии; однако он осмеливается указать, что у каждого из них есть недостатки: испанская пехота не выдерживает кавалерийской атаки, а швейцарцы склонны приходить в замешательство от быстрой атаки жилистой испанской пехоты. Поэтому необходимо обучать войска, способные противостоять кавалерии и не боящиеся столкнуться ни с одним пехотинцем в мире. "Поэтому нельзя упускать эту возможность, чтобы Италия могла по прошествии столь долгого времени наконец увидеть своего спасителя. Также я не могу найти слов, чтобы описать любовь, с которой его приветствовали бы во всех провинциях, пострадавших от этих иностранных наводнений, жажду мести, упорную верность, благочестие, слезы, которые он встретил бы, Какие ворота были бы закрыты перед ним? Какой народ откажет ему в верности? Какая ревность помешает ему? Какой итальянец откажет ему в почтении? Это правление варваров неприятно пахнет для всех нас. Тогда пусть ваш прославленный Дом предпримет это предприятие с духом и уверенностью, с которыми начинаются только начинания, дабы таким образом под вашим флагом наша земля могла быть облагорожена и под вашим покровительством сбылось пророчество Петрарки:

Вот, доблесть против ярости
Возьмет в руки оружие, и битва не будет долгой;
Ибо это древнее наследие
мужества в сердцах итальянцев крепко.

С этим трубным кличем страстного патриотизма *Принципи* закрывается.

Гегель в своей "Философии истории" зафиксировал суждение о трактате Макиавелли относительно политических условий Италии в конце средневекового периода, которое можно процитировать как наиболее полное оправдание автора, какое только возможно. "Эта книга, - говорит он, - часто с ужасом отбрасывалась в сторону как содержащая максимы самой отвратительной тирании; однако именно высокое понимание Макиавелли необходимости создания государства побудило его сформулировать принципы, на которых только и могли быть созданы государства в данных обстоятельствах. Изолированные лорды и светлости должны были быть полностью подавлены; и хотя наша идея Свободы несовместима с средствами, которые он предлагает как единственно доступные, так и полностью оправданные — включая, как и все эти, самое безрассудное насилие, все виды обмана, убийства и тому подобное, — все же мы должны признать, что на деспотов, которых нужно было усмирить, нельзя было напасть никаким другим способом, поскольку неукротимое беззаконие и совершенная порочность прочно укоренились в них".

И все же после того, как книга закрыта и апология взвешена, мы не можем не остановиться и не задать себе вопрос, кто был более истинным патриотом — Макиавелли, систематизировавший политические пороки и коррупцию своего времени в философском эссе и призывавший деспота, которому оно было посвящено, освободить Италию; или Савонарола, обличавший грех и принуждавший к покаянию — Макиавелли, который проповедовал как заповеди чистой

мудрости те самые принципы общественной безнравственности, которые лежали в основе разобщенности и слабости Италии; или Савонарола, который настаивал на том, что без моральной реформы невозможна никакая свобода? Нам придется рассмотреть поступок Савонаролы в другом месте. Между тем, не будет преувеличением утверждать, что с такими дипломатами, как Макиавелли, и с такими правителями, как те, кого он идеализировал, Италия не могла быть свободной. Лицемерие, предательство, лицемерие, жестокость - это пороки эгоистов и поработенных. И все же изучение прошлого и опыт настоящего побудили Макиавелли защищать эти пороки как необходимые качества правителя, которого он хотел бы избрать спасителем своей страны. Правоммерно извинить его на том основании, что итальянцы его эпохи не постигли философии права, которая должна включать в себя обязанности, а также привилегии, и которая должна защищать интересы управляемых не меньше, чем интересы губернатора. Верно, что феодальная концепция монархии, столь хорошо понятая им в четвертой главе "*Принципи*", нигде не была реализована в Италии, и что поэтому правильное решение политической проблемы, казалось, заключалось в том, чтобы противопоставить силу силе и мошенничество мошенничеству ради возвышенной цели. Можно также с полной справедливостью утверждать, что историки и спекулянты древности, которых исследователи шестнадцатого века ценили выше своей собственной ценности, поддержали его в применении позитивной философии к управлению государством. Успех, сопутствовавший насилию и лицемерию римлян, описанный Ливием, побудил его привить принципы, на которых они действовали. Научный метод, которому Аристотель следовал в политике, побудил его к проведению аналогичного анализа; в то время как тесной параллели между древней Грецией и средневековой Италией было достаточно, чтобы создать убеждение в том, что мудрость старого мира будет в точности применима к условиям нового. Это, однако, скорее оправдание человека, чем его теории. Теория была ложной и порочной. И факт остается фактом: человек, пропитанный дурной моралью того периода, в который он жил, был неспособен подняться над ней к истине, был бессилён при всей своей проницательности извлечь глубочайшие уроки из прошлой и настоящей истории, и, несмотря на свой признанный патриотизм, преуспел лишь в том, что добавил свои сознательные и бессознательные свидетельства коррупции страны, которую он любил. Широкий здравый смысл, здравомыслие, гуманный инстинкт и сочувствие природе, которые придают плодородие и цельность политической философии таких людей, как Берк, отсутствуют у Макиавелли. Несмотря на свою мощь, его система подразумевает инверсию управляющих законов здоровья в политике. Несмотря на свою логическую убедительность, она неубедительна из-за несовершенных предпосылок. Несравнимый с эссе по патологической анатомии, он не проливает света на функционирование нормального социального организма и никогда не использовался с пользой даже амбициозными и беспринципными людьми.

ГЛАВА VII

ПАПЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

> Папство между 1447 и 1527 годами—Противоречия периода Возрождения, примером которых являются папы —Ослабление их власти над государствами Церкви и Римом во время ссылки в Авиньон—Николай V.—Его концепция папской монархии—Пий II.—Крестовый поход—

Понтифики эпохи Возрождения—Павел II.—Преследование платоников—Сикст IV.—Кумовство—Семьи Риарио и Делии Ровере—Алчность—Любовь к войне—Заговор Пацци—Инквизиция в Испании—Иннокентий VIII.—Франческетто Чибо—Избрание Александра VI.—Его консолидация светской власти—Политика по отношению к семьям Колонна и Орсини—Продажность всего в Риме—Политика по отношению к султану—Индекс—Семья Борджиа—Лукреция—Убийство герцога Гандийского—Чезаре и его продвижение—Смерть Александра—Юлий II.—Его вспыльчивый нрав—Великие проекты и командирский характер—Лев X.—Его неполноценность по отношению к Юлию—С. Петр и Реформация—Адриан VI.—Его ненависть к языческой культуре—Отвращение римского двора к его избранию—Климент VII.—Разграбление Рима—Порабощение Флоренции.

В четырнадцатом и первой половине пятнадцатого веков авторитет пап, как глав Церкви, так и светских правителей, был подорван изгнанием во Францию и разрушительными расколами. Новая эра началась с избрания Николая V. в 1447 году и закончилась во время понтификата Климента VII. разграблением Рима в 1527 году. На протяжении всего этого периода папы действовали скорее как монархи, чем как понтифики, и секуляризация Римского престола была доведена до крайних пределов. Контраст между притязаниями на священничество и личной безнравственностью пап был вопиющим; к тому же главы Церкви еще не научились относиться к либерализму эпохи Возрождения с подозрением. Примерно в середине шестнадцатого века Папская область стала признанным королевством, в то время как папы более поздней эпохи пытались с помощью инквизиции и образовательных орденов обуздать свободный дух Италии.

История Италии во все времена была тесно связана с историей папства; но ни в один период это не было так актуально, как в течение этих восьмидесяти лет папской светскости, амбиций, депотизма и расточительства, которые также отмечены вторжением европейских народов в Италию и отделением тевтонской расы от латинской Церкви. За этот короткий промежуток времени черед пап занимала Святой Престол с таким драматическим достоинством, демонстрируя столь царственную гордость, столь бесстыдный цинизм, столь эгоистичную алчность и политику, столь самоубийственную, что поддерживала веру в то, что они были помещены туда по провидению Божьему, чтобы предостеречь мир от Вавилона. В то же время история Папского двора с особой яркостью выявляет противоречия ренессансной морали и нравов. Мы находим в папах этого периода то, что уже было замечено у деспотов, — ученость, покровительство искусствам, страсть к великолепию и утонченность вежливой культуры, чередующиеся и нередко сочетающиеся с варварской свирепостью нрава и дикими и грубыми вкусами. С одной стороны, мы наблюдаем языческую распушенность, которая возмутила бы паразитов Коммода и Нерона; с другой - кажущееся рвение к догме, достойное святого Доминика. В одно время правители поклоняются наместнику Христа как богу, ищущему отпущения грехов или освобождения от обременительных обязанностей; в другое время те же самые властители попирают его ногами в качестве суверена. Неприкрытая чувственность; циничное и беззастенчивое мошенничество; политика, идущая к своему концу убийствами, изменами, интердиктами и тюремными заключениями; открытая продажа духовных привилегий; коммерческая торговля церковными доходами; лицемерие и жестокость, изучаемые как изящные искусства; воровство и лжесвидетельство, возведенные в ранг системы, — вот обычные скандалы, которые окружают папство. И все же Папа по-прежнему остается святым существом. Его стопы целуют тысячи. Его проклятие и благословение несут смерть и жизнь. Он поднимается с ложа блудниц, чтобы открыть или запереть врата рая и чистилища. Посреди преступности он считает себя представителем Христа на земле. Эти

аномалии, какими бы вопиющими они ни казались нам и какими бы очевидными они ни были для более глубоких мыслителей, таких как Макиавелли или Савонарола, не шокировали массу людей, которые были их свидетелями. Эпоха Возрождения была настолько ослепительной своим блеском, настолько сбивающей с толку своими быстрыми переменами, что моральные различия были стерты во вспышке великолепия, вспышке новой жизни, карнавале освобожденных энергий. Коррупция Италии сравнялась только с ее культурой. Ее безнравственности соответствовал ее энтузиазм. Чудовищные парадоксы пятнадцатого и шестнадцатого веков породил не столько упадок умирающей старости, сколько брожение вступающей в жизнь новой эпохи. Контраст между средневековым христианством и возрождающимся язычеством - острый конфликт двух противоположных принципов, которым суждено было объединить свои силы и перестроить современный мир, — сделал Ренессанс тем, чем он был в Италии. Нигде первое проявление этих элементов не проявляется так хорошо, как в истории тех понтификов, которые, после того как в средние века стремились подавить человечество под покровом, теперь являются главными действующими лицами в комедии Афродиты и Приапа, снова поднимающих свои лбы к дневному свету.

Борьба, продолжавшаяся между папами XIII века и Домом Гогенштауфенов, закончилась возведением принцев Анжуйских на неаполитанский престол — самое пагубное из всех зол, причиненных папской властью Италии. Затем последовала французская тирания, при которой Бонифаций VIII. скончался в Ананьи. Бенедикт XI. был отравлен по наущению Филиппа ле Бея, и папский престол был перенесен в Авиньон. Папы потеряли свою власть над городом Римом и теми территориями Романьи, Марша и вотчины Святого Петра, которые были подтверждены им пожалованием Рудольфа Габсбургского (1273). Они должны были управлять своими итальянскими владениями с помощью легатов, в то время как города, признавшие их власть, один за другим переходили под ярмо независимых князей. Малатести обосновались в Римини, Пезаро и Фано; дом Монтефельтро подтвердил свою оккупацию Урбино; Камерино, Фаэнца, Равенна, Форли и Имола стали уделами Варани, Манфреды, Полентани, Орделафи и Алидоси.[1] Традиционное превосходство пап было признано в этих тираниях; но дворяне, которых я назвал, приобрели реальную власть, против которой Эгидио Альборнос и Роберт Женевский боролись в значительной степени напрасно, и на разрушение которой в будущем потребовалась вся энергия Сикста и Александра.

[1] См. Mach. Ist. *Имя*. lib. i.

В то время как влияние пап, таким образом, ослабевало в их государствах за пределами Апеннин, три великих семейства - Орсини, Савелли и Колоннеси - достигли княжеского положения в Риме и его ближайших окрестностях. Они по отдельности пришли к власти во второй половине XIII века благодаря кумовству Николая III, Гонория IV и Николая IV. Этот кумовство принесло пагубные плоды в будущем, ибо во время ссылки в Авиньон дома Колонна и Орсини стали настолько властными, что угрожали свободе и безопасности пап. Сиксту и Александру снова предстояло разрушить работу своих предшественников и обеспечить независимость Святого Престола с помощью принуждения этих могущественных вельмож.

В государствах Церкви светская власть пап, основанная на фальшивых пожертвованиях, подтвержденная традицией и оспариваемая соперничающими деспотами, была аномалией. В самом Риме их положение, хотя и отличалось, было не менее своеобразным. В то время как фракции Орсини и Колонны делили Кампанию и ссорились на улицах города, Рим продолжал

сохранять, по крайней мере, в форме, старую конституцию Капориони и сенатора. Сенатор, избранный народом, поклялся не подчиняться Папе, а защищать его личность. Правительство было якобы республиканским. У папы римского не было суверенных прав, а только власть, неотделимая от его богатства и положения предстоятеля христианского мира. В то же время дух Арнольда Брешийского, Бранкалеоне и Риенци время от времени возрождался в таких патриотах, как Поркари и Барончелли, которые возмущались посягательствами Церкви на привилегии города. Рим не обеспечивал реальной безопасности членам Священной коллегии. Они не командовали крепостью, подобной Миланскому Кастелло, и не имели в своем распоряжении армии. Когда народ или знать восстали против них, лучшее, что они могли сделать, - это удалиться в Орвието или Витербо и переждать, пока буря утихнет.

Таково было положение папы Римского, считавшегося одним из правящих князей Италии, до избрания Николая V. Его власть была широкой, но неопределенной, подтвержденной предписанием, но не основанной ни на силе, ни на законном праве. Италия, однако, считала папство необходимым для своего процветания, в то время как Рим гордился тем, что его называют метрополией христианского мира, и был готов пожертвовать тенью республиканской свободы ради материальных преимуществ, которые могли быть получены от суверенитета ее епископа. Что могли чувствовать римские бюргеры по этому поводу, мы узнаем из фразы Лео Альберти, относящейся к администрации Николая: "Город стал золотым городом благодаря юбилею; достоинство граждан было уважено; все разумные ходатайства были удовлетворены понтификом. Не было ни поборов, ни новых налогов. Правосудие вершилось справедливо. Вся забота понтифика заключалась в украшении города.^[1] Процветание, которое папский двор принес Риму, было главной поддержкой пап как государей в то время, когда многие мыслители с завистью Данте смотрели на объединение светских и духовных функций в папстве.^[2] Более того, вся Италия, как мы видели в предыдущих главах, претерпевала постепенные и инстинктивные изменения в политике; тирании вытесняли государства, и настроения расы в целом ни в коем случае не были неблагоприятными для этой революции. Следовательно, для пап наступил подходящий момент преобразовать свою неопределенную власть в устоявшийся деспотизм, закрепиться в Риме в качестве суверенов и подчинить государства Церкви своей светской юрисдикции.

^[1] Смотрите историю заговора Поркари (Муратори, том xxv.).

^[2] Знаменитая речь Лоренцо Валлы против жертвований Константина, появившаяся во время понтификата Николая, содержала эти воспоминания о "De Monarchiá": "Ut Papa tantum vicarius Christi sit et non etiam Cæsaris ... настраивайте папу, сохраняйте и диктуйте святой отец, отец омниум, отец еkkлeсия".

Работа была начата Томасом Сарзанским, который взошел на кафедру Святого Петра под именем Николая V. В 1447 году. Одна часть его биографии относится к истории науки, и здесь нет необходимости ее затрагивать. Получив образование во Флоренции, под сенью дома Медичи, он впитал в себя те принципы почтения к королевской власти, которые вытесняли старыереспубликанские добродетели по всей Италии. Расколы, раздиравшие католическую церковь, были исцелены; и, не найдя противодействия своей духовной власти, он решил укрепить мирские права своего престола. В достижении этой цели его укрепил заговор Стефано Поркари, римского дворянина, который пытался пробудить республиканский энтузиазм в городе в момент избрания папы и который впоследствии замыслил покушение на его свободу,

если не на жизнь. Поркари и его сподвижники были казнены в 1453 году, и этим актом папа провозгласил себя монархом. Огромное богатство, которое юбилей 1450 года влил в папскую казну^[1] он использовал для украшения города Рима и создания оплота для Суверенного понтифика. Мавзолей Адриана, задолго до этого использовавшийся как крепость в Средние века, теперь был укреплен, а мост С. Анджело и львиный город были настолько связаны и защищены системой стен и флигелей, что ключ от Рима оказался в руках папы римского. Начал подниматься новый Ватикан, и в пределах папских владений были заложены основы более благородной церкви Святого Петра. Фактически, Николас задумал великую идею восстановления верховенства Рима, но не в стиле Гильдебранда, путем усиления духовного деспотизма папства, а путем провозглашения пап королями, обновления архитектурного великолепия Вечного города и превращения своего двора в центр европейской культуры. В завещании, которое он зачитал на смертном одре князьям Церкви, он изложил все, что он сделал для светской и церковной архитектуры Рима, объяснив свое глубокое чувство необходимости обезопасить пап от внутренних переворотов и внешнего насилия, а также свое желание возвысить Церковь, сделав ее главную резиденцию великолепной в глазах христианского мира. Это завещание Николая остается памятным документом. Ничто так убедительно не иллюстрирует переход от средневековья к мирской жизни эпохи Возрождения, как убежденность понтифика в том, что судьбы христианства зависят от состояния и славы города Рима. То, что он начал, продолжалось среди преступлений, анархии и кровопролития сменявших друг друга пап эпохи Возрождения, пока, наконец, в 1527 году войска Фрундсберга не проложили путь иезуитам Лойолы, и Рим, все еще Вечный город, не скрыл свое великолепие и свои скандалы под черным покровом испанских инквизиторов. Однако политические перемены в папстве, инициированные Николаем, к тому времени были полностью завершены, и с тех пор на протяжении более трех столетий папы занимали место среди королей земли.

^[1] Только в банке Медичи хранилось 100 000 флоринов для папы Римского. Веспасиано, *Bum*, Ник. В.

Об Альфонсо Борджиа, который три года правил как Каликст III, мало что нужно говорить, за исключением того, что его понтификат подготовил к величию его племянника, Родриго Ленцуоли, известного как Борджиа в честь своего дяди. Последние дни Николая были омрачены падением Константинополя и неминуемой опасностью, которая угрожала Европе со стороны турок. Вся энергия Пия II. были направлены к одной цели - объединению европейских народов против неверных. Эней Сильвий Пикколомини как писатель, оратор, дипломат, путешественник и придворный носит имя, прославленное в анналах Возрождения. Как папа римский, он заслуживает внимания за искреннее рвение, которое он проявил в тщетной попытке поднять благочестие христианского мира против врагов цивилизации и веры. Редко когда между этим человеком и понтификом проявлялся больший контраст, чем в случае с Пием. Любящий удовольствия, проницательный, свободомыслящий литератор и мирянин превратился в Святого Отца, ревниво соблюдающего христианские приличия и стремящегося взбудоражить Европу апелляцией к мотивам, утратившим свою силу три столетия назад. Фридрих II и Людовик Святой завершили эпоху крестовых походов: один заключил сделку с неверными, другой схватил венец мученика. Эней Сильвий Пикколомини был зеркалом своего времени — гуманистом и стилистом, проникнутым риторическим и псевдоклассическим вкусом раннего Возрождения. Pius II. это почти анахронизм. Разочарование, которое испытал ученый мир, узнав, что новый папа, от которого так много ожидали, отказался играть роль их мецената, можно понять из эпиграмм Филельфо на его смерть^[1]:—

Gaudeat orator, Musæ gaudete Latinæ;
Sustulit e medio quod Deus ipse Pium.
Ut bene consuluit doctis Deus omnibus æque,
Quos Pius in cunctos se tulit usque gravem.
Nunc sperare licet. Nobis Deus optime Quintum
Reddito Nicoleon Eugeniumve patrem.

и снова:—

Hac sibi quam vivus construxit clauditur arca
Corpore; nam Stygios mens habet atra lacus.

Сам Пий осознавал несоответствие между своим старым и новым "я". *"Эней отвергнутый, Любовь полученная"*, - восклицает он в знаменитом отрывке своего Опровержения, где выражает свою искреннюю скорбь по поводу безвозвратных слов легкой и тщетной романтики, которые он расточал в своей беззаботной юности. И все же, хотя Пий II фактически потерпел неудачу, поскольку ему не хватило сил повести свой век либо назад, к идеалам раннего христианства, либо вперед, по пути современной культуры, он - последний папа эпохи Возрождения, к которому мы можем относиться с настоящим уважением. Те, кто следует за нами и чьи личные качества, а не их действия как понтификов, нас сейчас будут в основном занимать, принесли интересы христианского мира в жертву семейным амбициям, обеспечили свой суверенитет ценой раздора в Италии, заключили сделки с неверными и сыграли роль антихриста на театре Европы.

[1] Rosmini, *Vita di Filelfo*, том ii. стр. 321.

Можно было бы написать историю этих царей-священников, не слишком подробно останавливаясь на скандальных обстоятельствах, объединить придворную хронику Ватикана с изложением европейской политики или скрыть истинные черты высших папских сановников под масками, придуманными для них церковными апологетами. Однако это не может быть линией, принятой писателем, описывающим цивилизацию в Италии в пятнадцатом и шестнадцатом веках. Он должен изобразить пап эпохи Возрождения такими, какими они появлялись в обществе, когда Лоренцо Медичи называл Рим "вместилищем всех пороков", а такие компетентные наблюдатели, как Макиавелли и Гвиччардини, приписывали моральную порочность и политический упадок Италии их влиянию. Могут возразить, что сейчас нет необходимости изображать расточительность этого двора, который, пробудив в совести Северной Европы чувство невыносимого стыда, оказался одной из главных причин Реформации. Но без рассмотрения этих старых скандалов истинное понимание итальянской морали и истинное понимание итальянских общественных настроений, выраженных в литературе, одинаково невозможны. И историк этой эпохи не откажется от своей задачи, даже несмотря на то, что описываемые им события, похоже, больше напоминают легенду, чем простой факт. Ни один вымысел не содержит более фантастического материала, ни один миф или аллегория не более приспособлены для выражения правды в образах воображения, чем подлинные, хорошо засвидетельствованные летописи этого семидесятилетнего периода, с 1464 по 1534 год.

Павел Второй был венецианцем по имени Пьетро Барби, который начинал жизнь торговцем. Он уже погрузил свои мирские блага на борт торгового судна для заграничной поездки, когда до него дошло известие, что его дядя стал папой под именем Евгений IV. Его призвание в министерство состояло из расчета, что своим умом он скорее сможет разбогатеть в Церкви с папой вместо дяди, чем в открытом море. Итак, он разгрузил свои тюки, взялся за книгу, стал священником и в возрасте сорока восьми лет стал папой. Будучи красивым мужчиной, он был рад принять церковный титул Формоза; но кардиналы отговорили его от этого тщеславного шествия, и в 1464 году он надел тиару Павла. Вульгарная любовь к показухе была его главной чертой. Он тратил огромные суммы на коллекцию драгоценностей, и одна только его тиара была оценена в 200 000 золотых флоринов. На всех публичных церемониях, будь то церковных или светских, он был великолепен, одинаково радуясь возможности предстать перед римлянами в качестве главного действующего лица пасхального благословения или карнавальной процессии. Более бедные кардиналы получали субсидии из его кошелька, чтобы своей свитой придать блеск его зрелищам. Искусство нашло в нем щедрого покровителя. Для строительства дворца Сан-Марко, который знаменует собой резкий отход от прежнего модного готического стиля, он пригласил в Рим выдающихся архитекторов и нанял скульптора Мино да Фьезоле и резчика по дереву Джулиано да Сан Галло. За его счет были восстановлены арки Тита и Септимия Севера, а также статуя Марка Аврелия и лошади Монте-Кавалло. Но Польша особенно проявил свой талант ценителя драгоценных камней, медалей и камей, собрав в своих шкафах редкие сокровища древности и дорогостоящие шедевры итальянской и фламандской золотой работы. Это покровительство современному искусству, не меньшее, чем высокая оценка классических памятников, сделало его меценатом истинного ренессансного типа.^[1] Но качества дилетанта не были рассчитаны на то, чтобы пролить свет на понтифика, который тратил средства Церкви на накопление чрезвычайно ценных диковинок. Его жажда золота и любовь к накопительству были настолько сильны, что, когда епископства становились вакантными, он часто отказывался заполнять их, используя их доходы для собственных нужд. Его двор был роскошным, и в частной жизни он предавался чувственной похоти.^[2] Это, однако, не привело бы к тому, что его имя приобрело дурной запах в Риме, где Святой Отец уже считался итальянским деспотом с некоторыми священническими дополнениями. Именно его преследование платоников сделало его непопулярным в эпоху, когда люди имели право ожидать, что, что бы ни случилось, обучение, по крайней мере, будет уважаться. Пример флорентийской и неаполитанской академий побудил римлян основать общество для обсуждения философских вопросов. Папа считал, что реальной целью этого клуба была политическая интрига. Подозрения не были полностью лишены окраски. Заговор Поркари против Николая и катилинарские бунты в Тибурцио, вызвавшие беспокойство при понтификате Пия, были еще свежи в памяти людей; положение папы в Риме также ни в коей мере не было прочным. Беспокойство Павла усилил тот факт, что некоторые ученые, назначенные Пием секретарями сводок (Abbreviatori) и лишённые должности им самим, были членами Платонического общества. Их враждебность к нему была естественной и плохо скрываемой. В то же время горькая ненависть, которую Лаврентий Валла открыто демонстрировал к светской власти, могла в век заклинаний означать активную злобу. Лео Альберти намекает, что Поркари пользовался поддержкой сильных сторонников за пределами Рима; и одним из обвинений против платонистов было то, что Помпоний Лет обращался к Платине как к Святому Отцу. Теперь и Помпоний Лет, и Валла имели влияние в Неаполе, в то время как Павел был на грани открытого разрыва с королем Фердинандом. Поэтому у него было достаточно оснований подозревать неаполитанскую интригу, в которой гуманисты играли роли Брута и Кассия. И все же, хотя мы

берем на себя труд придумать какую-нибудь видимую причину паники папы, факт остается фактом: он действительно ошибался с самого начала; и в глупости, жестокости и несправедливости его последующего поведения не может быть никаких сомнений. Он схватил главных членов Римской академии, заключил их в тюрьму, подверг пыткам и убил некоторых из них на дыбе. "Вы бы взяли замок С. Анджело для "быка Фалариса", - пишет Платина; "пустые своды так оглашались криками невинных молодых людей". Никаких доказательств заговора получить не удалось. Затем Павел судил выживших за неортодоксальность. Они доказали прочность своей веры к удовлетворению папских инквизиторов. Ничего не оставалось, как освободить их или заточить в темницы, чтобы люди не могли сказать, что Святой Отец арестовал их без должной причины. Было выбрано последнее. Платина, историк пап, был одним из *abbreviatori*, которых Павел выгнал, и одним из платоников, которых он пытал. Таким образом, история папских гонений ничего не теряет в повествовании, ибо если гуманисты пятнадцатого века и были в чем-то сильны, так это в написании намеков и инвектив. Среди других анекдотов он рассказывает, как, пока его вывихивали на дыбе, инквизиторы Вьянези и Шанга вели оживленную беседу о кольце, которое, по словам одного из них, другой получил в шутку в знак любви от девушки. Вся ситуация характерна для Папского Рима эпохи Возрождения.

[1] See *Les Arts à la Cour des Papes pendant le XV. et le XVI.* Сьекль, Э. Мюнц, Париж, Торин, 2-я партия. М. Мюнц оказал хорошую услугу эстетической археологии, подтвердив славу Павла II. как работодателя художников, спасенный от массовых оскорблений, обрушившихся на него со стороны Платины. Здесь удобно заметить, что даже свирепый Сикст IV. проявил интеллект как покровитель искусств и литературы. Он построил Сикстинскую капеллу и привез в Рим величайших художников того времени — Синьорелли, Перуджино, Боттичелли, Козимо, Росселли и Гирландахо. Мелоццо да Форли работал на него. Одним из немногих сохранившихся шедевров этого художника является настенная картина, ныне находящаяся в Ватикане, на которой изображен Сикст среди его кардиналов и секретарей — великолепное произведение яркой портретной живописи. Сикст снова открыл ватиканскую библиотеку для публики, и в его дни было основано Братство Святого Луки для поощрения дизайна. Рим обязан ему больницей Святого Спирито, строгим зданием работы Баччо Понтелли, и церквями Святой Марии дель Пополо и Святой Марии делла Паче. Иннокентий VIII. добавил Бельведер к Ватикану по плану Антонио дель Поллахуоло и начал строительство Виллы Мальяна. Александр VI. обогатил Ватикан знаменитыми апартаментами Борджиа, украшенными Пинтуриккьо. Он также начал строительство Дворца университета и превратил Мавзолей Адриана в замок Сан-Анджело. Анджело. Этих кратких намеков должно быть достаточно. В задачу настоящей главы не входит рассматривать пап как покровителей; но не следует забывать, что, заняв место среди деспотов Италии, они стремились оправдать свой долг перед искусством и ученостью в духе современных властителей.

[2] Корио подводит итог своему персонажу так: "Я люблю тебя, мое либидо, мое стремление; в *grandissimo precio furono* я люблю тебя". *Del giorno faceva notte, e la notte ispediva quanto gli occorreva.* Marcus Attilius Alexius says: 'Paulus II. ex concubinā domum replevit, et quasi sterquilinium facta est sedes Barionis'. Последнюю цитату см. у Гереровиуса, *Stadt Rom*, vol. vii. p. 215.

Павел прожил не так долго, как люди предполагали из-за его сравнительной молодости. Он умер от апоплексического удара в 1471 году, в одиночестве и внезапно, после ужина двумя

огромными арбузами, *duos prægrandes pepones*. Его преемником стал человек низкого происхождения по имени Франческо делла Ровере, родившийся недалеко от города Савона на Генуэзской Ривьере. Его прихотью было прослыть благородным; поэтому он купил благосклонность древнего туринского дома Ровере, подарив им шляпы двух кардиналов и провозгласив себя их родственником. Им принадлежит золотой дуб на лазурном фоне, который Микеланджело нарисовал на крыше Сикстинской капеллы в знак уважения к Сиксту и его племяннику Юлию. Подкупив самых продажных членов Священной коллегии, Франческо делла Ровере был избран папой и принял имя Сикст IV. Он начал свою карьеру со лжи; ибо, хотя он сменил скупого Павла, который тратил свое время на накопление денег, которыми сам не пользовался, он заявил, что нашел в папской казне всего 5000 флоринов. Это утверждение было опровергнуто расточительностью, с которой он немедленно раздал богатство своим племянникам. Трудно даже намекнуть на ужасные подозрения, которые были вызваны рождением двух племянников папы римского и природой его слабости к ним. И все же частная жизнь Сикста делала правдоподобными самые чудовищные истории, в то время как его публичное обращение с этими людьми напоминало о пристрастии Нерона к Дорифору.[1] Мы можем, однако, остановиться на основных чертах его кумовства; ибо Сикст был первым понтификом, который намеренно организовал систему разграбления Церкви, чтобы возвысить свою семью до княжества. Слабость этой политики уже была выявлена[2]: ее оправдание, если таковое имеется, заключается в требованиях династии, у которой не было законного или наследственного наследования. Племянников папы звали Лионардо, Джулиано и Джованни делла Ровере, трех сыновей его брата Рафаэлло; Пьетро и Джироламо Риарио, двух сыновей его сестры Иоланды; и Джироламо, сына другой сестры, вышедшей замуж за Джованни Бассо. За заметным исключением Джулиано делла Ровере,[3] эти молодые люди не претендовали на какие-либо отличия, кроме приятной внешности и определенного воинственного духа, которые плохо сочетались с церковным достоинством, навязанным некоторым из них. Лионардо был назначен префектом Рима и женат на внебрачной дочери неаполитанского короля Фердинанда. Джулиано получил кардинальскую шапку и после ожесточенной войны с вмешавшимися папами взойшел на Священный престол как Юлий II. Джироламо Бассо был назначен кардиналом Сан-Крисогоно в 1477 году и умер в 1507 году. Джироламо Риарио женился на Екатерине, внебрачной дочери Галеаццо Сфорца. Для него папа римский в 1473 году купил город Имола на деньги Церкви и, добавив к нему Форли, сделал Джироламо герцогом. Он был убит своими подданными в последнем месте в 1488 году, однако не раньше, чем основал род князей. Пьетро, еще один племянник по крови Риарио, или, как тогда разразился скандал и как с тех пор считает Муратори, сын самого папы Римского, был возведен в возрасте двадцати шести лет в сан кардинала, патриарха Константинопольского и архиепископа Флорентийского. У него не было ни добродетелей, ни способностей, ничего, кроме его красоты, скандальной привязанности папы римского и экстравагантного распутства в его собственной жизни, что могло бы привлечь к нему внимание потомков. Вся Италия в течение двух лет звенела от шума его разгула. Его официальные доходы оценивались в 60 000 золотых флоринов; но за свою короткую карьеру расточительного великолепия он умудрился растратить сумму, исчислявшуюся не менее чем в 200 000. Когда Леонора Арагонская проезжала через Рим, направляясь замуж за маркиза Феррарского, этот щеголь-патриарх воздвиг павильон на площади Санти Апостоли для ее развлечения.[4] Площадь была разделена на палаты, сообщающиеся с дворцом кардинала. Обычные портьеры были из бархата, белого и малинового шелка, в то время как одна из квартир была задрапирована знаменитыми гобеленами Николая V. На них было изображено Сотворение мира. Вся утварь в этом

волшебном жилище была из серебра — даже самая мерзкая. Воздух в банкетном зале охлаждался пунками; *"Я мантичи коперти"*, *"че фасевано, продолжай венто"* - вот слова Корио; а на колонне в центре стоял живой обнаженный позолоченный мальчик, который наливал воду из кувшина. Описание праздника занимает три страницы "истории Корио", где мы находим подробный перечень блюд: кабаны, олени и павлины, запеченные целиком; очищенные апельсины, позолоченные и засахаренные; рулеты с позолотой; розовая вода для мытья; и сказки о Персее, Аталанте, Геркулесе и т.д., Которые я приготовила в тесте — *tutte in vivande*. Нам также рассказывают, как маски Геркулеса, Ясона и Федры чередовались с историей Сюзанны и старейшин, сыгранной флорентийскими актерами, и с Мистериями *Сан-Джован-Баттиста-декапитато* и *"Джудео че Росфи и корпорация Христа"*. Слуги были разодеты в шелка, и сенешаль четыре раза в течение банкета менял свое платье из самых богатых тканей и драгоценностей. Нимфы и кентавры, певцы и шуты пили отборное вино из золотых кубков. Самый выдающийся и преподобный хозяин дворца тем временем расхаживал среди своих гостей, "словно сын какого-нибудь великого цезаря". Все увеселения продолжались с субботы по четверг, в течение которых Эрколе де Эсте и его невеста присутствовали на церковных церемониях в соборе Святого Петра и посещали знаменитостей Рима в перерывах между играми, танцами и банкетами подобного рода. Едва ли нужно добавлять, что, несмотря на свое огромное богатство, молодой кардинал умер, задолжав 60 000 флоринов. К счастью для Церкви и для Италии, он скончался в Риме в январе 1474 года, после того как провел свои дерзкие дебоши по Милану и Венеции в качестве папского легата. Ходили слухи, но никогда не подтвержденные достоверно, что венецианцы помогли ему умереть от яда.[5] Всевозможных чувственных удовольствий, в которых это дитя пролетариата, внезапно возведенное в княжеское величие, купалось двадцать пять месяцев подряд, достаточно, чтобы объяснить его преждевременную смерть без гипотезы отравления. Вместе с ним истек срок реализации плана, который мог бы закончиться превращением папства в светское, наследственное королевство. Во время своего пребывания в Милане Пьетро заключил сделку с герцогом, по условиям которой Галеаццо Мария Сфорца должен был быть коронован королем Ломбардии, в то время как кардинал-легат должен был вернуться и захватить папский престол.[6] Сикст, как говорят, был готов отречься от престола в пользу своего племянника с целью более прочного утверждения своей семьи при римской тирании. План был безумным, но, учитывая власть и богатство семьи Сфорца, не таким уж полностью невыполнимым, как могло показаться. Та же мечта возникла несколькими годами позже в воображении двух Борджиа; и Макиавелли в своем спокойном стиле писал, что сделать папскую власть наследственной - это все, что оставалось сделать кумовству в его дни.[7] The мнение, которое сложилось о кардинале Сан—Систо за два года его правления, можно составить из следующих куплетов эпитафии, помещенной, как сообщает нам Корио, на его могиле:

Fur, scortum, leno, moechus, pedico, cynædus,
Et scurra, et fidicen cedat ab Italiâ:
Namque illa Ausonii pestis scelerata senatûs,
Petrus, ad infernas est modo raptus aquas.

После смерти Пьетро Сикст столь же благосклонно отнесся к своему последнему племяннику, Джованни делла Ровере. Он был женат на Джованне, дочери Федерико ди Монтефельтро, герцога Урбино, и получил титул герцога Синигальи. Впоследствии, после смерти своего брата Лионардо, он стал префектом Рима. Этот человек основал вторую династию в герцогстве

Урбино. Плебейская жестокость темперамента делла Ровере достигла апогея в сыне Джованни, герцоге Франческо Марии, который в шестнадцать лет собственноручно убил любовника своей сестры, в двадцать лет зарезал папского легата на улицах Болоньи и сбил с ног историка Гвиччардини ударом кулака во время военного совета в 1526 году.

[1] Печально известные истории о Сиксте и Александре частично могут быть баснями, которые в настоящее время публикуют вульгаристы и превращают в эпиграммы ученые. И все же факт остается фактом: Инфессура, Бурхард и венецианские послы рассказывают об этих двух папах о таких чертах характера и таких отвратительных поступках, которые делают вероятными худшую клевету. Инфессура, хотя и выражал ужас по поводу преступлений Сикста, все же был сухим летописцем повседневных событий, многие из которых проходили у него на глазах, Берчерд был холодным летописцем придворных церемоний, который с флегматичной серьезностью сообщал об изнасилованиях, убийствах и распутстве Александра. Свидетельства этих людей, ни один из которых не потворствует сатире в строгом смысле этого слова, более ценны, чем свидетельства Тацита или Светония о пороках римских императоров. Депеши венецианских послов, опять же, заслуживают доверия, поскольку они всегда писались с политическими намерениями, а не ради сплетен.

[2] См. главу iii. стр. 113.

[3] В роли Юлия II, безусловно, величайшего человека своего времени. Однако даже Джулиано поначалу не производил впечатления на людей своей властью. Jacobus Volaterranus (Mur. xxiii. 107) writes of him: 'Vir est naturæ duriusculæ, ac uti ingenii, mediocris literaturæ.'

[4] Чтобы узнать, что следует дальше, прочитайте Корио, *История Милана*, стр. 417-20.

[5] Число махов. 1-й. *Fior. lib. vii.*; Корио, стр. 420.

[6] См. Corio, стр. 420. Корио намекает, что венецианцы отравили кардинала, опасаясь выполнения этого соглашения.

[7] 1-я. *Фиор*, lib. i. vol. i. стр. 38.

Однако Сикст, обеспечивая таким образом свою семью, не мог наслаждаться жизнью без какого-нибудь юного протеже рядом с собой. Соответственно, в 1463 году он сделал своего камердинера, необразованного юношу низкого происхождения, кардиналом и епископом Пармы в возрасте двадцати лет. Его заслугой была красота юного олимпийца. С этим божественным даром он, к счастью, сочетал безобидный, хотя и глупый характер.

Со всеми этими фаворитами, которых нужно было поддерживать в жизни, папе, естественно, не хватало денег. Он полагался на два основных метода пополнения своей казны. Одним из них была публичная продажа помещений при римском дворе, каждое из которых имело свою хорошо известную цену. [1] Пожертвования были распределены с большей сдержанностью и конфиденциальностью, поскольку симония еще не считалась простительной. Тем не менее, было печально известно, что Сикст не имел привилегий в пределах своего папского контроля, на которые он не хотел бы собирать деньги: "Наши церкви, священники, алтари, священные обряды, наши молитвы, наши небеса, самого нашего Бога можно купить!" - восклицает ученый того времени; в то время как сам Святой Отец обычно говорил: "Папе нужны только ручка и

чернила, чтобы получить ту сумму, которую он хочет".[2] Вторым крупным финансовым средством была монополия на зерно во всей Папской области. Был создан фиктивный дефицит; стоимость пшеницы была повышена до цен, связанных с голодом; хорошее зерно продавалось за пределами королевства, а плохое импортировалось взамен; в то время как Сикст заставлял своих подданных покупать в своих магазинах и получал прибыль от голода и болезней в своих истощенных провинциях. Фердинанд, король Неаполя, практиковал ту же систему на юге. Стоит послушать, на что был похож этот хлеб от одного из мужчин, приговоренных к его употреблению: "Хлеб, приготовленный из кукурузы, о котором я говорил, был черным, вонючим и отвратительным; человек был вынужден употреблять его, и по этой причине государством часто овладевали болезни".[3]

[1] При продвижении этого рынка была проявлена величайшая изобретательность. Инфессура пишет: "Множество и неопровержимых фактов в Римской курии, официальные сведения и вендетты", стр. 1183.

[2] Baptista Mantuanus, *de Calamitatibus Temporum*, lib. iii.
Venalia nobis
Templa, sacerdotes, altaria, sacra, coronæ,
Ignes, thura, preces, coelum est venale, Deusque.

Сориано, венецианский посол, ап. Alberi ii. 3, p. 330, writes: 'Convieni ricordarsi quello che solea dire Sisto IV., che al papa bastava solo la mano con la penna e l'inchiostro, per avere quella somma che vuole.' Cp. Aen. Сильв. Picc.*Ep.* i. 66: 'Nihil est quod absque argento Romana Curia dedat; nam et ipsæ manus impositiones et Spiritus Sancti dona venduntur, nec peccatorum venia nisi nummatis impenditur.'

[3] Infessura, *Eccardus*, vol. ii. p. 1941: 'Panis vero qui ex dicto frumento fiebat, erat ater, foetidus, et abominabilis; e ex necessitate comedebatur, ex quo sæpenumero in civitate morbus viguit.'

Но христианский мир видел в Сиксте не просто зрелище папы, который торговал телами своих подданных и святынями Божьими, чтобы растрачивать подло добытое золото на брошенных приспешников. Мир в Италии был разрушен опустошительными войнами, вызванными продвижением тех же никчемных фаворитов, Сикст желал присоединить Феррару к владениям Джироламо Риарио. Ничто не стояло у него на пути, кроме Дома Эсте, прочно укрепившегося на протяжении веков и связанного браком или союзом со всеми знатными семьями Италии. Папа Римский, чья жажда крови и распрей была сравнима только с его алчностью и распутством,[1] с диким восторгом бросился в проект, который вызвал разногласия на всем полуострове. Он заключал договоры с Венецией и отменял их, разжигал все страсти деспотов и сводил их за уши, призывал швейцарских наемников в Ломбардию, и когда, наконец, итальянские державы, устав сражаться за своего племянника, заключили Баньольский мир, он умер от ярости в 1484 году. Папа действительно умер от разочарования и ярости, потому что в стране, которую он искалечил ради любимого племянника, был восстановлен мир.

[1] Эта фраза требует поддержки. Инфессура (loc. cit., 1941) рассказывает о диком удовольствии, с которым Сикст наблюдал за боем "стаккато кьюзо". Услышав, что дуэль до смерти должна была состояться двумя отрядами его телохранителей, он велел им выбрать для встречи площадь Святого Петра. Затем он появился у окна, благословил сражающихся и

перекрестился в знак начала битвы. Мы, кто считает арену, кокпит и корриду варварскими, должны изучить гравюру Поллахуоло, чтобы представить ужасы дуэли "стаккато кьюзо". О склонности Сикста к чувственности Инфессура пишет: "Hic, ut fertur vulgo, et experientia demonstravit, puerorum amator et sodomita fuit". После упоминания Риариев и двенадцатилетнего сына цирюльника он продолжает: "taceo nunc alia, quæ circa hoc possent recitari, quia visa sunt de continuo." Возможно, это была не совсем протестантская клевета, обвинявшая Сикста в том, что он предоставлял частные индульгенции за совершение отвратительных преступлений в определенные сезоны года.

О преступлении Сикста, которое наиболее ярко рисует коррупцию папства в его эпоху, еще предстоит рассказать. Это было санкцией Заклинания Пацци против Джулиано и Лоренцо Медичи. В 1477 году Медичи, исключив князей-торговцев из семьи Пацци из магистратуры Флоренции и всячески досаждая им, с отвращением изгнали Франческо де Пацци в Рим. Сикст выбрал его своим банкиром вместо Компании Медичи. Он сблизился с Джироламо Риарио и был хорошо принят при папском дворе. Политические соображения в этот момент заставляли папу и его племянника стремиться уничтожить Медичи, которые выступали против планов Джироламо по расширению Ломбардии. Личная злоба побудила Франческо де Пацци поддержать их взгляды и подстегнуть их страсть. Эти трое замыслили заговор, к которому присоединились Сальвиати, архиепископ Пизы, еще один личный враг Медичи, и Джамбаттиста Монтесекко, капитан, хорошо знакомый графу Джироламо. Первым замыслом заговорщиков было заманить братьев Медичи в Рим и убить их там. Но молодые люди были слишком благоразумны, чтобы покинуть Флоренцию. Затем Пацци и Сальвиати отправились в Тоскану, надеясь либо на банкете, либо в церкви вместе убить двух своих врагов. Бернардо Бандини, человек крови по профессии, и Франческо де Пацци были выбраны для убийства Джулиано. Джамбаттиста Монтесекко взялся избавиться от Лоренцо.^[1] 26 апреля 1478 года было окончательно исправлено действие. Выбранным местом был Кафедральный собор.^[2] Сигналом должно было быть повышение уровня Хоста в массовое время. Прибыли оба Медичи. Убийцы обняли Джулиано и обнаружили, что этот робкий юноша оставил дома свою тайную кольчугу. Но возникла трудность, которую следовало предвидеть. Монтесекко, каким бы беспощадным он ни был, отказался заколоть Лоренцо перед главным алтарем: в последний момент какое-то чувство *религиозных мест* лишило его мужества. Затем были обнаружены два священника, у которых не было таких глупых угрызений совести. По словам старой хроники, "Был найден другой человек, который, *будучи священником*, был более привычен к этому месту и, следовательно, менее суеверен по поводу его святости". Это, однако, все испортило. Священники, хотя и были более кощунственными, чем "браво", были менее привычны к убийствам. Им не удалось нанести удар по цели. Джулиано, это правда, был зарезан Бернардо Бандини и Франческо де Пацци в тот самый момент, когда было поднято тело Христа. Но Лоренцо отделался легким ранением. Весь заговор провалился. В качестве возмездия, которое разъяренный народ Флоренции предпринял против убийц, архиепископ Сальвиати вместе с Якопо и Франческо де Пацци и некоторыми другими главными заговорщиками были повешены в окнах палаццо Пабблико. За этот акт насилия над священной личностью священника-предателя Сикст, на совести которого было преступление, заключавшееся в смешении государственной измены, святотатства и убийства, изгнал Флоренцию и в течение многих лет вел ожесточенную войну с Республикой. Только в 1481 году, когда нашествие турок на Отранто заставило его задрожать за собственную безопасность, он решил заключить мир с этими врагами, которых он сам спровоцировал и против которых строил заговоры.

[1] Его "Исповедь", напечатанная Фаброни, *"Жизнь Лоренци Медичи"*, том ii. стр. 168, дает интересный отчет о зарождении сюжета. Справедливо по отношению к Сиксту сказать, что Монтесекко оправдывает его в намерении убить Медичи. Он только хотел погубить их.

[2] Любопытно отметить, сколько из многочисленных итальянских тиранубийств произошло в церкви. Кьявелли из Фабриано были убиты во время торжественной службы в 1435 году; в качестве сигнала была выбрана фраза из символа веры "Et incarnatus est". Джан Мария Висконти был убит в Сан-Готтардо (1412), Галеаццо Мария Сфорца - в Сан-Стефано (1484). Лодовико Моро только что избежал убийства в Сант-Амброджо (1484). Макиавелли говорит, что на жизнь Лоренцо Медичи покушался Батиста Фрескобальди в "Кармине" (см. 1-е место. *Fior.* книга viii. ближе к концу). Бальяни из Перуджи должны были быть убиты во время праздника бракосочетания Асторре с Лавинией Колонна (1500). Стефано Поркари намеревался захватить Николая V. у больших ворот собора Святого Петра (1453). Единственный шанс застать осторожных принцев врасплох был, когда они были заняты высокими церемониями. См. выше, стр. 168.

Особого упоминания заслуживает еще одна особенность понтификата Сикста. Именно под его покровительством в 1478 году в Испании была основана инквизиция для истребления евреев, мавров и христиан с примесью ереси. В течение следующих четырех лет в провинции Кастилия было сожжено 2000 жертв. В Севилье для казней был выделен участок земли, называемый Кемадеро, или место сожжения - новая Акельдама; и здесь за один год 280 еретиков были преданы огню, 79 были приговорены к вечному заключению, а 17 000 - к более легким наказаниям различного рода. Только в Андалусии 5000 домов были немедленно покинуты их жителями. Затем, в 1492 году, последовал знаменитый эдикт против евреев. Не прошло и четырех месяцев, как всему еврейскому населению было приказано покинуть Испанию, не взяв с собой ничего в виде золота или серебра. Их единственным ресурсом была конвертация своего имущества в переводные векселя и движимое имущество. Рынок быстро наполнился: дом был отдан за осла, виноградник - за костюм. Напрасно гонимая раса пыталась купить смягчение приговора выплатой непомерного выкупа. Торквемада предстал перед Фердинандом и его супругой, подняв распятие и воскликнув: "Иуда продал Христа за 30 сребреников; продайте его за большую сумму и отчитайтесь за ту же сумму перед Богом!" Начался исход. Восемьсот тысяч евреев покинули Испанию [1]— некоторые на побережье Африки, где арабы разрывали свои тела в поисках драгоценных камней или золота, которые они могли проглотить, и лишали своих женщин девственности, некоторые в Португалию, где они купили право на существование за большой подушный налог, и где они видели, как их сыновей и дочерей уводили креститься у них на глазах. Другие были проданы в рабство или были вынуждены удовлетворять алчность своих преследователей телами своих детей. Многие бросались в колодцы и пытались похоронить отчаяние самоубийством. Средиземное море было покрыто страдающими от голода и распространяющими чуму флотилиями изгнанников. Войдя в порт Генуи, им было отказано в разрешении на проживание в городе, и они сотнями умирали в гавани. [2] Их гноящиеся тела вызвали эпидемию по всему итальянскому морскому побережью, от которой только в Неаполе умерло 20 000 человек. Порхая от берега к берегу, эти несчастные призраки, жертвы фанатизма и алчности, повсюду разграбленные и повсюду отвергнутые, уменьшались и исчезали. Между тем православные ликовали. Пико делла Мирандола, посвятивший свою жизнь примирению Платона с каббалой, не находит, что еще сказать, кроме этого: "Страдания евреев, которыми восхищалась слава Божественной справедливости, были настолько сильными, что наполнили нас, христиан, состраданием". С этими словами мы можем сравнить следующий отрывок из

Сенареги: "Дело на первый взгляд казалось похвальным в том, что касается чести, оказанной нашей религии; однако в нем была определенная доля жестокости, если мы смотрим на них не как на зверей, а как на людей, творение рук Божьих". критик нашего века может только ошеломленно воскликнуть: *Истинная религия - это suadere malorum!* Так Испания начала поглощать и обезлюдеть саму себя. Проклятие, павшее на еврея и мавра, затем пало на философа и патриота. Сама жизнь нации, ее торговля, промышленность, ее свободная мысль, энергия характера были намеренно и неуклонно подавлены. И в скором времени упадку Испании было суждено обрушиться на Италию, парализовав справедливые движения ее разнообразного существования до жесткого единообразия, окутав свет и краски ее искусства и литературы чернотой инквизиторского мрака.

[1] Это число, возможно, преувеличено. Лимборх в своей *Истории инквизиции* (стр. 83) называет как 800 000, так и 400 000 человек; он также говорит о 170 000 семьях в качестве единого подсчета.

[2] Рассказ Сенареги о въезде евреев в Геную поистине ужасен. Он был очевидцем того, о чем рассказывает. Этот отрывок можно прочитать в книге Прескотта "*Фердинанд и Изабелла*", глава 17.

Наиболее необычным является поведение Сикста — потворствующего своей похоти и гордыне в Ватикане, украшающего шедеврами часовню, названную его именем, [1] разрывающего Италию на куски ради возвышения фаворитов, торгующегося из-за цен, которые нужно платить за епископства, вымогающего деньги у голодающих провинций, замышляющего убийства против своих врагов, травящего полукровок. варварские швейцарские горцы вторглись в Милан с помощью индульгенций, отказывая Венеции в помощи в ее защите христианского мира от турок — и в то же время думая угодить Богу массовыми убийствами мавров, мириадами умирающих от голода евреев, присвоив неверующему и алчному Фердинанду титул католика, пытаюсь искупить свои грехи кровью других, сжечь свои собственные пороки в *аутодафе* Севильи и основав эту дьявольскую машину инквизиции, чтобы сохранить структуру, которую подрывала его собственная низость. [2] Это не язык протестанта, осуждающего папу Римского. При всем уважении к Римской церкви, этой Альма-матер Средневековья, этому величественному и почитаемому памятнику незапамятной древности, мы не можем закрывать глаза на противоречия между практикой и претензиями, на которые история итальянского Возрождения бросает столь яркий свет.

[1] Размышляя под сводами Сивилл и перед Судом Микеланджело, трудно не представить воображению обвинение пап, построивших и украсивших эту часовню, когда Христос, кровь которого они продали, должен был появиться с поднятой грозной десницей, а пророки должны были громко обличать: "Вопите, пастухи, и вопийте; и валяйтесь в пепле, вы, вожди стада, ибо дни вашего истребления и вашего рассеяния прошли".

[2] Такое же несоответствие встречается и в Иннокентии VIII, чья булла против колдовства (1484) систематизировала преследования, направленные против несчастных старух и идиотов. Шпренгер в "*Маллеусе Малефикаруме*" упоминает, что в первый год после его публикации в округе Комо была сожжена сорок одна ведьма, в то время как толпы подозреваемых женщин нашли убежище в провинции эрцгерцога Сигизмунда. *СИсторией епархии Комо* Канту (Le Monnier, 2 тома) можно ознакомиться по поводу преследования ведьм в Вальтеллине и Валь-Камонике. Ср. *Маккарония* Фоленго за распространенность колдовства в этих районах.

После Сикста IV пришел Иннокентий VIII. Его светское имя было Джамбаттиста Чибо. Священная коллегия, напуганная опытом Сикста и думающая, что другой папа, столь безрассудный в своем создании скандальных кардиналов, может погубить христианский мир, возложила на избранного папу самые торжественные обязательства. Сибо поклялся на каждой реликвии, каждым святым, каждому члену конклава, что он будет поддерживать определенный порядок назначения и чистоту выборов в Церкви. Не должен был быть избран ни один кардинал моложе тридцати лет, не более чем представитель папской крови, не имеющий звания доктора теологии или права, и так далее. Но как только диадема оказалась у него на голове, он отказался от них всех как несовместимых с правами и свободами кафедры Святого Петра. Обязательства, данные человеком, всегда могут быть разорваны папой. О понтификате Иннокентия мало что нужно говорить. Он был первым папой римским, публично признавшим своих семерых детей и назвавшим их сыновьями и дочерьми.[1] Алчность, продажность, лень и господство низкопробных фаворитов сделали его правление отвратительным без блеска скандалов его пламенного предшественника. В коррупции он продвинулся на шаг даже дальше Сикста, основав в Риме банк для продажи помилований.[2] Каждый грех имел свою цену, которую преступник мог заплатить по своему усмотрению: 150 дукатов налога поступали в папскую казну; излишек доставался Франческетто, сыну папы. Этот незначительный принц, для которого было куплено графство Ангильяра, не проявлял ни способностей, ни честолюбия ни к чему, кроме добывания и траты денег. Он был невысокого роста и кроток духом, и все же от него зависела судьба важного дома Европы, поскольку в 1487 году отец женил его на Маддалене, дочери Лоренцо де Медичи. Это привело к тому, что Джованни Медичи получил кардинальскую шапку в возрасте тринадцати лет, и таким образом был основан интерес Медичи к Риму; в течение нескольких лет Медичи возвели на Святой Престол двух пап и благодаря их церковному влиянию быстро сковали цепи Флоренции.[3] Торговля, которую Иннокентий и Франческетто вели, занимаясь воровством и убийствами, наполнила Кампанию разбойниками и наемными убийцами.[4] Путешественники, паломники и послы были раздеты и убиты по пути в Рим; а в самом городе более двухсот человек были публично и безнаказанно убиты в последние месяцы жизни папы. Он постепенно погружался в свой последний долгий сон, а Франческетто обдумывал, как унести его дукаты. Пока Святой Отец все еще находился между жизнью и смертью, врач-еврей предложил придать ему сил путем переливания молодой крови в его оцепеневшие вены. Трое мальчиков, напичканных эликсиром ранней молодости, были принесены в жертву напрасно. По словам Инфессуры, каждый мальчик получил по одному дукату. Он добавляет не без мрачного юмора: "И пауло после смерти восстанет; Иудей будет спасен, и папа не здравствует". Эпитафия этому бедному старому папе звучит как довольно остроумная, но богохульная шутка: "Ego autem in Innocentia me ingressus sum".

[1] "Примус понтификум филиос филиаске палам остентавит, примус эорум апертас фекит бракосочетание, примус domestikос гименей целебравит". Эгидий из Витербо, цитируется Грегором. *Stadt Rom*, том vii. стр. 274, примечание.

[2] Инфессура говорит, что слышал, как вице-канцлер, когда его спросили, почему преступникам разрешено платить вместо наказания, ответил: "Бог желает не смерти грешника, а того, чтобы он заплатил и жил". Доминико ди Витербо, апостольский писец, подделал буллы, которыми папа даровал индульгенции за совершение самых страшных скандалов. Его отец пытался откупиться от него за 5000 дукатов. Иннокентий ответил, что, поскольку речь идет о его чести, у него должно быть 6000. Бедный отец не смог наскрести столько денег, поэтому сделка

сорвалась, и Доминико казнили. Римлянин, убивший двух собственных дочерей, купил себе помилование за 800 дукатов.

[3] Гвиччардини, глава 1., указывает, что Лоренцо, имея своим союзником папу, смог создать тот баланс сил в Италии, сохранение которого было его главной политической заслугой до самой смерти.

[4] Только читая страницы Дневника Инфессуры (Eccardus, том ii, стр. 2003-2005), можно составить какое-либо представление о смешанном развороте и насилии Рима того времени.

Тем временем кардиналы не сидели сложа руки. Утомительный досуг долгой летаргии Иннокентия был использован ими в активной симонии. Мимоходом можно сказать, что Симония обеспечила знатым итальянским семьям прямую заинтересованность в избрании самого богатого и высокооплачиваемого кандидата. Настала очередь такого человека, как Асканио Сфорца, откормить золотую курицу, несущую такие яйца, прежде чем убить ее — другими словами, взять взятки Иннокентию и Александру, отложив при этом на будущее свои собственные выборы. Все кардиналы, за исключением Родриго Борджиа, [1] были созданиями Сикста или Иннокентия. Купив свои шляпы за золото, они теперь были готовы продать свои голоса тому, кто больше заплатит. Борджиа был самым богатым, сильным, мудрым и искушенным в делах из всех. Он точно определил, какова будет цена каждого избирательного права, и соответствующим образом выстроил свои планы. Кардинал Асканио Сфорца, брат герцога Миланского, согласился бы занять прибыльный пост вице-канцлера. Кардинал Орсини был бы доволен дворцами Борджиа в Риме и замками Монтичелло и Савиано. Кардиналу Колонне нравилось аббатство Субиако с его крепостями. Кардинал Сан-Франциско Анджеоло предпочел комфортабельное епископство Порту с его дворцом, полным отборных вин. Кардинал Пармы выбрал Непи. Кардинал Генуи был подкуплен церковью Святой Марии на Виа Лата. Менее влиятельные члены Конклава продавали себя за золото; чтобы удовлетворить их требования, Борджиа послал Асканио Сфорца четырех мулов, нагруженных монетами, в день открытых дверей, попросив его раздать их надлежащими порциями избирателям. Пылкий Джулиано делла Ровере оставался неумолимым и упрямым. В Борджиа его неистовый темперамент нашел достойного противника. Доспехи, которые он надел при их первых столкновениях, он никогда не снимал, но вел ожесточенную войну со всем выводком Борджиа в Остии, при французском дворе, в Романье, где бы и когда бы у него ни была возможность. [2] Он и пять других кардиналов, среди которых его двоюродный брат Рафаэль Риарио, отказались продавать свои голоса. Но Родриго Борджиа, развратив остальных членов колледжа, в 1492 году принял мантию Святого Петра с приснопамятным титулом Александра VI.

[1] Родриго был сыном Изабеллы Борджиа, племянницы папы римского Каликста III., от ее брака с Джоффе Ленцуоли. Он взял фамилию Борджиа, когда приехал в Рим, чтобы стать кардиналом и разделить величие своего дяди.

[2] Женитьба его племянника Николо делла Ровере на Лауре, дочери Александра VI. от Джулии Белла, в 1505 году, спустя долгое время после того, как семья Борджиа утратила свою власть в Италии, является любопытным и необъяснимым инцидентом.

Рим ликовал. Священный Город нарядился по-праздничному, выставив на каждом флаге и балконе Быка дома Борджиа и восклицая, как египтяне, когда они нашли Аписа: —

Да здравствует бог! Vive diu Bos! Borgia vive!
Vivit Alexander: Roma beata manet.

По правде говоря, не было ничего, что могло бы убедить римлян в грядущем бедствии или вызвать подозрение в том, что был избран папа, который заслужит проклятие последующих столетий. В Родриго Борджиа люди пока видели только человека, совершенного во всех отношениях, с красивой внешностью, королевской осанкой, величественной осанкой, приветливым обращением. Он был блестящим оратором, страстным любовником, полубогом придворной пышности и церковного шествия — качеств, которые, хотя и не соответствуют нашим представлениям о церковнике, соответствовали вкусу эпохи Возрождения. Когда он с триумфом скакал к Латерану, голоса громко восхваляли его. "Он восседает на белоснежном коне", - пишет один из гуманистов века,^[1] "с безмятежным челом, с повелительным достоинством. Когда он раздает свое благословение толпе, все взгляды устремлены на него, и все сердца ликуют. Как восхитительно его мягкое самообладание! как благороден его облик! его взгляд такой свободный! Его рост и осанка, его красота и полное здоровье его тела, как они усиливают почтение, которое он внушает!" Другой панегирист^[2] описывает его "широкий лоб, царственное чело, свободное выражение лица, полное величия", добавляя, что "героическая красота всего его тела" была дана ему природой для того, чтобы он мог "украшать сиденье". из Апостолов с его божественным обликом на месте Бога. "Как мало в первые дни своего понтификата Борджиа походил на того Александра, с которым легенда о его последующей жизни познакомила наше воображение, можно понять из следующего рассказа:^[3] "Он красив, с самым радостным выражением лица и жизнерадостным видом, одарен сладостью и выбором". красноречие; красивых женщин, на которых обращен его взор, он привлекает к себе любовью и действует на них чудесным образом, сильнее, чем магнит на железо". Мы должны помнить, что это свидетельства литераторов, проникнутых языческими чувствами пятнадцатого века и радующихся приходу папы, который, как они надеялись, сделает Рим столицей роскоши и распущенности. Поэтому они требуют, чтобы к ним относились с осторожностью. И все же нет оснований предполагать, что большинство итальянцев смотрели на возвышение Борджиа с особым ужасом. Как кардинал, он доказал свои способности, но не проявил никаких признаков силы, жестокости или мошенничества. Его моральные принципы не были хуже, чем у его коллег. Если он был отцом нескольких детей, то таким же был и Джулиано делла Ровере, а до него - папа Иннокентий. Это мало что значило в эпоху, когда предстоятель христианского мира стал рассматриваться как светский властитель, менее удачливый, чем другие князья, поскольку его правление не было наследственным, но более удачливый в той мере, в какой он мог громыхать и раздавать привилегии Церкви. Несколько проникательных людей поняли, что было сделано, и содрогнулись. "Король Неаполя, — говорит Гвиччардини, — хотя и скрывал свое горе, сказал королеве, своей жене, со слезами — слезами, которые он имел обыкновение сдерживать даже после смерти собственных сыновей, — что был избран папа, который окажется самым пагубным для всего христианского содружества". Молодой кардинал Джованни Медичи снова продемонстрировал свое понимание ситуации, прошептав на Конклаве своему родственнику Чибо: "Мы в волчьей пасти; он проглотит нас, если мы не спасемся бегством". Кроме того. В Италии было широко распространено отвращение к испанским захватчикам - маррани, или маврам-отступникам, как их правильно называли, - которые наводнили Ватикан и угрожали завладеть землей, которую они усыновили, как завоеватели. "Десяти папств было бы недостаточно, чтобы утолить жадность всей этой родни", - писал Джаннандреа Боккаччо

герцогу Феррарскому в 1492 году. И события доказали, что эти опасения были оправданы; ибо во время понтификата Александра было назначено восемнадцать испанских кардиналов, пятеро из которых принадлежали к дому Борджиа.

[1] Смотрите Майкла Фернуса, цитируемого Греггом. *Lucrezia Borgia*, p. 45.

[2] Джейсон Мейнус, цитируется Греггом, *Stadt Rom*. стр. 314, примечание.

[3] Вздох. Версия, цитируется Греггом. *Stadt Rom*. p. 208, note.

Несомненно, однако, что тот глубокий ужас, с которым имя Александра VI поражает слух современников, не ощущался итальянцами во время его избрания. Чувство ненависти, с которым к нему относились впоследствии, возникло отчасти из-за преступлений, которые сделали его понтификат позорным, отчасти из-за страха, который внушал его сын Чезаре, а отчасти из-за тайн его личной жизни, которые возмущали даже развращенную совесть шестнадцатого века. Это чувство ненависти переросло во всеобщее презрение в день его смерти. Со временем, когда внимание северных народов было приковано к беззакониям Рима и когда стало ясно вопиющее несоответствие между притязаниями Александра как папы и его поведением как человека, это породило легенду, которая, как и все легенды, искажает факты, которые она отражает.

Александр был, по правде говоря, человеком, в высшей степени способным завершить старость и начать новую, продемонстрировать парадоксальное положение пап с помощью неумолимой логики своего практического нечестия и объединить две конфликтующие мировые силы в цинизме высшей коррупции. Императоры дома Юлиев проявили крайнюю чувственную дерзость в своем самодержавии. Они насладились тем, чего они желали от странных, сладких и ужасных запретных плодов похоти. Папы Средних веков — Гильдебранд и Бонифаций — проявили крайнюю духовную дерзость в своей теократии. То, чего они желали от тирании и силы в осуществлении узурпированного деспотизма над душами, они получили. Борджиа сочетали оба стремления к безграничному. Вполне оправданно описывать его как Гения Зла, чья чувственность, столь же необузданная, как у Нерона, проявлялась на фоне пламени и дыма, которые христианство воздвигло за плотские грехи. Его духовная тирания, эта высокомерная Справедливость, по праву которой он претендовал на полушарие, открытое Христофором Колумбом, и навлек на европейскую прессу порицание Римской церкви, стала в десять раз чудовищнее из-за блеска, отражавшегося на ней от неугасимого горнила безбожной жизни. Всеобщее сознание христианства возмущено теми безымянными наслаждениями, кровавыми оргиями и празднествами похоти, которыми наслаждался в расцвете своей зеленой и энергичной старости этот разносторонний дипломат и утонченный священник, который управлял советами королей и который пел священную службу для слушающего мира в День Пасхи в Риме. Рим никогда не был ни маленьким, ни слабым, ни посредственным. И теперь, в Понтификат Александра, "эта памятная сцена" представила народам современного мира представление антихриста и Антифизиса — отрицание Евангелия и природы; вопиющее зрелище разлада между человечеством, каким оно стремится быть в своих лучших проявлениях, и человечеством, каким оно является в своих худших проявлениях; трагикомедию, сочиненную каким-то inferнальным Аристофаном, в которой главную роль сыграл слуга слуг, помазанник Господень, наместник Христа на земле. Могут возразить, что это язык не истории, а легенды. Я отвечаю, что бывают случаи, когда легенда улавливает дух истины.

Александр был более сильным и непреклонным человеком, чем его непосредственные предшественники. "Он сочетал, - говорит Гвиччардини, - мастерство с исключительной проницательностью, здравый смысл с необычайной силой убеждения; и ко всем серьезным делам жизни он прилагал невероятные способности и боль".^[1] Его первой заботой было привести Рим в порядок. Старые фракции Колонны и Орсини, которые Сикст разгромил, но которые снова подняли голову во время слабоумия Иннокентия, были уничтожены во время его понтификата. Таким образом, как заметил Макиавелли,^[2] он заложил реальную основу светской власти папства. Александр, действительно, как суверен, добился для Папского престола того, чего Людовик XI. сделал для французского престола и заставил Рим в его небольших масштабах следовать типу крупных европейских монархий. Неверие и лжесвидетельства папы, "который никогда не делал ничего, кроме обмана, никогда не думал ни о чем, кроме этого, и всегда находил повод для своих махинаций",^[3] в сочетании с его логическим интеллектом и убедительным красноречием сделали его грозным антагонистом. Все соображения религии и морали были им со строгой беспристрастностью подчинены политике, а свою политику он ограничивал двумя целями — продвижением своей семьи и укреплении светской власти. Это были узкие цели для честолюбивого властелина, который одним росчерком пера претендовал на то, чтобы даровать Испании новообретенный мир. И все же они истощили все его силы и довели его до совершения чудовищных преступлений.

^[1] Будет лишь справедливо по отношению к Гвиччардини завершить свое предложение примечанием: "Эти хорошие качества были намного превзойдены его пороками; личные привычки до крайности непристойные, ни стыда, ни чувства правды, ни верности своим обязательствам, ни религиозного чувства; ненасытная алчность, необузданные амбиции, жестокость, превосходящая жестокость варварских рас, жгучее желание возвысить своих сыновей любыми средствами: их было много, и среди них — чтобы у него не было недостатка в порочных инструментах для осуществления своих порочных планов — один не менее отвратительный, чем его отец". *Св. д'Ит.* том I, стр. 9. Я переведу и помещу в приложении образ Александра Гвиччардини из "*Истории Флоренции*".

^[2] В предложениях, закрывающих 11-ю главу "*Принца*".

^[3] Число Мач. *Принц*, глава xvii. В Сатирах Ариосто (Сатира I. 208-27) есть блестящий и необычайно откровенный пассаж о кумовстве пап и его пагубных последствиях для Италии.

Бывшие понтифики собирали деньги, продавая бенефиции и индульгенции: это, конечно, практиковал и Александр — до такой степени, что эпиграмма приобрела популярность: "Александр продает ключи, алтари, Христа. Что ж, он купил их, значит, у него есть право продать их". Но он пошел дальше и брал уроки у Тиберия. Продав багряницу тому, кто больше заплатит, он обычно кормил своего прелата богатыми пожертвованиями. Когда он достаточно откормил его, он отравил его, наложил лапу на его запасы и возобновил игру. Паоло Капелло, венецианский посол, писал в 1500 году: "Каждую ночь в Риме находят четырех или пятерых убитых мужчин, епископов, прелатов и так далее". Панвиний упоминает трех кардиналов, которые, как известно, были отравлены папой; к их именам можно добавить имена кардиналов Капуи и Вероны.^[1] Быть князем Церкви в те дни было опасно; и если бы Борджиа в конце концов не отравил себя по ошибке, ему, должно быть, в долгосрочной перспективе пришлось бы платить людям за столь опасную привилегию. Его торговля церковными ценностями велась с размахом: например, шляпы двенадцати кардиналов были выставлены на аукцион за один день

в 1500 году.[2] Это было, когда он хотел собрать Конклав голосами за уступку Романьи Чезаре Борджиа, а также пополнить свою истощенную казну. Сорок три кардинала были созданы им в ходе одиннадцати повышений в должности: каждое из них стоило в среднем 10 000 флоринов; в то время как цена, заплаченная Франческо Содерини, составила 20 000, а цена, заплаченная Доменико Гримани, достигла суммы в 30 000.

[1] Смотрите авторитетные источники в Burckhardt, стр. 93, 94.

[2] Guicc. *Сент-д'Им*. том iii. стр. 15.

Прежние папы проповедовали крестовые походы против турок, вяло или энергично, в зависимости от того, была ли угроза побережьям Италии. Александр часто приглашал Баязета приехать в Европу и избавить его от принцев, которые выступали против его интриг в пользу его детей. Братские чувства, существовавшие между папой и султаном, в некоторой степени зависели от судьбы принца Джема, брата Баязета и сына завоевателя Константинополя, который бежал в поисках защиты к христианским державам и которого папа держал в плену, получая 40 000 дукатов ежегодно от Порты в качестве платы за содержание в тюрьме. Иннокентий VIII. был первым, кто заманил в ловушку этого прибыльного гостя в 1489 году. Копье Лонгина было послано ему в знак благодарности султана, и Иннокентий, построивший алтарь для реликвии, распорядился воздвигнуть рядом свою собственную гробницу. Его бронзовое изображение работы Поллахуоло до сих пор держит в руке этот кровавый дар неверного первосвященнику христианского мира.

Джем тем временем оставался в Риме и управлял своим мусульманским двором бок о бок с понтификом в Ватикане. Сохранились депеши, в которых Александр и Баязет обмениваются словами о самой теплой дружбе, турок умоляет его Величие — так он обращался к папе — покончить с незадачливым Джемом и обещает в качестве платы за это убийство сумму в 300 000 дукатов и тунику, которую носил Христос, предположительно тот самый бесшовный плащ, поверх которого солдаты Голгофы бросили свои кости.[1] Деньги и реликвия прибыли в Италию и были перехвачены партизанами Джулиано делла Ровере. Александр, прежде чем сделка с султаном была заключена убийством Джема, был вынужден выдать его французскому королю. Но несчастный турок носил в своем организме медленный яд Борджиа и умер в лагере Карла между Римом и Неаполем. Каким бы преступлениям Александр ни оправдывал себя, это сотрудничество с турками трудно смягчить. Своим обращением европейских держав к султану в то время, когда опасность для западного мира была все еще наиболее серьезной, он был обвинен в государственной измене христианскому миру, главой которого он называл себя; цивилизации, которую Церковь якобы защищала; Христу, наместником которого он осмеливался называть себя.

[1] Смотрите письма из "Предварительных исследований", напечатанные в конце *Воспоминаний о коминах*.

Подобно Сиксту, Александр сочетал эту мертвенность по отношению к духу и интересам христианства с рвением к догме. Он никогда не отступал от формальной ортодоксальности, и меры, которые он принимал для того, чтобы сковать народ цепями суеверий, были рассчитаны с военной твердостью Наполеона. Именно он установил цензуру прессы, в соответствии с которой печатники были обязаны под страхом отлучения от церкви передавать издаваемые ими

книги под контроль архиепископов и их делегатов. Можно с полным основанием сказать, что Свод от 1 июня 1501 года, содержащий этот приказ, затормозил цивилизацию, по крайней мере, в Италии и Испании.

Плотская чувственность была основным пороком этого папы на протяжении всей его жизни.^[1] Это, вместе с его почти безумной слабостью к своим детям, из-за которой он стал рабом ужасного Чезаре, стало причиной всех преступлений, которые он совершил. В то же время, несмотря на свою чувственность, Александр не был обжорой. Боккаччо, посол Феррарезе, замечает: "Папа ест только из одного блюда. Поэтому обедать с ним неприятно". В этом отношении он может выгодно отличаться от римских прелатов эпохи Льва. Его отношения с Ваночцей Катанеи, титульной женой сначала Джорджо де Кроче, а затем Карло Каналэ, и с Джулией Фарнезе,^[2] по фамилии Ла Белла, титульной жены Орсино Орсини, были открытыми и признанными. Эти две султанши правили им на протяжении большей части его карьеры, попустительствуя тем временем гарему, который, по истинно восточному обычаю, он содержал в Ватикане. Инцидент, произошедший во время французского вторжения в 1494 году, ярко показывает нам семейные обстоятельства папы эпохи Возрождения. Монсеньор д'Аллегре поймал леди Джулию и Джироламу Фарнезе вместе с леди Адрианой де Мила, которая работала их дуэньей, недалеко от Каподимонте 29 ноября и доставил их в Монтефьясконе. Сумма, установленная для их выкупа, составила 3000 дукатов. Папа заплатил эту сумму, и 1 декабря они были освобождены. Александр встретил их за пределами Рима, одетый как мирянин в черную куртку, отделанную золотой парчой, и перетянутый на талии испанским поясом, на котором висел его кинжал. Лодовико Сфорца, когда услышал о случившемся, заметил, что было бы слабостью освобождать этих дам, которые были "глазами и сердцем" его Святейшества, за такой небольшой выкуп — если бы потребовали 50 000 дукатов, они были бы выплачены. Эта и несколько подобных шуток, сказанных на счет папы римского, позволяют нам понять, до какой степени итальянцы привыкли считать своего первосвященника светским князем. Даже представление Александра, восседающего в соборе Святого Петра со своей дочерью Лукрецией по одну сторону трона и невесткой Сансией по другую, не вызвало морального возмущения; римляне также не были удивлены, когда Лукреция была назначена губернатором Сполето и полномочным регентом Ватикана в отсутствие своего отца. Однако эти скандалы произвели совсем иное впечатление на север и подготовили почву для Реформации.

^[1] Гвиччардини (Св. *Фуор.* кап. 27) writes: 'Fu lussoriosissimo nell' uno e nell' altro sesso, tenendo pubblicamente femine e garzoni, ma più ancora nelle femine.' A notion of the public disorders connected with his dissolute life may be gained from this passage in Sanuto's Diary (Gregorovius, *Lucrezia Borgia*, p. 88): 'Da Roma per le lettere del orator nostro se intese et etiam de private persone cossa assai abominevole in le chiesa di Dio, che al papa erra nato un fiolo di una dona romana maritata, ch' el padre l' havea rufianata, e di questa il marito invitò il suocero a la vigna e lo uccise tagliandoli el capo, ponendo quello sopra uno legno con letere che diceva questo è il capo de mio suocero che a rufianato sua fiola al papa, et che inteso questo il papa fece metter el dito in exilio di Roma con taglia. Questa nova venne per letere particular; etiam si godea con la sua spagnola menatali per suo fiol duca di Gandia novamente li venuto.'

^[2] Ее брат Александр, впоследствии Павел III, был обязан своим продвижением по службе этой связи, которая, следовательно, была источником величия Фарнези. Могила Павла III. на Трибуне собора Святого Петра есть три примечательных семейных портрета — самого папы Римского в

бронзе; его обнаженной сестры Джулии в мраморе в роли Джастиса; и их старой матери, Джованны Гаэтани, сводни, в роли Пруденс.

Кумовство Сикста было как вода в крепком вине отцовских амбиций Александра. Страсть к отцовству, переросшая границы естественной привязанности и скандальная для римского понтифика, была главным мотивом поступка Борджиа. Из своих детей от Ваноццы он сделал старшего сына герцогом Гандии; младшего он женил на донне Сансии, дочери Альфонсо Арагонского, от которого мальчик был удостоен герцогства Сквиллаче. Чезаре, второй представитель этой семьи, был назначен епископом Валентии и кардиналом. Герцогства Камерино и Непи были переданы другому Иоанну, которого Александр сначала объявил своим внуком через Чезаре, а затем признал своим сыном. Возможно, этот Джон был ребенком Лукреции. Герцогство Сермонета, вырванное на мгновение из рук семьи Гаэтани, которая владеет им до сих пор, было передано сыну Лукреции, Родриго. Лукреция, единственная дочь Александра от Ваноццы, взяла трех мужей подряд, после того как была официально помолвлена с двумя испанскими дворянами, доном Керубино Хуаном де Сентельесом и доном Гаспаро да Прочида, сыном графа Аверсы. Эти контракты, заключенные до того, как ее отец стал папой, были аннулированы как недостаточно великолепные для дочери понтифика. В 1492 году она вышла замуж за Джованни Сфорца, сеньора Пезаро. Но в 1497 году притязания Борджиа переросли рамки этого союза, и их государственная политика стала склоняться к отношениям с южными дворами Италии. Соответственно, она была разведена и отдана Альфонсо, принцу Бисельи, побочному сыну короля Неаполя. Когда отец этого человека потерял свою корону, Борджиа, не желая быть связанным с бывшей королевской семьей, закололи Альфонсо на ступенях собора Святого Петра в 1501 году; и пока он находился между жизнью и смертью, Микелоццо, главный убийца Чезаре, задушил его на постели больного. Наконец, в 1502 году Лукреция вышла замуж за Альфонсо, наследного принца Феррары.^[1] Гордый наследник династии Эсте был вынужден политикой, вопреки своей склонности, взять к себе на стол и уложить в постель незаконнорожденного папу римского, дважды разведенного, однажды разлученного с мужем в результате убийства и запятнанного, справедливо или нет, чудовищными слухами, которым поведение ее отца и брата придало слишком много окраски. В конце концов, она оказалась образцовой принцессой и, наконец, умерла при родах, после того как Ариосто похвалил ее как вторую Лукрецию, более яркую своими добродетелями, чем звезда царственного Рима.

^[1] Ее приданое составляло 300 000 дукатов, помимо свадебных подарков, и некоторых важных иммунитетов и привилегий, предоставленных Ферраре папой римским.

История наконец-то отдала должное памяти этой женщины, чьи длинные желтые волосы были так прекрасны, а характер так бесцветен. Легенда, которая сделала ее Менадой, готовящей яд, оказалась ложью - но только за счет всего общества, в котором она жила. Простые северяне, знакомые с рассказами о Кримхильде, Брюнхильд и Гудрун, которые помогли создать эту легенду, не могли понять, что женщина должна нести ответственность за все преступления и скандалы, совершенные от ее имени. И все же теперь кажется достаточно очевидным, что не ее, а ее отца и брата постигли зверства, которые сделали ее супружескую жизнь в Риме притчей во языцех. Она сидела и улыбалась, несмотря на все бури, которые швыряли ее туда-сюда, пока, наконец, не нашла прекрасный порт в герцогстве Феррара. Воспитанная в условиях коррупции папского Рима, который Лоренцо Медичи описывал своему сыну Джованни как "вместилище всех пороков", привычно общавшаяся с наложницами своего отца и сознававшая, что ее

собственная мать была замужем напоказ за двумя сменявшими друг друга мужьями, невозможно, чтобы Лукреция когда-либо вела себя пристойно. Вполне вероятно даже, что самые мрачные истории о ней - правда. Мы должны помнить, что сеньор Пезаро сказал своему родственнику, герцогу Миланскому, что указанные причины его развода были ложными и что этот факт едва ли может быть зафиксирован.^[1] Тем не менее, нет оснований предполагать, что в вопросе развода ее первого мужа и убийства второго она была более чем пассивным агентом в руках Александра и Чезаре. Любящая удовольствия, беспечная женщина эпохи Возрождения сильно отличается от Медеи из романа Виктора Гюго; и что больше всего возмущает совесть современников в ее поведении, так это самодовольное согласие со сценами разврата, придуманными для ее развлечения.^[2] Вместо того, чтобы смотреть на нее со страхом как на могущественную и злобную ведьму, мы должны относиться к ней с презрением как к слабой женщине, с колыбели запятнанной чувственной мерзостью. Также следует помнить, что в Ферраре она завоевала уважение мужа, который женился на ней не по своей воле, привязал к ней все состояние своим мягким характером и удостоился панегириков от обоих Строцци, Бембо, Ариосто, Альдо Мануцио и многих других выдающихся людей. Иностранцы, видевшие ее в окружении блестящего Двора, восклицали, подобно французскому биографу Байяра: "Я был в ужасном положении, в такое время ни одна красавица не совершила переворота, и это не единственная точка соприкосновения с триумфальной принцессой; я был прекрасной девушкой, *bonne douce* и *courtoise à toutes gens*".

^[1] Весь вопрос о виновности Лукреции был умело исследован Грегоровиусом (*Лукреция Борджиа*, стр. 101, 159-64). Чарити предполагает, что ужасная традиция ее отношений с отцом и братьями основана не столько на фактах, сколько на скандалах, разгоревшихся после ее развода. Джованни Сфорца сказал следующее: "*анци хаверла познает бесконечную перемену, мой чел папа не геля толта в любом случае, не за нас, а за лей*". Это признание оскорбленного мужа обошло все дворы Италии, было повторено Малипьеро и Паоло Капелло, легло в основу сатир Санназаро и Понтано, вошло в хроники Матараццо и сохранилось в исторических трудах Макиавелли и Гвиччардини. В его словах не было ничего, что могло бы удивить людей, знавших о деяниях Джанпаоло Бальони и Сигизмондо Малатесты; в то время как неистовая страсть Александра к своим детям, поскольку это чувство было в нем тесно связано с чрезмерной чувственностью, подтверждала их. Были ли они, однако, правдой; или это была злонамеренная ложь? Вот в чем суть вопроса. Психологические спекуляции здесь мало помогут. Это правда, что Лукреция после смерти проявила все признаки чистой совести. Но так же поступал и Александр, чье жизнерадостное настроение сохранялось до самого дня его смерти. И все же он был запятнан преступлениями, достаточно грязными, чтобы омрачить совесть любого человека, в любой период жизни и на любом положении.

^[2] См. Берчард, изд. Лейбниц, стр. 77 и 78.

Однако даже в Ферраре трагедии, которые могли бы напомнить ей о Ватикане, продолжали преследовать ее на пути. Альфонсо, грубый по манерам и преданный оружейному делу, мало вмешивался в ту жизнь, которую она вела среди окружавших ее умников и эрудитов. Однако однажды, в 1508 году, поэт Эрколе Строцци, воспевавший ее, был найден мертвым, завернутым в свою мантию, с двадцатью двумя ранами. Никакого судебного расследования этого убийства не проводилось. Молва приписывала этот поступок Альфонсо и Лукреции — Альфонсо, потому что он мог ревновать к своей жене, — Лукреции, потому что ее поэт недавно женился на Барбаре Торелли. Двумя годами ранее другое мрачное преступление в Ферраре привлекло

внимание общественности к имени Борджиа. За одной из фрейлин Лукреции, Анджелой Борджиа, ухаживали и Джулио д'Эсте, и кардинал Ипполито. Девушка похвалила глаза Джулио в присутствии кардинала, который немедленно нанял убийц, чтобы изуродовать лицо своего брата. Джулио вырвался из их рук, потеряв один глаз, и тщетно добивался справедливости у герцога против кардинала. После этого он поклялся отомстить и Ипполито, и Альфонсо. Его заговор состоял в том, чтобы убить их и посадить на трон Фердинанда Эсте. Измена была раскрыта; заговорщики предстали перед Альфонсо: он бросился на Фердинанда и ударил его кинжалом в лицо. И Джулио, и Фердинанд были брошены в подземелья дворца в Ферраре, где они томились годами, в то время как герцог и Лукреция наслаждались жизнью в его просторных залах и нежились среди своих придворных. Фердинанд умер в тюрьме в возрасте шестидесяти трех лет в 1540 году. Джулио был освобожден в 1559 году и умер в возрасте восьмидесяти трех лет в 1561 году. Эти факты заслуживают упоминания в связи с замужней жизнью Лукреции в Ферраре, чтобы мы не обращали слишком много внимания на лесть Ариосто. В то же время ее история как герцогини состоит, по большей части, из записей о рождении детей. Как и ее мать Ваночца, на склоне лет она посвятила себя делам милосердия. Таким образом, яркие и зловещие дамы эпохи Возрождения спасали свои души.

Но вернемся к внутренней истории Александра. Убийство герцога Гандийского выводит на сцену всю семью Борджиа. Об этом с большой обстоятельностью и удивительным хладнокровием рассказывает Берчард, церемониймейстер папы Римского. Герцог со своим братом Чезаре, в то время кардиналом Валентино, однажды вечером ужинали в доме их матери Ваночцы. По дороге домой герцог сказал, что должен навестить их знакомую даму. Он расстался с Чезаре, и больше его никогда не видели живым. Когда весть о его исчезновении распространилась по всему миру, лодочник с Тибра показал, что видел тело человека, брошенное в реку в ночь смерти герцога, 14 июня; он не счел нужным сообщать об этом факте, поскольку видел, как "за день в указанном месте в воду бросали сотни тел, и после этого о них не задавали никаких вопросов". Папа несколько часов тащил Тибр, в то время как острословы Рима сочиняли эпиграммы в адрес этого истинного преемника Святого Петра, этого нового ловца людей. Наконец тело герцога Гандийского было поднято наверх: на трупе было обнаружено девять ран, одна в горле, остальные в голове, ногах и туловище. Из собранных свидетельств по поводу убийства следовало, что Чезаре спланировал его; то ли, как предполагали некоторые, из ревности к своему брату, слишком ужасной, чтобы ее описать, то ли, что более вероятно, потому, что он хотел занять первое место в семье Борджиа, мы точно не знаем. Понтифик в своем гневе и горе был подобен загнанному в угол дикому зверю. Он заперся в отдельной комнате, отказывался от еды и выл таким ужасным голосом, что его было слышно на улицах за пределами его дворца. Когда он очнулся от этой агонии, его, казалось, охватило раскаяние. Он собрал Конклав кардиналов, плакал перед ними, разодрал на себе мантии, исповедался в своих грехах и учредил комиссию по исправлению злоупотреблений, которые он санкционировал в Церкви. Но буря страданий, наконец, иссякла. Визит Ваночцы, матери его детей, вызвал внезапный переход от ярости к примирению. Что произошло между ними, доподлинно неизвестно; предполагается, однако, что Ваночца указала на то, что было неоспоримой правдой, а именно, что Чезаре был более пригоден для поддержания достоинства семьи своими способностями, чем слабый и дружелюбный герцог Гандийский. Несчастный отец поднялся с земли, вытер глаза, принял пищу, избавился от угрызений совести и вместе со своей скорбью об Авессаломе забыл о реформах, которые он обещал для Церкви.

С этого момента он с неослабевающей энергией посвятил себя преуспеванию Чезаре, которого освободил от всех церковных обязанностей и к служению которому, казалось, был привязан какой-то таинственной силой. Он даже не возмущался дикостью и жестокостью, которые этот молодой адский кот проявлял в его присутствии по отношению к его любимцам. Однажды Чезаре собственноручно заколол Перотто, папского фаворита, когда юноша нашел убежище в объятиях Александра: кровь брызнула на священническую мантию, и молодой человек скончался там.^[1] В другой раз он использовал тот же дьявольский темперамент для услаждения своего отца. Он вывел нескольких заключенных, приговоренных к смертной казни, во двор дворца, нарядился в фантастические одежды и позабавил папскую партию, расстреливая незадачливых преступников. Они бегали круг за кругом по площадке, пригибаясь и сгибаясь вдвое, чтобы избежать его стрел. Он продемонстрировал свое мастерство, поразив каждого туда, куда считал нужным. Папа и Лукреция аплодировали. Другие сцены, не кровопролития, а пресмыкающейся чувственности, придуманные для развлечения его отца и сестры, хотя и описаны сухим пером Берчарда, вряд ли могут быть перенесены на эти страницы.

^[1] Отчет предоставлен Капелло, венецианским посланником.

История попытки Чезаре основать княжество по праву принадлежит другой главе.^[1] Но помощь, оказанная его отцом, имеет важное значение для биографии Александра. Видение итальянского суверенитета, которое последовательно вынашивали Карл Анжуйский, Джан Галеаццо Висконти и Галеаццо Мария Сфорца, теперь очаровывало воображение Борджиа. Решив сделать Чезаре принцем, Александр вступил в союз с Людовиком XII Французским, пообещав аннулировать его первый брак и одобрить его свадьбу с Анной Бретонской, если тот займется продвижением своего сына по службе. Эта взятка побудила Людовика провозгласить Чезаре герцогом Валенсии и даровать ему руку Шарлотты Наваррской. Он также вступил в Италию и своим оружием позволил Чезаре покорить Романью. Система, принятая Александром и его сыном в их завоевательных походах, была простой. Они захватывали столицы и убивали принцев. Так, Чезаре задушил Варани в Камерино в 1502 году, а Вителли и Орсини в Синигалье в том же году; с его помощью были полностью истреблены Маркскотти в Болонье; с Пезаро, Римини и Форли поступили подобным образом; и после захвата Фаэнцы в 1501 году двое молодых Манфреди были отправлены в Рим; где они подверглись жесточайшим оскорблениям, были утоплены или задушены.^[2] Система равной простоты поддерживала их политику в иностранных судах. Епископ Сеттский во Франции был отравлен за намек на тайну Чезаре (1498); кардинал д'Амбуаз был подкуплен, чтобы поддержать доверие Борджиа к Людовику XII.; предложение Брисонне красной шляпы спасло Александра от генерального совета в 1494 году. Исторический интерес метода Александра состоит в том, что он намеренно использовал все средства, находящиеся в его власти, для достижения одной цели — возвышения своей семьи. Его духовный авторитет, богатство Церкви, почести Священной Коллегии, искусство наемного убийцы, дипломатия деспота - все это систематически и открыто служило поставленной цели. Он предпринял все возможное, чтобы ослабить Италию иностранными вторжениями и внутренними раздорами, чтобы сделать ее добычей своего ядовитого сына. Когда Людовик XII заключил свой печально известный союз с католиком Фердинандом для разграбления арагонского дома в Неаполе, папа с радостью дал на это свое разрешение. Два короля поссорились из-за своей добычи; тогда Александр разжег их раздор, чтобы у Чезаре была возможность беспрепятственно продолжать свои операции в Тоскане. Патриотизм в его груди, будь то патриотизм прирожденного испанца или патриотизм итальянского властелина, был так

же мертв, как христианство. Извлечение прибыли для дома Борджиа путем мошенничества, святотатства и расчленения наций было папской политикой.

[1] См. Главу VI.

[2] Их отец, Галеотто Манфреди, был убит в 1488 году их матерью, Франческой Бентивольи. Of Astorre's death Guicciardini writes: 'Astorre, che era minore di diciotto anni e di forma eccellente ... condotto a Roma, saziata prima (secondo che si disse) la libidine di qualcuno, fu occultamente insieme con un suo fratello naturale privato della vita.' Nardi (*Storie Florentine*, lib. iv. 13) credits Cesare with the violation and murder of the boy. Мы можем спросить, в какой степени эти темные насильственные преступления были вызваны астрологическими суевериями? Этот вопрос поднят Буркхардтом (стр. 363) по поводу нападения Сигизмондо Малатесты на своего сына и насилия Пьера Луиджи Фарнезе над епископом Фано. Однако для такого темперамента, как у Александра, простая похоть, усиленная жестокостью и приправленная радостью нанести оскорбление врагу, была достаточным мотивом для совершения чудовищного преступления.

Утомительно продолжать перечисление его злодеяний до конца. Мы испытываем облегчение, когда, наконец, наступает финальный крах. Двое Борджиа, как гласит легенда об их падении, пригласили себя отобедать с кардиналом Адриано из Корнето в винограднике Ватикана, принадлежащем их хозяину. Туда руками дворецкого Александра они предварительно доставили немного отравленного вина. По ошибке или благодаря ухищрению кардинала, который, возможно, подкупил этого доверенного агента, они выпили чашу смерти, приготовленную за свою жертву. Почти все современные итальянские летописцы, включая Гвиччардини, Паоло Джовио и Санудо, поддержали эту версию трагедии, которая стала общим достоянием историков, романистов и моралистов.[1] Однако Бурхард, находившийся на месте происшествия, записал в своем дневнике, что на отца и сына напала злокачественная лихорадка; а Джустиниани написал своим хозяевам в Венецию, что врач папы объяснил его болезнь апоплексическим ударом.[2] Сезон был на редкость нездоровым, и случаи смерти от лихорадки были частыми. В циркулярном письме немецким князьям, написанном, вероятно, кардиналом Гуркским и датированном 31 августа 1503 г., отчетливо упоминается лихорадка как причина внезапной кончины папы, *ex hoc seculo horrendâ februm incensione absorptum*. [3] Макиавелли, опять же, беседовавший с Чезаре Борджиа об этом поворотном моменте в его карьере, не дал и намека на яд, а говорил только о том, что сын и отец одновременно были повержены болезнью.

[1] Эту историю Чинтио изложил в своем *Коммюнике*, 9 декабря, 10 ноября.

[2] Различные версии смерти Александра были обобщены Грегоровиусом (*Stadt Rom*, том vii.) и обсуждались Виллари в его издании "Депеш Джустиниани", 2 тома. Florence, Le Monnier. Грегоровиус считает, что вопрос все еще открыт. Виллари принимает решение в пользу лихорадки, а не яда.

[3] Перепечатано Р. Гарнеттом в *Athenæum*, 16 января 1875г.

На таком расстоянии во времени и без дополнительных подробных доказательств мы не можем решить, была ли смерть Александра естественной, или же исключительно обстоятельная и общепринятая история об отравленном вине содержала правду. С одной стороны, в пользу гипотезы о лихорадке у нас есть свидетельство Берчарда, которое, однако, не совсем согласуется с показаниями Джустиниани, который сообщил венецианскому сенату об

апоплексии как причине смерти и чей отчет даже в Венеции был отвергнут Санудо из-за гипотезы об отравлении. С другой стороны, у нас есть согласие всех современных историков, за единственным и, надо признать, примечательным исключением Макиавелли. Паоло Джовио заходит даже так далеко, что утверждает, что кардинал Корнето сказал ему, что он чудом избежал действия противоядий, принятых в состоянии крайнего ужаса, чтобы предотвратить возможность отравления.

Какова бы ни была непосредственная причина его болезни, Александр умер, превратившись в черную и распухшую массу, отвратительную на вид, после острой борьбы с проглоченным им ядом.^[1] "Весь Рим, - говорит Гвиччардини, - с неопишуемой радостью сбежался посмотреть на труп. Люди не могли насытить свои взоры поеданием трупа змеи, которая своими безграничными амбициями и пагубным вероломством, каждым проявлением ужасной жестокости, чудовищной похоти и неслыханной алчности, продавая без различия священные и нечестивые вещи, наполнила мир ядом." Чезаре несколько дней томился на постели больного; но в конце концов, благодаря мощному телосложению, он выздоровел, обнаружив, что его когти перерезаны, а планы в непоправимом беспорядке. "Состояние герцога Валансского, - говорит Филиппо Нерли,^[2] "исчезло, как дым в воздухе или пена на воде".

^[1] 'Morto chel fu, il corpo cominciò a bollire, e la bocca a spumare come faria uno caldaro al focho, assì perseverò mentre che fu sopra terra; divenne anchor ultra modo grosso in tanto che in lui non apparea forma di corpo humano, ne dala larghezza ala lunghezza del corpo suo era differenza alcuna' (letter of Marquis of Mantua).

^[2] *Комментарий*, библиотека, против

Нравственное чувство итальянцев выразилось после смерти Александра в легенде о дьяволе, который унес его душу. Берчард, Джустиниани, Санудо и другие упоминают об этом инциденте с явной верой. Но в письме маркиза Мантуанского к своей жене, датированном 22 сентября 1503 года, приводятся самые подробные сведения: "Во время болезни папа говорил таким образом, что те, кто не знал, что у него на уме, думали, что он блуждает, хотя он говорил с большим чувством, и его словами были: *Я приду; это всего лишь правильно; подожди еще немного*. Те, кто был посвящен в его тайные мысли, объяснили, что после смерти Иннокентия, пока заседал Конклав, он заключил сделку с дьяволом о папстве ценой своей души; и среди соглашений было такое, что он должен был занимать престол двенадцать лет, что он и сделал, с добавлением четырех дней; и некоторые свидетельствуют, что видели семерых дьяволов в комнате в тот момент, когда он испустил свой последний вздох. " Просто бабушкины сказки; но они отмечают точку, до которой репутация Борджиа упала даже в Италии с того часа, когда он испустил дух. гуманисты восхваляли его богоподобную осанку и героический вид в день его избрания.

Так, превзойдя самих себя, закончилась эта пара злодеев — самых выдающихся авантюристов, когда-либо игравших свои роли на сцене большого мира. Плоды стольких преступлений и таких настойчивых усилий были пожаты их врагом Джулиано делла Ровере, в интересах которого была уничтожена знать римского государства и деспоты Романьи.^[1] Александр доказал несостоятельность старого католического порядка. Реформация была настоятельно востребована. Сами его пороки побуждали дух человечества к свободе. Перед святым понтификом нью эйдж, возможно, все еще трепетал в суеверном почтении. Борджиа для всех логически мыслящих людей выставил претензии папы на то, чтобы влиять на души людей,

смехотворными. Это оправдание для того, чтобы так долго останавливаться на зрелище его чудовищ. Лучше, чем любая другая серия фактов, они иллюстрируют не только разложение общества и разделение между моралью и религией в Италии, но и абсурдность той церковной политики, которая в эпоху Возрождения ограничивала действия главы христианского мира узкими интересами выводка парвеню и бастардов.

[1] Следует помнить, что Чезаре, как гонфалоньер Церкви, якобы подчинил себе города Ломбардии, Романьи и Марша.

О Пии III, который правил в течение нескольких дней после Александра, упоминать не нужно. Джулиано делла Ровере стал папой в 1503 году. Какое бы мнение ни сложилось о нем как о первосвященнике христианской веры, не может быть никаких сомнений в том, что Юлий II. был одной из величайших фигур эпохи Возрождения, и что его имя, а не имя Льва X., по праву должно быть присвоено золотому веку литературы и искусств в Риме. Он оставил на столетии отпечаток сильной личности. Именно ему мы обязаны самыми великолепными шедеврами Микеланджело и Рафаэля. Базилика Святого Петра, эта материализованная идея, которая остается символом перехода от Церкви Средневековья к современному полусветскому господству Папского Рима, была его мыслью. Ни кумовство, ни отвратительная чувственность, ни вопиющее нарушение церковного правосудия не запятнают его понтификат. Его единственной целью было обеспечить и расширить светскую власть пап; и этого он достиг, обуздав амбиции венецианцев, которые угрожали поглотить Романью, подчинив Перуджу и Болонью папской власти, аннексировав Парму и Пьяченцу и вступив в права наследования, завещанные ему Чезаре Борджиа. После своей смерти он передал своим преемникам самую большую и прочную власть в Италии. Но беспокойный, сумбурный, никогда не бывающий счастливым, если не воюет, Юлий утопил полуостров в крови. Его называли патриотом, потому что время от времени он поднимал крик о том, чтобы изгнать варваров из Италии: следует, однако, помнить, что именно он, еще будучи кардиналом ди Сан-Пьетро-ин-Винколи, в конце концов изгнал Карла VIII из Лиона; именно он поднял Камбрейскую лигу против Венеции и пригласил швейцарских наемников в Ломбардию; в каждом случае вес папской власти усиливался силами, порабоцавшими его страну. Юлий, опять же, по-разному представлялся как спаситель папства и как проклятие Италии.[1] Он решительно относился и к тому, и к другому. В те дни национальной анархии для Юлия, возможно, было невозможно возвеличить Церковь иначе, как за счет нации, и достичь цели своей жизни, не навлекая на своих соотечественников бедствия иностранной войны. Европейские державы переросли папскую дисциплину. Итальянские вопросы решались в кабинетах Людовика, Максимилиана и Фердинанда. Вместо того чтобы контролировать арбитров Италии, папа мог только натравливать их друг на друга.

[1] "Роковой инструмент и аллора, и прима, и смысл" Мали д'Италия", - говорит Гвиччардини, *История Италии*, том I, стр. 84. "История пап", - говорит Буркхардт, стр. 95.

Лев X. сменил Юлия в 1513 году, к великому облегчению римлян, утомленных постоянной войной старого *террибильного понтифика*. Во время великолепного зрелища его триумфального шествия к Латерану улицы были украшены арками, эмблемами и надписями. Среди них можно заметить двустилие, начертанное банкиром Агостино Киджи перед его дворцом:

Олим хабуит Кипр суа темпора; темпора Маворс
Олим хабуит; суа нунк темпора Паллас хабет.

"Венера правила здесь с Александром; Марс - с Юлием; теперь Паллада вступает в свое правление со Львом". На эту эпиграмму ювелир Антонио ди Сан-Марко ответил одной емкой строкой:

Марс жив; есть Паллада; Киприя земпер эро:

"Царствовал Марс, царствует Паллада, я всегда буду принадлежать Венере".

Этот первый папа из дома Медичи пользовался в Риме славой своего отца Лоренцо Великолепного во Флоренции. Прославленный при жизни как Август, он дал свое имя тому, что называют золотым веком итальянской культуры. Как человек, он был достаточно квалифицирован, чтобы представлять неоязыческую свободу эпохи Возрождения. Пропитанный духом своего времени, он не испытывал симпатии к религиозной искренности, не имел представления о нравственном возвышении, не ставил перед собой цели, выходящей за рамки поверхностной отшлифовки понимания и вкуса. Хорошее знание латыни казалось ему более важным, чем истинное учение: Юпитер звучал в проповеди лучше, чем Иегова; бессмертие души было открытой темой для дискуссий. В то же время он был необычайно щедр по отношению к культурным людям и искренен в своем рвении к распространению либеральных знаний. Но то, что было разумным в этом человеке, было смешным в понтифике. Оставалось непримиримое несоответствие между его исповеданием примата христианства и его непринужденной эпикурейской философией.

Лео, как и все Медичи после первого Козимо, был плохим финансистом. Его безрассудные траты в немалой степени способствовали разложению Рима и крушению латинской церкви, в то время как он заслужил похвалы литературного мира. Юлий, который придерживался строгой экономии, оставил 700 000 дукатов в сундуках Сан-Анджело. Анджело. Сами драгоценности из тиары Лео были заложены для уплаты его долгов, когда он скоропостижно скончался в 1521 году. В период расцвета своего великолепия он ежемесячно тратил 8000 дукатов на подарки своим любимцам и на игровые долги. Его стол, открытый для всех поэтов, певцов, ученых и шутов Рима, стоил половину доходов Романьи и Марша. Он основал рыцарский орден Святого Петра, чтобы пополнить свою казну, и превратил заговор кардинала Петруччи против своей жизни в такую выгодную сделку — вымогательство у кардинала Риарио штрафа в 5000 дукатов, а у кардиналов Содерини и Адриана суммы в 125 000, — что фон Хаттен был почти прав, рассматривая все это темное дело как простую финансовую спекуляцию. Назначение тридцати девяти кардиналов в 1517 году принесло ему более 500 000 дукатов. Тем не менее, несмотря на эти способы получения золота, римские банкиры были наполовину разорены, когда он умер. Бини одолжили ему 200 000 дукатов; Гадди - 32 000; Рикасоли - 10 000; кардинал Сальвиати потребовал долг в размере 80 000; кардиналы Санти Кватро и Армеллини - по 150 000.^[1] Эти цифры интересны только тогда, когда мы помним, что золотые горы, которые они обозначают, были растрочены в эстетической чувственности.

Когда был избран папа, он сказал Джулиано (герцогу Немурскому): "Давайте наслаждаться папством, раз Бог дал его нам —*годиамочи иль Папато, пойче Дио се ха дато*."^[2] Именно в

таком духе Лев управлял Святым Престолом. Лейтмотив, который он выдвинул, доминировал во всем римском обществе. На банкетах Агостина Киджи церковные прелаты и апостольские секретари сидели бок о бок с прекрасными империями и гладкощеками мальчиками-певчими; византийская рыба и рагу из языков попугаев подавались на золотых блюдах, которые гости бросали из открытых окон в Тибр. Маскарады и балы, комедии и карнавальные шествия заполняли улицы, площади и дворцы Вечного города, имитируя языческие празднества, в то время как искусство шло рука об руку с роскошью. Казалось, что Вакх, Паллада и Приап будут восстановлены в своих старых владениях, и все же Рим не перестал называть себя христианским. Хриплая речь монахов в Колизее и напев пифферари из Ара Коэли смешивались с латинскими декламациями Капитолия и перезвоном струн лютни в Ватикане. Тем временем среди толп кардиналов в охотничьих костюмах, танцев полуобнаженных девушек и карнавальных вакханок двигались паломники с Севера с широко раскрытыми, изумленными, полными скорби глазами - ученики Лютера, в душе которого, как в ножнах, лежал вложенный в ножны меч Духа, готовый вспыхнуть и разить.

[1] См. Грегоровиус, *Stadt Rom*, книга xiv. глава 3.

[2] "Реляционе ди Марино Джорджи", 17 марта 1517 года. Альбери, серия ii. том iii. стр. 51.

Более полное представление о Льве можно составить, сравнив его с Юлием. Юлий нарушил мир в Италии с целью установления светской власти своего престола. Лев вернулся к старому кумовству предыдущих пап и разжигал раздоры ради семьи Медичи. Одно время это был его проект по закреплению Неаполитанского королевства за его братом Джулиано и Миланского суверенитета за его племянником Лоренцо. Последнему ему удалось передать герцогство Урбино в ущерб его законным владельцам.[1] С Флоренцией в своих руках и папством под своим контролем Медичи могли бы повлиять на всю Италию. Однако такие планы во времена Франциска I и Карла V. стали неосуществимыми; и никому из членов семьи Медичи не оставалось ничего, кроме покорения их родного города. Юлий был вспыльчив, но соблюдал свои обещания. Лев был обходительным и скользким. Он заманил Джанпаоло Бальони в Рим с помощью охранной грамоты, а затем заключил его в тюрьму и обезглавил в замке Сан-Анджело. Анджело. Юлий наслаждался войной и никогда не был так счастлив, как в Мирандоле, когда вокруг него гремели пушки. Лео терзал душу своего церемониймейстера тем, что выезжал на охоту в высоких сапогах. Джулиус спроектировал театр Святого Петра и постиг Микеланджело. У Льва хватало ума покровительствовать поэтам, художникам и историкам, которые придавали блеск его Двору; но он не выдвинул на первый план нового великого гения. Портреты двух пап, оба написанные рукой Рафаэля, чрезвычайно характерны. Джулиус, сгорбленный и изможденный, с нервным взглядом страстного и энергичного темперамента; хотя клеймо покрыто инеем от пепла и выгорело более чем наполовину, оно светится и может разжечь пожар. Лео с тяжелым подбородком, тусклыми глазами, толстыми губами и мускулистым подбородком выдает грубую натуру чувственного человека.

[1] Он бы отдал его Джулиано, но Джулиано был честным человеком и помнил, чем обязан семье делла Ровере. Смотрите "Relazione" Марино Джорджи (*Отв. Ред.* сер. ii. том iii. стр. 51).

Часто отмечалось, что и Юлий, и Лев собирали деньги за счет продажи индульгенций для строительства церкви Святого Петра, усугубляя тем самым один из главных скандалов, спровоцировавших Реформацию. В тот век неадекватных импульсов желание создать великое произведение искусства в сочетании с циничной решимостью обратить народные суеверия к

ответу привело к тому, что восстание достигло апогея. Лео не осознавал масштабов движения Лютера. Если он вообще серьезно относился к этому явлению, оно вызывало у него удивление. Он также не чувствовал необходимости реформации в Итальянской церкви. Богатая и многогранная жизнь Рима и дипломатические интересы итальянского деспотизма поглощали все его внимание. То, что думали или делали варвары, не имело большого значения.

Внезапная смерть Льва повергла Священную Коллегию в большое замешательство. Выбрать нового папу без учета политических интересов было невозможно; и они были разделены между Карлом V. и Франциском I. После двенадцати дней, проведенных кардиналами на конклаве, результатом их бесчисленных схем и контрсхем стало избрание кардинала Тортозы. Его никто не знал, и его возведение на папский престол благодаря влиянию Карла было почти такой же большой неожиданностью для курфюрстов, как и для римлян. В ярости и ужасе от того, что выбрали этого варвара, члены Коллегии начали говорить о вдохновении Святого Духа, ища самое невероятное из всех оправданий ошибке, к которой их подтолкнули интриги.

"Придворные Ватикана и высшие сановники Церкви, - рассказывает очевидец, - плакали, кричали, проклинали и предались отчаянию". На глухих стенах города было нацарапано: "Рим сдается". Градом посыпались сонеты, обвинявшие кардиналов в том, что они предали

"прекрасный Ватикан ярости немцев".^[1] Адриан VI. впервые прибыл в Рим в качестве папы.^[2]

Он не знал итальянского и говорил на латыни с акцентом, непривычным для ушей южан. Его занятия ограничивались схоластической философией и теологией. С дворами у него не было никакой торговли; и он был настолько несведущ в том, какое положение папа должен поддерживать в Риме, что заранее написал письмо с просьбой нанять для его проживания скромный дом с садом. Увидев Ватикан, он воскликнул, что здесь должны жить преемники не Петра, а Константина. Лев держал сто конюхов для обслуживания своей конюшни; Адриан оставил только четырех. Двух фламандских камердинеров было достаточно для его личного обслуживания, и им он каждый вечер давал по одному дукату на расходы на следующий день. Фламандская служанка готовила ему еду, заправляла постель и стирала белье. Рим с его великолепной безнравственностью, классическим искусством и языческой культурой произвел на него то же впечатление, что и на Лютера. Когда его придворные указали на Лаокоона как на самый прославленный памятник древней скульптуры, он с ужасом отвернулся, бормоча: "Идолы язычников!" Бельведер, который быстро становился первой галереей статуй в Европе, он замуровал и никогда не входил. В то же время он поставил перед собой серьезную цель, насколько позволяли его связанные руки и ограниченные возможности, реформировать наиболее очевидные злоупотребления Церкви. Лео выручил около трех миллионов дукатов от продажи офисов, что принесло покупателям доход в размере 348 000 дукатов и обеспечило местами 2550 человек. Одним росчерком пера Адриан аннулировал эти контракты и обрушил на мир толпу разгневанных и обманутых чиновников. Было бы несправедливо напомнить им, что их сделка с его предшественником была незаконной. Однако такие попытки реформировать церковное общество были столь же безрезультатны, как булавочные уколы при излечении лихорадки, требующей кровопускания. Настоящая коррупция Рима, глубоко укоренившаяся в высших кругах, осталась нетронутой. Тем временем Лютер добился всего на Севере, и внимательные наблюдатели в самом Риме опасались какой-нибудь ужасной катастрофы для провинившегося города. "Это государство находится на острие бритвы; дай Бог, чтобы нам не пришлось в ближайшее время бежать в Авиньон или на край океана. Я вижу близкое падение этой духовной монархии. Если Бог не поможет, с нами все кончено".^[3] Адриан столкнулся с чрезвычайной ситуацией и поднял оружие против моря проблем, выразив свой ужас перед

симонией, чувственностью, воровством и так далее. В результате над ним просто посмеялись. Пасквин так развеселился при упоминании его имени, что Адриан поклялся сбросить статую в Тибр; на что герцог Сесский остроумно ответил: "Бросьте его на дно, и он, как лягушка, будет продолжать квакать". Берни, опять же, написал одно из своих самых остроумных стихотворений о тупице, который не мог осознать свой возраст; и когда он умер, дверь его врачебного кабинета была украшена такой надписью: *Освободители патриотического сената Римского народа*.

[1] См. Грега. *Stadt Rom*, vol. viii. стр. 382, 383. Подробности об Адриано в основном взяты из *Реляциони* венецианских послов, серия ii. том iii. стр. 75-120.

[2] Имя его отца было Флор или Флеренций, предположительно, из фламандской семьи Дедель. Берни называет его ковроткачом. Другие источники представляют его корабельным плотником. При крещении папу звали Адриан.

[3] Смотрите отрывок, процитированный из *Письма Принципов*, Рим, 17 марта 1523 г., Буркхардтом, стр. 99, примечание.

Велика была радость, когда в 1523 году папой стал другой Медичи. Люди надеялись, что веселые дни Льва вернутся. Но все зашло слишком далеко к распаду. Климент VII. не смог удовлетворить придворных, которых восхищал его более добродушный кузен: даже ученые и поэты роптали.[1] Его правление было слабым и колеблющимся, так что фракция Колонна снова подняла голову и загнала его в замок С. Анджеоло. Политический горизонт Италии с каждым днем становился все мрачнее, как перед страшной бурей. Над самим Римом нависла угроза разорения —

как тогда, когда Бог
по своей воле над каким-нибудь городом с высоким уровнем преступности развесит свой яд
В отвратительном воздухе.[2]

Наконец наступил крах. Климент серией договоров, предательств и уступок лишил себя всех друзей и привел в ярость всех врагов. Италия была так измотана войнами, так привыкла к анархии бесцельных революций и к топтанию чужих эскадр у своих берегов, что известие о лютеранском отряде, набранном с явной целью разграбления Рима и усиленном испанскими головорезами и отбросами всех наций, едва ли пробудило в ней апатию. Так называемая армия Фрундсберга — орда разбойников, объединенных надеждой на добычу, — без труда дошла до ворот Рима. Честь итальянских князей пала так низко, что герцог Феррарский, оказав прямую помощь, и герцог Урбинский, не прибегнув к контрудару, открыли этим мародерам проходы через По и Апеннины. Они потеряли своего генерала в Ломбардии. Сменивший его констебль Бурбон погиб при штурме города. Затем Рим на девять месяцев был отдан на растерзание похоти, алчности и жестокости примерно 30 000 разбойников без предводителя. Затем выяснилось, до каких пределов оскорблений, насилия и скотства может дойти жестокое варварство немцев и алчность испанцев. Климент, осажденный в замке С. Анджеоло днем и ночью видел, как дым поднимается над разрушенными дворцами и оскверненными храмами, слышал плач женщин и стоны замученных мужчин, смешивающиеся с шутками пьяниц-лютеран и проклятиями кастильских бандитов. Бродя по галереям и высовываясь из окон, он восклицал вместе с Иовом:[3] *'Где моя вульва? qui utinam consumptus essem, ne oculus me*

videret." То, что римляне, выхолащенные роскошью и правлением священников, то, что кардиналы и прелаты, погрязшие в чувственности и лени, были вынуждены вытерпеть во время этой долгой агонии, едва ли поддается описанию. Это слишком ужасно. Когда, наконец, варвары, пресыщенные кровью, развратом, пресыщенные золотом и опустошенные эпидемией, отступили, Рим поднял голову вдовой. От позора и мук того разграбления она так и не оправилась, так и не стала снова веселой, распушенной, прекрасной столицей искусств и литературы, сверкающим позолоченным Римом Льва. Но короли земли сжалились над ее запустением. Амьенский мирный договор (18 августа 1527 г.), заключенный между Франциском I и Генрихом VIII. против Карла V, от имени которого было нанесено это оскорбление Святому городу христианского мира, вместе с запоздалой готовностью самого Карла загладить свою вину, восстановили уважение папства в Европе.

[1] Смотрите, например, сонеты Берни. В одном из них Берни очень убедительно описывает колебания и нерешительность государственной политики Клемента.

[2] Смотрите картину Варчи о состоянии Рима, *Св. Фьор. ii.*

[3] Так рассказывает Луиджи Гвиччардини в своем рассказе о разграблении Рима.

Хорошо известно, что в этот кризис император всерьез задумался о том, чтобы положить конец состоянию Церкви. Его советники посоветовали ему восстановить папу в его первоначальном сане епископа и снова сделать Рим резиденцией Империи. [1] Но сделать это было бы невозможно в политических условиях шестнадцатого века и перед лицом все еще католического христианского мира. Таким образом, его размышления стоили Риму страданий, связанных с разграблением; но они были быстро заменены решимостью укрепить папство посредством имперской власти в Италии. Флоренция была отдана в качестве подношения презренному Медичи в качестве примирения; и худшим позором Климента остается то, что он использовал отбросы армии, разграбившей Рим, для порабощения своей метрополии.

[1] Смотрите авторитетные источники в *Greg. Stadt Rom*, vol. viii. стр. 569, 575.

Внутренне Папское государство благодаря своим несчастьям осознало необходимость реформы. Садолето в письме Клименту в сентябре того памятного года напоминает ему, что страдания Рима утолили гнев Божий и что теперь открыт путь к улучшению нравов и законов. [1] Никакая сила оружия не могла помешать Святому Городу вернуться к лучшей жизни и доказать, что христианское священство не было простой насмешкой и обманом. [2] По правде говоря, можно сказать, что Контрреформация исторически восходит к 1527 году.

[1] В Италии было общепризнано, что разграбление Рима было наказанием, насланным Провидением на безбожный город. Не цитируя великих авторитетов, таких как Садолето или епископа Фоссомброне, одно из писем которого дает действительно ужасную картину римского распутства (*Опера М.Г. Гидиччиони*, Барбера, т. i., стр. 193), мы находим множество свидетельств этому убеждению относительно невыносимого порока Рима даже у людей, лишенных моральной совести. Аретино ("*Кортегуана*", конец первого акта, XXIII часть) пишет: "Я заново пережил кастиго, я заново встретил Кристо в mano дельи Спагнуоли, я пережил фатту мильоре и эту прекрасную свадьбу в мае". Банделло (*Новелла*, Часть ii. xxxvii.), намекая на увольнение, замечает в скобках: "Бенче и грешки квеллы читты..." меритассеро эссер кастигати." После приведения двух таких свидетелей ссылка на Триссино или Веттори, которые с силой высказались о беззакониях папского Рима, ослабила бы дело.

[2] Сравните *Письмо принца*. ii. 77; кардинал Каэттанус и другие свидетельства, цитируемые Грегем. *Stadt Rom*, vol. viii. стр. 568, 578.

ГЛАВА VIII.

ЦЕРКОВЬ И МОРАЛЬ.

Разложение Церкви—Деградация и разделение Италии—Мнения Макиавелли, Гвиччардини и короля Неаполя Фердинанда—Неспособность итальянцев к основательной реформации—Светскость и культура эпохи Возрождения—Свидетельства итальянских авторов против папского двора и монастырей—Суеверное уважение к реликвиям—Разделение религии и морали—Смесь презрения и почтения к папам—Джанпаоло Бальони—Религиозные чувства тираноубийц—Пьетро Паоло Босколи—Стойкость религий—Прямой интерес итальянцы в Риме—Почтение к Таинствам Церкви—Мнения, высказанные англичанами об итальянской безнравственности—Недобросовестность и чувственность—Элемент фантазии в итальянском пороке—Итальянцы не жестоки, или Брутальны, или невоздержанны по натуре—Бытовые убийства—Чувство чести в Италии—Оноре и Онеста—Общая утонченность—Хорошие качества людей—Религиозное Возрождение.

Корруптированность папского двора повлекла за собой соответствующую моральную слабость по всей Италии. Это делает историю пап эпохи Возрождения важной именно в тех деталях, которые составили предмет предыдущей главы. Мораль и религия подверглись почти полному разделению в пятнадцатом веке. Главы Церкви с циничной наглостью нарушали все традиции Христа и Апостолов, так что пример Рима был в некотором смысле оправданием мошенничества, насилия, похоти, грязной жизни и нечестия для всей нации.

Противоречие между духовными притязаниями пап и их действительной мирскостью не было столь вопиющим для людей эпохи Возрождения, привыкших к зрелищу этой аномалии, как для нас. Также было бы научно представить, что какой-либо итальянец в ту эпоху судил по моральным стандартам, подобным нашим. Эстетические приличия, а не строгие представления о долге, управляли поведением даже лучших людей, и удивительно наблюдать, с какой безыскусственной простотой худшие грешники верили, что в трудную минуту смогут примириться с небесами. И все же не было недостатка в глубоких мыслителях, которые связывали национальный упадок итальянцев с разложением Церкви. Среди них Макиавелли стоит на первом месте. В знаменитом отрывке из *Discorsi*,^[1] после рассмотрения всей темы связи между хорошим правительством и религией он разражается пламенной критикой папства: "Если бы религия христианства была сохранена в соответствии с постановлениями ее основателя, государства и содружества христианского мира были бы гораздо более сплоченными и гораздо счастливее, чем они есть. Невозможно лучше оценить его упадок, чем заметив, что по мере того, как мы приближаемся к Римской церкви, главе этой религии, мы обнаруживаем, что среди народов преобладает все меньше благочестия. Рассматривая примитивное устройство этой Церкви и отмечая, насколько разнообразны ее нынешние обычаи, мы вынуждены заключить, что, без сомнения, над ней сейчас нависла либо гибель, либо бедствие. И поскольку некоторые люди придерживаются мнения, что благополучие

Италии зависит от Церкви, я хочу привести такие аргументы, которые приходят мне на ум в противоположность; и из них я приведу два, которые, как мне кажется, неопровержимы. Первое таково: из-за злого примера папского двора Италия утратила всякое благочестие и всякую религию, откуда следуют бесконечные беды и беспорядки; ибо как религия подразумевает все хорошее, так и ее отсутствие подразумевает обратное. Следовательно, перед Церковью и священниками Рима мы, итальянцы, в первую очередь обязаны этим — тем, что мы лишились религии и развратились. Но мы также обязаны им другим, даже большим, что является причиной нашего разорения. Я имею в виду, что Церковь поддерживала и продолжает поддерживать Италию разделенной. По правде говоря, ни одна провинция никогда не была единой и процветающей, если только она не находилась под властью одной республики или одного монарха, как это имеет место во Франции и Испании. И причина, по которой Италия не находится в таком состоянии, но не имеет во главе ни государства, ни монарха, заключается не в чем ином, как в Церкви: ибо Церковь, утвердившаяся среди нас и осуществляющая светскую власть, никогда не обладала достаточной силой, чтобы распространить свое влияние на всю страну и стать правящей силой в Италии. С другой стороны, она не была настолько слабой, чтобы не иметь возможности, боясь потерять свои временные возможности, призвать иностранного властителя в качестве противовеса в своей защите от тех держав, которые угрожали стать верховными. История прошлого дает множество примеров истинности этого; например, когда с помощью Карла Великого папы изгнали лангобардов; и когда в наши дни они смирили Венецию с помощью Франции, а затем изгнали французов, призвав швейцарцев. Итак, Церковь, будучи, с одной стороны, слишком слабой, чтобы охватить всю Италию, и в то же время слишком ревливой, чтобы позволить другой силе сделать это, воспрепятствовала нашему объединению под эгидой одного главы и держала нас под властью разрозненных лордов и князей. Это вызвало столько разногласий и упадка сил, что Италия стала добычей не только могущественных варваров, но и каждого нападающего. И этим мы обязаны исключительно Церкви. Чтобы на собственном опыте убедиться в истинности того, что я говорю, следовало бы послать римский двор, вооруженный таким же авторитетом, каким он обладает в Италии, поселиться среди швейцарцев, которые в настоящее время являются единственной нацией, живущей в том, что касается религии и военной дисциплины, по античному обычаю; тогда он увидел бы, что дурные привычки этого Двора за короткий промежуток времени создадут больше беспорядков, чем любое другое несчастье, которое могло возникнуть там в любой период". В этом научном и взвешенном мнении, высказанном глубочайшим мыслителем шестнадцатого века. столетие назад папство обвиняли в том, что оно вызвало как моральное разложение, так и политическую разобщенность Италии. Второй из этих пунктов, относящийся к общей истории итальянской нации, можно было бы проиллюстрировать с избытком: но еще одно предложение, вышедшее из-под пера Макиавелли, разоблачает губительную и эгоистичную политику Церкви более убедительно, чем это можно было бы сделать на многочисленных примерах:^[2] "Таким образом, понтифики в одно время из любви к своей религии, в другое время из-за времени для осуществления их амбициозных планов никогда не переставали сеять семена беспорядков и привлекать иностранцев в Италию, разжигая войны, назначая и смещая принцев и не позволяя более сильным властителям удерживать провинцию, которой они были слишком слабы, чтобы управлять".

^[1] Библиотека. i. cap. 12.

^[2] *Ist. Fior. lib. i.*

Гвиччардини, комментируя *Discorsi* Макиавелли, начинает свой комментарий к отрывку, который я только что перевел, с таких выразительных слов:[1] "Было бы невозможно так плохо отзываться о Римском дворе, но большего оскорбления мы бы не заслужили, поскольку это позор, пример всего позора и скандалов прошлого". мир". Затем он продолжает утверждать, подобно Макиавелли, что величие Церкви помешало Италии стать нацией под единым началом, показывая, однако, в то же время, что итальянцы извлекли много пользы из своего разделения на отдельные государства.[2] К одновременным свидетельствам этих великих писателей-философов можно добавить свидетельство практического государственного деятеля Фердинанда, короля Неаполя, который в 1493 году написал следующее:[3] "Из года в год вплоть до сего времени мы видели, как папы стремились навредить своим ближним, не прибегая к обороне и не получая никаких травм. Мы сами являемся свидетелями этого по причине того, что они сделали и пытались сделать против нас из-за своего врожденного честолюбия; и из многих несчастий, которые произошли в последнее время в Италии, ясно, что виновниками являются папы". Однако в настоящее время нас интересует не столько политический, сколько моральный аспект Церкви: и по последнему пункту Гвиччардини может еще раз столкнуться со своим прославленным современником. В своих афоризмах он говорит:[4] "Ни один человек не ненавидит честолюбие, жадность и изнеженность священников больше, чем я; ибо эти пороки, отвратительные сами по себе, наиболее неприличны для людей, которые своей профессией живут в особой зависимости от Божества. Кроме того, они настолько противоречивы, что объединить их можно только в очень экстраординарном предмете. Мое положение при нескольких папах вынудило меня желать их возвышения ради моей собственной выгоды.[5] В противном случае я любил бы Мартина Лютера как самого себя — не за то, что я мог бы вырваться из-под законов, которые навязывает нам христианство в том виде, в каком оно обычно интерпретируется и понимается, но за то, что я мог бы увидеть, как эта орда злодеев сокращается в должных пределах и вынуждена жить либо без пороков, либо без власти".

[1] Guicc. Указ. соч. т. i, стр. 27.

[2] В другом месте (Указ. Ined. vol. i. p. 104) Гвиччардини описывает правление священников как основанное на насилии двух видов: "perchè ci sforzano con le armi temporali e con le spirituali". Возможно, было бы неплохо собрать основные отрывки из Макиавелли и Гвиччардини, помимо уже процитированных, в которых критикуется папство в связи с итальянской политикой. Самый известный находится в конце четвертой книги *Истории Италии* (Изд. Розини, том ii. стр. 218-30). Следующим может быть помещен очерк папской истории в "*Истории Фиорентины*" Макиавелли (lib. i. cap. 9-25). В одиннадцатой главе "*Принципи*" дается краткий очерк роста светской власти, оформленный так, чтобы быть приемлемым для Медичи, но пропитанный самой едкой иронией. See, in particular, the sentence 'Costoro solo hanno stati e non li difendono, hanno sudditi e non li governano,' etc.

[3] Смотрите депешу, цитируемую Грегоровиусом, *Stadt Rom*, том vii. стр. 7, примечание.

[4] Указ.соч. Ined. *Ricordi* No. 28. Compare Ariosto, *Satire* i. 208-27.

[5] Гвиччардини был секретарем и заместителем пап Медичи. Смотри назад, стр. 206.

Эти высказывания тем более примечательны, что они не исходят из того глубокого чувства святости, которое вдохновляло реформаторов, подобных Савонароле. Макиавелли ревностно относился не столько к доктринам христианства, сколько к приличиям общепринятой религии.

В одном отрывке из *Дискорси* он даже высказывает свое мнение о том, что христианская вера по сравнению с верованиями древности ослабила национальный дух.^[1] в частном порядке, более того, он сам был по локоть в моральное разложение, которое он публично осудил. Гвиччардини, опять же, в приведенном нами отрывке открыто признает свой эгоизм. При всей своей проницательности в теории, эти политики в своей собственной жизни страдали от той гангрены, которая пронизала высшие классы Италии до мозга костей. Их патриотизм и стремление к справедливости были недостаточно сильны, чтобы заставить их отказаться от удовольствия и выгоды, которые они извлекали из существующего положения вещей. У них также не было ни энергии, ни возможности совершить основательную революцию. Италия, как указывал Макиавелли в другом отрывке *Дискорси*, слишком преждевременно одряхла для активизации изменений;^[2] и великолепное обращение, с которым закрывается *Принципи*, должно даже для его автора прозвучать как звук риторических труб.

^[1] *Дискорси*, ii. 2, iii. 1. Эти главы дышат глубочайшим презрением к христианству, самой неприкрытой ненавистью к его историческому развитию, сильнейшей злобой против католических священнослужителей.

^[2] *Discorsi*, i. 55.

Более того, казалось невозможным для итальянца подняться над концепцией чисто формальной реформации или достичь того высшего принципа жизни, который заключается в провозглашении новой религиозной истины. Вся аргументация в *Discorsi*, предшествующей главе, которую я процитировал, рассматривает религию по своей сути не как чистое христианство, а как государственный механизм поддержания общественного порядка и национального благосостояния.^[1] То, что Мильтон и Кромвель, возможно, так относились к религии, верно: но, кроме того, у них было личное чувство необходимости праведности, страха Божьего, лежащее в основе их политических убеждений. В то время как Макиавелли и Гвиччардини хотели лишить пап светской власти, чтобы замять худшие скандалы при их Дворе и обеспечить мир в Италии, Савонарола желал очистить Церковь от греха, но сохранить в неприкосновенности ее иерархию и догмы. Ни политики, ни пророк не поняли того, что ясно видели Лютер и народы Севера, - что для возрождения общества необходим свежий элемент духовной жизнеспособности; или, другими словами, что хорошее правительство предполагает живую религию, а не то, что религию следует использовать как двигатель для укрепления власти империи над народом.^[2]

^[1] Число Мач. *Диск.* i. 12, разоблачающий обман, на котором, по его мнению, зиждились религиозные институты Нума, утверждает, что, как бы сильно ни были убеждены правители в ложности религий, их долг поддерживать их: "e debbono ... пусть джудикассеро будет ложным, фаворитом и приумножением".

^[2] Еще не прочитал любопытный отрывок (*Диск.* iii. 1), в котором Макиавелли обсуждает возрождение религии путем возвращения к ее жизненному принципу и показывает, как Святой Франциск и Святой Доминик сделали это в тринадцатом веке. Это было именно то, что разрабатывал Лютер, пока писал Макиавелли.

Врожденная слабость Италии в этом отношении проистекала из интеллектуальной апатии к религиозным вопросам, вызванной отчасти клеймом неортодоксальности, отчасти всепоглощающими интересами светской культуры, отчасти мирской суетностью эпохи

Возрождения, отчасти позором духовенства и отчасти ослабляющим влиянием тираний. Каким бы смелым ни был человек, он боится еретика; термин *патерино*, первоначально применявшийся к религиозным новаторам, стал в обиходной фразеологии синонимом слова "негодяй". Поддерживать Церковь было делом хорошего общества и утонченного вкуса. Опять же, умственные способности Италии на протяжении трех столетий подвергались максимальному напряжению в исследованиях, не связанных с областью религиозной веры. Искусство, наука, философия и размышления о политике придали определенное направление умам мыслящих людей, так что мало энергии оставалось для тех инстинктивных движений духа, которые породили немецкую реформацию. Великим делом Италии было зарождение эпохи Возрождения, развитие современной культуры. А тенденции Возрождения были мирскими: его идеал человеческой жизни не оставлял места для чистого и пылкого постижения духовной истины. Вряд ли можно ожидать, что ученые, занятые интерпретацией классических авторов, художники, стремящиеся придать современным представлениям форму красоты, воскликнут: "Страх Господень - это мудрость; и отступление от зла - это понимание".^[1] Материализм правил спекуляциями не меньше, чем поведением эпохи. Пампонаццо проповедовал атеистическую доктрину с правдоподобной оговоркой о *Спасении веры*, которая затем охватывала все. Более тонкие мыслители, Пико и Фичино, стремились примирить непримиримое, сплавляя философию и теологию, в то время как они отличали истины науки от истин откровения. Между тем, похоже, никому в Италии не приходило в голову, что освобождение разума потребовало резкого отхода от католицизма. Они не понимали, что возникла сила, враждебная средневековой ортодоксии. В значительной степени это было вызвано безразличием, ибо сама Церковь своим примером учила своих детей относиться к ее догмам и дисциплине как к удобному соглашению. Потребовались все бичи инквизиции, чтобы вернуть нацию не к живой вере, а к лицемерию. Более того, политические условия Италии были крайне неблагоприятны для глубокой религиозной революции. Жажда национальной свободы, которая вдохновляла Англию в шестнадцатом веке, побуждая деспотичных Тюдоров сбросить иго Рима, вооружая католика Говарда против священного флота Филиппа и объединяя принца и народ в едином стремлении к свободе, была невозможна в Италии. Тон "*Принципи*" Макиавелли, весь тон "*Кортиджано*" Кастильоне доказывают это, не нуждаясь в дальнейших доказательствах.

^[1] Хорошо известно, что возражения Савонаролы против классической культуры основывались на его восприятии ее мирского характера. Весьма примечательно отметить отношение к этому вопросу некоторых величайших ученых севера. Erasmus, for example, writes: 'unus adhuc scrupulus habet animum meum, ne sub obtentu priscæ literaturæ renascentis caput erigere conetur Paganismus, ut sunt inter Christianos qui titulo pæne duntaxat Christum agnoscunt, ceterum intus Gentilitatem spirant'—Letter 207 (quoted by Milman in his Quarterly article on Erasmus). Эшам и Меланхтон выносили аналогичные суждения об итальянских ученых. Народы севера поставили итальянцев в невыгодное положение, поскольку те включились в их работу, а вся опасная работа по сочувствию древнему миру, на которой базировалась современная наука, была проделана в Италии до того, как на поле боя вышли Германия и Англия.

Мало что может быть сложнее, чем оценить точное состояние народа в любой данный период с точки зрения морали и религии. И эта трудность возрастает десятикратно, когда эпоха представляет такие быстрые переходы и такие сбивающие с толку сложности, какими знаменован Ренессанс. И все же мы не можем не обратить внимания на отношение итальянцев в целом к Церкви и в какой-то степени определить характер их национальной морали. Из толпы свидетелей раздается крик ненависти и презрения против коррупции Рима. Пламенные

обличения Данте, угрозы Якопоне, яростные оскорбления Петрарки и громоподобные пророчества Иоахима возглавляют припев. Боккаччо следует за ним со своей едкой иронией. "Отправьте самого упрямого еврея в Рим, - говорит он, - и расточительность папского двора не преминет обратить его в веру, способную противостоять такому поношению".^[1] Другим вопиющим скандалом стало состояние монастырей. Все романисты объединяются в изображении разврата религиозных домов как очевидного факта общественной жизни. Боккаччо, Саккетти, Банделло и Мазуччо могут быть упомянуты, в частности, за их знакомое описание распутства, которое было переплетено с национальным существованием.^[2] Поэты-комики придерживаются того же курса и с удовольствием высмеивают грубые манеры духовенства. Не щадят себя и духовенства. Поджио, автор "*Шуток*", получал бенефиции и должности при папском дворе. Банделло был доминиканцем и племянником генерала своего ордена. Фоленго был бенедиктинцем. Биббиена стал кардиналом. Берни получил каноническое звание в кафедральном соборе Флоренции. Открытая и признанная безнравственность священников в Риме была настолько велика, что было издано не одно папское постановление, запрещавшее им содержать дома с дурной репутацией или выступать в качестве сводников.^[3] Среди афоризмов Пия II. зафиксировано высказывание о том, что если были веские причины предписывать духовенству безбрачие, то были гораздо лучшие и более веские аргументы для того, чтобы настаивать на их браке.^[4]

^[1] Мы можем сравнить этот умбрийский Риспетто с противоположной точки зрения.

A Roma Santa ce so gito anch'io,
E ho visto co'miei occhi il fatto mio:
E quando a Roma ce s'e posto il piede,
Resta la rabbia e se ne va la fede.

^[2] Возможно, будет уместно собрать некоторые отрывки из новеллы Мазуччо о духовенстве, исходя из того, что то, что он пишет с яростью негодования, повторяется современными романистами с цинизмом снисхождения. Speaking of the Popes, he says (ed, Napoli, Morano, 1874): 'me tacerò non solo de loro scelesti ed enormissimi vizi e pubblici e occulti adoperati, e de li officii, de beneficil, prelature, i vermigli cappelli, che all' incanto per loro morte vendono, ma del camauro del principe San Pietro che ne è già stato latto partuito baratto non farò alcuna mentione.' Descending to prelates, he uses similar language (p. 64): 'non possa mai pervenire ad alcun grado di prelatura se non col favore del maestro della zecca, e quelle conviensela comprare all' incanto come si fa dei cavalli in fiera.' A priest is (p. 31) 'il venerabile lupo.' The members of religious orders are (p. 534) 'ministri de satanasso ... солдаты великого дьявола: (стр. 25) "облегчение для cento солдат, которые не путешествуют по мета-буну, они ведут себя как capitoлий братства, не скрывающий своей жестокости маккья". Опасно поддерживать с ними какие-либо контакты (стр. 39): "Преступник, не признающий себя виновным в узурпе, прелюбодеянии, а также в том, что они ведут малую беседу с богом". Их грехи против природы (стр. 65), их тайные браки монахов и монахинь (стр. 83), "зловоние души монахов", отравленные плодами детоубийства (стр. 81), не говоря уже об их алчности (стр. 55) и вопиющем нечестии (стр. 52), описаны с неприкрытой искренностью, несущей на себе печать истины.

^[3] Известный отрывок из Агриппы (De Vanitate Scientiarum) заслуживает места здесь. After alluding to Sixtus IV, he says that many state officers 'in civitatibus suis lupanaria construunt fiventque, non nihil ex meretricio questu etiam ærario suo accumulantes emolumentum; quod quidem

in Italiâ non rarum est, ubi etiam Romana scorta in singulas hebdomadas Julium pendent Pontifici, qui census annuus nonnunquam viginti millia ducatos excedit, adeoque Ecclesiæ procerum id munus est, ut una cum Ecclesiarum proventibus etiam lenociniorum numerent mercedem. Sic enim ego illos supputantes aliquando audiui: Habet, inquiens, ille duo beneficia, unum curaturn aureorum viginti, alterum prioratum ducatorum quadraginta, et tres putanas in burdello, quæ reddunt singulis hebdomadibus Julios Viginti.'

[4] Очень немногие священнослужители высокого ранга избежали заражения римским обществом. Для таких мужчин, как Бембо и Ла Каса, было модно заводить связи с женщинами *полусвета* и признавать их детей, легитимации которых они часто добивались. Капитолии поэтов-бурлесков показывают, что такая распущенность поведения была прощительна по сравнению с другими смехотворно признанными и почти всеобщими поблажками. Еще раз сравните письмо Гуидиччони М. Джамбу. Бернарди, указ. соч., т. i, стр. 102.

Некоторое презрение и ненависть, выражаемые итальянскими сатириками к двум великим орденам Святого Франциска и Святого Доминика, возможно, объясняются давней неприязнью к ним как к папской полиции, основанной в интересах православия. Но главное, на что они нацелены, - это смесь лицемерия с безнравственностью, которая сделала их ненавистными для всех классов общества. В то же время францисканцы приняли в число своих братьев-мирян почти все население Италии, и умереть в одежде ордена считалось самым безопасным способом обмануть дьявола в причитающемся ему по заслугам. Коррупция зашла так далеко и глубоко, что была повсеместно признана и к ней относились с сарказмом легкомыслия. Это не вызвало искренней реакции и не вызвало постоянного возмущения. Все признавали это; и все же каждый продолжал жить праздно, по обычаю своих предков, действуя в соответствии с максимой Овидия —

Pro magna parte vetustas
Creditur; acceptam parce movere fidem.

Только это неизлечимое безразличие делает комические портреты фра Альбериги и фра Тимотео Макиавелли хоть сколько-нибудь понятными. Это не сатира и не карикатуры, а простые картинки, нарисованные для развлечения современников и ошеломления потомков.

Критика итальянских писателей, насколько мы до сих пор следили за ней, была направлена против двух отдельных зол — порочной светскости Рима и деморализации духовенства как в их отношениях с народом, так и в их монастырской жизни. Презрение к фальшивым чудесам и поддельным реликвиям, а также ужас перед торговлей индульгенциями усилили бурю недовольства среди наиболее просвещенных. Но люди продолжали делать святых, поклоняться чудотворным святыням и извлекать выгоду из духовных преимуществ, которые можно было купить. Пий II, заботясь о чести своего родного города, причислил к лику святых святого Бернардина и святую Екатерину Сиенскую. Иннокентий VIII освятил часовню для Копья Лонгина, которое он получил от турка в качестве частичной оплаты за опеку над Джемом. Венецианский сенат предложил 10 000 дукатов за бесшовный плащ Христа (1455). Вся Италия была взбудоражена известием о том, что голова святого Андрея прибыла из Патр (1462). Папа и его кардиналы вышли встречать его у Мильвийского моста. Там Пий II произнес приветственную речь на латыни, в то время как Виссарион произнес речь, когда драгоценный член церкви был

доставлен в церковь Святого Петра. В этой страсти к реликвиям, по—видимому, соединились два различных чувства — чисто суеверная вера в действенность чар, которая заставляла венецианцев так ревностно охранять тело Святого Марка, а неаполитанцев с неистовым волнением следить за выделением крови Святого Януария, - и то более благородное уважение к личностям могущественных мертвецов, которое побудило Сигизмондо Малатесту перевезти тело Гемиста Плето в Римини и которое сделало предполагаемый гроб Аристотеля в Палермо предметом восхищения многих людей. Как мусульманин, так и христианин. Следует помнить, что кости Вергилия были вмурованы в стены Неаполя, в то время как кости Ливия были удостоены великолепного захоронения в Падуе.

Из-за разделения между религией и моралью, которое существовало в Италии под влиянием папского и монашеского распутства, итальянцы не видели причин, по которым духовные блага нельзя было бы купить у заведомо алчного понтифика или почему наказание в аду не должно зависеть от простого слова посвященного монстра. Папа как преемник Святого Петра и папа как римский суверен были двумя отдельными существами. У историков того периода можно почерпнуть много любопытных свидетельств о смешанных чувствах народа по этому поводу и о преимуществах, которые папа извлекал из своего аномального положения. Макиавелли в своем повествовании о резне в Синигалье рассказывает, что Вителлоццо Вителли, будучи задушенным убийцей Чезаре Борджиа, горячо умолял отца его убийцы, ужасного Александра, произнести отпущение грехов. Тот же самый Александр был чуть не задушен в Ватикане французскими солдатами, которые столпились вокруг, чтобы поцеловать его мантию, и которые несколькими днями ранее заставили его дрожать за свою жизнь. Челлини на коленях умолял папу Климента снять с него вину в убийстве и воровстве, но говорил о нем как о "превратившемся в дикого зверя" в результате внезапного приступа ярости. Одно время он трепетал перед ужасающим Величием Наместника Христа, явленным в Павле III; в другое время он поносил его как человека, "который не верил ни в Бога, ни в какой-либо другой догмат религии". Таинственная святость окружала личность понтифика. Когда Джанпаоло Бальони держал на руках Юлия II. находясь у власти в Перудже, он уважал свободу папы, хотя и знал, что Юлий свергнет его тиранию. Макиавелли осуждает это как трусость, но это полностью соответствовало настроению той эпохи. "Не может быть, чтобы его удерживали доброта или совесть, - пишет флорентийский философ, - ибо сердце человека, который сожительствовавал со своей сестрой и убил своих двоюродных братьев и племянников, не могло таить в себе никакого благочестия. Мы должны заключить, что люди не умеют быть ни благородно виноватыми, ни полностью хорошими. Хотя преступление может обладать определенным величием само по себе или, по крайней мере, сочетанием более благородных мотивов, они не достигают этого. Джанпаоло, как бы беспечно он ни относился к кровосмешению и отцеубийству, не мог или не осмелился при подходящем случае совершить подвиг, за который весь мир восхитился бы его духом и которым он снискал бы бессмертную славу: ибо он был бы первым, кто показал бы, как мало прелаты, живущие и правящие так, как они, заслуживают уважения, и совершил бы поступок, превосходящий по своему величию весь позор, все опасности, которые это могло бы с собой принести."^[1] Трудно сказать, чем восхищаться больше, суеверием Джанпаоло или цинизмом комментария, ложным благочестием, из-за которого тиран упустил свой шанс, или ложным стандартом моральной возвышенности, которым полуироничный критик оценивает свою ошибку. В сочетании они производят живое впечатление истинности того, что я пытался установить, — что в Италии в этот период религия сохранилась как суеверие даже среди самых развращенных, и что преступления Церкви вызвали раскол между этим суеверием и моралью.

[1] *Дискорси*, i. 27. Этот эпизод из жизни Джанпаоло Бальони можно проиллюстрировать любопытной историей, рассказанной о Габрино Фондуло, тиране Кремоны. Император Сигизмунд и папа Иоанн XXIII. были его гостями вместе в 1414 году. Часть их развлечений заключалась в посещении достопримечательностей Кремоны вместе с хозяином, который повел их на большую Башню (396 футов высотой) без какого-либо сопровождения. Все трое благополучно вернулись, но когда Габрино казнили в Милане в 1425 году, он заметил, что за всю свою жизнь сожалеет только об одном, а именно о том, что он не отправил папу и императора вместе из Тораццо. Какая прекрасная возможность была упущена! История рассказана Антонио Кампо, "*История Кремоны*" (Милан, 1645), стр. 114.

В то время как Церковь, таким образом, постепенно все более и более отклонялась от христианского идеала и являла Италии образец мирской и порочной жизни, итальянцы раньше, чем какая-либо другая европейская нация, прониклись духом древнего мира. Вместо Евангелия и Житий Святых люди с жадностью изучали Плутарха и Ливия. Тираноубийцы Греции и самоубийцы Римской империи, патриоты вроде Гармодия и Брута, философы вроде Сенеки и Пета Тразея казались гуманистам пятнадцатого века более достойными восхищения, чем мученики и исповедники веры. Языческие добродетели странным образом смешивались с запутанными и плохо усвояемыми заповедями христианской церкви, в то время как языческие пороки носили ореол, заимствованный из блеска недавно обретенных и горячо приветствуемых поэтов древности. Сочетая визионерскую интуицию Средневековья с позитивной и приземленной этикой древних, итальянцы эпохи Возрождения стремились перенять чувства и обычаи эпохи, давно ушедшей в прошлое и не подлежащей возрождению. В то же время риторический вкус нации склонял более предприимчивых и страстных натур искать славы в драматических проявлениях личного героизма. Греческий идеал [греческий: *к калону*], римская концепция *Virtus*, будоражила воображение народа, находившегося под сильным влиянием профессоров красноречия, публичных ораторов, литераторов, мастеров стиля и парадности. Живопись и скульптура, а также то великолепие общественной жизни, которое характеризовало пятнадцатый век, способствовали замене эстетических моральных или религиозных стандартов. Действия оценивались по тому эффекту, который они производили, и согрешить против законов культуры было важнее, чем нарушить кодекс христианства. И все же люди эпохи Возрождения не могли забыть вероучение, которое они впитали с молоком матери, но которое Церковь не приспособила к новым условиям взрослеющей эпохи. Результатом стал дикий фантасмагорический хаос запутанных и сталкивающихся влияний.

Записи о многочисленных тираноубийствах дают много интересных примеров такого своеобразного морального состояния.[1] Джироламо Ольгиати вознес молитвы святому Амвросию о защите, прежде чем заколоть герцога Миланского в церкви Святого Стефана.[2] Заговорщикам Пацци, запуганным святостью Флорентийского собора Дуомо, пришлось нанять священника, чтобы тот владел святотатственным кинжалом.[3] Последнее признание Пьетро Паоло Босколи после провала его попытки убить Медичи в 1513 году добавляет дополнительные детали в качестве иллюстрации смешения религиозных чувств с патриотическим язычеством. Лука делла Роббиа, племянник великого скульптора с таким именем и сам неплохой художник, навел своего друга Босколи в ночь его казни и написал подробный отчет об их беседе. Оба этих человека были членами Братства Нери, которое взяло на себя обязанность утешать осужденных заключенных духовными советами, молитвами и увещеваниями. Повествование, продиктованное на отборном тосканском наречии художником, чье милосердие и красота души сквозят в каждой строке в контрасте с неистовой стойкостью Босколи, является одним из самых

ценных оригинальных документов того периода, которыми мы располагаем.[4] Что наиболее поразительно, так это сочетание глубоко укоренившегося и почти детского благочестия с античным героизмом в молодом патриоте. Он очень обеспокоен, потому что, не подозревая о приближающемся конце, плотно поужинал: "Сын троппо карико ди чибо, и его мясо было несладким; модо че нон ми пара потер юнир Ио спирито Дио ... Iddio abbi di me misericordia, che costoro m' hanno carico di cibo. О нескромность!"[5] Затем он выражает страстное желание воспользоваться услугами ученого духовника, который разрешил бы его интеллектуальные сомнения, умоляя со всей серьезностью отчаянной убежденности, что спасение его души в конце концов должно зависеть от его ортодоксальности. Он жалуется, что ему следовало бы провести по крайней мере месяц в уединении с добрыми монахами, прежде чем он столкнется лицом к лицу со смертью. В другой раз он больше всего стремится освободиться от классических воспоминаний: "Дех! Luca, cavatemi della testa quel Bruto, acciò ch' io faccia questo passo interamente da Cristiano".[6] С другой стороны, его огорчает, что слезы раскаяния, которые его учили считать истинным признаком единства души с Богом, не потекут. Сам факт смерти его не тревожит. Философы укрепили его в этом. Он жаждет только умереть благочестиво. Когда он пытается помолиться, он едва может вспомнить "Отче наш" и "Аве Мария". Это напоминает ему, как легко было бы проводить свое время лучше, и он просит Луку помнить, что разум, который человек создает для себя при жизни, будет с ним и после смерти. Когда ему приносят изображение Христа, он спрашивает, нужно ли ему *это*, чтобы сосредоточить свою душу на своем Спасителе. На протяжении всего этого долгого обсуждения стольких разных мыслей он никогда не подвергает сомнению нравственность поступка, за который он приговорен к смерти. Лука, однако, сомневается и наедине спрашивает исповедника, не исключал ли святой Фома Аквинский тираноубийство. "Да, - отвечает монах, - в том случае, если народ избрал своего собственного тирана, но не тогда, когда он навязал себя им силой". Этот казуистический ответ убедил Луку в том, что его друга можно с полным основанием считать невиновным. После исповеди Босколи с большим благочестием принял причастие и храбро погиб. Исповедник, плача, сказал Луке, что он уверен, что душа молодого человека попала прямо в Рай и что его можно считать настоящим мучеником. Его голова после смерти была похожа на голову ангела; а Лука, как мы знаем, был знатоком ангельских голов. Босколи было всего тридцать два года; у него были светлые волосы, и он был близорук.

[1] Об итальянской этике тираноубийства см. Назад, стр. 169, 170.

[2] См. стр. 166.

[3] См. стр. 398.

[4] Напечатано в *Своде. История*, том первый.

[5] "Я перегружен пищей, и я ел соленое мясо; так что, похоже, я не в состоянии соединить свой дух с Богом.... Боже, сжался надо мной, ибо они обременяют меня едой. О, как легкомысленно с их стороны!" Его слова невозможно перевести. Наивные до крайности, они становятся нелепыми в английском языке.

[6] "Ах, Лука, выкинь этого Брута из моей головы, чтобы я мог сделать этот последний шаг полностью как христианин!"

К этому повествованию можно было бы добавить апологию, написанную Лоренцино де Медичи после убийства его двоюродного брата Алессандро в 1536 году.^[1] Он полностью полагается в свою защиту на аргументы, заимствованные из языческой этики, и своим подходом к предмету подтверждает для себя то имя Брута, которым Филиппо Строцци лично в Венеции, а Варчи и Молса в латинских эпиграммах приветствовали его. В этом сильном и великолепном проявлении риторических способностей нет и следа христианских чувств; и ни один документ той эпохи с большей убедительностью не демонстрирует степень влияния классических исследований на мораль эпохи Возрождения. Однако Лоренцино, когда писал это, не был, в отличие от Босколи, при смерти.

^[1] Она напечатана в конце третьего тома "Варчи", стр. 283-95; сравните стр. 210. На медали в честь тираноубийцы Лоренцино был изображен профиль, скопированный с бюста Брута Микеланджело.

Последнее, что гибнет в нации, - это ее вера. Вся мировая история доказывает, что нет таких вопиющих аномалий, таких парадоксальных несоответствий, которые могли бы подорвать авторитет религиозной системы, которая когда-то прочно укоренилась в привычках, инстинктах и традициях расы; и то, что остается дольше всего, часто является наименее рациональной частью. Религии с самого начала были продуктом не логических размышлений или эксперимента, а чувства и устремления. Они возникают как простые интуиции, а затем вторгаются в область разума и ассимилируют многовековую мысль со своими собственными концепциями. В этом секрет их силы, а также источник их слабости. Только более сильный энтузиазм, новая интуиция, свежий всплеск эмоциональной жизнеспособности могут вытеснить старое:

"Коталь римедио в поисках фурора,
Сказка о любви шпегнера к фуоко,
Приди на помощь, чтобы узнать, что такое чиодо с чиодо".

Критика извне, внутреннее разложение, явный абсурд сравнительно бессильны разрушить те привычки верить, которые когда-то овладели воображением и чувствами нации. Работа по растворению протекает в тишине и в тайне. Но установленный порядок сохраняется до тех пор, пока не наступит момент для нового синтеза. И в шестнадцатом веке необходимый импульс возрождения должен был прийти не из Италии, удовлетворенной безмятежностью своего искусства, озабоченной своей культурой и ожесточенной позором своего развращения, а из Германии варваров, которых она презирала.

Эти соображения помогут объяснить, как получилось, что Церковь, несмотря на свою коррумпированность, устояла на ногах и сохранила уважение народа в Италии. Более того, мы должны иметь в виду, что, какой бы плохой она ни была, она все же в какой-то степени поддерживала христианскую истину. Помимо Римской курии и монастырей, существовала иерархия способных и богобоязненных людей, которые святостью своей жизни, серьезностью своего учения, красноречием своей проповеди, своим служением больным, помощью бедным, содержанием больниц, Монастырей Пьета, школ и сиротских приютов поддерживали в народе Италии по крайней мере идеал чистой и непорочной перед Богом религии.^[1] В шатающейся

статуе Церкви между выступом на вершине и глиняным основанием можно найти немного настоящего металла.

[1] Посмотреть жизнь С. Антонино, добрый архиепископ Флоренции.

Следует также помнить, насколько мирские интересы и внутренние симпатии итальянцев были вовлечены в поддержание их Церковной системы. Основы Церкви были переплетены с самыми сокровенными чувствами людей. Немногие семьи не могли показать одного или нескольких членов, выбравших карьеру священнослужителя и обращавшихся к Риму за покровительством, трудоустройством и, возможно, продвижением к высшим почестям. Вся нация испытывала гордость за Вечный город: патриотическое тщеславие и личный интерес были одинаково задействованы в поддержании метрополии христианского мира, которая привлекала свиту послов, толпы паломников и религиозное движение всей Европы к берегам Италии. Немцам и англичанам было легко спокойно рассуждать о свержении папской иерархии. Итальянцы, как бы они ни ненавидели светскую власть, не могли добровольно отказаться от духовного превосходства цивилизованного мира.

Более того, таинства Церкви, отпущения грехов, посвящения и благословения, которые священники раздавали или удерживали по своему усмотрению, ни в коем случае не утратили своей силы. До какой степени даже народы севера все еще цеплялись за них, доказывает наша собственная Литургия, составленная в суматохе войны с Римом, но сформулированная так, чтобы сохранить максимальное сходство со старым ритуалом, соответствующим духу Реформации. Гораздо более впечатляющим было их воздействие на воображение итальянцев, которые никогда и не мечтали о настоящем восстании, которые обладали источником апостольских привилегий в лице папы римского и чей южный темперамент склонял их к более чувственному и менее метафизическому пониманию христианства, чем немцы или англичане. Страх перед папским интердиктом все еще был реальностью. Хотя флорентийское духовенство, охваченное ответной яростью, могло швырнуть в зубы Сиксту такие слова, как *leno matris suæ, служитель прелюбодеяния, дьявольский викарий*, все же люди не могли долго выносить "скупые и несовершенные обряды, редко проводимое крещение, чрезмерное соборования или последнее причастие, холодно даруемое немногим избранным, церковный двор, закрытый для мертвых", который, цитируя энергичный язык декана Милмана, [1] были настоящими плодами папского запрета, каким бы несправедливым он ни был и как бы мужественно ему ни сопротивлялись.

[1] Латинское христианство, том vi. стр. 361.

История деспотов и пап вместе с анализом политической этики Макиавелли доказывают деморализацию общества, в котором столь экстравагантные преступления могли иметь свое происхождение, а столь преднамеренный цинизм мог быть принят как система. И все же при оценке общего характера итальянской морали остается зафиксировать суждение, вынесенное о ней иностранцами иного склада. Мораль рас, как и отдельных личностей, редко бывает иной, чем смешанная— добродетель уравнивает порок, а зло искажает добро. И все же впечатление, произведенное Италией эпохи Возрождения на наблюдателей с Севера, было почти полностью плохим. Наши собственные предки вернулись из своих путешествий по Италии либо в ужасе от того, чему они стали свидетелями, либо зараженные. Эшам пишет: [1] "Однажды я сам был в Италии; но я благодарю Бога мое пребывание там длилось всего девять дней; и все же за это короткое время в одном городе я увидел больше свободы грешить, чем

когда-либо слышал о нашем благородном Городе Лондоне за девять лет. Я увидел, что там можно грешить свободно, не только без всякого наказания, но и без чьего-либо клейма, как в Лондонском сити можно без всякой вины выбирать, хочет ли человек носить башмаки или панталоны". Роберт Грин, который так много сделал для распространения итальянских романов в Англии, признается, что во время своих юношеских путешествий по югу он "видел и практиковал такое злодейство, о котором отвратительно говорить".[2] Вся наша драматургическая литература подтверждает этих свидетелей, в то время как пословица "*По-английски итальянски и дьявольски воплощено*", цитируемая Сидни, Хауэллом, Паркером, Эшемом, показывает, насколько пагубными для грубых натур севера были утонченные пороки юга. Что главным образом поражало наших предков в нравственности итальянцев, так это распущенность, допускаемая в потворстве чувственным желаниям, и недобросовестность, которая запятнала все общественные и частные сделки. Что касается последнего пункта, то достаточно того, что уже было сказано о Макиавелли.[3] Верность была добродетелью, но мало ценилась в Италии: казалось, что помолвки были расторгнуты; даже преступление насилия усугублялось преступлением вероломства, стилет браво или медленный яд считались одним из законных средств избавления мужчин от соперников или мести за оскорбление. Однако не следует забывать, что коммерческая честность итальянцев ценилась высоко. Во всех странах Европы они вели банковские дела монархов, городов и частных лиц.

[1] *Школьный учитель*; изд. 1863, стр. 87. Весь дискурс об итальянских путешествиях и итальянском влиянии очень любопытен, если учесть, что в то время контакты с Италией формировали главную культуру англичан в литературе и общественных манерах. Девятая сатира в "*Биче Виллани*" Марстона содержит много интересного по тому же вопросу. В *инструкциях Хауэлла для форрейн Трэвелл* приводится следующая иллюстрация: "И находясь в Италии, этом огромном средоточии работающих мозгов, он должен быть очень осмотрительным в своем поведении, ибо она способна превратить Святого в дьявола и развратить лучшие натуры, если кто-то откажется от себя и станет жертвой распутства".

[2] "*Покаяние Роберта Грина*", цитируемое в мемуарах к изданию Дайса "Его драматические произведения".

[3] Смотрите главу v.

Что касается плотских пороков, нельзя отрицать, что коррупция в Италии была постыдной. Не говоря уже о распутстве монастырей, сообщается, что в 1490 году в Риме содержалось до 6 800 публичных проституток, не считая тех, кто занимался своим ремеслом под видом сожительства.[1] Этих женщин сопровождали головорезы-конфедераты, готовые нанести удар ножом, отравить и вымогать деньги; таким образом, насилие и похоть шли рука об руку, и этому распутному низшему слою общества можно приписать преступления беззакония, которые привели Рим к правлению Иннокентия VIII. почти непригоден для жизни. Венеция, которую Де Комин хвалил за ее благочестие,[2] был курортом всех развратников Европы, которые могли позволить себе время и деньги посетить этот современный Коринф. Том Кориат, эксцентричный английский путешественник, дает любопытный отчет о великолепии и утонченности, демонстрируемых полусветом лагун, а Марстон описывает Венецию как школу роскоши, в которой чудовищный Аретин играл профессора.[3] О состоянии нравов во Флоренции проповеди Савонаролы дают лучшую картину.

[1] Infessura, стр. 1997. Он добавляет: "Учитывайте моду, дающую право на жизнь в Риме, до конца верить в себя". Из того, что Parent Duchatelet (*"Проституция в парижской деревне"*, стр. 27) отметил относительно тенденции преувеличивать количество проституток в любом данном городе, у нас есть все основания считать оценку Infessura завышенной. В Париже в 1854 году было зарегистрировано всего 4206 "filles publiques", когда население города насчитывало 1 500 000 человек; в то время как те, кто тайно осуществлял свое призвание, по разным оценкам, составляли 20 000 или 40 000 и более 60 000 человек. Точных статистических данных, касающихся населения какого-либо итальянского города в пятнадцатом веке, к сожалению, не существует.

[2] *Мемуары*, библиотека vii. 'C'est la plus triomphante cité que j'ai jamais vue, et qui plus fait d'honneur à ambassadeurs et étrangers, et qui plus sagement se gouverne, et ou le service de Dieu est le plus solennellement fait.' Еще в конце 14 века было подсчитано, что проституток Венеции насчитывалось 11 654 человека. См. Филиази, цитируемого Мутинелли в его *Анналах урбани ди Венеция*.

[3] Сатиры, ii.

Но характерным пороком итальянца была не грубая чувственность. Он требовал, чтобы к притягательности чувств добавилось очарование фантазии.[1] Именно это делает Столицу бурлескных поэтов, таких известных людей, как Берни, Ла Каса, Варчи, Мауро, Молса, Дольче, Бембо, Фиренцуола, Бронзино, Аретино и де Медичи, такой удивительной. Самые грубые формы разврата находят самое изысканное и законченное выражение в стихотворениях, которые столь же замечательны своим остроумием, как и своим цинизмом. Подобный поток изощренных намеков проходит через *Канти Карнасьялески* во Флоренции, доказывая, что какими бы распутными ни были люди, они не довольствовались грубостью, если не были приправлены остроумием. То же самое возбуждение фантазии, свободно играющей в беззаконии чувственного потакания своим желаниям и усиливающей сознание личной силы у действующего лица, делало проявление изобретательности или избегание опасности для итальянцев еще большим удовольствием. Возможно, это одна из причин, почему все творческие композиции эпохи Возрождения, особенно *Новелла*, посвящены супружеской измене. Судя по большинству этих романов, комедиям того времени и поэзии Ариосто, мы вынуждены полагать, что такая незаконная любовь была чисто чувственной и своей главной привлекательностью была обязана простору, который она предоставляла для причудливых приключений. И все же *"Асолани"* Бембо, *"Панегирик платонической любви"* Кастильоне и большая часть популярной лирической поэзии предупреждают нас об осторожности. Старые романтические чувства, выраженные флорентийцами XIII века, все еще в какой-то степени сохранялись, придавая этим чувствам, по крайней мере по форме, некое достоинство.

[1] Много можно было бы написать об игре воображения, которая придавала особый оттенок расточительности, ревности и мстительности итальянцев. У меня будет возможность в другом месте утверждать, что, по крайней мере, в своей литературе итальянцы не были расой с развитым воображением; они также не были подвержены тем высокоразвитым состояниям задумчивой фантазии, которые северные народы называют Меланхолией, которую Дюрер олицетворял в своей знаменитой гравюре, а Бертон описал в своей *Анатомии*. Но в своей любви и ненависти, в своей похоти и жестокости итальянцам требовался интеллектуальный элемент, который действовал бы способность к воображению.

Опять же, в значительной степени благодаря их потребности в возбуждении воображения во всех областях чувств, их стремлению ко всему экстравагантному и экстраординарному в качестве приправы к удовольствию итальянцы заслужили столь ужасное название среди наций за неестественные страсти.^[1] Этой темы вряд ли можно касаться мимоходом: все же можно зафиксировать мнение, что она относится скорее к науке о психопатии, чем к хронике вульгарных похотей. Английские поэты дали нам верный ключ к итальянскому темпераменту, как в этом, так и во многих других вопросах. Шелли в своем "портрете Франческо Ченчи" нарисовал человека, в котором жестокость и кровосмешение стали вожделениями измученной души; любовь Джованни и Аннабеллы в трагедии Форда справедливо изображена скорее образной, чем чувственной. У итальянцев нет оправдания тому, что они одухотворили отвратительные пороки. На самом деле это означает, что их безнравственность была ближе к дьявольской, чем к звериной. Но, стремясь распознать его истинный характер, мы должны обратить внимание на сильно развитую фантазию, которая приправляла как их роскошь, так и их ревность, их месть и их похоть.

^[1] Итальянская литература громко высказывается на эту тему. Можно было бы процитировать заключительные строфы "Орфея" Полициано, прочитанные перед кардиналом Мантуанским, капитулиями Берни, Бронзино, Ла Каса и некоторыми *Канти Карназуалески*. Мы могли бы добавить прямое свидетельство Варчи о нравственности Филиппо Строцци, Лоренцино де Медичи, Пьера Луиджи Фарнезе и Климента VII. То, что Сеньи (lib. x. стр. 409) рассказывает нам о храбром Джованни Бандини, также очень важно. In the Life of San Bernardino of Siena, Vespasiano (*Vite di Illustri Uomini*, p. 186) writes: 'L'Italia, ch' era piena di queste tenebre, e aveva lasciata ogni norma di buoni costumi, e non era più chi conoscesse Iddio. Tanto erano sommersi e sepulti ne' maladetti e abbominevoli vizi nefandi! Gli avevano in modo messi in uso, che non temevano nè Iddio nè l'onore del mondo. Maladetta cecità! In tanto eccesso era venuto ogni cosa, che gli scellerati ed enormi vizi non era più chi gli stimasse, per lo maladetto uso che n'avevano fatto ... massime il maladetto e abominando e detestando peccato della sodomia. Эрано в "модо Стракорси" в "Квесте чечита", "че бизоньява, чей властелин стоит лицом к лицу с "альтра вольта пьовере даль чьело, золфо и фуоко приходят вместе с Содомой и Гоморрой". Сравните "Пассим Савонаролы", "Посвящения в Святое Святых", "знакомые письма Макиавелли" и "статут Козимо против этого порока" (1542 год, "Итоги Сабеллии". Венеция, 1715; т. v., стр. 287).

То же самое в некоторой степени верно и в отношении их жестокости. По-настоящему жестокой нацией эпохи Возрождения была Испания, а не Италия.^[1] Итальянцы, как правило, были мягкими и гуманными, особенно на войне.^[2] Ни одна итальянская армия не стала бы систематически пытаться все население захваченного города день за днем в течение месяцев, как это делали испанцы в Риме и Милане, чтобы удовлетворить свою алчность и утолить неутолимую жажду крови. Их уважение к человеческой жизни снова было выше, чем у французов или швейцарцев. Они дали пощаду своим врагам на поле битвы и были в ужасе от хладнокровной резни, учиненной при Фивизцано и Рапалло армией Карла VIII. Но когда демон жестокости овладевал воображением итальянца, когда, подобно Джану Марии Висконти, он приходил к наслаждению видом мучений ради них самих или когда он стремился внушить страх зрелищем боли, тогда ни один испанец не превзошел его в изобретательности его приемов. Удовлетворяя свою жажду мести, он никогда не довольствовался простым убийством. Добиться личного триумфа за счет своего врага, продемонстрировав превосходящую хитрость, выставив его на посмешище, подвергнув его как умственным, так и физическим страданиям, ранив его из-за его привязанностей или чувства чести, было целью, к которой он стремился. Вот почему

так много актов насилия в Италии приняли фантастические формы. Даже деревенские жители проявляли адское искусство в осуществлении своей *вендетты*. Подавать мясо детей их отцам за трапезой из вежливости упоминается, например, как один из способов мести в деревнях. Таким образом, высокая культура и эстетический темперамент итальянцев придавали их порокам интеллектуальный оттенок. Грубая похоть и кровопролитие были пресны на их вкус: они нуждались в остром соусе мелодраматической катастрофы.

[1] Тем, кто хочет получить живое представление о жестокости испанцев в Италии, следует прочитать, помимо рассказов Гвиччардини и Буонапарте, рассказ о Сакко ди Прато в *Итальянском историческом архиве*, том i, и рассказ Каньолы об испанской оккупации Милана, ib. том iii.

[2] Де Комин не раз замечает гуманность, проявленную итальянскими крестьянами по отношению к французской армии.

Пьянство и обжорство северных народов по сходной причине не пользовались благосклонностью в Италии. Римлянам было безмерно противно наблюдать за свинскими выходками германцев. Их собственная чувственность побуждала их к утонченному эпикурейству в еде и питье; однако по этому поводу следует признать, что прелаты, здесь, как и везде, отличавшиеся расточительностью, опозорили эпоху Льва пирами, достойными Вителлия. [1] Мы прослеживаем ту же игру воображения, ту же склонность оживлять и усиливать непосредственное ощущение личности любой ценой перенесенных страданий в другом характерном пороке итальянцев. Азартные игры среди них получили дальнейшее распространение и приносили больше вреда, чем в трансальпийских городах. Это мы узнаем из разоблачений Савонаролы, из анимационных картин, нарисованных Альберти в его *"Траттато делла Фамилья"* и *"Сена делла Фамилья"*, а также из посвящений ко многим из *Священных собраний*. [2]

[1] См. Грегоровиус, *Stadt Rom*, том. viii. с. 225: "И кардинал коменцароно, и vomит, и куси, и альтри", цитируется по Санудо.

[2] Одной из отличительных черт Альфонсо Великого (*Веспасиано*, стр. 49) было его отвращение к азартным играм.

Еще одним моментом, который поразил приезжего с севера в Италии, была частота частных и бытовых убийств. [1] Итальянцы имели и заслужили плохую репутацию за отравления и покушения. Сослаться на акты насилия в истории одной семьи, Бальони из Перуджи, записанные их хронистом Матараццо; процитировать отрывки, в которых Варчи рассказывает о смерти от яда Луизы Строцци, кардинала Ипполито Медичи и Шанги; или перевести страницы летописей, которые описывают дворцы знати, кишашие *храбрецами*, было бы очень простой задачей. [2] Но набросок автобиографии Бенвенуто Челлини, который станет частью моего третьего тома, дает настолько яркую картину этого аспекта итальянской жизни, что нет смысла сейчас углубляться в эту тему. Достаточно заметить, что, применяя яд и наемных убийц, итальянцы руководствовались теми привычками расчета, которые отличали их характер. [3] Они ничего не думали об устранении врага хитростью или насилием: но они не получали удовольствия от убийства ради него самого. [4] Цель, которую они преследовали, побудила их лишить человека жизни; простое удовольствие от драк и кровопролития швейцарцев, немцев и испанцев оскорбляло их вкус.

[1] См. Guicci. Св. Ил. том i, стр. 101, о впечатлении, произведенном на армию Карла ядовитым убийством Джан Галеаццо Сфорца.

[2] Яркую иллюстрацию метода, применяемого наемными убийцами для отслеживания своих жертв, представляет рассказ Франческо Биббони об убийстве им Лоренцино де Медичи в Венеции. Более того, это проливает любопытный свет на отношения между платными *брави* и их работодателями, на уважение, которым пользовались профессиональные головорезы, и на их связи с полицией итальянских городов. Это опубликовано в трактате о Лоренцино, Милан, Даэлли, 1862.

[3] Ознакомьтесь с инструкциями, данными венецианским правительством своим агентам по закупке яда и найму тайных убийц. Смотрите также Принципы, изложенные Сарпи.

[4] Это, по крайней мере, было сочтено эксцентричным и в высшей степени варварским. См. Понтано, "*Об имманентности*", том i, стр. 326, о Никколо Фортибраччо, Антонио Понтадере и Риччо Монтечьаро, которые наносили удары ножом и душили ради удовольствия видеть, как умирают люди. Я уже обсуждал кровавое безумие некоторых деспотов.

Хотя воображение играло столь важную роль в нравственности итальянцев, следует помнить, что им не хватало того, что является высшей защитой воображения от порока, - щепетильного чувства чести. Это правда, что итальянские авторы много говорят об *Оноре*. Пандольфини говорит своим сыновьям, что *Оноре* - одно из качеств, требующих величайшей бережливости в хранении, а Макиавелли утверждает, что нападать на людей в их *Оноре* почти так же опасно, как на их собственность. Но когда мы начинаем анализировать это слово, мы обнаруживаем, что оно означает нечто отличное от той смеси совести, гордости и самоуважения, которая делает человека верным высокому идеалу во всех возможных жизненных обстоятельствах.

Итальянское *Оноре* отчасти заключалось в уважении к общественным отличиям, а отчасти в репутации *Virtù*, понимая это слово в его макиавеллевском употреблении как силу, мужество, способность, мужественность. Это не было несовместимо ни с хитростью, ни с лицемерием, ни с потворством чувственным порокам. Государственные деятели, такие как Гвиччардини, который, кстати, написал прекрасный абзац о самом рассматриваемом слове, [1] не считали недостойным своей чести использовать государственные дела в личных целях. Макиавелли не только рекомендовал нарушать политические убеждения, но и пожертвовал своими принципами ради финансовых интересов в отношениях с Медичи. Было бы любопытно поинтересоваться, насколько тупая чувствительность итальянцев в этом вопросе была обусловлена их свободой от тщеславия. [2] Пожалуй, ни одна нация не находится под меньшим влиянием простого мнения, менее склонна оценивать людей по их внешним достоинствам: итальянец обладает мужеством и независимостью личности. Однако более важно отметить, что рыцарство никогда не пускало прочных корней в Италии; и честь, в отличие от тщеславия, *собственной* любви и чести, черпает свою жизнь в том идеале рыцарского характера, который утвердило рыцарство. Истинный рыцарь был одинаково щепетилен в вопросах чести во всем, что касалось сохранения незапятнанного "я", независимо от того, находился ли он при королевском дворе или в разбойничьем логове. Рыцарство, воплощенное в знаменитой клятве, принесенной Артуром своим пэрам Круглого Стола, было северным, тевтонским институтом. Чувство чести, составлявшее саму его суть, получило дальнейшее развитие в социальной атмосфере монаршего двора. Это стало добродетелью благородно рожденных и по-рыцарски воспитанных людей, как это замечательно видно из этого отрывка из Рабле [3]: "Если ты прав, не

останавливаясь на достигнутом". Разделяй свободу рода, будь здоров, будь наставником, общайся с благородными товарищами по натуре, без инстинкта и агилитации. Как вести себя со свершившейся добродетелью и уйти от порока: лекарь или номинальный почетный работник. "В Италии не только рыцарство как институт было слабым; но и феодальных дворов, при которых оно расцвело своим прекраснейшим цветком - рыцарским чувством чести, не существовало.[4] Вместо круга пэров, собравшихся со всех концов королевства вокруг купели чести в лице суверена, коммерческие республики, насильственные тирании и Папская курия задавали тон обществу. В каждой части полуострова богатые банкиры, покупавшие и продававшие города, авантюристы, захватывавшие княжества с помощью насилия или интриг, и священники, стремившиеся к расширению жреческой корпорации, были вовлечены в сети дипломатии. Немногие знатные семьи, претендовавшие на феодальное происхождение, вели войны за плату по контракту в интересах бюргеров, пап или деспотов. Ни одно из этих условий не способствовало развитию чувства чести, как оно понималось во Франции или Англии. Взятые вместе, они не могли не быть в высшей степени неблагоприятными для его развития. В таком обществе Баярд и сэр Уолтер Мэнни были бы неуместны: девиз *обязывающее благородство* имел бы мало значения.[5] Вместо Чести миром в Италии правила Вирту. Моральная атмосфера снова была критической и высокоинтеллектуальной. Умственные способности в сочетании с личной смелостью давали ранг. Но сама тонкость и сила ума, составлявшие силу итальянцев, оказались враждебны любому деликатному чувству чести. Анализ ослабляет такт и непосредственность чувств, которые составляют его самую надежную защиту. Все это очевидно в этике *Принципи*. Что больше всего поражает нас в этом трактате, так это предположение, что никто не будет связан законами чести, когда полезность или поставленная цель требуют от них жертв. В заключение скажу, что, хотя итальянцы не были лишены цельности, честности, неподкупности или гордости, их позитивный и высокоаналитический гений был лишь в малой степени подвержен влиянию той рыцарской чести, которая была энтузиазмом и религией феодальных наций, пережив упадок рыцарства как инстинкт самосохранения, более неопределимый, чем абсолютная мораль. Честь у северной знати была субъективной; у итальянцев *Оноре* была объективной — дополнением, даруемым извне в виде репутации, славы, почетных званий или доверенных должностей.[6]

[1] Ricordi politici e civili, № 118, Указ. соч. Изд. том первый.

[2] Смотрите De Stendhal, *Histoire de la peinture en Italie*, стр. 285-91, любопытный каталог примеров. Современное чувство чести, без сомнения, в какой-то степени основано на тонком *характере любви*, которая заставляет человека желать завоевать уважение своих соседей ради него самого. Допуская, что совесть, гордость, тщеславие и самоуважение являются составляющими чести, мы, возможно, найдем больше гордости у испанцев, *большесобственной любви* у французов и больше совести у англичан.

[3] Гаргантюа, библиотека. 1. гл. 57.

[4] Посмотрите, однако, то, что я уже сказал о Кастильоне и его идеале придворного в главе III. Мы должны помнить, что он представляет поздний период Возрождения.

[5] Любопытно сравнить, например, роль итальянцев, особенно Венеции, Пизы, Генуи, Амальфи, в качестве подрядчиков и торговцев в крестовых походах, с энтузиазмом северных народов.

[6] В подтверждение этой точки зрения я могу привлечь внимание к критике Джаннотти флорентийской конституции (Флоренция, 1850, т. i, стр. 15 и 156) и к тому, что Макиавелли говорит о Джанпаоло Бальони (*Диск. i. 27*): "Gli uomini non sanno esser o *переменах* тристи"; мужчины не знают, как быть плохими, делая честь самим себе. Контекст доказывает, что Джанпаоло не смог заслужить чести совершить знаковое преступление. Сравните использование слова *оноре* в "Апологии" Лоринзино де Медичи.

С итальянской концепцией *Оноре* мы можем сравнить их взгляд на *Единственность* в женском полу. Это ясно изложено Пикколомини в книге "*Прекрасная креанца делле Донн*". [1] Как и в случае с *Оноре*, здесь мы имеем дело не с изысканным личным идеалом, а с чем-то гораздо более материальным и внешним. *Единственность* замужней женщины совместима с тайной неверностью, при условии, что она не подвергает себя насмешкам и порицанию, раскрывая свою любовь. Таким образом, и здесь правильный перевод этого слова, по-видимому, - "кредит". Наконец, мы можем сослаться на инвективу против чести, которую Тассо вкладывает в уста своих пастухов в "*Аминте*". [2] Хотя в этот период влияние Франции и Испании привило аристократическому обществу Италии экзотическое чувство чести, придворный поэт осмелился осудить его как недостойное колокола "*эта дель оро*", потому что это мешало получать удовольствие и приносило в жизнь неприятные обязанности. Подобную тираду не вынесли бы ни в Лондоне времен Елизаветы, ни в Париже времен Людовика XIV. Сам Тассо, можно сказать мимоходом, был почти лихорадочно скрупулезен в вопросах, которые затрагивали его репутацию.

[1] Рафаэлла, оверо Делия белла Кранца делле Донн (Милан, Даэлли). Сравните заявление автора в его предисловии, стр. 4, где он говорит от своего имени, с определением *Оноре*, данным Рафаэллой, стр. 50 и 51 диалога: "оноре без ответных действий в будущем, без стимуляции эмоций". агли уомини ... l'onore della donna non consiste, come t'ho detto, nel fare o non fare, chè questo importa poco, ma nel credersi o non credersi.'

[2] Эта инвектива может быть заимствована из одной из новелл Мазуччо (изд. Неаполь, стр. 389, 390), в котором он почти цинично разоблачает неудобства самоуважения и деликатности. Ситуация двух друзей, которые соглашаются, что честь - это неприятность, и у которых общие жены, является излюбленной романистами.

Важным соображением, влияющим на весь вопрос итальянской безнравственности, является следующее. В то время как северные народы до сих пор пребывали в состоянии сравнительной бедности и варварства, распределенные по деревням и сельским округам, народ Италии веками наслаждался богатством и цивилизацией в больших городах. Их города были центрами роскошной жизни. Избыточные доходы богатых тратились на удовольствия, и современные приличия не научили их скрывать пороки развитой культуры под покровом приличий. В то же время они были безразличны к чужому мнению и в высшей степени застенчивы. Самые худшие из них были замечены с первого взгляда и зафиксированы с мельчайшими подробностями. Порочность менее культурных рас осталась незамеченной, потому что никто не потрудился описать простое варварство. [1] Пороки того же рода, но, возможно, менее широко распространенные среди народа, были печально известны в Италии, потому что они сочетались со многим красивым и блистательным. Одним словом, недостатки итальянцев были таковы, что они принадлежали к высокоинтеллектуализированному обществу, еще недостаточно проникнутому культурой, поднявшемуся над грубостью варваров, но не продвинувшемуся до

самоконтроля цивилизации, которому мешала продажность Церкви, промышлявшей преступлениями, запятнанному некритическим контактом с языческим искусством и литературой и выхолощенному политическим деспотизмом. Их пороки, какими бы плохими они ни были в действительности, казались еще хуже, потому что они воздействовали на воображение, вместо того чтобы просто упражнять чувства. В качестве коррелята их порочности мы находим умеренный аппетит, вежливость в поведении, мягкость и жизнерадостность нравов, широко распространенную утонченность чувств и манер, либеральный дух терпимости, которому больше нигде не может быть аналога в Европе того периода. Быть менее невежественным и грубым, чем Англия, менее жестоким и невозмутимым, чем Германия, менее алчным, чем Швейцария, менее жестоким, чем Испания, менее тщеславным и непоследовательным, чем Франция, было немалым признаком превосходства.

[1] Прочтите, однако, саксонские хроники или анналы Ирландии у Фруда.

Италия снова стала страной раскрепощенной индивидуальности. То, чего желал Милль в своем Эссе о свободе, то, что с каждым днем кажется все более недостижимым в современной жизни, понравилось итальянцам. Не было никакого сдерживания личностного роста, не было притирки мужчин к среднему уровню. Если великие пороки проявлялись более открыто, чем где-либо в Европе, то великие качества также имели возможность свободного развития в героях вроде Ферруччи, в святых вроде Савонаролы, в художниках вроде Микеланджело. Хотя социальная атмосфера папского и деспотического дворов была неблагоприятна для высшего типа характера, мы не находим, по крайней мере, никакого внешнего механизма репрессий, никакой всемогущей инквизиции, никакой всемогущей аристократии. [1] Ложные политические системы и коррумпированная Церковь породили малярию, которая отравила благородных духом Макиавелли, Ариосто, Гвиччардини, Джулиано делла Ровере. Из этого, однако, не следует, что гуманитарные науки расы в целом, несмотря на суеверия и плохое правительство, были искажены.

[1] Я, конечно, говорю о Ренессансе в отличие от той новой фазы итальянской истории, которая последовала за Тридентским собором и испанским деспотизмом.

У нас есть положительные доказательства обратного в искусстве итальянцев. Апрельская свежесть Джотто, благочестие фра Анджелико, девственная чистота юного Рафаэля, сладостная серьезность Джона Беллини, философская глубина Да Винчи, возвышенность Микеланджело, обходительность фра Бартоломео, деликатность делла Роббиа, сдержанный пыл Розеллини, восторг сиенцев и благоговение умбрийских мастеров, пафос Франчи, достоинство Мантеньи и божественная простота Луини - все это были качества, которые принадлежал не только этим художникам, но и народу Италии, от которого они произошли. Если бы люди, многие из которых родились в коттеджах и получили образование в мастерских, могли чувствовать, думать и одеваться так, как они, мы не могли бы сомневаться, что их матери и друзья были чистыми и благочестивыми и что раса, подарившая их миру, не была порочной. Следует помнить, что живопись в Италии была народу ближе, чем литература: это был не столько вопрос образования, сколько инстинкт, продукт темперамента, а не культуры.

Одного итальянского искусства, на мой взгляд, достаточно, чтобы доказать, что безнравственность той эпохи исходила от высших слоев общества вниз. Эгоистичные деспоты и роскошествующие священники были причиной гибели Италии; а дурные качества князей, светских и церковных, нашли выражение в литературе поэтов и гуманистов, их паразитов. Но в

какой другой стране пятнадцатого века мы могли бы продемонстрировать такую же социальную цивилизованность и интеллектуальный свет, рассеянный во всех классах, от высших до низших? Это правда, что шестнадцатый век омрачил их блеск. Но только после того, как пороки папского Рима и контакт с испанцами ослабили итальянский вкус, искусство стало грубым или чувственным. Джулио Романо (1492-1546) и Бенвенуто Челлини (1500-70) знаменуют начало перемен. У испанца Рибери, у Караваджо и во всей болонской школе это было достигнуто. И все же никогда, ни в какой период коренные итальянские мастера не учились любить уродство с той преданностью, которая раскрывает врожденную грубость. Дюреру, Рембрандту и Хогарту оставалось возвести гротеск в область высокого искусства, Рубенсу - достичь апофеоза чистого анимализма, Тенирсу - посвятить выдающегося гения служению обыденности.

В любом обзоре итальянской религии и морали, каким бы фрагментарным он ни был, каковым он действительно является, не следует упускать из виду одну черту, отличающую обостренную чувствительность этой расы. Лишенные глубоких интеллектуальных убеждений, неспособные к твердой и радикальной решимости в отношении национальной святости, лишенные тех страстных и одаренных воображением интуиций в отношении тайн мира, которые порождают религии и философии, итальянцы в то же время были остро восприимчивы к красоте христианской веры, открытой им вдохновенными ораторами. То, что мы называем возрождением, было институтом в Италии, который Церковь была слишком мудра, чтобы не одобрять или подавлять, хотя проповедники покаяния часто были неподчиняющимися, а иногда даже враждебными папской системе. Имена Арнольда Брешианского, Сан-Бернардино Сиенского, Иоанна Виченцкого, Якопо Буссолари, Альберто да Лечче, Джованни Капистрано, Якопо делла Марка, Джироламо Савонаролы вызывают в памяти тех, кто знаком с итальянской историей, бесчисленные картины доведенных до слез толп, уничтоженных тираний и конституций, основанных бурными собраниями, враждебных партий и мстительной знати, заключенной в братские объятия, городов, одетых во вретисще за свои грехи, разрушенных городов. призывы к миру, эхом отдающиеся на берегах рек, наполненных кровью, на площадях и склонах холмов, оглашаемых рыданиями, в великопостные ночи, озаренные кострами Тщеславия.^[1] Посреди этих мелодраматических сцен возвышается одинокая фигура доминиканского или францисканского монаха: в то время как один голос, изрекающий горе или умоляющий о мире, доминирует над толпой. О временном эффекте, произведенном этими проповедниками, не может быть и речи. Изменения, которые они произвели в штатах и городах, доказывают, что энтузиазм, который они вызывали, был больше, чем просто истерический. Савонарола, величайший представитель своего класса, основал во Флоренции не только временное содружество, но и важную политическую партию и оставил неизгладимый след в величайшей душе Италии шестнадцатого века — Микеланджело Буонарроти. В людях чувствовалась настоящая религиозная энергия, соответствующая рвению проповедника. Но действие этого серьезного настроения было прерывистым и спазматичным. Оно сосуществовало со слишком большим количеством суеверий и слишком неистовыми страстями, чтобы сформировать устоявшийся характер. В этом отношении итальянская нация не выглядит экстравагантно в жизни Челлини, чье насилие, потакание своим желаниям, острое чувство удовольствия и языческий восторг от физической красоты время от времени прерывались необъяснимыми перерывами в покаянии, чтении Библии, пении псалмов и видениях. Описание Челлини будет делом далекой главы. Образ величайшего из итальянских проповедников должен занимать передний план следующей.

[1] Я поместил в приложение некоторые основные отрывки из хроник о возрождениях в средневековой Италии.

Прежде чем завершить работу над неполными и разрозненными замечаниями, собранными в этой главе, будет полезно попытаться резюмировать уже предложенные моменты. Не связывая себя догматизмом какой-либо теории, мы приходим к определенным общим выводам по поводу итальянского общества XVI века. Ожесточенные партийные распри, завершившие Средние века, приучили население к насилию, и это насилие сохранилось в виде слишком частых жестоких преступлений. Поскольку искусственный суверенитет деспотов был основан на вероломстве, из этого следовало, что коварство и мошенничество стали признаваться в частной жизни не меньше, чем в общественной. С появлением буржуазных классов самодовольный позитивизм, ярко изображенный в лице Козимо Медичи, вытеснил страсти и энтузиазм предыдущей эпохи. Таким образом, сила, коварство и практический материализм легли в основу итальянской безнравственности. Яростные разногласия в сфере политики, беспокойные спекуляции вместе с ослаблением всех уз, которые связывали общество в Средние века, раскрепостили личность и заменили предписания гражданского или религиозного порядка свободой эгоцентрической энергии и мужественности (*Virtù*). В стране, стряхнувшей с себя как папскую, так и императорскую власть, не осталось никакой концепции закона, способной обуздать каприз. Вместо закона люди повиновались инстинктам нескольких своих персонажей, подчиняясь художественному вкусу, или тираническому аппетиту, или великолепному героизму ушедшей древности. Церковь отвратила людей от истинного благочестия. Однако никакой новой формы религиозной веры не возникло; и отчасти из уважения к прошлому, отчасти из-за удобства цепляться за существующие институты католицизм снисходительно терпели. В то же время гуманисты ввели идеал, антагонистичный христианству, монашеского типа. Не порывая резко с общением Церкви и хотя бы формально соблюдая все ее таинства, они думали, писали, говорили, чувствовали и поступали как язычники. К лицемерию устаревшего аскетизма добавились налеты анахроничной распущенности. Между тем национальный художественный гений достиг своего наивысшего развития одновременно с упадком веры, угасанием политической свободы и этической анархией. Эстетический импульс был настолько силен, что на какое-то время казалось, что он способен привлечь к себе все силы нации. Общество, основанное на силе и обмане, разъединенное цинизмом, пораженное лицемерием, не признающее никаких стандартов, кроме успеха в действиях и красоты форм, настолько осознающее собственную испорченность, что не породило сатирика среди многих, кто легко смеялся над его пороками, носил внешний вид изысканной утонченности и был деликатно восприимчив к любому разногласию. Те, кто наиболее глубоко понимал противоречия эпохи, были наименее способны подняться над ними, следовательно, в работах Макиавелли мы получаем идеальную картину личного характера, движущегося к рассчитанным целям научно подобранными средствами, ни одно из которых не санкционировано неписаным кодексом законов, управляющим человеческим прогрессом. Позитивизм Козимо сводится к теории. Мошенничество становится правилом поведения. Пропагандируется сила, когда кинжал, отравленный напиток или уничтожение города могут привести человека прямо к его цели. Показано, что религия является политическим двигателем. Лицемерие - это маска, которую нужно носить. Святости древнего обихода и обычая, контролирующему аппетит, нет отведенного им места в системе. Действие анализируется как отрасль изящных искусств; и дух эпохи, иерофантом которой философ считает себя, заставляет его изображать ее как зловещее и порочное искусство.

В цивилизации Италии, преждевременно вышедшей за пределы условий средневековья, до того, как были разрушены институты средневековья или преодолены его предрассудки, мы повсюду замечаем отсутствие координирующего принципа. Старая религия умерла, но новой веры нет. Коммуны оказались несостоятельными, но национальности нет. Практический позитивизм уничтожил добродетели рыцарского и феодального прошлого, но наука еще не родилась. Ученость наводняет мир знаниями древности, но эти знания все еще непереважены. Искусство торжествует; но эстетический инстинкт вторгся в области политики и этики из-за неправильного анализа в теории, а на практике - из-за чрезмерной уверенности в личных способностях. Индивид достиг свободы, но он не усвоил необходимости подчинения своей воли закону. Во всех отношениях развитие итальянцев поражает нас как преждевременное, причем слабость преждевременного развития едва отличима от упадка старости. Настоятельно требовался переход от точки, достигнутой в эпоху Возрождения, к какой-то более твердой почве. Но фатальность событий не позволила итальянцам этого сделать. Их развитие, остановленное в середине карьеры блестящими амбициями Франции и осторожным реакционным деспотизмом Испании, оставалось приостановленным. Студенты остаются лицом к лицу с шестнадцатым веком, чтобы расшифровать надпись, в которой отсутствует главный глагол, ломать голову над загадкой, решение которой скрыто от нас гибелью народа. Всегда должен оставаться нерешенным вопрос, могли ли итальянцы, не потревоженные иностранным вмешательством, перейти от искусственной и исключительной стадии Возрождения к более здоровой и существенной фазе национальной жизнеспособности; или же, как, по-видимому, уверяла их внутренняя совесть, их отрешенность от моральных обязательств и их умственное брожение предвещали неизбежную катастрофу.

ГЛАВА IX.

SAVONAROLA.

Отношение Савонаролы к эпохе Возрождения—Его происхождение, рождение и детство в Ферраре—Его поэма о гибели мира—Присоединяется к доминиканцам в Болонье—Письмо отцу—Поэма о разрушении церкви—Начинает проповедовать в 1482 году—Первый визит во Флоренцию—Сан—Джеминьяно—Его пророчество—Брешиа в 1486 году—Внешний вид и стиль ораторского искусства—Воздействие на аудиторию—Три вывода—Его видения—Недостатки Савонаролы как государственного деятеля—патриота—Его искренняя вера в свое пророческое призвание—Дружба с Пико делла Мирандола—Поселяется во Флоренции, 1490 г.—Монастырь Сан—Марко—Отношение Савонаролы к Лоренцо Медичи—Смерть Лоренцо—Проповеди 1493 и 1494 гг.—Конституция 1495 г.—Теократия во Флоренции—Пьянони, Биджи и Арраббиати—Война между Савонаролой и Александром VI.—Синьория отстраняет его от проповеди в Дуомо в 1498 г.—Попытки созвать Собор—Испытание огнем—Сан-Марко штурмован Толпой—Суд и казнь Савонаролы.

Нет ничего более характерного для резких контрастов итальянского Возрождения, чем появление не только из одного общества, но и из лона одной Церкви двух столь разных людей, как папа Александр VI. и пророка Джироламо Савонаролу. Савонаролу называют предшественником лютеранских реформаторов и вдохновенным выразителем духа

пятнадцатого века. На самом деле он не разделял революционного гения Лютера, придавшего новую жизненную силу верованиям христианского мира, и не сочувствовал тому свободному движению современного разума, которое нашло свое первое выражение в искусстве и гуманистических исследованиях Италии эпохи Возрождения. Как к Ренессансу, так и к реформе он сохранял отношение монаха, проявляя, с одной стороны, суровое недоверие к языческой культуре, а с другой - отсутствие желания изменять ни верования, ни традиций Римской церкви. И все же историю Савонаролы нельзя отделять от истории итальянского Возрождения. Он яснее, чем кто-либо другой, понимал моральное и политическое положение своей страны. Когда все государства Италии, казалось, погрузились в мир и благоденствие, он предсказал войну и почувствовал неизбежность сокрушительного бедствия. Очищения обычаев, которое он проповедовал, требовали вопиющие пороки пап и нечестие тиранов. Бедствие, о котором он пророчествовал, действительно обрушилось на Италию. В дополнение к этому ясновидению, по праву которого мы называем его пророком, влияние, которое он оказал на Флоренцию в критический момент итальянской истории, само по себе достаточно, чтобы дать ему право на нечто большее, чем просто мимолетное внимание.

Джироламо Савонарола родился в Ферраре в 1452 году.^[1] Его дед Микеле, падуанец из благородной семьи, переехал в столицу принцев Эсте в начале пятнадцатого века. Там он занимал должность придворного врача; и Джироламо был предназначен для той же профессии. Но уже в раннем детстве будущий пророк проявил признаки нежелания к мирской жизни и непреодолимую неприязнь ко двору. При Доме Эсте Феррара славилась на всю Италию своей веселостью и великолепием. Ни в одном городе не было более ярких и частых публичных представлений. Нигде аристократия не сохраняла столько феодального великолепия и рыцарских удовольствий. Квадратный замок из красного кирпича, который до сих пор стоит в центре города, был переполнен поэтами, игроками, дураками, пользовавшимися почти европейской репутацией, придворными льстецами, рыцарями, пажам, учеными и прекрасными дамами. Но под его кубом из цельной каменной кладки, на одном уровне со рвом, отгороженные от дневного света семью рядами железных решеток, находились темницы, в которых объекты неудовольствия герцога звенели цепями и вздыхали, расставаясь с жизнью.^[2] В стенах этого дворца молодой Савонарола научился ненавидеть как мирские пороки, так и деспотическую жестокость, против которых в загробной жизни он пророчествовал и боролся насмерть.

^[1] В этой главе о Савонароле я использовал "Жизнь Виллари" *Histoire de France*, vol. vii., Milman's article on Savonarola (John Murray, 1870), Nardi's „ *История Фиорентины*, книга II., и *Мемуары* Де Комина.

^[2] См. стр. 424.

О его детстве мы знаем очень мало. Его биографы лишь сообщают нам, что он был серьезен и уединен, часто посещал церкви, молился со страстной настойчивостью, упрямо отказываясь, хотя в остальном был послушен, присоединяться к отцу во время его визитов ко двору. Аристотель и Святой Фома Аквинский, по-видимому, были любимыми мастерами его изучения. Фактически он отверг новые взгляды гуманистов и придерживался церковного воспитания схоластов. Уже в двадцатилетнем возрасте мы застаем его сочиняющим стихотворение на итальянском о крушении мира, в котором он восклицает: "Весь мир в смятении: исчезла всякая добродетель и все хорошие манеры; я не нахожу ни живого света за границей, ни того, кто

краснеет за свои пороки". Отправная точка была выбрана, и лейтмотив его жизни был задан. Чувство невыносимого греха, охватившее его в Ферраре, преследовало его всю зрелость, подняло его руку на пап и деспотов Италии и придало особый тон его пророческим высказываниям.

Привлекательность монастыря как убежища от мирских бурь и как отдыха от мук за чужие грехи теперь начала влиять на его разум.^[1] Но он никому не сообщил о своем желании. Его отец и мать были бы огорчены, узнав, что их сын, который, как они надеялись, станет ярким светочем при дворе Феррары, решил надеть капюшон. Наконец, однако, наступил момент, когда он почувствовал, что должен покинуть этот мир. "Это было 23 апреля 1475 года, - рассказывает Виллари. - он сидел со своей лютней и наигрывал печальную мелодию; его мать, словно движимая духом прорицания, внезапно повернулась к нему и печально воскликнула: "Сын мой, это знак того, что мы скоро расстанемся". Он восторженно и продолжал, но дрожащей рукой, перебирать струны лютни, не поднимая глаз от земли.' Получилась бы картина: весенние сумерки в причудливой итальянской комнате, возможно, с веткой смоковницы или лавра на открытом окне; мать с озабоченным лицом отрывается от своего рукоделия; юноша с ужасными глазами, напряженными губами и расширенными ноздрями будущего пророка, еще не изношенный годами забот, но ярко выраженный и безошибочно узнаваемый, склоняется над меланхолическими аккордами лютни, едва ли не в последний раз облаченный в светский наряд.

^[1] Часто в дальнейшей жизни Савонарола плакался, что стремился в монастырь, чтобы обрести покой, но что Бог предпочел, вместо того чтобы привести его в спокойные воды, бросить его во вздувшееся от бури море. Смотрите Проповедь, цитируемую Виллари, том i, стр. 298.

Уже на следующий день Джироламо тайно покинул Феррару и отправился в Болонью. Там он вступил в орден Святого Доминика, в орден Проповедников, в орден своего учителя Святого Фомы, а также, давайте вспомним, в орден инквизиторских крестовых походов. Письмо, написанное его отцу после того, как он сделал этот шаг, запоминается надолго. В нем он говорит: "Мотивы, побудившие меня вступить в религиозную жизнь, таковы: великие страдания мира; беззакония людей, их изнасилования, прелюбодеяния, грабежи, их гордыня, идолопоклонство и страшные богохульства: так что все дошло до того, что никого нельзя найти действующим праведно. Много раз в день я со слезами повторял этот стих:

Neu, fuge crudeles terras, fuge littus avarum!

Я не мог вынести чудовищной порочности ослепленного народа Италии; и тем более потому, что я повсюду видел презираемую добродетель и почитаемый порок". Мы ясно видим, что призвание Савонаролы проистекало из глубокого осознания порочности мира. Это был тот же дух, что и тот, который гнал первых христиан Александрии в Фиваиду. Суровый и изможденный, сжигаемый рвением к Господу, он достаточно долго вращался среди отдыхающих Феррарезе. Эти элегантные молодые люди в обтягивающих штанах и разноцветных пиджаках, с клятвами на устах и жестокими поступками и похотью в сердцах, не были для него компаньонами. Трогательно, однако, отметить, что не текст Иезекииля или Иеремии, а музыкальный гекзаметр Вергилия прозвучал в его душе предупреждением об уходе.

В этом году Савонарола сочинил еще одно стихотворение, на этот раз о разрушении церкви. В детстве он был свидетелем помпезных зрелищ, которыми Эней Сильвий, больше похожий на

римского полководца, чем на новоиспеченного папу, приветствовал его при въезде в Феррару. С тех пор он видел, как чудовище Сикст взошел на папский престол. Неудивительно, что ему, бежавшему от мира в Церковь за чистотой и миром, понадобилось выразить свою страсть в песне. "Где, - кричит он, - врачи древности, святые, ученость, милосердие, целомудрие прошлого?" Церковь отвечает, демонстрируя свою разорванную одежду и израненное тело и указывая на пещеру, в которой ей предстоит устроить свой дом. "Кто, - восклицает поэт, - совершил это зло?" *Una fallace, superba meretrice—Rome!* Тогда действительно страсть новичка вспыхивает с новой силой: —

Дех! per Dio, donna,
Se romper si potria quelle grandi ale!

Церковь отвечает: —

Ту пианги и таси: ответьте на главный вопрос.

Даже его горячее сердце не могло дать другого ответа нетерпеливым устремлениям Савонаролы, пока он все еще оставался молодым и безвестным монахом в Болонье. И как бы он ни старался всю свою жизнь, ему не было дано сломать эти распростертые крылья высокомерного Рима.

Карьера Савонаролы как проповедника началась в 1482 году, когда его начальство отправило его сначала в Феррару, а затем во Флоренцию с миссиями. Но ни в том, ни в другом месте он не нашел признания. У пророка нет чести в его собственной стране; и для Флоренции с языческим сердцем, хотя ей и суждено было стать театром его жизненной драмы, Савонарола пока еще не мог произнести громовой брани. Кроме того, его голос был резким и тонким; его лицо и осанка не располагали к себе. Стиль его речи был приспособлен для монастырских диспутов и перегружен схоластическими различиями. Великий оратор еще не пробудился в нем. Монах, при всей его сухости и суровости, был слишком очевиден. С какими странными чувствами, должно быть, юноша ходил по улицам Флоренции! Впоследствии он часто говорил, что заранее знал, что этим улицам и площадям суждено стать ареной его трудов. Но затем, безмолвный, бессильный, без контроля над собственным гением, без сознания своей пророческой миссии, он погрузился в размышления в одиночестве и потерял гармонию с прекрасным и обыденным городом. Очарование холмов и садов Вальдарно, красота башни Джотто, размах купола Брунеллески — все это, возможно, глубоко запало ему в душу. И утонченный характер флорентийского интеллекта, должно быть, вызвал в его собственном остром духе тайную симпатию. Для него Флоренция вскоре стала городом его любви, первенцем его стремлений.

В монастырях Сан-Марко, обогатившихся великолепными библиотеками благодаря щедрости князей Медичи, он обрел покой. Стены этого монастыря недавно были украшены фресками фра Анджелико, подобно тому, как человек мог бы украсить страницы молитвенника иллюстрациями. Среди них Савонарола размышлял и был счастлив. Но за кафедрой и в общении с праздными жителями Флоренции он чувствовал себя не в своей тарелке. Лоренцо Медичи затмил весь город. Лоренцо, в котором языческий дух Возрождения, дух свободной культуры нашел надлежащее воплощение, был полной противоположностью Савонароле,

который уже судил о классическом возрождении по его плодам и задумал духовное возрождение своей страны. Во Флоренции страстная любовь к искусству и учености — энтузиазм, побуждавший людей тратить свои состояния на рукописи и статуи, чувствительность к красоте, породившая шедевры Донателло и Гиберти, жажда знаний, горевшая в Пико, Полициано и Фичино, — существовали бок о бок с наглой безнравственностью, религиозной мертвенностью, холодным презрением к истине и циничным восхищением успешным злодейством. И добро, и зло, которые так пышно расцвели на этой плодородной почве, соединились в разностороннем гении принца-торговца, чья политика заключалась в подавлении свободы путем потакания безумствам, порокам и интеллектуальным вкусам своего народа.

Молодой Савонарола все еще не мог сравниться с Лоренцо. И где он мог искать помощи? От Церкви нельзя было ожидать реформы морали, которой он так страстно желал. Флоренция хорошо знала, что Сикст замыслил убить Медичи перед алтарем в момент вознесения Воинства. Отлученный от церкви за правосудие после провала этого папистского заговора, город долгое время находился в состоянии войны с понтификом. Если где-нибудь и находили призрачное утешение и совет более трезвомыслящие граждане, то только в кельях философов, в том убежище, где Фичино зажигал лампаду Платону, в том зале, где Академия увенчивала бюст своего учителя лаврами. Но от этой философии пылкая душа Савонаролы отвернулась с не меньшим отвращением и с большим презрением, чем от карнашьялески и аристофанических представлений Лоренцо, которые заставляли Флоренцию во время Карнавала влиять на афинскую моду времен Дионисия. Это правда, что Италия многим обязана возвышенному теизму, развитому учениками Платона. В то время как гуманисты превозносили языческую распущенность, а Церковь проповедовала худшие виды безнравственности, философы поддерживали в культурных умах чувство Бога.

Но монах, воспитанный на Библии и Святом Фоме, ценил это смешение духов и вероучений в хаосе неразборчивой эрудиции за небольшую цену. У него хватило смелости в пятнадцатом веке во Флоренции заявить, что философы были в аду и что пожилая женщина знала о спасительной вере больше, чем Платон. Савонароле и Лоренцо противостояли как поборникам двух враждебных принципов, одинаково проистекающих из самой жизни эпохи Возрождения: в одном возрождалось язычество, в другом — дух Евангелия. И то, и другое было по существу современным; ибо функцией Возрождения было вернуть душе человека ее двойное наследие классического прошлого и христианскую свободу, освободив ее от оков, выкованных средневековьем. Однако Лоренцо и Савонароле еще не было суждено столкнуться. Безвестный монах в это время проповедовал перед аудиторией примерно в тридцать человек в Сан-Лоренцо, в то время как Полициано и все светское общество города толпились на проповедях фра Мариано да Дженеццано в Санто-Спирито. Этот человек льстил вкусу момента, сочиняя речи по образцу обращений Фичино к Академии и восхваляя христианство за его сходство с платонизмом. Кто бы мог тогда догадаться, что под капюшоном доминиканца с резким голосом, его соперника, горели мысли, которые через несколько лет разожгут во Флоренции пожар, достаточно мощный, чтобы разрушить устои деспотизма Медичи?

Из Флоренции, где он не добился успеха, Савонаролу отправили в Сан-Джеминьяно, маленький городок на вершине высокого холма между Флоренцией и Сиеной. Сейчас мы посещаем Сан-Джеминьяно, чтобы изучить несколько выцветших фресок Гоццоли и Гирландайо, или же ради его странных феодальных башен, высоких колонн из коричневого камня, сгрудившихся в узком

кольце городских стен. Весенним утром, когда из рощиц на склонах внизу доносятся пение соловьев и аромат цветов акации, открывается очень красивый вид с этих крепостных валов. Серый тосканский пейзаж на десятки и десятки миль вокруг сливается с голубизной, подобной голубизне неба, испещренного тут и там блуждающими тенями облаков. Пусть те, кто прогуливается по заросшим травой улицам притихшего города, помнят, что именно здесь в душе Савонаролы зажглась первая вспышка подлинного гения. Здесь он впервые пророчествовал: "Церковь будет бичевана, затем возродится, и это быстро". Таковы знаменитые три вывода, три пункта, которых придерживался Савонарола во всех своих пророческих высказываниях.

Но он еще не полностью вошел в свое призвание. Его голос был слаб, его стиль неуверен; его душа, как мы можем полагать, все еще колебалась между странным страхом и ужасающей радостью, когда он увидел, как сквозь множество клубящихся туманов сомнений на него нисходит мантия пророков. Он уже оставил схоластов ради Библии. Он уже выучил наизусть каждый стих Ветхого и Нового Заветов. Размышляя над их текстами, он обнаружил четыре отдельных толкования для каждого предложения Священного Писания. Для некоторых содержательных высказываний пророков он нашел сотни, изобилующих метафорами и иллюстрациями в диком и ослепительном изобилии дерзких, грубых образов. Пламя, которое начало тлеть в нем в Сан-Джеминиано, вспыхнуло ярким пламенем в Брешии в 1486 году. Сейчас Савонароле было тридцать четыре года. "На полпути к жизненному пути" он открыл Книгу Откровения: он представил жителям Брешии двадцати четырех старейшин, поднимающихся, чтобы осудить грехи Италии и объявить о бедствиях, которые должны последовать. Он представил им их город, залитый кровью. Его голос, который теперь стал выразителем его души, своим звучанием, серьезностью и пронзительной пронзительностью повергал слушателей в странный ужас. Они уже поверили его пророчеству; и двадцать шесть лет спустя, когда солдаты Гастона де Фуа вырезали шесть тысяч душ на улицах Брешии, ее жители вспомнили апокалиптические предупреждения доминиканского монаха.

Поскольку Савонарола сейчас приступает к своему пророческому призванию, сейчас самый подходящий момент описать его внешность и стиль проповеди. У нас есть богатый материал, позволяющий судить о том, какими были его черты и как они вспыхивали под бурей вдохновения.^[1] Фра Бартоломмео, один из его последователей, нарисовал его профиль в образе Святого Петра Мученика. Это показывает всю доброту и изящество выражения, которые могли принять его суровые черты лица. Это картина милой и нежной натуры, скрытой в пламенном обвинителе своего народа перед судом Божьим. На современных медалях лицо под тяжелым капюшоном кажется жестким, пронизательным, бескомпромиссным. Но самый благородный портрет - это глубокая гравюра Джованни делла Корниоле, которую сейчас можно увидеть в музее Уффици во Флоренции. Об этой работе Микеланджело, сам ученик Савонаролы, сказал, что искусство не может идти дальше. Поэтому мы вправе предположить, что гравер не только точно передал очертания лица Савонаролы, но и указал на его особенное выражение. Толстый капюшон полностью закрывает голову и плечи. Под ним прослеживается изгиб длинного и несколько плоского черепа, необычайно округлого у основания и по бокам. Из глубоко запавшей глазницы проступает, едва различимый, но сильно ощущаемый, глаз, сверкнувший молнией. Нос сильный, выступающий, с орлиной горбинкой, с широкими ноздрями, способными ужасно расширяться под воздействием сильных эмоций. Рот с полными, сжатыми, выступающими губами. Оно большое, словно созданное для потока красноречия: оно снабжено массивными мускулами, как будто для того, чтобы двигаться с

энергией, рассчитанной силой и произносить слова. Челюстная кость твердая и тяжелая; выступающая скула: между ними плоть впалая, не столько изнуренная монашескими бдениями, сколько атлетическими упражнениями в борьбе в муках пророчества. Лицо, в целом, уродливое, но не отталкивающее; и, несмотря на свою большую силу, оно демонстрирует признаки женской чувствительности. Подобно лицам Цицерона и Демосфена, это кажется подходящей машиной для ораторского искусства. Но печи, спрятанные за этим черепом, под этим капюшоном, сделали его изможденным от огня, которого нет в более спокойных чертах классических ораторов. Савонарола был провидцем и монахом. Монастырская дисциплина оставила на нем свой след. Крылья мечты развеяли и иссушили эту щеку, пролетая над ней. Дух молитвы трепещет на этих нетерпеливых устах. Цвет тела Савонаролы был коричневым: его нервы были чрезвычайно чувствительными, но в то же время сильными; подобно сети из кованой стали, эластичные, легко перенапрягаемые, они восстанавливали свой тонус и самообладание не столько благодаря отдыху, сколько благодаря выделению свежего электричества. У Савонаролы посты сменялись трансам, а трансы - бурями неистовой импровизации. Находясь в состоянии такой глубокой слабости, что он едва мог взобраться по ступеням кафедры, он внезапно обретал полноту власти, наполняя Флорентийский купол обличениями, поддерживая свою речь не простым риторическим приемом, который изливается на уста поверхностных проповедников, но выстраивая фалангу яростных аргументов и острых иллюстраций, изливая свою мысль столбами непрерывного пламени, смешивая фигуры высочайшей образности со строжайшей точностью рассуждений, в одно время растопляя слезы аудитории, в другое замораживая их ужасом, снова ускоряя души наполнялись молитвами, мольбами и благословениями, которые несли в себе сладость самого духа Христова. Его проповеди начинались со схоластического изложения; по мере их продвижения проповедника охватывал экстаз вдохновения, пока симпатии всего народа Флоренции не собрались вокруг него, [2] встретились и достигли, так сказать, единого сознания в нем. Тогда он больше не сдерживал порыв своего ораторского искусства, но стал рупором Бога, толкователем для самих себя всего этого воинства. В пламенном крещендо, никогда не ослабевая, никогда не теряя твердости понимания или ясности видения, он взошел по ступеням алтаря пророчества и, стоя подобно Моисею на горе между громами Божьими и кущами равнины, разражался период за периодом страстным красноречием. Стены церкви эхом отдавались от рыданий и причитаний, в которых доминировал один звонкий голос. Писец, которому мы обязаны фрагментами этих проповедей, иногда прерывает их словами: "Здесь меня так захлестнули слезы, что я не мог продолжать". Пико делла Мирандола рассказывает нам, что один звук голоса Савонаролы, нарушивший тишину Дуомо, заполненного людьми по всему его пространству, был подобен удару судьбы: холодная дрожь пробежала по его костям до мозга костей, волосы на голове встали дыбом, когда он слушал. Другой свидетель сообщает: "Эти проповеди вызвали такой ужас, тревогу, рыдания и слезы, что все проходили по улицам молча, скорее мертвые, чем живые".

[1] Гравюры с несколькими портретами можно увидеть в книге Харфорда *"Жизнь Микеланджело Буонарроти"* (Longmans, 1857, том i.), а также в Villari.

[2] Nardi, in his *Istorie di Firenze* (lib. ii. cap. 16), describes the crowd assembled in the Duomo to hear Savonarola preach: 'Per la moltitudine degli uditori non essendo quasi bastante la chiesa cattedrale di santa Maria del Fiore, ancora che molto grande e capace sia, fu necessario edificar dentro lungo i pareti di quella, dirempetto al pergamo, certi gradi di legname rilevati con ordine di sederi, a guisa di

teatro, e così dalla parte di sopra all' entrata del coro e dalla parte di sotto in verso le porte della detta chiesa.'

Таков был проповедник, и таков был эффект его ораторского искусства. Тема, на которой он любил останавливаться, была следующей. Покайтесь! Суд Божий близок. Меч занесен над вами. Италия обречена за свое беззаконие — за грехи Церкви, чьи прелюбодеяния наполнили мир — за грехи тиранов, которые поощряют преступления и попирают души — за грехи вас, людей, вас, отцов и матерей, вас, юношей, вас, дев, вас, детей, которые шепелявят богохульства! Савонарола также не ограничивался общими фразами. Он описывал простым языком каждый порок; он обнажал каждое злоупотребление; так что душам его слушателей было поднесено зеркало, в котором они видели свои самые тайные пороки, ужасающе изображенные и окруженные огнем. Он подробно остановился на деталях грядущих бед. Одну за другой он перечислял кровопролитие, разорение городов, разорение провинций, прохождение армий, опустошительные войны, которые вот-вот обрушатся на Италию.^[1] Вы можете прочитать страницы его проповедей, которые кажутся яркими рассказами о том, что впоследствии произошло при разграблении Прато, при штурме Брешии, в битве при Ронко, в резне в пещерах Виченцы. Неудивительно, что он привлек внимание своей аудитории к их центру. Ад внутри них был раскрыт. Грядущий рок над ними стал явным. Иезекииль и Иеремия не были более пророческими. Иоанн, взывающий к поколению гадюк: "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное!" - не был более весомым с миссией подлинного вдохновения.

^[1] Взгляд Савонаролы на ситуацию и опасности Италии в целом был взглядом пророка. Он яснее других людей видел, что было неизбежно. Но его ученики и простонародье безоговорочно верили в его пророческий дар в более узком смысле, то есть в его способность предсказывать события, такие как смерть Лоренцо и короля Неаполя, наказание Карла VIII, гибель дофина и т.д. Пико говорит: "Савонарола мог читать будущее так же ясно, как человек видит, что целое больше части". И нет никаких сомнений в том, что со временем Савонарола сам пришел к убеждению, что обладает этой способностью. После суда над ним и казни очень неприятное чувство сомнения оставалось в умах тех, кто был свидетелями его жизненной драмы. К этой теме Гвиччардини, *Рассказ. Fior., Op. Изд.* том iii. стр. 179; Нарди, *Стор. Fior. lib. ii. caps. 16 и 36*, могут быть прочитаны с пользой.

"Я начал, — пишет сам Савонарола, ссылаясь на курс проповедей, произнесенных в 1491 году, — я начал публично излагать Откровение в нашей Церкви Святого Марка. В течение года я продолжал развивать среди флорентийцев эти три положения: что Церковь будет обновлена в наше время; что перед этим обновлением Бог поразит всю Италию страшным наказанием; что все это произойдет вскоре." Именно по праву предвидения новой эпохи, содержащегося в этих трех знаменитых так называемых выводах, Савонарола заслуживает звания Пророка Возрождения. Он не был апостолом реформы: ему не приходило в голову перестраивать символ веры, оспаривать дисциплину или критиковать авторитет Церкви. Он не был основателем нового ордена: в отличие от своих предшественников Доминика и Франциска, он никогда не пытался организовать общество святых или проповедников; в отличие от своих преемников, театинца Караффы и иезуита Лойолы, он не набирал ополчение для защиты веры, не создавал никаких механизмов образования. Начав с простого ужаса перед порочностью мира, он обратился к старым пророкам. Он углубился в изучение Библии. Он выучил язык Малахии и Иеремии. Он пришел к убеждению, что за порочность Италии неминуем суд. Исходя из этого

вывода, он поднялся на крыльях веры к вере в то, что наступит новая эпоха. Оригинальность его интуиции заключалась в том, что, пока Италия спала и никто не трепетал за будущее, он один чувствовал, что тишина воздуха таит в себе раскаты грома, что его спокойствие подобно тому, которое предшествует буре, вырвавшейся из самых ноздрей Бога Саваофа.

К удивлению его слушателей, а возможно, и его самого, его пророчества начали сбываться сами собой. В течение трех лет после своей первой проповеди у Святого Марка Карл VIII. когда он вступил в Италию, Лоренцо Медичи был мертв, и политики не меньше, чем мистики, почувствовали, что в книге мировой истории открылась новая глава. Реформе Церкви также было суждено последовать. То, что предвидел Савонарола, произошло и здесь, но не так, как ему хотелось бы, и не теми средствами, которые он использовал бы. Одно дело быть пророком в смысле предвидения катастрофы, к которой неизбежно должны привести обстоятельства, и совсем другое - заранее проследить путь, по которому пройдут ураганы, меняющие облик мира. Оставаясь в душе монахом, привязанным образованием и естественной симпатией скорее к прошлому, чем к будущему, он вопреки себе почувствовал дух грядущей эпохи. Если бы он жил всего на столетие раньше, мы не назвали бы его пророком. Именно Эпоха Возрождения наложила печать истины на его высказывания. И все же в своем видении будущего мира он был подобен Валааму, слепо пророчествующему о звезде.

Сикст IV. умер, и ему наследовал Иннокентий VIII. Иннокентий уступил место Александру. Была достигнута самая низина бездны. Тогда Савонарола увидел видение и услышал голос: *Ecce gladius Domini super terram cito et velociter*. Меч повернулся к земле; воздух потемнел от огненного дождя со снегом и стрел; прогремели раскаты грома; мир наполнился эпидемиями, войнами, голодом. В другой раз он мечтал и смотрел в сторону Рима. Из Вечного Города поднимался черный крест, достигавший небес, и на нем было начертано *Crux iræ Dei*. Тогда небо тоже смутилось; облака пронеслись по воздуху, разряжая дротики, огонь и мечи, и внизу умирали множество людей. Эти видения он опубликовал в проповедях и в печати. По ним были сделаны фотографии. Они вместе с тремя заключениями отправились за границу через Италию. Чарльз снова готовился к своей экспедиции. Савонарола выбрал Ноев Ковчег в качестве своей темы. Приближался всемирный потоп; Он повелел своим слушателям сесть на корабль-убежище, прежде чем прибудет ужасный и могущественный народ: "О Италия! О Рим! Я отдаю вас в руки народа, который сотрет вас с лица земли! Я вижу, как они спускаются, подобно льявам. Эпидемия идет рука об руку с войной. Смертей будет так много, что похоронщики пройдут по улицам, выкрикивая: "Кто умер, кто умер?" и один приведет своего отца, а другой - своего сына. О Рим! Я снова взываю к тебе, чтобы ты покалась, покайся, Венеция! Милан, покайся!" "Пророки сто лет назад провозгласили тебе бичевание Церкви. Пять лет Я возвещал это, и теперь я снова взываю к вам. Господь полон гнева. Ангелы на коленях взывают к Нему: Бей, бей! Добрые рыдают и стенают: Мы больше не можем. Сироты, вдовы говорят: Нас пожирают, мы не можем продолжать жить. Вся торжествующая Церковь воззвала ко Христу: Ты погиб напрасно. Это небеса сражаются. Святые Италии, ангелы, объединились с варварами. Те, кто позвал их, уже надели седла на лошадей. Италия в смятении, говорит Господь; на этот раз она будет вашей. И Господь возвышается над своими святыми, над благословенными, которые маршируют в боевом порядке, которые выстроены в эскадроны. Куда они направляются? Святой Петр направляется в Рим, крича: В Рим, в Рим! а Святой Павел и Святой Григорий маршируют, крича: В Рим! А за ними идут меч, мор, голод. Святой Иоанн кричит: Вверх, вверх, во Флоренцию! И чума следует за ним. Святой Антоний кричит: "Эй, Ломбардия!" Святой Марк

кричит: "Поспешим мы в город, который стоит на водах!" И все ангелы небесные с мечом в руке и вся небесная консистория, маршируйте на эту войну".

Затем он говорит о своей собственной судьбе: "Каким будет конец нашей войны, спросите вы? Если это общий вопрос, я отвечу Победой! Если вы спросите об этом конкретно меня, я отвечу: Смерть или быть разрубленным на куски. Это наша вера, это наш гердон, это наша награда! Большого мы и не просим. Но когда вы увидите меня мертвым, не беспокойтесь. Все те, кто пророчествовал, пострадали и были убиты. Чтобы мое слово восторжествовало, нужна кровь многих".

Это пророчества, с помощью которых Савонарола предвосхитил приход иностранного завоевателя. Интересно проследить в его апострофах двойственное чувство пророка. Желание пришествия Карла как Мессии, освободителя и очистителя Церкви борется с инстинктивным ужасом перед варваром. Савонарола, как Данте, как все итальянские патриоты, за исключением Макиавелли, который слишком поздно научился на горьком опыте не доверять иностранным принцам, не мог удержаться от надежды, даже вопреки всякой надежде, что добро может прийти из-за Альп. И все же, когда появились иностранцы, он содрогнулся от насилия, которое они учинили над древними свободами Италии. Главный недостаток Савонаролы как патриота состоял в том, что он усилил старую глупость флорентийцев - полагаться на чужаков.[1] Если бы он научил итальянцев вырабатывать свое самовосстановление изнутри, вместо того чтобы готовить их к принятию чужеземного ига, он завоевал бы гораздо более продолжительную славу. Как бы то ни было, вместе со страстью к свободе, которая стала религией его последователей, он стремился возродить устаревшую тактику более ранней эпохи и завещал Флоренции слабую политику выжидания в отношении Франции. Это наследие принесло горькие плоды в следующем столетии. Если память о монахе побудила жителей Флоренции выдержать осаду 1528 года, то та же память заставила их обратиться за помощью к непоследовательному Франциску и надеяться, что в последний момент когорта серафимов защитит их стены.[2]

[1] Сегни, *Ист. Fior. в lib. i.*, стр. 23, приводится высказывание Савонаролы "Джилли с джилли в дувре" как одна из причин упрямого французского пристрастия флорентийцев в 1529 году.

[2] Посмотрите на Варчи, Сегни и Нарди, которые согласны с этими пунктами.

В том, что Савонарола верил в свои собственные пророчества, нет никаких сомнений. На самом деле, как я уже пытался показать, это был взгляд на политическое и моральное положение Италии, выраженный с силой глубокого религиозного убеждения и основанный на теории божественного правления миром. Но теперь вопрос в том, насколько он позволил себе руководствоваться видениями и словами, обращенными к его душе в транс, - это несколько иной. Именно в этот момент человек, обладающий острой проницательностью и доверяющий истинности своих инстинктов, может поддаваться искушению под влиянием сильного религиозного возбуждения перейти границу, отделяющую здоровую интуицию от галлюцинации. Если изучение Савонаролой еврейских пророков склонило его к вере в сны и откровения, то, с другой стороны, сильная логика его интеллекта, воспитанного на схоластических различениях, научила его не доверять побуждениям силы, которая говорила с ним, когда он был несколько больше или меньше своего прозаического "я". Как он мог быть уверен, что дух исходит от Бога? Мы точно знаем, что он боролся с импульсом предсказания и временами отказывался повиноваться ему. Но это пересилило его. Подобно Кассандре Эсхила,

он задыхался в объятиях того, кто был сильнее его. "Внутренний огонь, - воскликнул он, - пожирает мои кости и заставляет меня говорить" И еще: "Я, о Господь, сжег свои крылья созерцания и бросился в бурное море, где встретил встречные ветры со всех сторон. Я хотел добраться до гавани, но не мог найти дороги туда; я хотел лечь, но не мог найти места для отдыха. Я жаждал молчать и не произносить ни слова. Но слово Господне пребывает в моем сердце; и если оно не выйдет наружу, оно должно поглотить мозг моих костей. Итак, о Господь, если на то будет Твоя воля, чтобы я плыл в глубоких водах, да будет воля Твоя".

В другом месте он говорит: "Я хорошо помню, что однажды, в 1491 году, когда я проповедовал в Кафедральном соборе, я полностью посвятил свою проповедь этим видениям и решил воздерживаться от любых упоминаний о них и в будущем придерживаться этого решения. Бог мне свидетель, что всю субботу и всю последующую ночь я лежал без сна и не мог видеть никакого другого пути, никакой другой доктрины. На рассвете, измученный и подавленный многими часами, проведенными без сна, во время молитвы я услышал голос, который сказал мне: "Какой бы ты ни был глупец, разве ты не видишь, что Божья воля в том, чтобы ты придерживался того же пути?" Следствием чего стало то, что в тот же день я произнес потрясающую проповедь".

Эти отрывки не оставляют сомнений в искренности Савонаролы. Если он обманывал других, то сам был обманут первым, и это тоже произошло не раньше, чем он подвергся самому тщательному допросу, тщетно пытаясь спастись от силы, которая заставляла его играть роль пророка. Поистине ужасны, должно быть, были борьба и вопросы этого сильного интеллекта, одинокого и неуверенного в себе, в сетях экстаза.

Возвращаясь к деталям биографии Савонаролы, мы находим его все еще в Ломбардии в 1486 году. Покинув Брешию, он переехал в Реджо, где подружился со знаменитым Джованни Пико делла Мирандола. Они оставались близки до самой смерти последнего в 1494 году; именно его племянник, Джованни Франческо Пико делла Мирандола, впоследствии написал "Жизнь Савонаролы". Из Реджо монах отправился в Геную; и к этому времени его слава пророка на севере Ломбардии прочно утвердилась. Теперь наступил поворотный момент в его жизни. Тысяча четырест девяностый год - дата, которая определила его публичную деятельность в качестве человека, обладающего властью в Италии. Лоренцо Медичи, как ни странно, был инструментом его отзыва в этом году во Флоренцию. Лоренцо, который, если бы он мог предвидеть будущее своей собственной семьи во Флоренции, предпочел бы заглушить голос этого монаха своим капюшоном, приложил все усилия, чтобы послать за ним и привести его в монастырь Святого Марка, на который его отец расточил столько богатства. Он надеялся придать блеск своей столице проповедью самого красноречивого монаха в Италии. Каким бы проникательным он ни был, он не мог разглядеть пламя свободы, горевшее в душе Савонаролы. Савонарола, лидер демократической партии, был такой же неисчислимой силой в политике, как и герой Ферруччи. 1 августа 1490 года монах взошел на кафедру Святого Марка и произнес потрясающую проповедь на тему отрывка из Апокалипсиса. Сообщается, что накануне этого начала он сказал: "Завтра я начну проповедовать, и я буду проповедовать в течение восьми лет". Флорентийцы были очень тронуты. Савонароле пришлось переехать из церкви Святого Марка в Кафедральный собор; и так началась духовная диктатура, которую он осуществлял с тех пор без перерыва до своей смерти.

Вскоре Лоренцо начал испытывать неприязнь к влиянию этого бескомпромиссного монаха, который, не довольствуясь нравоучениями, уверенно предсказывал приход иностранного завоевателя, падение Великолепного, опасность папы римского и разорение неаполитанского короля. Однако подавить проповедника было уже нелегко. В самом начале своей флорентийской карьеры Савонарола проявил себя не только как великий администратор, но и как оратор. Монастырь Сан-Марко, в котором доминировал его личный авторитет, назначил его настоятелем в 1491 году, и он уже проводил тщательную реформу всех доминиканских монастырей Тосканы. Для избранных приоров Сан-Марко было обычным делом нанести почетный визит Медичи, своим покровителям. Савонарола, считая это мирским и неприличным обычаем, пренебрег им. Сообщается, что Лоренцо, заметив невежливость, сказал с улыбкой: "Смотрите теперь! вот незнакомец, который вошел в *мой дом* не соизволил навестить меня". Он забыл, что Савонарола смотрел на свой монастырь как на дом Божий. В то же время принц делал попытки проявить доброжелательность к приору, часто посещал его службы и бросал золото в копилку для подаяний святого Марка. Савонарола не обратил на него внимания и раздал его флорины городской бедноте. Тогда Лоренцо настроил против него фра Мариано да Дженеццано, старого соперника Савонаролы; но искусный ритор уже не мог сравниться со взрослым спортсменом вдохновенного красноречия. Да Дженеццано был вынужден покинуть Флоренцию в гневном замешательстве. С такой негибимой надменностью Савонарола уже осмеливался бросать вызов сильному миру сего. Он распознал в Лоренцо угнетателя свободы, разрушителя морали, противника истинной религии. Он ненавидел его как тирана. Он не протянул бы ему ни правой руки дружбы, ни вежливого приветствия. Впоследствии в том же духе он осудил Александра, презрел его отлучение от церкви и составил заговор с королями христианского мира о созыве Собора. Лоренцо, однако, был человеком с высочайшим пониманием характера и знал, как ценить своего противника. Поэтому, когда настал час смерти и когда он, истинное дитя Возрождения, почувствовал потребность в таинствах и отпущении грехов, он послал за Савонаролой, сказав, что тот был единственным честным монахом, которого он знал. Великодушие Медичи могло сравниться только с твердостью монаха. Стоя у постели умирающего, признавшегося в своих грехах, Савонарола сказал: "От вас требуются три вещи: иметь полную и живую веру в Божье милосердие; восстановить то, что вы несправедливо приобрели; вернуть свободу Флоренции". Лоренцо с готовностью согласился на два первых требования. На третьем он молча отвернулся к стене. Должно быть, он действительно чувствовал, что требовать и обещать это было легче, чем привести в исполнение. Савонарола оставил его без отпущения грехов. Лоренцо умер.^[1]

^[1] Просто отметим, что приведенные выше факты, касающиеся смерти Лоренцо, вызывают большие сомнения. Полициано, который был с Лоренцо во время его последней болезни, не упоминает о них в своем письме Якобусу Антиквару (хв. Кал. Июнь 1492 г.). Но Бурлмакки, Пико, Барсанти, Раззи и другие члены Братства согласны с этой историей. Полициано написал, что Савонарола исповедал Лоренцо и удалился, не дав добровольно благословения. Рацци говорит, что беседа Савонаролы и Лоренцо проходила без свидетелей; Пико и Бурлмакки рассказывают о событии так, как они слышали о нем из уст Савонаролы. Поэтому мы должны сопоставлять показания Полициано, который не поддерживал никаких контактов с монахом, и правдивость нескольких рассказчиков, действительно настроенных враждебно по отношению к Медичи, но непосредственно общавшихся с единственным человеком, который мог рассказать точную правду о том, что произошло, — духовником Савонаролой, который был наедине с

Лоренцо Виллари, проанализировав доказательства, приходит к выводу, что мы можем верить Бурламакки. Барон Ремон в своей недавней *"Жизни Лоренцо"*, том ii, стр. 590, приводит несколько веских причин для осторожного принятия этого вывода, а Джино Каппони выражает явное недоверие повествованию Бурламакки.

Третий пункт, на котором настаивал монах, - восстановление свободы Флоренции - не только нарушил покой умирающего принца, но и впоследствии навсегда определил поведение Савонаролы. С этого времени его жизнь стала жизнью государственного деятеля в не меньшей степени, чем проповедника. То, от чего отказался Лоренцо или чего он действительно был не в состоянии выполнить на смертном одре, монах решил добиться. Отныне он стал поборником народной свободы с кафедры. Чувствуя, что только в народе кроется надежда на возрождение Италии, он сделал делом всей своей жизни придание силы религии республиканской свободе. Эту работу он скрепил мученической смертью. Дух вероучения, который он завещал своим сторонникам во Флоренции, был не только благочестивым, но и политическим. Прав ли был Савонарола, вступив в опасное море государственного управления, сейчас не подлежит сомнению. Какой пророк Израиля от Самуила до Исайи не был создателем и разрушителем королей и конституций? Когда мы называем его их титулом, мы хотим сказать, что он, как и они, с помощью духовной силы управлял судьбами своего народа. Хотел он того или нет, но эта роль политика была навязана ему ходом событий: история итальянских городов также не была лишена прецедентов, когда подобные функции брали на себя монахи-проповедники.^[1]

^[1] Достаточно сослаться на Арнольда Брешианского в Риме, на фра Буссолари в Павии, а также на Иоанна Виченцкого. Раздел Приложение iv.

Лоренцо сменил некомпетентный Пьеро Медичи, который сдал крепости Тосканы французской армии. Пока Савонарола пророчествовал о мече, биче, потопе, Карл VIII, во главе своего рыцарства въехал во Флоренцию. В городе не было лидера, он не привык к свободе. Кто, кроме монаха, предсказавшего вторжение, должен теперь пытаться контролировать его? Кто, как не он, чей единственный голос имел силу собирать флорентийцев и влиять на них, должен был теперь руководить ими? Его административные способности в узкой сфере были доказаны его реформой доминиканских монастырей. Его божественная миссия была подтверждена прибытием французов. Господь возвысил его не только говорить, но и действовать. Он чувствовал это; люди чувствовали это. Он был не из тех, кто отказывается от ответственности.

В 1493 и 1494 годах, когда Флоренция вместе с Италией находилась в неминуемой опасности, голос Савонаролы не переставал звучать. Его проповеди о псалме "Quam bonus" и о Ноевом ковчеге являются одними из самых грандиозных триумфов его красноречия. Со своей кафедры под мрачным куполом Брунеллески он продолжал изливать слова силы, чтобы возродить свободный дух своих флорентийцев. В 1495 году, когда Медичи были изгнаны и французская армия направилась к Неаполю, Савонарола был призван восстановить государство. Он призвал народ отказаться от своей старой системы парламента и Бальи и учредить Большой совет по венецианскому образцу.^[1] Этот институт, который казался флорентийцам лучшим из когда-либо принятых ими, историк мог бы рассматривать лишь как один из их многочисленных экспериментов по созданию конституции, если бы Савонарола не запечатлел его со своим особым гением, объявив, что Христос должен считаться главой государства.^[2] Этот шаг сразу придал правительству теократический уклон, который определял все действия администрации монаха. Не довольствуясь политической организацией, слишком нетерпеливый, чтобы ждать

роста хороших манер от надежных институтов, он приступил к моральной и религиозной реформе. Следовало отказаться от помпезности, тщеславия и пороков. Женщины и юноши немедленно сбросили свои шелка и изысканные наряды. Карнавальные песни смолкли. Гимны и процессии сменились непристойными припевами и языческими триумфами. Законы были переработаны в том же суровом и резком духе. Ростовщичество было отменено. Что бы ни предписывал Савонарола, Флоренция исполняла. Благодаря волшебству его влияния город на мгновение приобрел новый облик. Казалось, что старая строгость, которую восхваляли Данте и Виллани, вот-вот вернется, но без раздирающей ненависти и гордыни, которые погубили средневековую Тоскану. Во всем, что делал Савонарола в эту эпоху, странным образом сочетались политическая проницательность и монашеское рвение. Ни Гвиччардини, ни Макиавелли, писавшие годы спустя, когда Савонарола пал и Флоренция снова была порабощена, не могли предложить ничего более мудрого, чем его Consiglio Grande. И все же яростный ревизиализм, проповедуемый монахом, — сжигание картин Лоренцо ди Креди и фра Бартоломмео, рукописей Боккаччо и поэтов—классиков, а также всех тех нарядов, которые, как говорят, венецианский еврей оценивал в 22 000 флоринов, — декламация таких вакхических песен, как эта, -

Никогда не было такой сладостной радости,
Радости в такой чистой и сильной манере,
как с усердием, любовью и страстью
Так принять святое безумие Христа!
Плачь со мной, плачь так, как я сейчас плачу,
Безумие, безумие, святое безумие!

шествие мальчиков и девочек по улицам, побуждающее старших к лицемерному благочестию и взращивающее в их собственных сердцах невыносимую педантичность преждевременного пиетизма, — не могло принести превосходных и прочных плодов. Перемена была слишком резкой. Характер расы не был к ней подготовлен. Она слишком грубо столкнулась с культурой эпохи Возрождения. Это возмущало чувство приличия у более умеренных граждан и приводило в мстительную ярость худшие страсти потакающих своим желаниям людей мирских. Реакция была неизбежна.[3]

[1] Это изменение, безусловно, было произведено под влиянием монаха и одобрено им. Сеньи, lib. i. стр. 15, ясно говорит по этому поводу и говорит, что монах за это служение городу "debbe esser messo tra buoni datori di leggi, e debbe essere amato e onorato da ' Fiorentini non altrimenti che Numa dai Romani e Solone dagli Ateniesi e Licurgo da' Lacedemoni". Зло старой системы заключалось в том, что парламент, состоявший из граждан, собравшихся на площади, подвергался запугиванию и был вынужден покинуть ее. никакой надлежащей инициативы, в то время как Баля, или избранный орган, которому они затем доверяли полномочные полномочия, на данный момент всегда была самой влиятельной фракцией. О порядке работы парламента и Бальи см. Сеньи, стр. 199; Нарди, lib. vi. глава. 4; Варчи, том ii. стр. 372. Савонарола начертал эту октавную строфу на стене Большого совета:

'Se questo popolar consiglio e certo
Governo, popol, de la tua cittate
Conservi, che da Dio t'e stato offerto,

In pace starai sempre e libertate:
Tien dunque l'occhio della mente aperto,
Chè molte insidie ognor ti fien parate;
E sappi che chi vuol far parlamento
Vuol tòrti dalle mani il reggimento.'

[2] См. Varchi, том i, стр. 169. Никколо Каппони в 1527 году, вернувшись к политике Савонаролы, побудил флорентийцев избрать Христа своим королем и начертал на двери Палаццо Пабблико:

Y.H.S. CHRISTUS REX FLORENTINI
POPULI S.P. DECRETO ELECTUS.

[3] Позиция пуританских лидеров в Англии была чем-то похожа на позицию Савонаролы. Но в конце долгой войны большая часть нации была на их стороне. Кроме того, английский темперамент был более приспособлен к пуританству, чем итальянский, и проявления благочестия, предписываемые парламентом, не были столь экстравагантными. И все же даже в Англии при Реставрации произошла реакция.

Тем временем крепкое вино пророчества опьянило Савонаролу. Его вспыльчивый темперамент, до предела напряженный мертвым грузом давивших на него флорентийских дел, день ото дня становился все более раздражительным. Видение сменяло видение; транс следовал за трансом; приступы уныния внезапно трансформировались во вспышки великолепного и поддерживающего душу энтузиазма. Неудивительно, что, переходя, как он это сделал, от монастырской дисциплины к диктатуре республики, он совершал экстравагантные ошибки. Напряженность этой ненормальной ситуации в городе стала чрезмерной, и хладнокровные мыслители предсказывали, что позиция Савонаролы станет несостоятельной. Партии начали формироваться и собираться воедино. Последователи монаха, безусловно, самая многочисленная часть народа, получили имя Пьянони или Фратески. Друзей Медичи, поначалу немногочисленных и осторожных, звали Биги. Противники Савонаролы и Медичи, ненавидевшие его теократию, но желавшие видеть во Флоренции олигархию, а не тиранию, были известны как Арраббиасти.

Недовольство, зародившееся во Флоренции, проявилось и в Риме. Александру было невыносимо подвергаться нападкам как на антихриста со стороны монаха, провозгласившего себя хозяином главной итальянской республики. Сначала он использовал свое искусство обольщения и сладкие слова, чтобы заманить Савонаролу в Рим. Монах отказался покидать Флоренцию. Затем Александр отстранил его от проповеди. Савонарола подчинился, но в то же время написал Карлу VIII, осуждая его лень и призывая реформировать Церковь. По просьбе Флорентийской республики, которая все еще страдала от папского интердикта, он возобновил свою проповедь. Затем Александр попытался развратить человека, которого не смог запугать. На предложение предложить ему кардинальскую шапку Савонарола ответил, что предпочитает красную корону мученичества. Взойдя на кафедру Кафедрального собора в 1496 году, он произнес самую пламенную из всех своих великопостных проповедей. Об этой серии речей Мильман пишет: "Его триумфальная карьера началась с появления в 1494 году "Аггея и Псалмов". Но именно в Кареме 1496 года об Амосе и Захарии проповедник собирается с силами, когда он достиг своей полной власти и не мог не сознавать, что в сердцах враждебных

группировок во Флоренции зреет глубокий и опасный бунт, и когда из Рима уже начали доходить зловещие слухи. Тот, кто хочет познать силу, отвагу, ораторское искусство Савонаролы, должен изучить этот том".[1]

[1] Эти проповеди были напечатаны по заметкам, сделанным Лоренцо Виоли в одном томе в Венеции в 1534 году.

Поистине ужасающими являются обвинения, содержащиеся в этих выступлениях, — обвинения, которые без всякой маскировки были направлены против папы Римского и священников Рима, против Медичи, против самих флорентийцев, в которых начинали проявляться следы мятежа. К этим яростным инвективам, выдержанным в самом страстном стиле Савонаролы и усиленным его наиболее впечатляющими образами, примешиваются политические разглагольствования и полемические аргументы против папы Римского. Позиция, занятая монахом в его войне с Римом, не была прочной, и доводы, которыми он ее поддерживал, были отмечены любопытным самообманом, смешанным с очевидными попытками обмануть свою аудиторию. У него не было дерзкой оригинальности Лютера. Он никогда не бросал вызов Александру, сжигая его буллы и отрицая власть пап в целом. Не осмеливаясь разорвать всякую связь со Святым Престолом, он был вынужден придираться к различию между должностью и человеком, занимая опасную позицию послушания Церкви, главу которой он ежедневно оскорблял. В то же время он не прилагал никаких усилий к тому, чтобы привлечь на свою сторону в этой ссоре симпатии итальянских князей, многие из которых, по-видимому, были враждебны папе. Все тираны пришли, чтобы разделить его пророческое негодование. Лодовико Сфорца, сеньор Мирандолы, и Пьеро Медичи чувствовали себя особенно обиженными и продолжали убеждать Александра ликвидировать этот источник скандала для существующих правительств. Против столь великого и могущественного войска один человек не мог выстоять в одиночку. Положение Савонаролы во Флоренции с каждым днем становилось все опаснее. Торговцы, отлученные папой от церкви и, таким образом, подвергнутые грабежу на зарубежных рынках, роптали на монаха, который испортил их торговлю. Запрет на запрещение лежал на городе, где больше нельзя было совершать таинства или хоронить умерших по обрядам христиан. Тем временем банда резвых и распутных молодых людей по имени Компаньячи пользовалась любым случаем, чтобы оскорбить и прервать его. Наконец, в марте 1498 года его верные друзья, синьория, или высшая исполнительная власть Флоренции, отстранили его от проповеди в Кафедральном соборе. Даже население устало от затянувшейся ссоры со Святым Престолом; и никто, кроме его собственных фанатичных приверженцев, не мог хладнокровно предвидеть войны, угрожавшие государству.

Сам Савонарола чувствовал, что настал решающий час. Оставался еще один ресурс, которым он теперь воспользуется сам: впоследствии ему оставалось только умереть. Этим последним шагом был созыв генерального совета.[1] Соответственно, он направил письма всем европейским властителям. Одно из них, адресованное Карлу VIII, было отправлено, перехвачено и передано Александру. Он также написал папе римскому и предупредил его о своей цели. Примечательно окончание этого послания: "Таким образом, я больше не могу надеяться на вашу Святость, но должен обратиться только ко Христу, Который избирает слабых этого мира, чтобы посрамить сильных львов среди порочных поколений. Он поможет мне доказать и поддержать перед лицом мира святость дела, ради которого я так сильно страдаю; и Он наложит справедливое наказание на тех, кто преследует меня и будет препятствовать его

продвижению. Что касается меня, я не ищущу земной славы, но страстно желаю смерти. Пусть ваше Святейшество больше не медлит, а позаботится о своем спасении".

[1] Эта схема ни в коем случае не была совершенно непрактичной. Борджиа едва избежал низложения в 1495 году, подарив кардинальскую шапку епископу Сан-Мало. Его ненавидели не меньше, чем боялись по всей Италии. Но Савонарола упустил благоприятный момент.

Но когда Савонарола облачался в доспехи для единоборства с примасом христианского мира и князьями Италии, его постигла мученическая смерть, которой он теперь ожидал. С каждым годом становясь все более уверенным в своих видениях и все более готовым признать свои сверхъестественные способности, он незаметно подготовил яму, которая в конце концов поглотила его. Часто он заявлял о своей готовности доказать свое призвание огнем. И вот настал момент, когда на этот вызов испытанию был дан ответ. [1] Францисканец из Апулии предложил встретиться с ним в пламени и посмотреть, от Бога он или нет. Фра Доменико, преданный друг Савонаролы, принял вызов и предложил себя в качестве защитника. Печь была приготовлена: оба монаха стояли, готовые войти в нее; вся Флоренция собралась на Площади, чтобы стать свидетелями того, что должно было произойти. Однако возникли различные препятствия, и, прождав целый день триумфа монаха, люди были вынуждены разойтись по домам под проливным дождем, неудовлетворенные и с мрачным чувством, что, в конце концов, их пророк был всего лишь простым человеком. Компаниячи одержали верх. Монастырь Святого Марка был осажден. Савонаролу отвели в тюрьму, откуда он не выходил до дня казни с помощью веревки и хвороста. Мы можем приоткрыть завесу над теми последними неделями. О них действительно мало что известно, за исключением того, что в своей келье монах сочинил свои размышления над 31-м и 51-м псалмами, последний из которых был опубликован в Германии с предисловием Лютера в 1573 году. Об остальном мы слышим только о длительных пытках в присутствии тупых и злобных судей, о фальсифицированных доказательствах и противоречивых признаниях. Что он на самом деле сказал и предпочел остаться в стороне, от чего отказался, что выкрикнул в бреду на дыбе и что ему ложно вменяли, сейчас никто не может установить. [2] Хотя дух был силен, плоть была слаба; у него была воля, но не хватило смелости стать мучеником. В десять часов 23 мая 1498 года его вывели вместе с братом Сальвестро, доверенным лицом его видений, и братом Доменико, его защитником в деле об испытании, на сцену, подготовленную на площади. [3] Эти двое были повешены первыми. Савонарола держался до последнего. Когда палач затягивал веревку вокруг его шеи, голос из толпы прокричал: "Пророк, сейчас самое время совершить чудо!" Епископ Вазоны, руководивший казнью, сорвал с него монашеское одеяние и сказал: "Я отделяю тебя от Церкви воинствующей и торжествующей". Савонарола, твердый и воинственный даже на пороге смерти, ответил: "Воинствующий - да, торжествующий, нет: это не твое". Последними словами, которые он произнес, были: "Господь столько же пострадал за меня". Затем петля затянулась вокруг его шеи. Под ней разожгли огонь. Пламя не достигло его тела, пока в нем была жизнь; но те, кто пристально вглядывался, думали, что видят, как правая рука подает знак благословения. Впоследствии маленький ребенок увидел его сердце все еще целым среди пепла, брошенного в реку Арно; и почти по сей день каждое утро 23 мая на плиту площади, где упало его тело, возлагают цветы.

[1] Кажется, нет никаких сомнений в том, что это Испытание Огнем было в конце концов устроено Компаниячи с санкции синьории, которые стремились любым способом избавиться

себя от Савонаролы. Францисканцем, избранным войти в пламя вместе с фра Доменико, был некий Джулиано Рондинелли. Нарди называет его Андреа Рондинелли.

[2] Нарди, lib. ii. vol. i. p. 128, рассматривает весь вопрос о признаниях Савонаролы под пытками со здравым смыслом. He says: 'Avendo domandato il frate quello che diceva e affermava delle sue esamine fatte infino a quel di, rispose, che ciò ch' egli aveva ne' tempi passati detto e predetto era la pura verita, e che quello di che s'era ridetto e aveva ritratto, era tutto falso e era seguito per il dolor grande e per la paura che egli aveva de' tormenti, e che di nuovo si ridirebbe e ritratterebbe tante volte, quante ci fusse di nuovo tormentato, perciò che si conosceva molto debole e inconstante nel sopportare i supplicii.' Burchard, in his Diary, reports the childish, foul, malignant gossip current in Rome. Об этом можно прочитать в "Предисловиях и наблюдениях", приложенных к *Мемуарам* Де Комина, т. v., стр. 512. Смотрите "*Историю Флоренции*" маркиза Джино Каппони (том ii, стр. 248-51) для критического анализа показаний, ложно приписываемых Савонароле.

[3] В Пинакотеке Перуджи есть любопытная старинная картина, изображающая сожжение трех монахов. Показана вся площадь Синьории с домами пятнадцатого века и без статуй, которые впоследствии украсили ее. Зритель выходит на Палаццо, а крайняя справа от него Лоджия Ланци. Центр площади занят большой круглой кучей заготовок и хвороста, к которой от левого угла Поляццо ведет деревянный мост из строительных лесов. Из середины груды возвышается шест, к которому подвешены тела монахов в их белых одеждах. Собор Святой Марии дель Фьоре, башня Бадиа и далекие холмы над Фьезоле завершают картину, которая, без сомнения, точна в деталях.

Так умер Савонарола: и сразу же стал святым. Его проповеди и другие произведения были распространены повсеместно. В его честь были отчеканены медали. Рафаэль изобразил его среди Докторов Церкви в Camera della Segnatura Ватикана. Церковь со странной непоследовательностью предложила канонизировать человека, которого она сожгла, как непокорного еретика и растлителя народа. Эта канонизация так и не состоялась, но многие доминиканские церкви использовали специальную службу с его именем и в его честь.[1] Легенда, похожая на легенду о Святом Франциске своим богатством мифических деталей, запечатлела в памяти даже мельчайшие подробности его жизни. Но, прежде всего, он жил в сердцах флорентийцев. На долгие годы его имя было лозунгом их свободы; его пророчества поддерживали их дух во время осады 1528 года;[2] и только вернувшись к своей политике, Никколо Каппони и Франческо Кардуччи правили народом в те смутные времена. Политическая деятельность Савонаролы представляет собой лишь короткий эпизод в истории Флоренции. Его моральное возрождение принадлежит к истории народного энтузиазма. Его философские и теологические труды представляют интерес главным образом для изучающих постмедианскую схоластику. Его позиция монашеского лидера населения, пытающегося играть в старую игру, в соответствии с которой междоусобная война прошлой эпохи была приостановлена призывами к благочестию, а политики искали помощи за пределами страны, была анахронизмом. Но его пророчество, его понимание наступления новой эры для Церкви и для Италии является главным фактом в психологии Возрождения.

[1] *Служение Савонаролы*, с предисловием Чезаре Гуасти. Флоренция, 1863 год.

[2] Гвиччардини в своем "*Ricordt*", № i., ссылается на невероятное упорство флорентийцев в этот период в надежде вопреки всякой надежде и разуму на Савонаролу: "Вопрос причинно-

следственной связи в великой части федерации без будущего, второе предсказание будущего". Джеронирно да Феррара.

ГЛАВА X.

КАРЛ VIII.

Итальянские государства противостоят великим нациям Европы—Политика Людовика XI. Франции—Характер Карла VIII.—Подготовка к вторжению в Италию—Позиция Лодовико Сфорца—Дипломатические трудности в Италии после смерти Лоренцо Медичи—Слабость Республик—II Моро—1494 год—Альфонсо Неаполитанский—Неспособность союзников справиться с Францией—Карла в Лионе подстрекнули к вторжению в Италию Джулиано делла Ровере—Карла в Асти и Павии—Убийство Джан Галеаццо Сфорца—Недоверие к французской армии—Рапалло и Фивизцано—Вступление в Тоскану—Роль, сыгранную Пьеро Медичи—Карл в Пизе—Его вступление во Флоренцию—Пьеро Каппони—Поход на Рим—Вступление в Рим—Паника Александра VI.—Поход на Неаполь—Испанская династия: Альфонсо и Фердинанд—Альфонсо II. убегает на Сицилию—Фердинанд II. находит убежище на Искье—Карл в Неаполе—Лига против французов—Де Комин в Венеции—Карл отступает через Рим, Сиену, Пизу и Понтремоли—Битва при Форново—Карл достигает Асти и возвращается во Францию—Италия становится Призом, за который сражаются Франция, Испания и Германия—Важность экспедиции Карла VIII.

Одной из главных черт эпохи Возрождения было появление впервые на исторической сцене полноценных и колоссальных наций. Франции, Испании, Австрии и Англии предстоит сейчас померяться силами. Венеции, Флоренции, Милану, Неаполю и даже Риму суждено в открывающийся для Европы период играть лишь второстепенные роли. Италия, неспособная справиться с этими великими державами, станет просто ареной их соперничества, объектом их грабежей. Однако сами итальянцы были далеки от осознания этой перемены. Привыкшие за три столетия к системе дипломатии и интриг между своими собственными маленькими государствами, они все еще больше думали о балансе сил на полуострове, чем о средствах, которые следует использовать для отражения иностранной силы. Их мелочная зависть держала их разобщенными в эпоху, когда наилучший шанс на национальную свободу был в федерации. Прочно связанные вместе в одной лиге или подчиненные одному государю, итальянцы могли не только встретиться со своими врагами на равных, но даже занять передовое место среди современных наций.^[1] Вместо этого их принцы были достаточно глупы, чтобы думать, что они могут привести Францию, Германию или Испанию в движение для достижения эгоистичных целей в узкой сфере итальянской политики, забывая о диспропорции между этими огромными монархиями и таким единственным городом, как Флоренция, простой провинцией, такой как Милан. Для Лоренцо Медичи было вполне возможно обеспечить спокойствие в Италии, объединив Дома Сфорца и Арагона с Папским престолом в рамках той же заинтересованной политики, что и Флорентийское содружество. Со стороны Лодовико Сфорца было нелепо воображать, что он может вовлечь французов в игру полуостровных интриг, не нарушив безвозвратно ее искусственного равновесия. Первым признаком изменений, которые вот-вот произойдут в европейской истории, стало вторжение Карла VIII в Италию. Эта праздничная

прогулка безмозглого юноши была такой же скоротечной, как крупномасштабный пограничный набег. Так называемое завоевание было лишь менее внезапным, чем последующая потеря Италии французами. И все же торнадо, пронесшееся по полуострову с севера на юг и вернувшееся на свой путь с юга на север в течение нескольких месяцев, оставило неизгладимые следы в стране, которую оно пересекло, и изменило весь облик европейской политики.

[1] Прочтите, однако, убедительный аргумент Сисмонди против мнения, что Италии, объединенной как единая нация под властью суверена, было бы лучше, т. vii. стр. 298 и далее. Он придерживается мнения, что ее единственный шанс заключался в Конфедерации. Смотрите главу ii. выше, чтобы обсудить этот шанс.

Вторжение в Италию давно готовилось по советам Людовика XI. Потратив всю свою жизнь на укрепление французской монархии, он создал наследие дальнейшей империи для своих преемников, продиктовав старому королю Рене Анжуйскому (1474) и графу Мэна (1481) два завещания, по которым претензии Анжуйского дома на неаполитанскую корону передавались королевской семье Франции.[1] О смерти Людовика, Карла VIII. стал королем в 1483 году. Тогда ему было всего тринадцать лет, и им все еще управляла его старшая сестра Анна де Божеу.[2] Только в 1492 году он фактически взял бразды правления королевством в свои руки. Можно отметить, что этот год - одна из самых памятных дат в истории. В 1492 году Колумб открыл Америку: в 1492 году Родриго Борджиа стал папой римским; в 1492 году Испания стала государством благодаря завоеванию Гранады. Каждое из этих событий имело для Италии не менее плодотворные последствия, чем восшествие на престол Карла VIII. Открытие Америки, за которым еще через шесть лет последовало исследование Индийских морей Васко де Гамой, направило мировую торговлю по новым каналам; Александр VI сделал несомненными Реформацию и Северный раскол; консолидация Испании подготовила путь для автократии Карла V. Таким образом, коммерческий, духовный и политический скипетр за этот год выпал из рук итальянцев.

[1] Сисмонди, том vi. стр. 285. Приложение "Оправдательные материалы" к *Мемуарам* Филиппа де Комина содержит завещание короля Сицилии Рене, графа Прованса, от 22 июля 1474 года, которым он назначает своего племянника Карла Анжуйского, герцога Калабрийского, графа Мэна, своим главным наследником; а также завещание Карла Анжуйского, короля Сицилии, графа Прованса, от 10 декабря 1481 года, которым он назначает Людовика XI. его наследник назвал Карла дофином следующим по очереди.

[2] Ее муж был кадетом Дома Бурбонов.

И Филипп де Комин, и Гвиччардини описали внешность и характер принца, которому было суждено сыграть столь выдающуюся, многозначительную и в то же время столь незначительную роль в делах Европы. Провидение, по-видимому, часто соизволяет использовать для самых важных целей какие-нибудь панталоны или марионетку, окружая особым покровительством, молитвами и чаяниями целых народов простой манекен. Такой марионеткой был Чарльз. "С младенчества он был слабого телосложения и подвержен болезням. Он был невысокого роста, а лицо очень уродливое, если не считать достоинства и силы взгляда. Его конечности были настолько непропорциональны, что он походил не столько на человека, сколько на чудовище. Он не только не разбирался в свободных искусствах, но и едва знал грамоту. Хотя он и стремился править, на самом деле он был создан для чего угодно, только не для этого; ибо,

находясь в окружении иждивенцев, он не пользовался над ними никакой властью и не сохранял никакого подобия величия. Ненавидя бизнес и усталость, он проявлял в тех делах, за которые брался, недостаток осмотрительности и рассудительности. Его стремление к славе проистекало скорее из импульса, чем из разума. Его щедрость была невнимательной, неумеренной, неразборчивой в связях. Когда он проявлял непреклонность цели, это чаще было необоснованное упрямство, чем твердость, и то, что многие люди называли его добротой натуры, скорее заслуживало названия холодности и слабости духа". Это портрет Гвиччардини. Де Комин более краток: "Король был молод, выпорхнувший из гнезда; не был обеспечен ни деньгами, ни здравым смыслом; слаб, своенравен и окружен глупыми советниками".

Этих глупых советников, или, как называет их Гвиччардини, "людей низкого сословия, по большей части телохранителей короля", возглавляли Стефан де Веск, который был повышен с поста королевского камердинера до сенешаля де Бокера, и Уильям Брисонне, в прошлом купец, а ныне епископ Сан-Мало. У этих людей было все, чтобы выиграть от предприятия, которое польстило бы тщеславию их хозяина и привело бы его к еще более тесным отношениям с ними самими. Следовательно, когда граф Бельгийозо прибыл к французскому двору из Милана, убеждая короля настаивать на своих притязаниях на Неаполь и обещая ему свободный въезд в Италию через провинцию Ломбардия и Генуэзский порт, он нашел готовых слушателей. Анна де Божо напрасно возражала против этого плана. Великолепие и новизна предложения завоевать такое королевство, как Италия, воспламенили воображение Карла, алчность его придворных, честолюбие де Веска и Брисонне. Чтобы обеспечить свое положение дома, Карл заключил договоры с соседними великими державами. Он купил мир с Генрихом VII. Англии, заплатив большие суммы денег. Император Максимилиан, чье негодование он вызвал, отослав обратно свою дочь Маргариту после того, как нарушил свое обещание жениться на ней, и взяв в жены Анну Бретонскую, которая уже была помолвлена с австрийцем, должен был быть умиротворен уступкой провинций. Фердинанд Испанский получил в качестве платы за свой нейтралитет укрепленные пункты в Пиренеях, которые служили ключом к Франции с этой стороны. Обеспечив таким образом спокойствие у себя дома путем разорительных уступок, Карл был волен обратить свое внимание на Италию. Он начал с сосредоточения запасов и кораблей в южных портах Марселя и Генуи; затем в 1494 году он двинулся со своей армией вниз, к Лиону.

На данном этапе мы призваны рассмотреть дела Италии, которые побудили Сфорцу пригласить своего опасного союзника. Лоренцо Медичи при жизни поддерживал баланс сил между несколькими государствами посредством своих договоров с дворами Милана, Неаполя и Феррары. Когда он умер, Пьеро сразу же проявил признаки отхода от политики своего отца. Сын и муж Орсини,^[1] он воспринял феодальную гордость и традиционные пристрастия великого римского дома, который всегда был предан делу Неаполя. Подозрения Лодовико Сфорца не были необоснованными, поскольку он заметил, что тиран Флоренции склонялся к союзу с королем Фердинандом, а не к своей собственной дружбе. В то же самое время Альфонсо, герцог Калабрийский, наследник неаполитанского престола, настаивал на правах своего зятя Джан Галеаццо Сфорца, привлекая внимание Италии, громко жалуясь, что его дядя Лодовико не должен больше передавать ему бразды правления.^[2] Джан Галеаццо фактически был законным преемником Галеаццо Марии Сфорца, который был убит в Санто-Стефано в 1476 году. После этого убийства Мадонна Бона Савойская и Чекко Симонетта, которые управляли герцогством в качестве великого визиря в течение трех царствований, длившихся более полувека, управляли Миланом в качестве регентов при молодом герцоге. Но Лодовико, чувствуя себя достаточно могущественным, чтобы взять на себя тиранию, обезглавил Симонетту в Павии

в 1480 году и заставил мадонну Бона, мать герцога, под предлогом ее безнравственности отказаться от регентства. Таким образом, он взял дела Милана в свои руки, заключил своего племянника в почетную тюрьму и действовал таким образом, чтобы дать понять, что отныне он намерен фактически стать герцогом.[3] Нечистая совесть, неотделимая от этой узурпации, заставляла его не доверять принцам арагонского дома, чьи права на Изабеллу, жену молодого герцога, были им сведены к нулю. То же тревожное чувство несправедливости заставляло его с ужасом смотреть на дружбу Медичи с правящей семьей Неаполя.

[1] Его мать Клариса и его жена Альфонсина оба были Орсини. Guicciardini, in his 'Dialogo del Reggimento di Firenze' (*Op. Ined.* том ii, стр. 46), говорит о нем: "sendo nato di madre forestiera, era imbastardito в lui il sangue Fiorentino, e degenerato в costumi esterni, e troppo insolenti e altieri al nostro vivere". Пьеро, тем не менее, отказался принять поместья от короля Альфонсо, которые сделали бы его бароном и феодалом Неаполя. См. *Свод. История.* том i. стр. 347.

[2] Молодому герцогу в 1493 году было двадцать четыре года.

[3] Лодовико принял меры для сокрытия своей узурпации под видом законного права. В 1494 году он обручил свою племянницу Бьянку Марию с императором Максимилианом с приданным в 400 000 дукатов, получив взамен инвеституру герцогства, которую, однако, держал в секрете.

Пока дела находились в таком состоянии, и пока еще не произошло открытого нарушения баланса сил Лоренцо, Александр VI. был избран папой. Для князей и городов Италии было обычным делом поздравлять папу посольствами по случаю его принятия тиары; и Лодовико предложил, чтобы представители Милана, Флоренции, Феррары и Неаполя вместе прибыли в Рим. Глупое тщеславие Пьеро, желавшего продемонстрировать великолепие своего собственного снаряжения без соперников, побудило его отказаться от этого предложения и привело к аналогичному отказу со стороны Фердинанда. Это тривиальное обстоятельство подтвердило подозрения Лодовико, который, будучи от природы утонченным и интриганом, полагал, что разглядел глубокий политический замысел в том, что на самом деле было немногим больше личного тщеславия широкоплечего простака.[1] Он уже предвидел, что от старой системы союзов, созданной Лоренцо, следует отказаться. Еще один незначительный инцидент способствовал замешательству в делах Италии, вызвав разрыв между Римом и Неаполем. Лоренцо, выдав свою дочь замуж за Франческетто Чибо, ухитрился привлечь к ответственности Иннокентия VIII. в схеме политики, которую он разработал для Флоренции, Неаполя, Милана и Феррары. Но после восшествия на престол Александра Франческетто Чибо решил избавиться от Ангильяры, Черветри и других феодальных владений, которые он отнял у Церкви при попустительстве своего отца. Он нашел покупателя в лице Вирджинио Орсини. Александр пожаловался, что продажа была нарушением его прав. Фердинанд сохранил титул Орсини за своими новыми приобретениями. Это отдалило папу от неаполитанского короля и побудило его присоединиться к Милану и Венеции в новой лиге, созданной в 1493 году.

[1] Пьеро де Медичи был тем, кого французы называют *bel homme*, и немногим больше. Он был высоким, мускулистым и хорошо сложенным, лучшим игроком в *паллоне* в Италии, хорошим наездником, беглым и приятным в разговоре и чрезмерно гордился этими преимуществами.

Таким образом, старое равновесие было нарушено, и между разрозненными державами Италии возникли новые объединения. Лодовико, однако, не осмеливался доверять своим новым друзьям. Венеция слишком долго стремилась к Милану, чтобы рассчитывать на реальную

поддержку; и было известно, что Александр заключил брачный союз между своим сыном Джеффри и донной Сансией Арагонской. Таким образом, Лодовико остался один, без надежного союзника в Италии и с явно мошенническим титулом, который нужно было сохранить. В этот момент он обратил свой взор на Францию, в то время как его тесть, герцог Феррарский, который втайне ненавидел его и эгоистично надеялся извлечь свою выгоду из всеобщего замешательства, которое он предвидел, подтолкнул его к этому роковому поступку. В то же время Александр, желая запугать неаполитанских принцев, чтобы они заключили предполагаемый брак, последовал примеру Лодовико и показал, что в этот момент не прочь подвергнуться французскому вторжению.

Именно таким образом личные корыстолюбивые замыслы принцев принесли горе Италии: решимость Лодовико закрепиться в узурпированном Миланском герцогстве, скрытая ненависть Эрколе д'Эсте и нечестивое стремление Александра возвеличить своих бастардов были мерзкими и тривиальными причинами события, которое, каким бы неизбежным оно ни было, всем истинным патриотам Италии следовало как можно дольше откладывать. Но в Италии не осталось ни рвения к свободе, ни чести среди князей, ни добродетели в Церкви. Италия, которая в тринадцатом веке насчитывала 1800 000 граждан, то есть членов вольных городов, пользовавшихся правом голоса в правительстве своих собственных государств, могла показать в пятнадцатом только около 18 000 таких бюргеров:[1] и они в Венеции были подвержены тирании Совета десяти, во Флоренции были ослаблены Медичи, в Сиене были сокращены партийными распрями и вульгарный деспотизм, переходящий в политическую тупость. Среди всего великолепия возрожденной литературы и искусства, великолепных дворцов и утонченного общества это действительно был подходящий момент для доминиканского провидца опубликовать свои пророчества, а для горбатой марионетки судьбы - исполнить их. Гвиччардини не без основания сожалеет о горьком сарказме судьбы, нанесшей его стране оскорбление таким завоевателем, как Карл. Он мог бы с такой же справедливостью указать на Лодовико Сфорца, исполнителя трагикомической роли на итальянской сцене. Лодовико, прозванный II Моро, не потому, как утверждает великий историк, что у него был смуглый цвет лица, а потому, что он использовал шелковицу в качестве своего герба,[2] сам по себе был воплощением всех качеств, которые на протяжении последних двух столетий способствовали деградации Италии в лице деспотов. Изначально одаренный хорошими способностями, он настолько привык к мелким интригам, что теперь был неспособен сделать прямой шаг в каком-либо направлении. Хотя он кичился тем, что он Сын Фортуны, и с самодовольством слушал дурацкий стишок, который гласил: *Только Бог и мавры предвидят безопасное будущее*, он никогда не совершал ошибок и дожил до конца своих дней в невыносимой скуке заключения в Лох. Он был вдумчивым и кропотливым правителем, но ему так и не удалось завоевать любовь своих подданных, что они от радости вскинули шапки при первой возможности избавиться от него. Он не любил кровопролития, но судебное убийство Симонетты и уловки, с помощью которых он загнал своего племянника в раннюю могилу, оставили неизгладимый след в его памяти. Его двор украшало присутствие Лионардо да Винчи; но в то же время он был настолько коррумпирован, что, как сообщает нам Корио,[3] отцы продавали там своих дочерей, братья - своих сестер, а мужья - своих жен. Одним словом, Лодовико, несмотря на свое хваленое благоразумие, своей изворотливой политикой привел к гибели Италию и самого себя, а своими личными преступлениями и распутным образом жизни немало способствовал общему разврату своей страны.[4]

[1] Это расчеты Сисмонди (том vii. стр. 305). Это должно восприниматься как приблизительное. Тем не менее, студенты, которые взвесили факты, представленные в *итальянском конкурсе Ferrari*, не сочтут оценку преувеличенной. В ходе муниципальных и гражданских войн свободные города были уничтожены десятками.

[2] Смотрите Varchi, том i, стр. 49. Также *Элогию* Павла Юпитера, который отмечает, что цвет лица Лодовико был светлым. Его фамилия, однако, вызывала каламбуры. У меня, например, была нарисована картина, на которой Италия, одетая как королева, чистит свою мантию мавританским пажом. Под ним красовался девиз: *Per Italia nettare d' ogni bruttura*. Он выбрал шелковицу, потому что Плиний назвал ее самым благоразумным из всех деревьев, поскольку она дожидается окончания зимы, чтобы распустить листья, и Лодовико подивился своей проницательности в выборе подходящего момента для действий.

[3] *L' Historia di Milano*, Vinegia, 1554, p. 448: 'A quella (scola di Venere) per ogni canto vi si convenivan bellissimi giovani. I padri vi concedevano le figliuole, i mariti le mogliere, i fratelli le sorelle; e per sifatto modo senz' alcun riguardo molti concorreato all' amoroso ballo, che cosa stupendissima era riputata per qualunque l' intendeva.'

[4] Гвиччардини, *История Италии*, lib. iii. стр. 35, с виртуозной полнотой описывает характер Лодовико.

На фоне этого общего потрясения старого политического порядка начался 1494 год, первый месяц которого ознаменовался смертью короля Фердинанда — "год, - цитирую Гвиччардини, - самый несчастливый для Италии, по правде говоря, самый первый из наших катастрофических лет, поскольку он открыл дверь бесчисленным и ужасным бедствиям, в которых, можно сказать, впоследствии участвовала большая часть мира". Ожидания и беспокойство всей нации были пропорциональны масштабы грядущих перемен. Со всех сторон вторжение французов было воспринято с тем восхищением, которое обычно вызывают очень новые и волнующие события. В одном настроении итальянцы были склонны приветствовать Карла как всеобщего умиротворителя и восстановителя старых свобод. [1] Савонарола проповедовал о нем как о *flagellum Dei*, слуге, назначенном для возрождения Церкви и очищения источника духовной жизни на полуострове. В другом расположении духа они содрогались при мысли о том, что может навлечь на них пришествие варваров — так называли французов. Все были единодушны в том, что Лодовико своим приглашением сделал не более чем, так сказать, одним дуновением обрушил давно надвигавшуюся лавину. "Не только приготовления, сделанные на суше и на море, но и согласие небес и людей предвещали беды, уготованные Италии. Те, кто претендует либо искусством, либо божественным вдохновением на знание будущего, единодушно заявляли, что грядут более масштабные и частые перемены, явления более странные и ужасные, каких за многие столетия не видели ни в одной части мира". Перечислив различные знаки и предзнаменования, такие как появление изо дня в день в окрестностях Ареццо бесчисленных вооруженных людей верхом на гигантских конях при отвратительном грохоте барабанов и труб, великий историк резюмирует: "Эти события наполнили людей невероятным страхом; ибо задолго до этого они были напуганы репутацией ужасных событий". о могуществе французов и их свирепости, учитывая, что история полна их деяний — о том, как они уже захватили всю Италию, разграбили город Рим огнем и мечом, покорили многие провинции Азии и в то или иное время поражали своим оружием все части света".

[1] Это было строго популярно в противовес аристократическому чувству. Простой народ, жаждущий новизны и страдающий от плохого правления таких монстров, как арагонские принцы, ожидал увидеть Карла VIII. мессия и воскликнул: "Benedictus qui venit in nomine Domini". Смотрите отрывки, процитированные в примечании ниже.

Из всех властителей Италии Альфонсо Неаполитанский должен был опасаться больше всего, ибо против него было специально направлено вторжение. Нельзя было терять времени. В июле он собрал своих союзников в Виковаро близ Тиволи и объяснил им свою теорию сопротивления. Союзниками были Флоренция, Рим, Болонья и все второстепенные державы Романьи.[1] На этот раз южные и средние штаты Италии объединились против общего врага. После Альфонсо Александр почувствовал себя в величайшей опасности, поскольку боялся созыва Совета, который мог свергнуть его с трона, купленного им симонией. Его ужас был настолько силен, что он уже отправил послов к султану, умоляя его о помощи против самого христианского короля, и умолял Фердинанда католика, вместо того чтобы предпринимать крестовый поход против турок, применить свое оружие против французов. Но Баязет был слишком далеко, чтобы им можно было воспользоваться; и Фердинанд проявил благоразумие. Союзникам оставалось отразить вторжение своими силами без посторонней помощи. Это могло бы быть сделано, если бы соблюдался план Альфонсо. Он планировал послать флот под командованием своего брата Дона Федерико в Геную и удерживать собственными войсками перевалы в Апеннинах на севере, в то время как Пьеро Медичи взялся охранять входы в Тоскану со стороны Луниджаны. Герцог Калабрийский тем временем должен был поднять знамя Джан Галеаццо в Ломбардии. Но то абсолютное согласие, которое необходимо для осуществления столь смелого и всеобъемлющего плана, было невозможно в Италии. Папа настаивал на том, что в первую очередь следует обратить внимание на Колонези — Просперо и Фабрицио были тайными друзьями Франции, а их замки предлагали желанную добычу. Поэтому Альфонсо решил занять границы римской территории на стороне Абруцци, в то время как он послал своего сына с генералами Джован Якопо да Тривульци и графом Питильяно в Ломбардию. Они так и не продвинулись дальше Чезены, где войска Сфорца совместно с французами сдерживали их. Флот под командованием дона Федерико отплыл слишком поздно, чтобы вызвать желаемое восстание в Генуе. Французы, предупрежденные заранее, бросили в город 2000 швейцарцев под предводительством Дижона и герцога Орлеанского, и неаполитанский адмирал отступил к Ливорно. Силы лиги были еще больше ослаблены и разделены необходимостью оставить Вирджинио Орсини для проверки Колонези в окрестностях Рима. Насколько сильно Пьеро Медичи своей глупостью и дезертирством разрушил то, что осталось от плана, будет видно в дальнейшем. Эта медлительность в действиях и расчлененность сил — эта полная неспособность нанести внезапный удар - заранее предопределили успех Карла. Альфонсо, тиран, боявшийся своих собственных подданных, Александр, папа, купивший тиару к отвращению христианского мира, Пьеро, сознававший, что флорентийцы не одобряют его политику, вместе с кучкой эгоистичных мелких деспотов, были не теми людьми, которые могли бы спасти нацию. Италия была завоевана не французским королем, а пороками ее собственных лидеров. Вся история экспедиции Карла - это повествование о безудержной опрометчивости, торжествующей над трудностями и опасностями, которые только раздоры тиранов и дезорганизация народов сделали безвредными. Ате богов снизошло на Италию, как бы для того, чтобы оправдать распространенную веру в то, что экспедиция Карла была поддержана Богом и направлялась им.[2]

[1] Венеция осталась нейтральной. Она отказалась встать на сторону Чарльза под предлогом того, что страх перед турком удерживал ее от помолвки. Она отказалась присоединиться к лиге Альфонсо, заявив, что это безумие - спасать других, рискуя втянуть войну на свою собственную территорию. Нет ничего более поразительного, чем отсутствие патриотических чувств или великодушного согласия ради общей цели в Италии в это время. Флоренция, по нраву и традициям благоприятная для Франции, была втянута в лигу Пьеро Медичи, чьи симпатии были непоколебимы к арагонским принцам.

[2] Это, конечно же, было пророчеством Савонаролы. Но и Гвиччардини, и Де Коммити неизменно используют один и тот же язык. В *Мемуарах* Де Комина часто встречается фраза "Смерть монстра", руководящая предприятием.

В то время как Альфонсо и Александр обеспечивали свою безопасность на Юге, Карл оставался в Лионе, все еще сомневаясь, следует ли ему входить в Италию морем или по суше, да и стоит ли ему вообще входить в нее. Добравшись до долины Роны, он почувствовал удовлетворение от своего достижения и предался долгим турнирам и развлечениям. Кроме того, нехватка денег, которая должна была стать его главной проблемой на протяжении всей экспедиции, уже дала о себе знать. [1] В конце концов, именно итальянец побудил его осуществить свой замысел против Италии — Джулиано делла Ровере, [2] надменный племянник Сикста, непримиримого врага Александра, которого ему было суждено со временем сменить на папском престоле. Горя желанием наказать Маррано, или мавра-отступника, как он называл Александра, Джулиано раздражал короля насмешками и угрозами до тех пор, пока Карл не почувствовал, что больше не может откладывать свой поход. Когда французская армия оказалась под ударом, она быстро продвинулась вперед. Покинув Вену 23 августа 1494 года, 3600 вооруженных людей, цвет французского рыцарства, 6000 бретонских лучников, 6000 арбалетчиков, 8000 гасконских пехотинцев, 8000 швейцарских и немецких копейщиков, пересекли Мон-Женевр, вышли к Сузам, прошли через Турин и вошли в Асти 19 сентября. [3] Ни Пьемонт, ни Монферрат не пошевелились, чтобы оказать им сопротивление. И все же почти в любой точке маршрута они могли быть, по крайней мере, задержаны отважными горцами до тех пор, пока командование столь крупными силами не оказалось непреодолимым препятствием. Но до появления этого горбатого завоевателя с большой головой и маленькими ножками долины были возвышенными, а труднопроходимые места - равнинными. Принцы, в чьих интересах было бы чинить препятствия на пути Карла, были всего лишь детьми. Герцогу Савойскому было всего двенадцать лет, маркизу Монферратскому - четырнадцать; их матери и опекуны заключили соглашение с французским королем и открыли свои территории для его армий.

[1] 'La despense de ces navires estoit fort grande, et suis d'avis qu'elle cousta trois cens mille francs, et si ne servit de rien, et y alla tout l'argent contant que le Roy peut finer de ses finances: car comme j'ay dit, il n'estoit point pourveu ne de sens, ne d'argent, oy d'autre chose nécessaire à telle entreprise, et si en vint bien à bout, moyennant la grâce de Dieu, qui clairement le donna ainsi à cognoistre.' De Comines, lib. vii.

[2] Гвиччардини называет его по этому поводу "роковым инструментом и аллорой, и примой, и пои Мали Италии". Lib. i. cap. 3.

[3] Я следил за подсчетами Сисмонди (том vii, стр. 383), к которым следует добавить, возможно, еще 10 000 всего приданного артиллерии и 2000 для саперов, минеров, плотников и т.д.

Подробный список сухопутного и морского вооружения Карла см. в Деннистоуне, *Герцоги Урбино*, том i, стр. 433.

В Асти Чарльза встретили Лодовико Сфорца и его тесть Эрколе д'Эсте. Весь тот миланский двор, который описывает Корио,[1] следовал за ними по пятам. Политика итальянских князей заключалась в том, чтобы заманить своего завоевателя в ловушку любезностей и запутать в шелковых сетях варвара, которого они боялись. То, что уже произошло в Лионе и что должно было повториться в Неаполе, произошло в Асти. Французский король терял сердце из-за дам и путал свою политику обещаниями, данными Далиле в бальном зале. В Асти он заболел оспой, но вскоре поправил здоровье и отправился в Павию. Здесь возникло серьезное переплетение интересов. Карл был связан договорами и обязательствами с Лодовико и его гордой женой Беатриче д'Эсте; сама цель его экспедиции состояла в том, чтобы свергнуть Альфонсо и принять корону Неаполя; и все же в Павии ему пришлось вынести жалкое зрелище своего несчастного кузена[2] молодой Джованни Галеаццо Сфорца в тюрьме, и услышать жалобный мольбы прекрасной Изабеллы Арагонской. Воспитанный в рыцарских традициях, неспособный устоять перед женскими слезами, что должен был сделать Карл, когда эта принцесса, попавшая в беду, жена его двоюродного брата, жертва его друга Лодовико, сестра его врага Альфонсо, упала к его ногам и умоляла сжалиться над ее мужем, над ее братом, над ней самой? Этой ситуации действительно было достаточно, чтобы тронуть более мужественное сердце, чем у слабого молодого короля. Какое-то время Карл отвечал своим просителям уклончиво; но душевное смятение его было очевидным, и не успел он отправиться в Пьяченцу, как мавр решил устранить причину дальнейших колебаний. Отправившись в Павию, Лодовико приказал отравить своего племянника.[3] Когда известие о смерти Джана Галеаццо достигло французского лагеря, оно посеяло ужас и усилило недоверие, которое уже возникло между откровенными кавалерами и правдоподобными итальянцами, с которыми им пришлось иметь дело.

[1] См. выше, стр. 548.

[2] Матери Карла VIII. и Джан Галеаццо были сестрами, принцессами Савойскими.

[3] Сисмонди не обсуждает этот факт подробно, но он склонен полагать, что Джан Галеаццо был убит. Мишле высказывает сомнение по этому поводу, хотя доказательства таковы, что он безоговорочно согласился бы с ними в случае с Борджиа. Гвиччардини, который подробно рассказывает обо всем случившемся, говорит, что вся Италия верила, что герцог был убит, и цитирует Теодоро да Павиа, одного из королевских врачей, который засвидетельствовал, что видел у молодого человека явные признаки действия медленного яда. Понтано, *de Prudentia*, lib. 4, повторяет обвинение. Гвиччардини сомневается только в мотивах Лодовико. Он склонен думать, что убийство было спланировано задолго до этого и что Карл был приглашен в Италию для того, чтобы у Лодовико была хорошая возможность осуществить его, в то же время он позаботился о том, чтобы подготовить инвеституру герцогства от императора к этому событию.

Что это была за прекрасная страна, посреди которой они оказались, страна, чьи мраморные дворцы были переполнены переодетыми головорезами, чьи принцы травили, улыбаясь, чьи роскошные луга скрывали лихорадку, чьи дамы носили болезнь на губах? Капитанам и солдатам Франции Италия уже представлялась великолепной и обворожительной Цирцеей, облаченной в чары, окруженной иллюзиями, прячущейся за благоухающими зарослями, в которых ее жертвы превращались в животных, и сооружающей ложе для своего обольщения на костях убитых мужчин. И все же она была так прекрасна, что, как бы они ни останавливались на мгновение и

не оглядывались с тоской на Альпы, которые они пересекли, они оказывались не в силах устоять перед ее улыбкой. Они должны пройти через волшебный сад, отныне соблюдая меры предосторожности, ходить с обнаженным мечом и, подобно Орландо в парке Морганы, набивать свои шлемы розами, чтобы не слышать голос сирены слишком отчетливо. Так Италия начала играть ту роль, которую она играла в эпоху Возрождения для народов Севера. *"Белый дьявол Италии"* - название одной из лучших трагедий Вебстера. Белая Дьяволица, лучезарная дочь греха и смерти, держащая в своих руках плод познания добра и зла и соблазняющая народы поест: вот как Италия поражала воображение людей шестнадцатого века. Она была женственной, а они мужественными; но она могла учить, и они должны учиться. Она доставляла им удовольствие; они приносили силу. Плодом ее общения с народами стал дух современной культуры, гений эпохи, в которую мы живем.

Два ужасных бедствия предупредили итальянцев, с какими новыми врагами им придется иметь дело. Дважды в начале вторжения французы использовали обнаженный меч, чтобы запугать колдунью. Такими поразительными примерами были массовые убийства жителей Рапалло на Генуэзской Ривьере и Фивиццано в Луниджане. Солдаты и бюргеры, даже заключенные и раненые в госпиталях, были убиты, сначала швейцарскими и немецкими гвардейцами, а затем французами, которые не уступали им в энергии. Именно так итальянцы после столетия бескровных сражений и парадных кампаний научились новому военному искусству и стали свидетелями первого акта тех апокалиптических трагедий, которым было суждено затопить полуостров французской, испанской, немецкой, швейцарской и туземной кровью.

Тем временем французское войско достигло Пармы, пересекая в золотую осеннюю погоду равнины, где шелковица и вяз венчаются гирляндами виноградных лоз над волнистыми просторами кукурузы. От Пармы, расположенной под северными отрогами Апеннин, до Сарцаны, на западном побережье Италии, где мрамор Каррары воздвигает свой барьер на пути к Тирренскому морю, ведет извилистый бесплодный горный перевал. Карл отправился этим путем со своей армией и в начале ноября прибыл к стенам Сарцаны. Тем временем мы вполне можем спросить, чем занимался Пьеро Медичи и как он выполнил свою помолвку с Альфонсо. Следует помнить, что он предпринял попытку удержать перевалы Апеннин по эту сторону. Смутить французские войска среди этих известняковых гор, поросших редким лесом из сосен и каштанов и охраняемых кое-где древними крепостями, было бы делом несложным. Имея подобные преимущества, 2000 швейцарских солдат во время своих войн за независимость посмеялись бы над всеми силами Бургундии и Австрии. Но Пьеро, слабый и лживый тиран, озабоченный флорентийскими группировками, боящийся Лукки и не склонный вторгаться на территорию Сфорца, еще ничего не предпринял, когда пришло известие, что Сарцана вот-вот капитулирует. В этот опасный момент он помчался так быстро, как только могли нести лошади, во французский лагерь, попросил о встрече с Карлом и тут же передал ему ключи от Сарцаны и ее цитадели, а также ключи от Пьетра Санта, Либрафратты, Пизы и Ливорно. Любой, кто побывал на морском побережье между Пизой и Сарзаной, может оценить огромную ценность этих уступок захватчику. Они избавили его от необходимости пробиваться по узкой полосе суши, которая с одной стороны омывается морем, а с другой - самым высоким и крутым горным хребтом в Италии. Сделать это в зубах сопротивляющейся армии и под стенами враждебных замков было бы практически невозможно. Как бы то ни было, Пьеро своей невероятной трусостью разрубил гордиев узел и обрек для себя только разорение и бесчестье. Карл, враг, против которого он замыслил заговор вместе с Альфонсо и Александром, рассмеялся ему в лицо и сразу же двинулся на Пизу. Флорентийцы, которых он до сих пор вовлекал в свою

непопулярную политику, теперь пришли в ярость, изгнали его из города, разграбили его дворец и стерли из своей памяти имя Медичи, за исключением проклятия. Неудачливый тиран, оказавшийся предателем своих союзников, своей страны, и самого себя, спас свою жизнь, улетев сначала в Болонью, а оттуда в Венецию, где он оставался в своего рода вежливом плену — в безопасности, но рабом, пока дож и его совет не увидели, как будут развиваться события.

9 ноября Флоренция после пятидесятилетней тирании и Пиза после столетнего рабства восстановили свои свободы и смогли воссоздать республиканские правительства. Но ситуация в двух государствах была очень разной. Флорентийцы никогда не теряли названия свободы, которое в Италии того периода означало не столько свободу жителей осуществлять самоуправление, сколько независимость города по отношению к своим соседям. Пизанцы, с другой стороны, были доведены Флоренцией до порабощения: их гражданская жизнь была подавлена, их гордость уязвлена в самом деликатном вопросе чести, их население было уничтожено проскрипциями и изгнаниями. Великим грехом Флоренции было порабощение Пизы, и Пиза в этот момент анархии сгорела, чтобы стереть свой позор кровопролитием. Французы, не понимавшие ни одной тонкости итальянской политики и не знавшие, что, давая свободу Пизе, они лишают Флоренцию ее прав, с удивлением смотрели на граждан, которые сбросили льва города-тирана в реку Арно и подняли оружие против его офицеров. Печально наблюдать этот последний приступ долго подавляемой страсти к свободе у пизанцев, в то время как мы знаем, как скоро они были снова обращены в рабство эгоистичным сестринским государством, само по себе слишком коррумпированное для свободы. Роль Карла, который с поразительной беспечностью поддержал дело пизанцев, притворился, что защищает новую республику, а затем несколько месяцев спустя бросил ее на произвол судьбы, не вызывает ничего, кроме вялого презрения, которое внушают все его поступки.

После бегства Пьеро и провозглашения свободы Пизы короля Франции приветствовали как спасителя свободных итальянских городов. Карл получил великолепную речь от Савонаролы, который отправился в Пизу и обратился к нему с речью как к избранному сосуду Господа и избавителю Церкви от анархии. В то же время монах передал французскому королю вежливое приглашение флорентийской республики посетить их город и насладиться их гостеприимством. Карл, после того как огорчил Пьеро Медичи беспечностью всадника на карусели и по прихоти вернул свободу Пизе, остался таким же лишенным политики и безразличным к роли, отведенной ему пророком, каким он был и раньше. 17 ноября он въехал верхом, вооруженный до зубов, во Флоренцию и поселился во дворце Медичи. Затем он сообщил старейшинам города, что пришел как завоеватель, а не как гость, и что он намерен оставить за собой управление государством.

Это был драматический момент. Флоренция с протекающей посреди нее рекой Арно и холмами вокруг, серыми от оливковых деревьев, была тогда еще прекраснее, чем мы видим ее сейчас. Сохранился весь контур ее стен, и венец их башен еще не сровняли с землей, чтобы облегчить сопротивление захватчикам. Купол Брунеллески, башня Джотто, палаццо Арнольфо и Лоджия Орканьи придавали неповторимость ее улицам и площадям. Ее церкви были великолепны, с фресками в расцвете сил и расписным стеклом, на котором еще не сказались повреждения, нанесенные всего за несколько коротких лет. Ее дворцы, крепкие, как замки, были переполнены культурным, лощеным, элегантным, утонченным и надменным населением. Эта Флоренция, город ученых, художников, интеллектуальных сибаритов и горожан, в которых бушевала кровь старых фракций, внезапно оказалась захваченной в качестве военной добычи щеголяющими в

своих диковинных нарядах галлами, немцами с плюмажами, кельтами в килтах и разноцветными швейцарцами. С другой стороны, эти варвары проснулись в земном раю естественной и эстетической красоты. Кто из нас, наслаждавшихся поздними лучами осени в Вальдарно, не может представить себе откровение внутреннего смысла мира, непостижимого, но покоряющего душу, которое тогда впервые осенило бретонских лучников и быков Ури? Их побуждением, без сомнения, было разграбить лежащее перед ними богатство и завладеть им, как ребенок разрывает на куски чудесный цветок, который удивил его на каком-нибудь горном лугу. Но в самой грубости желания они отдавали дань уважения вновь обретенной красоте, о которой раньше и не мечтали.

Чарльз здесь, как и везде, проявил свое слабоумие. Он вторгся в гостеприимную Флоренцию и наложил руки на нее, как враг. Что бы он теперь с ней сделал — реформировал республику, издал законы, обложил граждан налогом и повел их на битву? Нет. Он запросил огромную сумму денег и начал торговаться. Флорентийские секретари отказались от его условий. Он настаивал. Тогда Пьеро Каппони схватил бумагу, на которой они были написаны, и разорвал ее на куски у него на глазах. Карл воскликнул: "Я буду трубить в свои трубы". Каппони ответил: "Мы будем звонить в наши колокола". Прекрасна, как мечта, Флоренция; но ее мрачные улицы, осененные гигантскими колокольнями и замаскированные мрачными коричневыми фасадами дворцов, таили в себе угрозу, с которой французский король не мог справиться. Пусть Каппони ударит в набат, и каждый дом превратится в крепость, улицы будут забаррикадированы железными цепями, из каждого квартала выйдут сотни людей, хорошо сведущих в искусстве гражданской войны. Чарльз уступил, прикрывая неудачной шуткой смущение, которое он испытывал: *Ah, Ciappon, Ciappon, voi siete un mal Ciappon!* Секретари отвергли его условия. Все, что его заботило, - это раздобыть денег.^[1] Он согласился довольствоваться 120 000 флоринами. Был подписан мирный договор, и через два дня он покинул Флоренцию.

До сих пор Карл не встречал серьезных препятствий. Его вторжение обрушилось, как дождь с небес, и как дождь, по его мнению, оно прошло впустую. Ломбардия и Тоскана, две первые сцены театрализованного представления, устроенного Италией перед французской армией, остались позади. Теперь перед ними лежал Рим, великолепный в запустении; не тот Рим, который Фарнези, Киджи и Барберини возвели на развалинах амфитеатров и бань, но Рим средневековья, город, увенчанный реликвиями языческого прошлого, сам все еще языческий и держащий в своей среде современного антихриста. Продвижение французов было продолжающимся триумфом. Второго декабря они достигли Сиены. Герцог Урбинский и сеньоры Пезаро и Болоньи сложили оружие при их приближении. Орсини открыли свои замки: Вирджинио, генерал-капитан арагонской армии и великий коннетабль Неаполитанского королевства, поспешил добиться для себя выгодных условий от французского государя. Бальони ударились в собственную злобу в Перудже. Герцог Калабрийский отступил. Италия, казалось, стремилась доказать, что трусость, эгоизм и неспособность победили ее. Витербо был взят, Кимвинские высоты пройдены; Кампанья, ограниченная Альбанскими и Сабинскими холмами, с Римом, голубоватым облаком над низменностями Тибра, раскинула свою торжественную ширь красоты у ног захватчика. Не было нанесено ни одного удара, когда 31 декабря 1494 года он достиг Porta дель Пополо. В три часа пополудни началось вступление французской армии. Было девять вечера, когда последние солдаты при ярком свете факелов и факельных пламен прошли через ворота и заняли свои квартиры на улицах Вечного города. Гигантские варвары кантонов, щеголяющие плюмажами и расшитыми эмблемами плащами, рыцарство Франции, великолепное в шелковых мантиях и золоченых доспехах, шотландская

гвардия в их диких костюмах из килта и филибеги, похожие на косы алебарды немецких ланцкнехтов, спутанные эльфийские локоны бретонцев с суровыми чертами Лица, произвели неизгладимое впечатление на жителей Юга. По этому памяtnому случаю, как на представлении в честь какого-нибудь праздника, перед ними маршировали образцы и авангарды всех тех легионных рас, которым вскоре предстояло слишком хорошо себя чувствовать в каждом прекрасном итальянском жилище. Ничто не могло дополнить символ грядущего рока, кроме представителя мрачной, черной, жилистой пехоты Испании.

[1] Нехватка денег определяла все действия Чарльза в этой экспедиции. Занимая у Лодовико, предъявляя требования Пьеро и флорентийцам, закладывая драгоценности савойских принцесс, он переходил с места на место, торгуясь и залезая в долги вместо того, чтобы диктовать законы и создавать конституции. *La carestia dei danari* - фраза, постоянно повторяющаяся у Гвиччардини. Говоря о драгоценностях, подаренных Карлу королевскими семьями Савойи и Монферрата в Турине, де Комин восклицает: "И пусть это будет началом войны, с чего начать, пусть это будет руководством к действию".

Тем временем Борджиа притаились в замке Сан-Анджело. Анджело. Как бы Завоеватель, ныне именуемый *Flagellum Dei*, справился с мерзостью запустения, царящей в святом месте христианского мира? На стороне Карла были кардиналы Асканио Сфорца и Джулиано делла Ровере, убеждавшие его созвать собор и низложить папу. Но еще ближе к его уху стоял Брисонне, местный торговец, который считал, что носить кардинальскую шапку подобает его достоинству. Из-за этого пустяка решились судьбы Рима, гибель Александра, судьба Церкви. Карл решил пойти на компромисс. Он потребовал несколько крепостей, красную шляпу для Брисонне, Чезаре Борджиа в качестве заложника на четыре месяца и Джема, брата султана. [1] После заключения и ратификации этих соглашений Александр отважился покинуть свой замок и принять почести верующих.

Шарль пробыл месяц в Риме, а затем отправился в Неаполь. Теперь предстояло показать четвертую и последнюю сцену итальянского представления. После богатых равнинных и гордых городов Ломбардии, укрытых крепостным валом вечных снегов; после оливковых садов и прекрасных городов Тосканы; после великого имени Рима; наконец, Неаполь, между Везувием и морем, эта первая стоянка греков в Италии, всемирно известная своими легендами о Сивиллах, сиренах и колдуне Вергилии, принял своего короля. Сами названия Партенопы, Позилиппо, Инариме, Сорренто, Капри обладают своим очарованием. Там также более пышные апельсиновые и лимонные рощи; из винограда получается более сладкое и пьянящее вино; жители деревни более классически грациозны; вулканическая почва более плодородна; волны более голубые, а солнце ярче, чем где-либо еще в стране. Ни у одного из завоевателей Италии не хватило сил устоять перед соблазнами Неаполитанского залива. Греки утратили свою природную энергию на этих берегах и воплотили в истории своих колоний миф о товарищах Улисса в садах Цирцеи. Ганнибал был приручен Капуей. Римляне, в свою очередь, мечтали о своей силе в Байях, в Помпеях, на Капре, пока весь регион не стал синонимом сладострастной жизни. Здесь сарацины были покорены мягкости и стали врачами, а не пиратами. Лангобарды и норманны в равной степени смягчились и утратили свою варварскую свирепость под воздействием чар южной колдуньи.

[1] Смотрите выше, стр. 416, историю этого несчастного принца. Когда Александр уступил Джема, которого он держал в плену у султана с годовым доходом в 40 000 дукатов, он был связан

обязательствами с Баязетом убить его. Соответственно, Джем умер от медленного действия яда вскоре после того, как стал гостем Карла. Борджиа предпочли сохранить верность турку.

Неаполю теперь было суждено разрушить те нервы, которые еще оставались у Карла в его праздничной армии. Ведьма также, готовя для французов свои самые привлекательные снадобья, смешала с ними смертельный яд - вирус падучей болезни, памятный в анналах современного мира, которому было суждено заразить народы Европы из этого центра и оказаться для наших городов более грозным, чем даже проказа средневековья.^[1]

^[1] Тем, кому интересно проследить историю возникновения сифилиса, следует изучить статью на эту тему в "Фон Хирше, *Историко-географической патологии*" (Эрланген, 1860) и в "Розенбауме" *"О люцерне в другом мире"* (Галле, 1845). . Некоторые любопытные наблюдения современников, касающиеся быстрого распространения болезни в Италии, ее симптомов и лечения, содержатся в книге Матараццо *"Кронака ди Перуджа"* (Arch. Stor. It. vol. xvi. part ii. стр. 32-36), и в Портовенере (Арх. Св. vol. vi. pt. ii. p. 338). Знаменитое стихотворение Фракастория заслуживает прочтения как из-за его прекрасной латыни, так и из-за его информативности. Одной из самых ранних работ, выпущенных альдинской типографией в 1497 году, был *"Libellus de Epidemia quam vulgo morbum Gallicum vocant"*. Она была написана Николасом Леоничено и посвящена графу Франческо де ла Мирандола.

Неаполитанское королевство из-за частой неопределенности, которая сопровождала наследование престола, а также из-за сюзеренитета, который принимали на себя и которым злоупотребляли папы, на протяжении веков было постоянной причиной раздоров в Италии. Династия, которую Карл теперь надеялся свергнуть, была испанской. После смерти Иоанны II в 1435 году Альфонсо, король Арагона и Сицилии, который не имел никаких претензий на корону, кроме тех, что он получил через незаконнорожденную ветвь старой нормандской династии, завоевал Неаполь, изгнал графа Рене Анжуйского и утвердился в этом новом королевстве, которое он предпочел тем, которые унаследовал по праву. Альфонсо, прозванный Великодушным, был одним из самых блестящих и романтических персонажей пятнадцатого века. Историки никогда не устают рассказывать о его победах над Кальдорой и Франческо Сфорца, о главном перевороте, с помощью которого он изгнал своего соперника Рене, и о том очаровании, которое он испытывал в Милане, будучи пленником, над ревнивым духом Филиппо Марии Висконти.^[1] Ученые не менее щедро восхваляют его добродетели, справедливость, человечность, религию, великодушие и культуру, которые сделали его выдающимся среди правителей того великолепного периода.^[2] Его любовь к учебе была страстью. Будь то дома, в уединении своего дворца, или в палатке во время войны, его всегда сопровождали студенты, которые читали вслух и комментировали Ливия, Сенеку или Библию. Ни один принц не был так щедр в своих подарках ученым людям. Бартоломео Фацио получал 500 дукатов в год за составление своих исторических трудов, а когда по их завершении ученый попросил еще 200 или 300 флоринов в подарок, принц выделил ему 1500. В год своей смерти Альфонсо раздал 20 000 дукатов одним только литераторам. Эта неумеренная щедрость - единственный порок, в котором его обвиняют. Это принесло свои обычные плоды в виде дезорганизации финансов.

^[1] Число Мач. Ist. Фуор. lib. v. cap. 5. Корио, стр. 332, 333, можно ознакомиться с трудностями, которые Альфонсо преодолел в начале своего завоевания. Потерпев поражение от генуэзцев близ острова Понца и доставленный пленным в Милан, он сумел доказать Филиппо Висконти, что в его интересах сделать его королем Неаполя, а не удерживать там французов. После этого

герцог Миланский с честью вернул его на трон и утвердил в завоевании, которому до этого он успешно противостоял. Это уникальный пример того, до какой степени итальянские князья находились под контролем политики и разума.

[2] "Жизнь Альфонсо" *Веспасиано (Vite di Uomini Illustri*, стр. 48-72) - образец приятной композиции и ярких очертаний. Конечно, это написано скорее с точки зрения ученого, чем политика. Сравните с этим Джовио, *Элогию*, и Понтана, *Либералитета*.

Великодушная человечность Альфонсо вызвала к нему большое расположение неаполитанцев. В течение полувека, в течение которого так много итальянских принцев пали жертвой кинжала своих подданных, он в Неаполе, где, по словам Понтано, "ничто не стоило дешевле человеческой жизни", ходил взад и вперед безоружный и без присмотра. "Почему отец должен бояться своих детей?" - обычно говорил он в ответ на намеки на опасность такого отсутствия осторожности. Многие великолепные качества, которыми он отличался, были скорее усилены, чем затемнены романтикой его личной жизни. Женатый на Маргарите Кастильской, у него не было законных детей; Фердинанд, с которым он разделял управление Неаполем в 1443 году и которого он назначил своим преемником в 1458 году, должен был быть его сыном от Маргарет де Хиджар. Ходили даже слухи, что этот Фердинанд был ребенком Екатерины, жены брата Альфонсо Генриха, которого Маргарита, чтобы спасти честь короля, признала своим собственным. Какой бы ни была правда в этой мрачной истории, было доподлинно известно, что королева убила свою соперницу, несчастную Маргарет де Хиджар, и что Альфонсо никогда не простил ее и не будет смотреть на нее с того дня. Понтано, который был секретарем Фердинанда, рассказал другую историю. Он подтвердил, что настоящим отцом герцога Калабрийского был маррано из Валентии. Эта последняя история становится правдоподобной из-за резкого контраста между характером Альфонсо и Фердинанда.

Было бы ужасно подумать, что такой отец мог быть родителем такого сына. В Фердинанде инстинкт либеральной культуры выродился в вульгарное великолепие; учтивость и уверенность уступили место холодной подозрительности и звериной жестокости. Его свирепость граничила с безумием. Он обычно держал жертв своей ненависти в клетках, где их страдания доставляли ему такое же удовольствие, какое некоторые люди получают, наблюдая за ужимками обезьян.[1] В его охотничьем заведении повторились худшие зверства Бернабо Висконти: несчастные, искалеченные за пренебрежение к его собакам, протягивали свои безрукие обрубки в качестве милостыни путешественникам, проезжающим через его деревни.[2] Вместо щедрости, которой славился Альфонсо, Фердинанд развил в себе все искусство скупости. Как Сикст IV. он сделал продажу зерна и масла королевской монополией, торгуя голодом своих подданных.[3] Как у Александра VI. он откармливал своих визирей и секретарей на доходы от вымогательства, которыми делился с ними, а когда они насытились, перерезал им глотки и провозгласил себя наследником через их наследника.[4] Альфонсо был известен своей прямоотой. Фердинанд был демоном лицемерия и вероломства. Убийство своего гостя Якопо Пиччинино в конце фестиваля, который длился более двадцати семи дней разнообразных развлечений, снискало ему аплодисменты сторонников Макиавеллизма по всей Италии. В нем воплотился идеал государственной измены, задуманный как изобразительное искусство. Не менее совершенным образцом дьявольской хитрости была месть, которую Фердинанд по совету своего сына Альфонсо учинил баронам, устроившим против него заговор.[5] Альфонсо был сыном, достойным своего ужасного отца. Единственная разница между ними заключалась в том, что Фердинанд лицемерил, в то время как Альфонсо, чья храбрость в битве при Отранто

против турок окружила его военной славой, с цинизмом отдался своим страстям. Описывая характеры обоих в одном абзаце, де Комин пишет: "Никогда не было человека более жестокого, чем Альфонсо, ни более порочного, ни более порочного, ни более ядовитого, ни более прожорливого. Его отец был более опасен, потому что он мог скрывать свой разум и даже свой гнев от посторонних глаз; в разгар праздника он брал и предательски убивал своих жертв. В нем никогда не было ни благодати, ни милосердия, ни сострадания к своему бедному народу. Оба они насильно поднимали руки на женщин. В вопросах Церкви они не соблюдали ни благоговения, ни послушания. Они продали епископства, подобные епископству Таренто, которым Фердинанд распорядился за 13 000 дукатов еврею в пользу своего сына, которого он называл христианином".

[1] See Pontanus, *de Immanitate*, Aldus, 1518, vol. 1. p. 318: 'Ferdinandus Rex Neapolitanorum præclaros etiam viros conclusos carcere etiam bene atque abunde pascebat, eandem ex iis voluptatem capiens quam pueri e conclusis in caveâ aviculis: quâ de re sæpenumero sibi ipsi inter intimos suos diu multumque gratulatus subblanditusque in risum tandem ac cachinnos profundeбatur.'

[2] See Pontanus, *de Immanitate*, Aldus; 1518, vol. i. p. 320: 'Ferd. R.N. qui cervum aprumve occidissent furtimve palamve, alios remo addixit, alios manibus mutilavit, alios suspendio affecit: agros quoque serendos inderdixit dominis, legendasque aut glandes aut poma, quæ servari quidem volebat in escam feris ad venationis suæ usum.'

[3] Караччоло, *сорта Фортуна*, Муратори, vol. xxii. стр. 87, раскрывает эту систему в отрывке, который следует сравнить с Инфессурой о практике Сикста. De Comines, lib. vii. cap. 11, можно с пользой прочитать по тому же предмету.

[4] См. Караччоло, документально подтвержденный, стр. 88, 89, о судебном убийстве Франческо Копполы и Антонелло Перуччи, оба из которых были возведены Фердинандом в сан, использовались на протяжении всей их жизни в качестве инструментов его вымогательства и убиты им в их богатой старости.

[5] См. De Comines, lib. vii. cap. 11; Сисмонди, том vii. стр. 229. Прочтите также краткий отчет о резне баронов, приведенный в *Венецианской хронике*, Муратори, xxiv. стр. 15, где ярко выражено сильное отвращение, испытываемое всей Италией к Фердинанду и его сыну Альфонсо.

Такого рода тирания сама по себе несла в себе смертный приговор. Не требовался голос Савонаролы, чтобы провозгласить, что Бог отомстит за преступления Фердинанда, посадив на его трон нового монарха. Принято было считать, что старый король умер в 1494 году от угрызений совести и дурных предчувствий, когда понял, что откладывать французскую экспедицию больше нельзя. Альфонсо, со своей стороны, каким бы смелым полководцем на поле боя и способным дельцом он ни был, не нашел в себе мужества сопротивляться завоевателю. Это не выдумка поэта или моралиста, а простой исторический факт, что этот король Неаполя, внук великого Альфонсо и отец будущего Фердинанда, дрогнул перед мириадами обвиняющих мертвецов, которые восстали, чтобы преследовать его измученное воображение в час высшей опасности. Покои его дворца в Неаполе были заполнены батальонами призраков, бледных призраков тысяч, которых он довел до голодной смерти,

окровавленных призраков баронов, которых он убил после безымянных пыток, худых призраков тех, кто погиб в темницах под его безжалостным правлением. Люди у его ворот возмущенно забормотали. Он отрекся от престола в пользу своего сына, отплыл на корабле на Сицилию и умер там, мучимый угрызениями совести, в монастыре еще до истечения года.

Фердинанд, храбрый юноша, любимый народом, несмотря на тиранию своего отца и деда, правил вместо него. Однако даже для него ситуация была невыносимой. Повсюду его окружали предатели — вся его армия в Сан-Джермано, Тривульци в Капуе, немецкий проводник в Неаполе. Без солдат, без союзников, не на что было положиться, кроме неиспытанной доброй воли подданных, у которых были все основания ненавидеть его расу, и с завоевателями Италии, ежедневно наступавшими через его владения, ему оставалось только отступать. Бросив свои замки на разграбление, сожгв корабли в гавани Неаполя и посадив дона Федериги вместе с вдовствующей королевой и принцессой Джоанной на быстроходную галеру, Фердинанд попрощался со своим королевством. Историки рассказывают, что, когда берег скрылся из виду, он продолжал громко произносить этот стих из 127-го псалма: "Если Господь не сохранит город, страж бодрствует, но напрасно". Между пляжем Неаполя и скалистым берегом Искьи, куда направлялись изгнанники, всего около семнадцати миль. Это путешествие королевские беглецы совершили в феврале, месяце мягкого и меланхоличного солнечного света в этих южных краях, когда весь Неаполитанский залив с его поясом далеких холмов обычно приобретает оттенок переливчатой лазури. Они скользили над спящим морем, а с кормы галеры король таким же печальным голосом, как у Боабдила, когда он садился оплакивать Гранаду, кричал: "Если Господь не сохранит город, страж бодрствует, но напрасно".

В юноше не было недостатка в храбрости. Одним своим присутствием он запугал толпу мятежников в Неаполе. Твердостью своего поведения он умирил дерзкого губернатора Искьи и стал хозяином острова. Там он переждал, пока не утихнет буря. Будучи в десять раз большим человеком, чем Карл, он наблюдал, как французский король покидал Неаполь, не оставив после себя почти ни одного раненого — несколько войск, измученных болезнями и развратом, и одного-двух генералов, лишенных энергии. Затем он вернулся и начал карьеру большей популярности, чем мог бы добиться, если бы французы никогда не заставляли непостоянную неаполитанскую расу почувствовать, насколько более отвратителен иностранец, чем знакомое ярмо.^[1]

Карл вступил в Неаполь как завоеватель или освободитель 22 февраля 1495 года. Неаполитанцы приветствовали его и чествовали больше, чем любой другой народ, который по-детски радуется смене хозяев. Он наслаждался своими обычными видами спорта и предавался своим обычным любовным похождениям. С самоубийственной наглостью и отсутствием политики он отверг симпатии знатных семей, разделив титулы, должности и феодалы королевства между своей свитой.^[2] Не получив от папы даже временной инвеституры, он удовлетворил свое тщеславие, прошеествовав 12 мая как суверен с мячом в одной руке и скипетром в другой по городу. Затем он был вынужден вернуться на свой путь и отправиться во Францию с той же стремительностью, которую проявил при завоевании Неаполя. Александр, который был остроумен, сказал, что французы завоевали Италию с помощью кусков мела и деревянных шпор, потому что они ездили безоружными в домашних туфлях и посылали перед собой гонцов, чтобы выбрать себе жилье. Оставалось убедиться, что достижения этого завоевания могут быть стерты с такой же легкостью, как стирается отметина мелом или ломается пара деревянных шпор.

[1] Несчастья и храбрость этого молодого принца вызывают глубокое чувство интереса. Грустно читать, что после восстановления своего королевства в 1496 году он умер на двадцать восьмом году жизни, измученный усталостью и радостями брака со своей тетей Джоанной, которую он слишком страстно любил. На престол вззошел его дядя Фредерик, брат Альфонсо II. Таким образом, за три года в Неаполе сменилось пять государей.

[2] 'Tous estats et offices furent donnez aux François, à deux ou trois,' says De Comines.

Пока Карл развлекался в Неаполе, в его тылу собиралась буря. В апреле великие державы Европы сформировали лигу против него. Венеция, встревоженная независимостью Италии и подстрекаемая султаном, у которого были причины опасаться Карла VIII., [1] возглавил лигу. Лодовико, теперь, когда он достиг своей эгоистичной цели в тихом месте Милана, беспокоился о своей безопасности. Папа все еще опасался генерального собора. Максимилиан, который не мог забыть пренебрежения, нанесенного ему в отношении его дочери и невесты, был готов сотрудничать против своего соперника. Фердинанд и Изабелла, закрепившись в Руссильоне, сочли своим долгом вернуть испанцам их родных в Неаполе. Каждой из договаривающихся сторон была отведена своя роль. Испания обязалась помочь Фердинанду Арагонскому в Калабрии. Венеция должна была атаковать морские порты королевства; Лодовико Сфорца - занять Асти; король римлян - совершить отвлекающий маневр на Севере. Только Флоренция, хотя и была глубоко уязвлена Карлом в пизанском деле, сохранила верность французам.

[1] Карл актом, датированным 1494 годом н.э., 6 сентября, купил титул императора Константинополя и Трапезунда у Андрея Палеолога (см. Гиббон, vol. viii. с. 183, под ред. Милмана). Когда он отнял Джема у Александра в Риме, его целью было использовать его в войне против Баязета; и папа постоянно внушал туркам опасность франкского крестового похода.

Опасность была неминуемой. Фердинанд католик уже высадил войска на побережье Сицилии и был готов бросить армию в порты Реджо и Тропеа. Александр отказался выполнять свой договор, сдав Сполето. Чезаре Борджиа бежал из французского лагеря. Лангобарды угрожали Асти, которым владел герцог Орлеанский и без владения которым невозможно было безопасно вернуться во Францию. Асти действительно в этот момент пал бы, и Карл попал бы в ловушку, если бы венецианцы только были достаточно быстры или осторожны, чтобы вступить в бой с немецкими наемниками. [1] Об опасности ситуации лучше всего судить, прочитав Мемуары Де Комина, который в то время был послом в Венеции. "Чемпионат завершился очень поздно вечером. На следующее утро синьория послала за мной раньше обычного. Их собралось очень много, может быть, сотня или больше, и они высоко держали головы, весело смеялись, и выражение их лиц было совсем не таким, как в тот день, когда они рассказали мне о взятии Неаполитанской цитадели. [2] На сердце у меня было тяжело, и я испытывал серьезные сомнения относительно личности короля и всей его свиты; и я считал их план более зрелым, чем он был на самом деле, и опасался, что у них могли быть наготове немцы; и если бы это было так, король никогда не смог бы безопасно покинуть Италию." Тем не менее Де Комин сделал храброе лицо по этому вопросу и сказал совету, что он уже получил информацию о лиге и ее приближенных. отправил депеши своему хозяину по этому поводу. [3] "После обеда, - продолжает Де Комин, - все послы лиги собрались на водную прогулку, которая является главным развлечением в Венеции, куда каждый отправляется в соответствии со своей свитой или за счет синьории. Там было, возможно, до сорока гондол, и на всех были изображены гербы их хозяев на знаменах. Я видел, как вся эта компания прошла перед моими окнами, и на борту

было много менестрелей. Жители Милана, по крайней мере, один из них, который часто составлял мне компанию, сделали храбрый вид, что не узнали меня; и в течение трех дней я не выходил ни в город, ни к своим людям, и за все это время не было сказано ни одного вежливого слова ни мне, ни кому-либо из моей свиты".

[1] См. De Comines, lib. vii. cap. 15, стр. 78, 79.

[2] Отчет де Комина о тревоге, охватившей Венецию по этому поводу, очень нагляден: "Однажды утром за мной послали, и я нашел их в количестве пятидесяти или шестидесяти человек в спальне дожа, потому что у него были колики; и там он рассказал мне новость с добрым выражением лица. Но никто из собравшихся не умел так хорошо притворяться, как он. Некоторые сидели на деревянной скамье, подперев голову руками, а другие наоборот; и у всех было очень тяжело на сердце. Я думаю, что, когда весть о битве при Каннах достигла Рима, сенаторы не были более сбиты с толку или напуганы".

[3] Бембо в своей *истории Венеции* (lib. ii. стр. 32) рассказывает другую историю. Он представляет Де Комина, весьма встревоженного этой новостью.

Возвращаясь на север тем же маршрутом, Карл миновал Рим и 13 июня достиг Сиены. При его приближении папа укрылся сначала в Орвието, а затем в Перудже, но он не пошел ни на какие уступки. Карл не смог добиться от него инвеституры королевства, которое он якобы завоевал, в то время как ему самому пришлось сдать крепости Чивита-Веккья и Террачина. Одна Остия осталась в руках непримиримого врага Александра, кардинала делла Ровере. В Тоскане снова был поднят пизанский вопрос. Французская армия желала, чтобы свободы Пизы были установлены на прочной основе, прежде чем они покинут Италию. По пути в Неаполь их коснулись несчастья этого древнего города: теперь, по возвращении, они требовали, чтобы Карл гарантировал им свободу. Но добиться этого было делом непростым. Силы лиги уже вышли на поле боя, и герцог Орлеанский был осажден в Новаре. Флорентийцы, ревниво относившиеся к благосклонности, проявленной при явном нарушении их прав к гражданам, которых они считали непокорными рабами, заняли угрожающую позицию. Карл мог лишь ответить туманными обещаниями на просьбы пизанцев, усилить французские гарнизоны в их крепостях и как можно быстрее двинуться вперед, на Апеннины. Ключом к перевалу, с помощью которого он пытался вернуть себе Ломбардию, является город Понтремоли. Оставив это пепелище 29 июня, французская армия, испытывая нехватку провизии и подвергаясь опасности среди этих унылых холмов, со всей скоростью продвигалась вперед. Они знали, что союзные войска под командованием маркиза Мантуанского ждут их на другом берегу Таро, близ деревни Форново. Здесь, как нигде, французы должны были быть разгромлены. Всего их насчитывалось около 9000 человек, в то время как у союзников было около 40 000. Французы были утомлены долгими маршами, недостатком продовольствия и плохими жилищами. Итальянцы были свежими и о них хорошо заботились. И все же, несмотря на все это, несмотря на слепое командование и полную ошибку, Чарльз продолжал играть свою роль любимца фортуны до конца. Кровавопролитная битва, длившаяся в течение часа, произошла на берегах Таро. [1] Итальянцы пострадали так сильно, что, хотя они все еще намного превосходили французов численностью, никакие уговоры не могли заставить их сплотиться и возобновить борьбу. Карл лично подвергся большой опасности во время этой битвы; и когда она закончилась, ему все еще предстояло отступать к Асти под натиском грозной армии. Удача французов и медлительная трусость их противников спасли их сейчас снова, в последний раз.

[1], по словам Де Комина, акция в Форново длилась четверть часа. Преследование итальянцев заняло еще около трех четвертей часа. Непривычные к быстрой тактике французов, итальянцы, будучи однажды разбиты, упорно отступали к Реджо и Парме. Одни только Гонзаги отличились непоколебимой храбростью и потеряли четырех или пять членов своего княжеского дома. Страдиоты, чьи ятаганы должны были бы грубо расправиться с тяжеловооруженными французскими воинами, потратили свое время на разграбление королевского павильона, очень мудро предоставленного их алчности французскими капитанами. Военное дело в Италии было до такой степени неправильно истолковано, что на основании этого разбоя венецианцы провозгласили Форново победителем. Описание местности, на которой разыгралось сражение, смотрите в моем эссе "Форново" в *"Очерках и этюдах по Италии"*.

15 июля Карл во главе своего небольшого отряда вошел в Асти и был практически в безопасности. Здесь молодой король продолжал демонстрировать свою слабость. Хотя он знал, что герцог Орлеанский находился в тяжелом положении в Новаре, он не предпринял никаких попыток помочь ему; он также не пытался использовать 20 000 швейцарцев, спустившихся со своих Альп, чтобы помочь ему в борьбе с лигой. Из Асти он переехал в Турин, где проводил время, флиртуя с Анной Солери, дочерью своего хозяина. Эта девушка была послана, чтобы обратиться к нему с заданной речью, и выполнила свою задачу, по словам старого свидетеля, "не дрогнув, не кашлянув, не плюнув и вообще не уступив". Ее чары задержали короля в Италии до 19 октября, когда он подписал договор в Верчелли с герцогом Миланским. В этот момент Карл мог бы держать Италию в своих руках. Его сил, усиленных неожиданным прибытием стольких швейцарцев и соединением с герцогом Орлеанским, было бы достаточно, чтобы сокрушить армию лиги и запугать фракцию Фердинанда в Неаполе. Однако Карл был так легкомыслен, а его придворные так нетерпеливы, что теперь он заботился только о быстром возвращении во Францию. Оставив за собой номинальное право использовать Геную в качестве военно-морской базы, он уступил этот город Лодовико Сфорца и утвердил его в спокойном владении своим герцогством. 22 октября он покинул Турин и вступил в свои владения через Альпы Дофине. Его знаменитое завоевание Италии уже считалось чудом прошлого, а его владычество над Неаполем превратилось в тень имени. Он не добился для себя ничего, кроме сиюминутной славы, в то время как навязал Франции опасную внешнюю политику, а Италии бремя кровопролитных войн в будущем.

Между первым вступлением Карла в Ломбардию и его возвращением во Францию прошло чуть больше года. Как и многие другие блестящие эпизоды истории, это завоевание, такое эффектное и такое эфемерное, было важнее как знак, чем как реальное событие. "Его кончина, - говорит Гвиччардини, - была причиной не только перемен в государствах, падения королевств, опустошения целых округов, разрушения городов, варварских резнь; но и появления новых обычаев, новых способов поведения, новых кровавых привычек ведения войны, болезней, доселе неизвестных. Организация, от которой зависели мир и гармония в Италии, была настолько расстроена, что с тех пор другие иностранные нации и варварские армии могли топтать ее ногами и опустошать по своему усмотрению." Единственной ошибкой Гвиччардини является предположение, что это праздничная экскурсия Карла VIII. был ли в каком-либо глубоком смысле причиной этих бедствий.[1] По правде говоря, французское вторжение открыло новую эру для итальянцев, но только в том смысле, в каком театрализованное представление может служить прелюдией к трагедии. Каждый монарх Европы, ослепленный великолепным выступлением Карла и забывший о его незначительных результатах, начал жадными глазами взирать на богатства полуострова. Швейцарцы нашли в этих богатых

провинциях неисчерпаемое поле для грабежей. Немцы, под предлогом религиозного рвения, дали волю своим животным аппетитам в метрополии Христианского мира. Франция и Испания сошлись в смертельной дуэли за обладание столь прекрасной добычей. Французы, обезумевшие от простой алчности, упустили те шансы, которые давала им добрая воля расы в целом.^[2] Людовик XII. запутался в мелких интригах, благодаря которым в конце концов ослабил собственное дело к выгоде Борджиа и Австрии. Франциск I. рассеял свои силы, как иссякшую волну, в Мариньяно и Павии. Настоящим завоевателем Италии был Карл V. Италии в шестнадцатом веке было суждено испытать на себе влияние испанского духа и понести иго австрийских герцогов. Рука об руку с политическим деспотизмом шествовала религиозная тирания. Контрреформация, которой руководила инквизиция, была неотъемлемой частью испанской политики по порабощению нации в не меньшей степени, чем по восстановлению Церкви. Тем временем слабость, раздоры, эгоизм и коррупция, которые помешали итальянцам оказать сопротивление французскому вторжению в 1494 году, продолжали нарастать. Вместо того чтобы учиться на собственном опыте, папы, князья и Республики соперничали друг с другом, призывая чужаков, натравливая испанцев на французов и платя немцам за изгнание швейцарцев, не обращая внимания на то, что каждая новая армия иностранцев, которую они призывали, на самом деле была новым роем всепожирающей саранчи. Посреди этой анархии смешно слышать пронзительные голоса священников, таких как Юлий и Лев, провозглашающих перед Богом свои клятвы избавить Италию от варваров. Неразбериха усилилась десятикратно, когда старые фракции гвельфов и гибеллинов облачились в новые одежды французской и испанской партийности. Город сражался с городом, семья с семьей на стороне чужаков, которым они должны были противостоять единой волей и непоколебимой ненавистью. Очарование страха и любовь к новизне в равной степени влияли на непостоянное население итальянских городов. Иностранные солдаты, нанесяшие нации такие жестокие увечья, устроили грандиозное шоу на ее улицах, и всегда найдется толпа, настолько инфантильная, что жаждет зрелищ в ущерб свободе и даже безопасности.

^[1] *"Dialogo del Reggimento di Firenze" Гвиччардини (Соч. Ined. том ii, стр. 94)* с удивительной остротой описывает состояние внутренней анархии и внешнего насилия, последовавших за уходом Карла VIII. "Se per sorte l'uno Oltramontano caccera l'altro, Italia resterà in estrema servitù" - точное пророчество о том, что произошло до конца шестнадцатого века, когда Испания победила Францию в поединке за Италию.

^[2] Матараццо в своей книге *"Кронака делла Читта ди Перуджа"* (Арх. Св., том xvi, часть 2, стр. 23) дает живую картину того рвения, с которым французы были встречены в 1495 году, и бессмысленной жестокости, которой они вскоре оттолкнули народ. In this he agrees almost textually with De Comines, who writes: 'Le peuple nous advouoit comme Saints, estimans en nous toute foy et bonté; mais ce propos ne leur dura gueres, tant pour nostre desordre et pillerie, et qu'aussi les ennemis oppreschoient le peuple en tous quartiers,' etc., lib. vii. cap. 6. В первом абзаце *Венецианской хроники* (Muratori, vol. xxlv. стр. 5), мы читаем о пришествии Карла: "Я пополи тутти дичевано *Benedictus qui venit in nomine Domini*. Не верьте алькуно, что вы обладаете силой контраста, не сопротивляйтесь, эпоха танта да тутти и пополи итальяни кьямато." Флорентийцы, как бюргеры города гвельфов, всегда были верны французам. Кроме того, их торговля с Францией (например, богатство Филиппо Строцци) отвечала их интересам в пользу французов. См. Guicci. i. 2, стр. 62. Эта лояльность переросла в энтузиазм под влиянием Савонаролы, пережившего глупости Карла VIII. и Людовик XII., и подтолкнул флорентийцев в 1328 году к опасной политике ожидания помощи от Франциска I.

Таким образом, вторжение Карла VIII, несмотря на его преходящий характер, было великим фактом в истории Возрождения. Это было, пользуясь многозначительным выражением Мишле, не что иное, как откровение Италии народам Севера. Подобно урагану, пронсящему над лесом цветущих деревьев и несущему их оплодотворяющую пыльцу, после того как он сломал и лишил девственности их ветви, к далеким деревьям, которые до сих пор цвели в бесплодии, буря армии Карла разнесла далеко по Европе пыль мыслей, незаметную, но способную обогатить народы. Только французы, говорит Мишле, понимали Италию. Каким ужасным было бы завоевание турками с их варварством, испанцами с их инквизицией, немцами с их жестокостью! Но Франция, впечатлительная, отзывчивая, жаждущая удовольствий, щедрая, дружелюбная и тщеславная, была способна понять итальянский дух. От итальянцев французы передали остальной Европе то, что мы называем движением Возрождения. В этом панегирике Мишле есть доля правды. Прохождение армии Карла VIII знаменует собой поворотный момент в современной истории, и с этой эпохи начинается распространение духа культуры по Европе. Но Мишле забывает заметить, что французы никогда правильно не понимали своего призвания в отношении Италии. В их силах было воспитать тот свободный дух, который мог бы превратить ее в нацию, способную совместно с Францией противостоять Карлу V. Вместо этого они проводили самую мелочную политику алчности и эгоизма. Они также не предотвратили испанское завоевание, ужасы которого так красноречиво описал их историк. Опять же, мы должны помнить, что именно испанцы, а не французы спасли Италию от турецкого варварства.

Для историка Италии печально и унизительно признавать, что ее судьба полностью зависела от действий более могущественных наций, что она была инертна и беспомощна по усмотрению победителя в поединках между Испанией и Францией, Испанией и исламом. И все же это правда. Похоже, что те народы, которым мы в основном обязаны достижениями в искусстве и знаниях, часто являются пленниками своих интеллектуальных низов. Их духовное превосходство приобретается за счет политической прочности и национального процветания. Так было в Греции, Иудее и Италии. Цивилизация итальянцев, намного опережавшая другие европейские нации, нервировала их в конфликте с сильными варварскими расами. Литература, искусства и светская жизнь были их славой. "Ленивые принцы и самое презренное оружие" стали их гибелью. Кто скажет, не был бы Ренессанс современного мира еще более блестящим, если бы Италия оставалась свободной? Сами условия, породившие ее культуру, по-видимому, сделали это невозможным.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Кровавое безумие. См. Главу iii, стр. 109.

Одним из самых ярких примеров хеомании у тирана, представленных историей, является Ибрагим ибн Ахмед, принц Африки и Сицилии (875 г. н.э.). Этот человек, помимо того, что проявлял особую жестокость в обращении с врагами и военнопленными, получал удовольствие от совершения ужасных убийств в стенах своего собственного дворца. Его астрологи однажды

предсказали, что он умрет от рук "мелкого убийцы", и он перебил всю свиту своих пажей и заполнил их места отрядом негров, с которыми он продолжал обращаться таким же образом. В другой раз, когда один из его трехсот евнухов случайно стал свидетелем пьянства тирана, Ибрагим перебил всю шайку. Опять же, говорят, что он положил конец шестидесяти юношам, изначально отобраным для его утех, сжигая их группами по пять или шесть человек в печи или задушив в жарких камерах своих бань. Восемь его братьев были убиты в его присутствии; и когда один из них, который был настолько болен, что едва мог пошевелиться, умолял позволить ему спокойно закончить свои дни, Ибрагим ответил: "Я не делаю исключений". Его собственный сын Абуль-Аглаб был обезглавлен по его приказу у него на глазах; а казни камергеров, секретарей, министров и придворных были обычным делом. Но его самая яростная ярость была направлена против женщин. Похоже, он мрачно завидовал продолжению рода человеческого. Жен и наложниц душили, распиливали на части и хоронили заживо, если у них проявлялись признаки беременности. Его дети женского пола были убиты, как только увидели свет; шестнадцать из них, которых его матери удалось спрятать и вырастить на свой страх и риск, были убиты на месте, когда Ибрагим обнаружил, кого они считали отцом. Современные арабские хронисты, размышляя о жестоких и мрачных страстях этого человека, пришли к выводу, что он был подвержен странной болезни - зловещему выделению черной желчи, вызывающей меланхолию, которая толкала его на чудовищные преступления. Принцип, на котором был основан этот диагноз в его случае, также не кажется необоснованным. Ибрагим был великим полководцем, способным правителем, человеком твердой и непоколебимой цели; а не слабым и безрезультатным распутником, которого жажда крови и разврата поставила ниже уровня грубых зверей. Когда пришло время его отречения, он сбросил с себя государственную мантию и облачился в убогую одежду арабского приверженца, проповедовал крестовый поход и повел армию в Италию, где умер от дизентерии у города Козенца. Единственный способ объяснить его эксцентричную жажду убийства - предположить, что это была темная мономания, форма психопатии, аналогичная той, которую мы находим у маршала де Реца и маркизы де Бринвилье. Одним из наиболее заметных симптомов этой болезни было любопытство, которое заставляло его исследовать внутренности своих жертв и любоваться их трепещущими сердцами. После того, как он забил до смерти своего первого министра Ибн-Семсаму, он вскрыл его тело и его собственным ножом пронзил сердце храбреца. В другом случае к нему привели 500 заключенных. Схватив острое копье, он сначала исследовал область ребер, а затем вонзил острие копья в сердце каждой жертвы по очереди. Гирлянда из этих сердечек была сделана и вывешена на воротах Туниса. Арабы считали сердцеместищем мысли в человеке, тронем воли, центром интеллектуального существования. Таким образом, в этой озабоченности сердцами своих жертв мы можем проследить зависть к человеческой жизни, которую Ибрагим проявил, убивая беременных женщин, а также ярость тирана по отношению к органу, который поддерживал его врагов в их сопротивлении. Мы можем понять сочетание кровожадной похоти с энергичным ведением Ибрагимом гражданских и военных дел, только исходя из гипотезы, что этот человек-тигр, как называет его Амари, которому я обязан этими подробностями, был одержим особым безумием.

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Nardi, Istorie di Firenze, lib. i. cap. 4. См. Главу iv. стр. 195.

После свободы, восстановленной изгнанием герцога Афинского и унижением знати, можно было ожидать упорядоченности в правительстве на будущее, поскольку вследствие этих волнений было установлено очень большое равенство среди бюргеров. Город тоже был разделен на кварталы, и верховная магистратура республики была возложена на восемь приоров, называемых *синьорами Приори ди либерта*, вместе с гонфалоньером юстиции. Были избраны восемь приоров, по два от каждой четверти; гонфалоньер, их глава, ничем не отличался от своих коллег, кроме превосходства в достоинстве; и поскольку четвертая часть почестей принадлежала представителям меньших искусств, их очередь все время доходила до той четверти, к которой принадлежал гонфалоньер. Эта магистратура оставалась там целых два месяца, постоянно живя и ночуя во Дворце; для того, чтобы, согласно представлениям наших предков, они могли с большим усердием заниматься делами государства совместно со своими коллегами, которыми были шестнадцать гонфалоньеров народных обществ и двенадцать *buoni uomini*, или особых советников синьории. Эти магистраты, объединенные в один орган, назывались Коллегией, или же Синьорией и Коллегами. После этой магистратуры появился Сенат, численность которого менялась, а название менялось несколько раз вплоть до 1494 года, в зависимости от обстоятельств. Более крупных советов, в обязанности которых входило обсуждение и принятие законов и всех положений, как общих, так и частных, было до этой даты два; один назывался народным советом и формировался только *читтадини пополани*, а другой - Советом коммуны, потому что с момента образования этих советов в него входили как дворяне, так и плебеи.^[1] Назначение магистратов, которое в старые времена и при лучших и наиболее справедливых правительствах производилось по случаю каждых выборов, в этот более современный период было передано специальному совету под названием *Сквиттино*.^[2] Способ и действие выборов были названы *Squittinare*, что эквивалентно *Scrutinium* на латинском языке, поскольку было проведено тщательное расследование качеств граждан, имеющих право голоса. Этот метод, однако, имел тенденцию сильно портить хорошие манеры города, поскольку упомянутая проверка проводилась каждые три или пять лет, а не каждый раз, как было бы правильно, учитывая нынешнее качество бюргеров и тяжелые времена, те, кто однажды получил свое назначение и был помещен в кошельки назначенных для этого лиц, будучи уверенными, что когда-нибудь достигнут почестей и должностей, для которых они были предназначены, стали небрежно относиться к хорошим обычаям в своей жизни. Надлежащая функция гонфалоньеров заключалась в том, чтобы совместно со своими Гонфалонами и ротами с оружием в руках защищать город от опасностей внешних и гражданских, когда возникала такая возможность, и контролировать пожарную охрану, специально назначенную этой магистратурой на четырех удобных постах. Все законы и положения, как частные, так и публичные, предложенные Синьорией, должны были быть одобрены и проведены в жизнь этой Коллегией, затем Сенатом и, наконец, Советами, названными выше. Несмотря на это правило, все важное, относящееся к государству, обсуждалось и приводилось в исполнение в течение всего времени, пока Медичи управляли городом с помощью Совета, вульгарно называемого *Balia*, состоящего из людей, преданных этому правительству. В то время как Медичи находились у власти, магистратура *Dieci della Guerra* или Свободы и мира была заменена *Отто делла Пратика* в ведении всего, что касалось войн, перемирий и мирных договоров, повинуюсь воле главных агентов этого правительства. *Отто ди гуардиа и балия* тогда, как и сейчас, были

делегированы криминальному бизнесу, но они назначались так называемым Советом Балии, или, скорее, такие полномочия и поручения были предоставлены им синьорией, и впоследствии это использование было продолжено после их вступления в должность. Пусть этого будет достаточно в этих вопросах. Итак, бюргеры, имеющие право обсуждать и определять дела республики, назывались и до сих пор называются привилегированными, *beneficiati* или *statuali*, обладающими тем качеством и состоянием, к которым, согласно законам нашего города, принадлежит правительство; другими словами, они имеют право занимать должности, в отличие от тех, кто не имеет этой привилегии. Следовательно, *бенефициати* и *статуэтки* Флоренции соответствуют *джентилуomini* Венеции. Среди этих бюргеров насчитывалось около 400 семей или домов, но в разное время их число было больше, и до чумы 1527 года они составляли в общей сложности около 4000 граждан, имеющих право на получение титула Великого консильо. В период свободы между 1494 и 1512 годами другие или непривилегированные граждане могли быть возведены в этот ранг предоставления избирательных прав в соответствии с тем, насколько они были признаны Советом достойными: в настоящее время они получают такое же отличие за те заслуги, которые могут быть приятны правителю города на данный момент: наше содружество с 1433 года управлялось в соответствии с волей своих собственных граждан, хотя одна фракция время от времени одерживала верх над другой, и хотя до этой даты республика была огорчена и потрясена разделением, которые затронули всю страну. Италией и многими другими, которые скорее следует рассматривать как подстрекательство к мятежу, свойственное и естественное для свободных городов. Видя, что люди с помощью добрых и злых искусств в сочетании всегда стремятся достичь вершины человеческих дел, а также благодаря благосклонности фортуны, которая всегда настаивает на своем участии в наших действиях.

[1] Лоренцо Медичи заменил эти два совета Советом Семидесяти, не подавив их, однако.

[2] Искажение *Scrutinio*.

Varchi: Storia Fiorentina, lib. iii. колпачку. 20, 21, 22.

Весь город Флоренция разделен на четыре квартала, первый из которых занимает всю ту часть, которая сейчас называется За Арно, и главная церковь округа дает ей название Санто-Спирито. Остальные три, которые охватывают все, что называется по эту сторону Арно, также получили свои названия от своих главных церквей и являются Кварталами штата. Кроце, Ста. Мария Новелла и Сан-Джованни. Каждая из этих четырех четвертей разделена на четыре знамени, названных в честь различных животных или других предметов, которые они носят, нарисованных на их эмблемах. Квартал Санто-Спирито включает в себя гербы Лестницы, Раковины, Хлыста и Дракона; Санта-Кроче - Машины, Быка, Золотого Льва и Колеса; Санта-Мария-Новелла - Гадюки, Единорога, Красного Льва и Белого Льва; Сан-Джованни - Черного Льва, Дракона, Ключей и Ваира. Теперь все домашние хозяйства и семьи Флоренции включены и классифицированы по этим четырем кварталам и шестнадцати хоругвям, так что нет ни одного флорентийского бюргера, который не занимал бы место в одном из четырех кварталов и одним из шестнадцати хоругвей. У каждого гонфалона был свой знаменосец, который нес знамя подобно капитанам отрядов; и их главной обязанностью было бежать с оружием в руках всякий раз, когда их призывал гонфалоньер Правосудия, и защищать, каждый под своим знаменем, дворец Синьории, и сражаться за свободу народа; поэтому их называли Гонфалоньерами

народных отрядов, или, короче, по их числу - Шестнадцатью. Теперь, поскольку они никогда не собирались одни, видя, что они не могут предложить или провести какое-либо мероприятие без Синьории, их также называли Коллегами, то есть спутниками Синьории, и их титул был почетным. Это, после синьории, была первая и самая почетная магистратура Флоренции; а за ними последовали Двенадцать Буонуomini, также называемых, по той же причине, Коллегами. Таким образом, Синьория с Гонфалоньером Правосудия, Шестнадцатью и Двенадцатью были названы Тремя Великими. Говорилось, что ни один человек не имел права (*avere stato*) и, следовательно, не мог часто посещать совет или занимать какую-либо должность, чей дед или отец не занимал (*seduto o veduto*) ни одной из этих трех магистратур или не был выдан за нее. Быть принятым (*veduto*) Гонфалоньером или Коллегой означало следующее: когда имя человека извлекалось из кошелька Гонфалоньеров или Коллегии для занятия должности Гонфалоньера или Коллеги, но по причине того, что он не достиг установленного законом возраста, или по какой-либо другой причине, он сам никогда не входил в Совет или фактически не был гонфалоньером или коллегой, тогда говорили, что он был принят; и это касалось всех других магистратур города.

Следует также знать, что все флорентийские бюргеры были обязаны владеть одним из двадцати одного искусства: то есть никто не мог быть флорентийским бюргером, если он или его предки не были одобрены и зачислены в одно из этих искусств, независимо от того, практиковали они это или нет. Без подтверждения такого аттестата зрелости он не мог быть выдвинут ни на какую должность, или занимать какую-либо должность магистратуры, или даже получить свое имя в паспорте. Искусства были таковы: i. Судьи и нотариусы (ибо доктора права издревле именовались во Флоренции судьями); Торговцы, или Ремесла; ii. Калимала,^[1] iii. Биржа, iv. Шерсть; Порта Санта Мария, или Искусство; v. Шелк; vi. Врачи и аптекари; vii. Скорняки. Остальные были viii. Мясники, ix. Сапожники, x. Кузнецы, xi. Портные и портнихи, xii. Мастера, или каменщики, и камнерезы, xiii. Виноделы, xiv. Владельцы гостиниц, xv. Продавцы масла, мясники свинины и канатоходцы, xvi. Чулочно-носочные изделия, xvii. Оружейники, xviii. Слесари, xix. Шорники, xx. Плотники, XXI. Пекари. Последние четырнадцать назывались Малыми искусствами; тот, кто был зачислен в одно из них, считался приравненным к малому (*andare per la minore*); и хотя во Флоренции было много других ремесел, кроме этих, но, не имея собственной гильдии, они были связаны с тем или иным из тех, что я назвал. У каждого мастера, как можно видеть до сих пор, был дом или усадьба, большие и благородные, где они собирались, назначали должностных лиц и отчитывались по дебету и кредиту перед всеми членами гильдии.^[2] На процессиях и других общественных собраниях главы (так назывались вожди нескольких искусств) имели свое место и очередность. Более того, каждое из этих искусств поначалу имело свое знамя для защиты, при случае, свободы с оружием в руках. Их происхождение произошло, когда народ в 1282 году победил дворян (*Гранди*) и принял против них Законы о правосудии, согласно которым ни один дворянин не мог занимать какую-либо должность; так что те из патрициев, кто желал занять какую-либо должность, должны были вступить в ряды народа, как это делали многие знатные дома, и поступить в одно из искусств. Это обстоятельство, хотя и отчасти уняло гражданскую вражду во Флоренции, почти полностью погасило все благородные чувства в душах флорентийцев; и могущество и надменность города уменьшились не меньше, чем наглость и гордыня знати, которые с тех пор никогда больше не поднимали своих голов. Эти искусства, как великие, так и второстепенные, в разное время варьировались по численности; и часто были не только соперниками, но даже врагами между собой; настолько, что второстепенные искусства однажды добились того, что гонфалоньер

должен назначаться только из их числа. Тем не менее, после долгих споров было окончательно решено, что гонфалоньер не может быть выбран из числа младших, но что он всегда должен быть в одном ряду с высшим, и что во всех других должностях и магистратурах у младшего всегда должен быть четвертый и не более. Следовательно, из восьми приоров двое всегда были младшими; из двенадцати - трое; из шестнадцати - четверо; и так далее по всем магистратурам.

[1] Название Калимала было дано торговле тканями, которую вели во Флоренции торговцы, которые покупали грубые товары во Франции, Фландрии и Англии и изготавливали из них более тонкие материалы.

[2] Марко Фоскари, цитируемый ниже, оценивает собственность the Arts в 200 000 дукатов.

Как следствие из сказанного, легко понять, что все жители Флоренции (под жителями я подразумеваю только тех, кто действительно там поселился, ибо о чужеземцах, которые проезжают или гостят некоторое время, нам нет необходимости принимать здесь во внимание) бывают двух видов. Первый класс подлежит налогообложению во Флоренции, то есть они платят десятину со своих товаров и вносятся в книги Коммуны, и они называются вкладчиками. Остальные не облагаются налогами и не вносятся в реестры Коммуны, поскольку они не платят десятину или другие обычные сборы; и они называются неплатежеспособными: которые, видя, что они живут своими руками и занимаются механическими искусствами и самыми гнусными промыслами, должны называться плебеями; и хотя они не раз правили Флоренцией, им не следует даже думать об общественных делах в хорошо управляемом государстве. Вкладчики бывают двух видов: некоторые, хотя и платят налоги, не имеют гражданства (*т.е.* Не могут посещать совет или занимать какие-либо должности); либо потому, что никто из их предков, и в частности их отец или дедушка, не баллотировался ни на одну из трех высших магистратур; либо потому, что они не подвергались тщательному изучению,[1] или, если они продвинулись до сих пор, не были утверждены и выдвинуты на этот пост. Это действительно полноправные граждане; но тот, кто знает, что такое гражданин на самом деле, знает также, что, будучи неспособными разделить ни почести, ни преимущества города, они не являются настоящими гражданами; поэтому давайте назовем их бюргерами без права голоса. Те, кто платит налоги и пользуется гражданством (которых мы поэтому будем называть наделенными гражданскими правами бюргерами), также бывают двух видов. Говорят, что один класс, записанный и зачисленный в одно из семи первых искусств, стоит в одном ряду с высшими; отсюда мы можем называть их Бюргерами Большого; другие, записанные и зачисленные в четырнадцать меньших искусств, как говорят, стоят в одном ряду с меньшими; отсюда мы можем называть их бюргерами Меньшего. Это различие было у римлян, но не по той же причине.

Варчи: История Фиорентины, библиотека ix. главы. 48, 49, 46.

Что касается природных способностей, я, со своей стороны, не могу поверить, чтобы кто-нибудь мог или должен был сомневаться в том, что флорентийцы, даже если они и не превосходят все другие нации, то, по крайней мере, никому не уступают в тех вещах, которым отдают свой ум. В торговле, на которой, по правде говоря, основан их город и где главным образом осуществляется их промышленность, они всегда считались и до сих пор считаются не менее

надежными и правдивыми, чем великими и благоразумными: но, помимо торговли, ясно, что три самых благородных искусства живописи, скульптуры и архитектуры достигли той степени высшего совершенства, в которой мы находим их сейчас, главным образом благодаря труду и мастерству флорентийцев, которые украсили не только свой собственный город, но и очень многие другие, с великой славой и немалой выгодой для себя и своей страны. И, видя, что страх прослыть льстецом не должен мешать мне свидетельствовать правду, хотя это обернется к высочайшей славе и почести моих господ и покровителей, я говорю, что вся Италия, нет, весь мир, обязаны исключительно рассудительности и великодушию Медичи тем, что греческая письменность не была уничтожена к великому ущербу для рода человеческого и что латинская литература была восстановлена к неисчислимой выгоде всех людей.

[1] Объяснение *Squittino* и *Squittinare* см. Nardi, стр. 593 выше.

Я полностью придерживаюсь мнения, противоположного мнению некоторых, которые, поскольку флорентийцы - торговцы, считают их не благородными и не вспыльчивыми, а ручными и низкими. [1] О, наоборот, я часто спрашивал себя, как это может быть, что мужчины, которые были использованы с детства вверх за ничтожную прибыль таскать тюки с шерстью и корзины из шелка, как грузчики, и стоять, как рабы, весь день и большую часть ночи за ткацким станком, могли вызвать, когда и где было нужно, такое величие души, такую высокую и надменные мысли, что у них есть ум и сердце, чтобы говорить и делать те многие благородные вещи, мы знаем их. Размышляя над причинами этого, я не нахожу ничего более верного, чем то, что флорентийский климат, расположенный между прекрасным воздухом Ареццо и густым воздухом Пизы, вселяет в их сердца тот темперамент, о котором я говорил. И тот, кто хорошо изучит природу и обычаи флорентийцев, обнаружит, что они от рождения более склонны повелевать, чем подчиняться. Трудно поверить и в то, как много принесло молодежи Флоренции учреждение ополчения; ибо, в то время как многие молодые люди, не обращая внимания на государство и не заботясь о самих себе, проводили весь день в праздности, слоняясь по общественным местам отдыха, препираясь друг с другом или сплетничая о прохожих, они немедленно, подобно животным, по милости какой-то великодушной Цирцеи превращенным снова в людей, отдали все свое сердце и душу, невзирая на опасности или потери, завоеванию славы и почестей для себя, а также свободы и безопасности для своей страны. Тем, что я сказал, я не хочу отрицать, что среди флорентийцев можно встретить людей гордых, честолюбивых и жадных до наживы; ибо пороки будут существовать до тех пор, пока существует человеческая природа; нет, скорее, неблагодарные, завистливые, злобные и злонамеренные среди них таковы в высшей степени, точно как добродетельные в высшей степени добродетельны. Действительно, общеизвестно, что флорентийские мозги в любом случае ничего не значат; дураки чрезвычайно просты, а мудрые - чрезвычайно благоразумны.

[1] Сравните, однако, процитированный выше Варчи, стр. 243. Отчет Марко Фоскари, *Relazioni Venete*, серия ii, том i, стр. 9 и последующие, содержит замечательную оценку флорентийского характера. He attributes the timidity and weakness which he observes in the Florentines to their mercantile habits, and notices, precisely what Varchi here observes with admiration: 'li primi che governano lo stato vanno alle loro botteghe di seta, e gittati li lembi del mantello sopra le spalle, pongonsi alia caviglia e lavorano pubblicamente che ognuno li vede; ed i figliuoli loro stanno in bottega con li grembiuli dinanzi, e portano il sacco e le sporte alle maestre con la seta e fanno gli altri esercizi di bottega.' A strong aristocratic prejudice transpires in every line. Этот отчет был написан в начале 1527 года. События осады, должно быть, удивили Марко Фоскари. Среди прочего, как источник

слабости, он обращает внимание на загородные виллы, которые в течение нескольких месяцев были разрушены их армиями ради общественного блага.

Их образ жизни прост и бережлив, но удивительно и невероятно чист и опрятен; и можно с уверенностью сказать, что ремесленники живут во Флоренции даже лучше, чем сами горожане: в то время как первые переходят из таверны в таверну, в зависимости от того, где они находят хорошее вино, и думают только о радостной жизни; вторые в своих домах, с бережливостью торговцев, которые по большей части зарабатывают, но не тратят деньги, или с умеренностью аккуратных бюргеров, никогда не превышают посредственности. Тем не менее, есть семьи, которые не испытывают недостатка в роскоши и живут как аристократы, такие как Антинори, Бартолини, Торнабуони, Пацци, Боргерини, Гадди, Ручеллаи, а среди Сальвиати - Пьеро д'Аламанно и Аламанно д'Якопо и некоторые другие. Во Флоренции каждый из них называется его имя или фамилию, и общего пользования, если не будет какого-либо заметного различия по рангу или возрасту, сказать *ты*, а не *вы*; только для рыцарей, докторов, и *prebendaries* название *мессере* допускается; врачам, что из - *маэстро*, чтобы монахине, и монахов *падре*. Верно ли, однако, то, что с тех пор, как во Флоренции появился двор, сначала Джулио, кардинала Медичи, затем кардинала Кортонского, который пользовался большей распущенностью, чем первый, нравы города стали более утонченными — или, лучше сказать, более порочными?

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Персонаж Александра VI из рассказа Гвиччардини "Фиорентина", кап. 27. См. Главу vii. стр. 412 выше.

Так умер папа Александр на пике славы и процветания; о нем должно быть известно, что он был человеком величайшей силы, великого суждения и духа, о чем свидетельствовали его поступки и поведение. Но поскольку его первое восшествие на папский престол было грязным и позорным, поскольку он купил за золото столь высокое положение, точно так же его правительство не было несогласно с этим низменным фундаментом. В нем были, причем в полной мере, все пороки как плоти, так и духа; и невозможно было представить себе в церковном устройстве столь плохое правило, если бы он не приводил его в действие. Он был наиболее чувственен по отношению к обоим полам, публично выставляя напоказ женщин и мальчиков, но особенно по отношению к женщинам; и настолько превзошел все меры, что общественное мнение решило, что он знал мадонну Лукрецию, свою родную дочь, к которой питал самую нежную и безграничную любовь. Он был чрезвычайно скуп, не в сохранении того, что приобрел, а в приобретении нового богатства; и там, где он видел способ вытянуть деньги, у него не было никакого уважения; в его дни продавались, как на аукционе, все бенефиции, разрешения, помилования, епископства, кардиналы и все придворные почести; для решения этих вопросов он назначил двух или трех человек, посвященных в его мысли, чрезвычайно осмотрительных, которые отдавали их тому, кто больше заплатит. Он стал причиной смерти от яда многих кардиналов и прелатов, даже был богат благотворительностью и, как считается, много копил с целью завладеть их богатством. Его жестокость была велика, поскольку по его указанию многие были преданы насильственной смерти; не была меньшей и неблагодарность, с которой он стал причиной разорения Сфорцески и Колонези, благодаря благосклонности

которых он приобрел папство. В нем не было ни религии, ни чувства долга: он щедро обещал все, но не придерживался ничего, кроме того, что было полезно для него самого: не заботился о справедливости, поскольку в его дни Рим был подобен логову воров и убийц; его честолюбие было безграничным и таким, что оно росло в той же мере, в какой росло его состояние; тем не менее, его грехи не понесли должного наказания в этом мире, он был до конца своих дней самым процветающим. Будучи молодым и еще почти мальчиком, имея своим дядей Каликста, он был назначен кардиналом, а затем вице-канцлером; на этом высоком посту он оставался до своего папства, с большим доходом, доброй славой и миром. Став папой, он сделал Чезаре, своего незаконнорожденного сына и епископа Пампелуны, кардиналом вопреки постановлениям и декретам Церкви, которые запрещают делать незаконнорожденных кардиналами даже с разрешения папы, поэтому он привел доказательства лжесвидетелей того, что он был рожден в законном браке. Впоследствии он сделал его мирянином и отнял у него кардинальский сан, и обратил его ум к созданию королевства; в чем ему повезло гораздо больше, чем он намеревался, и, начав с Рима, после уничтожения Орсини, Колонези, Савелли и тех баронов, которых прежние папы привыкли держать в страхе, он стал более полным хозяином Рима, чем когда-либо был какой-либо папа прежде. С величайшей легкостью он получил лордства Романью, Марку и герцогство; и, создав самое справедливое и могущественное государство, флорентийцы держали его в большом страхе, венецианцы - в зависти, а король Франции - в почете. Затем, собрав прекрасную армию, он показал, как велика мощь понтифика, когда у него есть доблестный генерал и тот, в кого он может верить. Наконец он дорос до того, что ему подсчитали перевес в войне Франции и Испании. Одним словом, он был более злым и более удачливым, чем когда-либо за многие века, возможно, ни один папа прежде не был.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

Религиозные возрождения в Средневековой Италии. См. Главу. viii. стр. 491 выше.

Было бы ненаучно смешивать события такого европейского значения, как основание орденов Святого Франциска и Святого Доминика, с рассматриваемыми явлениями. Тем не менее, можно отметить, что внезапный взлет и необычайное влияние нищенствующих и проповедников были в значительной степени обусловлены чувствительным и живым воображением итальянцев. Папы первой половины XIII века были достаточно проницательны, чтобы понять политическую и церковную важность движений, которые, как поначалу казалось, были обязаны своей силой простому фанатичному возрожденчеству. Они рассчитывали на чрезвычайно возбудимый темперамент итальянской нации и использовали францисканцев и доминиканцев в качестве своего ополчения в крестовом походе против Империи и еретиков. Опять же, необходимо отличать то, что было по сути национальным, от того, что было общим для всех европейцев в средние века. В каждой стране были свои кочующие орды флагеллантов и кающихся, свои крестоносцы и свои паломники. Огромное неустроенное население средневековой Европы, преследуемое непрекращающимся инстинктом миграции и охваченное властными религиозными устремлениями, наводняло берега Палестины потоком фанатиков за потоком. Полуголые дикари бродили, танцуя, стная и бичевая свою плоть, из города в город, под давлением полуживотных побуждений. Затем наступил период организованных паломничеств. Знаменитые святыни Европы — Рим, Компостелла, Монте-Гаргано, Кентербери - действовали

как громоотводы на бурную набожность средневековых народов, как сетоны на их перенасыщенное воображение. Во всех этих всеобщих движениях итальянцы внесли свою лепту: будучи более развитыми в цивилизации, чем северные народы, они обратили крестовые походы в коммерческие цели и сохраняли некоторую умеренность в *факирской* ярости своего благочестия. Таким образом, мы имеем дело не с общей историей религиозного энтузиазма в Средние века, а скорее с теми периодическими проявлениями возрожденчества, которые были характерны для итальянцев. Главные моменты, на которые следует обратить внимание, - это политическое влияние, приобретенное монахами в некоторых итальянских городах, проповедь мира и морального преобразования, паника или суеверный ужас, охватившие обширные районы, и личное влияние отшельников, не признанных Церковью, но, по мнению людей, вдохновленных Свыше.

Одной из самых колоритных фигур первой половины XIII века является монах-доминиканец Иоанн из Виченцы. Его орден, который был недавно основан, уже занимался преследованиями. Франция была охвачена резней альбигойцев, а в городе Милане дымились костры, когда этот монах взялся за благородную задачу умиротворения Ломбардии. В тот период каждый город на севере Италии был раздираем группировками гвельфов и гибеллинов; частные распри переплетались с политическими разногласиями; жестокая тирания Эццелино потрясла устои общества до основания. Казалось совершенно невозможным хоть на мгновение привести этот народ к согласию. И все же то, чего не смогли добиться папы и князя, достиг голос одного монаха. Иоанн из Виченцы начал свою проповедь в Болонье в 1233 году. Горожане и сельские жители окрестных районов стекались послушать его. С особым удивлением было замечено, что солдаты всех мастей поддавались магии его красноречия. Темами его выступлений неизменно были примирение и прощение обид. Главы соперничающих домов, которые на протяжении поколений вели наследственную вражду, встретились перед его кафедрой и поклялись отныне жить в дружбе. Даже магистраты умоляли его изучить устав их города и указать на любые изменения, с помощью которых можно было бы обеспечить мир в содружестве. Сделав все возможное для Болоньи, Иоанн отправился в Падую, где слава о его святости уже распространилась по всему миру. *Карроччо* из города, над которым развевался штандарт Падуи и который привел горожан ко многим кровопролитным сражениям, был выслан ему навстречу в Монселиче, и он с триумфом въехал в ворота. В Падуе те же призывы к миру привели к тем же результатам. Старая вражда была отброшена, и люди взялись за руки, которые часто поднимались в ожесточенных братских конфликтах. Тревизо, Фельтре, Белиуно, Конельяно и Романо, самые родовые гнезда мрачного вывода Эццелино, поддались этому очарованию. Верона, где скоро должны были воцариться Скаласы, Виченца, Мантуя и Брешиа - все отдали себя в распоряжение монаха и молили его изменить их конституцию. Но этого было недостаточно, чтобы восстановить мир в каждой отдельной общине, примирить дом с домом и искоренить страдания гражданской розни. Иоанн Виченцкий стремился объединить ломбардские города в единое целое. С этой целью он пригласил горожан всех городов, где он проповедовал, встретиться с ним на равнине Пакуара, в стране Верона. 28 августа было назначено днем проведения этого великого национального собрания. Согласно подсчетам Паризио ди Черета, на сцену вышли более четырехсот тысяч человек. Это множество включало население Вероны, Мантуи, Брешии, Падуи и Виченцы, собранное под их несколькими знаменами, вместе с контингентами, предоставленными Феррарой, Моденой, Реджо, Пармой и Болоньей. Собрание также не ограничивалось простыми людьми. Епископы этих процветающих городов, надменный маркиз Эсте, свирепый владыка Романо и патриарх

Аквилеи подчинились приглашению монаха. Там, на берегах Адидже, в пределах видимости Альп, Иоанн из Виченцы взошел на кафедру, которая была приготовлена для него, и произнес проповедь по тексту: *Pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis*. Ужасы войны и христианский долг примирения составили тему его проповеди, в конце которой он заставил лангобардов заключить торжественный союз дружбы, поклявшись в вечной гибели всем, кто осмелится его нарушить, и наложив проклятие на их посевы, виноградные лозы, скот и все, что у них было. Более того, он убедил маркиза Эсте взять в жены дочь Альберико да Романо. До этого момента Иоанн из Виченцы благородно использовал странную власть, которой обладал. Но его успех, похоже, вскружил ему голову. Вместо того чтобы ограничиться так хорошо начатым делом умиротворения, он теперь потребовал, чтобы его сделали сеньором Виченцы с титулами герцога и графа и чтобы он получил верховную власть в Вероне. Народ, считая его святым, с готовностью подчинился его желаниям; но одним из первых действий, которые он сделал, изменив уставы этих городов, было сожжение шестидесяти граждан Вероны, которых он сам осудил как еретиков. Падуанцы восстали против его тирании. Вынужденный прибегнуть к оружию, он был избит и посажен в тюрьму; а когда он был освобожден по заступничеству папы римского, он обнаружил, что его замечательный престиж уничтожен.^[1]

^[1] Наиболее интересные рассказы о фра Джованни да Виченца можно найти в Muratori, vol. viii., в Анналах Роландини и Герарда Мауриция.

Положение фра Якопо дель Буссоларо в Павии отличалось от положения фра Джованни да Виченца в Вероне. И все же начало его политической власти было почти таким же. Сын бедного коробейника из Павии, он рано принял обряд августинцев и приобрел репутацию святоши, ведя суровую жизнь отшельника. Случилось так, что в 1356 году начальство его ордена поручило ему произнести великопостные проповеди жителям Павии. "Затем, - цитирую Маттео Виллани, - Богу было угодно, чтобы этот монах сделал свои проповеди настолько приятными для всех людей, что их слава и преданность, которую они внушали, чудесным образом возросли. И он, видя скопление народа и веру, которую они ему внушали, начал обличать порок, и особенно ростовщичество, месть и дурное поведение женщин; и вслед за этим он начал выступать против беспорядочного господства тиранов; и за короткое время он научил женщин скромным манерам, а мужчин - отказу от ростовщичества и междоусобиц." Единственными гражданами Павии, которые устояли перед его красноречием, была семья Беккариа, которая в то время правила Павией как деспоты. Его самые энергичные обличения были направлены против их вымогательств и эксцессов. Поэтому они попытались убить его. Но народ дал ему телохранителя, и в конце концов он так сильно повлиял на бюргеров, что они изгнали дом Беккариа и установили республиканское правительство. В это время Висконти осаждали Павию: перевалы Тичино и По были заняты миланскими войсками, и город был переведен в состояние блокады. Фра Якопо собрал здоровых бюргеров, воодушевил их своим красноречием и повел в атаку на осаждающих. Они прорвали оборону лагеря осаждающих и восстановили свободу Павии. Однако то, что осталось от партии Беккариа, перешло к врагу и бросило всю тяжесть их влияния на чашу весов Висконти: так что в конце трехлетнего ожесточенного конфликта Павия была передана Галеаццо Висконти в 1359 году. Фра Якопо выдвинул городу самые выгодные условия, какие только мог, и не позаботился о том, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Завоеватели передали его высшим чинам своего ордена, и он умер в темницах монастыря в Верчелли. В его случае святость аскетической жизни и красноречие авторитетного проповедника покаяния были строго подчинены политическим целям в интересах республиканской свободы. Фра Якопо заслуживает того, чтобы его поставили в один

ряд с Савонаролой: как и Савонарола, он пал жертвой эгоистичных и безнравственных угнетателей своей страны. Как и в случае с Савонаролой, мы можем проследить связь, существовавшую в Италии между высоким уровнем морали и патриотическим героизмом.^[1]

^[1] Лучшими источниками о жизни и действиях фра Якопо являются Маттео Виллани, член королевской семьи. 8 и 9, и Петр Азариус в своей Хронике (Groevius, том ix.).

Сан-Бернардино да Масса возглавляет длинный список проповедников, которые, не принимая заметного участия в современной политике, посвятили всю свою энергию нравственному возрождению народа. Его жизнеописание, написанное Веспасиано да Бистиччи, является одним из самых ценных документов, которыми мы располагаем, по религиозной истории Италии первой половины XV века. Его родители, люди с хорошим состоянием, отправили его в раннем возрасте изучать каноническое право в Сиену. Они готовили его к прибыльной и важной должности в Церкви. Но, будучи еще юношей, он был охвачен глубоким убеждением в деградации своих соотечественников. Сознание греховности так тяготило его, что он продал все свое состояние, вступил в орден Святого Франциска и начал проповедовать против пороков, которые были вопиющими в больших итальянских городах. Проехав вдоль и поперек полуострова и покоров всех людей магией своего красноречия, он прибыл во Флоренцию. "Там, - говорит Веспасиано, - флорентиец, будучи по натуре действительно очень расположен к истине, поступил так, что изменил все государство и дал ему, можно сказать, второе рождение. И чтобы покончить с накладными волосами, которые носили женщины, азартными играми и другими предметами тщеславия, он велел воздвигнуть на площади Санта-Кроче что-то вроде большого ларька и велел всем, у кого были какие-либо из этих предметов тщеславия, разместить их там; что они и сделали; и он поджег их и сжег все целиком." Святой Бернардино неустанно проповедовал сорок два года во всех кварталах Италии и, наконец, умер, измученный усталостью и болезнями. "Во многих враждах и смертях людей он установил мир и устранил смертельную ненависть; и бесчисленных князей, которые враждовали до самой смерти, он примирил и восстановил спокойствие во многих городах и народах". Яркую картину метода, принятого Сан-Бернардино в его отношениях с этими городами, представляет нам Грациани, хронист Перуджи: "23 сентября 1425 года, в воскресенье, в соборе, насколько мы могли подсчитать, находилось более 3000 человек. Его проповедь была взята из Священного Писания, она обличала людей во всех пороках и грехах и учила христианской жизни. Затем он начал упрекать женщин за их краски и косметику, накладные волосы и тому подобные распутные обычаи; и точно так же мужчин за их карты и доски для игры в кости, маски, амулеты и талисманы: до такой степени, что в течение двух недель женщины отправили все свои накладные волосы и безделушки в монастырь Святого Франциска, а мужчины - кости, карты и тому подобное снаряжение в количестве многих партий. И 29 октября фра Бернардино собрал все эти дьявольские вещи на площади, где он воздвиг что-то вроде деревянного замка между фонтаном и дворцом епископа; и в него он сложил все упомянутые предметы и поджег их; и пожар был таким сильным, что никто не осмеливался приблизиться; и в огне сгорели вещи величайшей ценности, и так велика была спешка мужчин и женщин спастись от этого пожара, что многие погибли бы, если бы не быстрая помощь горожан. "Вместе с этим натиском на тщеславие, фра Бернардино соединил причины пожара. проповедь мира и дружелюбия. Примечательно, что, пока длилась его проповедь и продолжал звонить большой колокол Святого Лоренцо, ни один человек в городе Перуджа не мог быть схвачен или заключен в тюрьму.^[1]

[1] См. Веспасиано, *"Bute di Уомини Иллюстри"*, стр. 185-92. Graziani, *Archivio Storico*, vol. xvi. part i. pp. 313, 314.

Один и тот же город был ареной многих подобных демонстраций. В течение пятнадцатого века он пребывал в состоянии самых тяжелых внутренних раздоров из-за распрей его знатных семей. Грациани рассказывает о проповеди там фра Якопо делла Марки в 1445 году: по этому случаю между старыми врагами было заключено временное перемирие, в назидание бюргерам была сожжена ведьма, людей упрекали в экстравагантности в одежде, и у каждого ворот были назначены по два миротворца (*пачьери*). 22 марта, после прохождения этой дисциплины, вся Перуджа, казалось, раскаялась в своих грехах; но первая запись за 15 апреля - это убийство одного из членов семьи Раньери другим членом того же дома. Столь преходящими были последствия таких пробуждений.[1] Еще одна запись в *хронике* Грациани заслуживает внимания. Он описывает, как в 1448 году фра Роберто да Лечче (подобно Сан-Бернардино и фра Якопо делла Марке, францисканцу Ордена Посвящения) приехал проповедовать в январе. Ему было всего двадцать два года, но его слава была так велика, что он собрал на площади около 15 000 человек, чтобы послушать его. До сих пор, можно сказать мимоходом, показана каменная кафедра, с которой произносились эти проповеди. Она встроена в стену собора и возвышается над всей площадью. Роберто да Лечче начал с демонстрации распятия, которое тронуло публику до слез: "и плач, *Иисус мизерикордия!* это продолжалось около получаса. Затем он приказал выбрать четырех граждан для каждого ворот в качестве миротворцев". Далее у Грациани следует рассказ о театральном представлении, устроенном на ступенях собора. В Страстную пятницу монах собрал всех горожан и произнес проповедь; и когда настал момент воздвижения распятия, "из Сан-Лоренцо вышел Элисео ди Кристофоро, цирюльник из квартала Сан-Анджело, похожий на обнаженного Христа с крестом на плече и терновым венцом на голове, и его тело, казалось, было в синяках, как во время бичевания Христа". Люди были безмерно тронуты этим зрелищем. Они стонали и кричали, "*Мизерикордия!*" и многие монахи были обращены в монашество на месте. Наконец, 7 апреля фра Роберто попрощался с перуджийцами, восклицая на прощание: "*Пусть все будет по-хорошему!*"[2] Мы мельком видим того же фра Роберто да Лечче в Риме в 1482 году. Вражда знатных семейств делла Кроче и делла Валле бушевала тогда на улицах Рима. В ночь на 3 апреля они вступили в ожесточенное сражение по соседству с Пантеоном, к которому присоединились группировки Орсини и Колонны. Многие из сражавшихся были оставлены мертвыми перед дворцами Валленси; число раненых оценивалось по-разному, и весь Рим, казалось, был на грани гражданской войны. Роберто да Лечче, который привлекал на свои проповеди в Санта-Мария-сопра-Минерва множество прихожан, не только простых людей, но и римских прелатов, прервал свою речь в следующую пятницу и держал перед людьми изображение их распятого Спасителя, умоляя их заключить мир. Умоляя их, он плакал; и они тоже разразились рыданиями — яростные сторонники соперничающих группировок и мирские прелаты возвысили свой голос в согласии с монахом, тронувшим их сердца.[3] После фра Роберто следует упомянуть еще одного члена францисканского ордена почитания. Это был фра Джованни да Капистрано, о проповеди которого в Брешии в 1451 году мы получили подробный отчет. Он принес с собой великую славу за святость и красноречие, а также за чудесные исцеления, которые он совершал. 9 февраля настоятели города вместе с 300 самыми знатными бюргерами верхом и толпой пеших знатных дам вышли ему навстречу. Были приняты меры для развлечения его самого и 100 последователей за государственный счет. На следующее утро, за три часа до рассвета, на площади уже собралось более 10 000 человек, ожидавших проповедника. "Поэтому подумайте,

- говорится в "Хронике", - сколько их должно было быть днем! и обратите внимание на то, что они пришли не столько послушать его проповедь, сколько увидеть его самого. "Когда он пробирался сквозь толпу, его платье было почти разорвано на спине в клочья, и все пытались достать хоть что-нибудь."^[4]

[1] См. Грациани, стр. 565-68.

[2] Грациани, Стр. 597-601.

[3] См. Jacobus Volaterranus. Муратори, xxiii. стр. 126, 156, 167.

[4] См. *Историю Брешианы*. Muratori, xxi. 865.

> Не всегда требовалось вмешательство монаха, чтобы вызвать сильную религиозную панику в итальянских городах. После необычайно ожесточенных столкновений сами бюргеры часто пытались санкционировать свои временные перемирия торжественными обрядами и клятвами перед алтарем. Сиена, которая всегда была более обеспокоена гражданскими распрями, чем кто-либо из ее соседей, представила яркий пример этого обычая в 1494 году. Фракции Монти де Нове и дель Пополо бушевали; город был полон вражды и подозрений, и вся Италия была взбудоражена французским вторжением. Поэтому главам главных партий казалось целесообразным, чтобы все бюргеры принесли клятву мира. Рассказ Аллегретти о церемонии, которая состоялась глубокой ночью в прекрасном соборе Сиены, достоин перевода. Затем были зачитаны условия мира, которые заняли восемь страниц, вместе с клятвой самого ужасного рода, полной проклятий, отлучений от церкви, призывов ко злу, отказа от благ мирских и духовных, конфискации имущества, клятв и стольких других бед, что слышать это было ужасно; *et etiam* что *in articulo mortis* причастие не должно приводить к спасению, а скорее к проклятию тех, кто может нарушить указанные условия; настолько, что я, Аллегретто ди Нанни Аллегретти, присутствующий при этом, считает, что никогда не произносил и не слышал более ужасной клятвы. Затем нотариусы Нове и Пополо, по обе стороны от алтаря, записали имена всех граждан, которые поклялись на распятии, ибо с каждой стороны было по одному, и каждая пара из той и другой фракции поцеловалась; и зазвонили колокола, и во время принесения присяги органы и хор пели "*Te Deum laudamus*". Все это произошло между часом и двумя ночи, при зажженном множестве факелов. Теперь пусть Бог пожелает, чтобы это действительно был мир и безмятежность для всех граждан, в чем я сомневаюсь".^[1] Сомнение Аллегретти было слишком обоснованным. Сиена мало что выиграла от этих ужасных клятв и устрашающих церемоний. Два года спустя тот же хронист рассказывает, как считалось, что за пределами Латерских ворот пролился кровавый дождь и что святым людям являлись различные видения святых и призраки, возвещавшие о переменах в государстве и требовавшие публичной демонстрации покаяния. Каждый приход организовал процессию, и все по очереди шли, кто днем, кто ночью, распевая литании, избивая и бичевая себя, к собору, где ставили свечи; и "один выкупал пленников в качестве приношения, а другой выдавал девушку замуж".

В Болонье в 1457 году произошло аналогичное оживление по случаю вспышки чумы.

"Флагелланты ходили по городу, и когда они подошли к кресту, все они закричали громким голосом: *Мизерикордия! misericordia!* В течение восьми дней был строгий пост; мясники закрывали свои лавки". То, что следует в Хронике, комично: "*Meretrices ad concubita nullum admittebant*. Например, квад-дам жаждет признания в юности, депрехенса, али меретрисес ита иллиус нейтс нудас исправляет перкуссию, но излучает кровь".^[2] Феррара проявила подобную

преданность в 1496 году, но в еще большем масштабе. Примерно в это же время вся итальянская нация была охвачена паникой в связи с кончиной Карла VIII и изменениями в штатах и королевствах, которые предсказал Савонарола. Феррарезе, цитируя своего хрониста, ожидали, что "в этом году по всей Италии будут величайшие голод, война и нужда, которые когда-либо были с начала мира". Поэтому они постились, и "герцог Феррарский" постился вместе со всем своим двором. В то же время было издано воззвание против нецензурной брани, азартных игр и незаконных ремесел; и было предписано, чтобы евреи снова носили отвратительную желтую габардиновую одежду с буквой "О" на груди. В 1500 году эти указы были повторены. Положение Италии становилось все хуже и хуже: необходимо было осаждать святых еще более энергичными демонстрациями. Поэтому "герцог Эрколе д'Эсте, по известным ему веским причинам, и потому, что всегда полезно быть в хороших отношениях с Богом, постановил, что процессии в Ферраре должны совершаться каждые три дня со всем духовенством и примерно 4000 детьми или более в возрасте от двенадцати лет и старше, одетыми в белое, и каждый держит знамя с нарисованным Иисусом. Его светлость, его сыновья и братья следовали за этой процессией, а именно герцог верхом, потому что он не мог тогда идти пешком, а все остальные пешком, позади епископа." [3] В этой цитате сквозит определенная доля иронии, которая наводит на мысль, что хронист подозревал герцога в скрытых и, возможно, политических мотивах.

[1] См. Muratori, vol. xxiii. с. 839.

[2] *Летопись Бонониенсов*. Мур. xxiii. 890.

[3] *Дневник Феррарезе*. Мур. xxiv. стр. 17-386.

Иногда случалось, что зараза такой набожности распространялась из города в город; однажды, в 1399 году, она распространилась из Пьемонта по всей Италии. Эпидемия флагеллантов, о которой Джованни Виллани говорит в 1310 году (lib. viii. cap. 121), началась также в Пьемонте и распространилась по Генуэзской Ривьере. Флорентийские власти отказали этим фанатикам во въезде на свою территорию. В 1334 году Виллани упоминает еще одну вспышку той же набожности (lib. xi. cap. 23), которая была вызвана проповедью фра Вентурино да Бергамо. Кающиеся по этому случаю носили вместо значка голубя с оливковой ветвью. Они провели пятнадцать дней во Флоренции, бичевали себя перед алтарями доминиканских церквей и пировали по пятьсот человек за раз на площади Сан-Марино-Новелла. Корио в "*Истории Милана*" (стр. 281) дает интересный отчет об этих "белых кающихся", как их называли, в 1399 году: "Множество мужчин, женщин, девочек, мальчиков, малых и знатных, горожан и деревенских жителей, знати и бюргеров, мирян и духовенства, босых и одетых в белые простыни с головы до ног", последовательно посещали города и деревни каждого округа. "По пути, когда они подходили к перекрестку или к крестам, они бросались на землю, трижды восклицая "*Мизерикордия*"; затем они читали Молитву Господню и "Аве Мария". Входя в город, они шли, распевая *Stabat Mater dolorosa* и другие литании и молитвы. Население мест, в которые они пришли, разделилось: некоторые вышли и сказали тем, кто остался, что они должны принять тот же обычай, так что в одно время их было до 10 000, а в другое - до 15 000 человек ". Признав, что плодом этой набожности во многих случаях было раскаяние, дружелюбие и раздача милостыни, Корио продолжает наблюдать: "Однако после того, как все закончилось, люди вернулись к худшей жизни, чем когда-либо ". Примечательно, что Италия была опустошена в 1400 году ужасной чумой; и невозможно не поверить, что результатом этой

набожности было покаяние, дружелюбие и раздача милостыни ". скопление такого количества кающихся на дорогах и в городах привело к такому результату.

Во время анархии в Италии между 1494 годом — датой вторжения Карла VIII. — и 1527 годом — датой разграбления Рима - часто раздавались голоса монахов-проповедников и отшельников, и это всегда приводило людей в неистовство возрожденческого благочестия. Милан был центром военных действий французов, швейцарцев, испанцев и немцев. Ни один город не пострадал так жестоко, и ни в одном из них фанатичных пророков не встречали с большим суеверием. В 1516 году в Милане появился "мирянин, высокого роста, изможденный и необузданный сверх всякой меры, без обуви, без рубашки, с непокрытой головой, с колючими волосами и бородой и такой худой, что казался еще одним Юлианом отшельником". Он питался водой и просыянными зернами, спал на голой земле, отказывался от всякого рода подаваний и проповедовал с поразительным авторитетом. Несмотря на противодействие архиепископа и Капитула, он выбрал Дуомо для своего театра; и там он разоблачал пороки священников и монахов перед многочисленными собраниями нетерпеливых слушателей. Одним словом, он вступил в открытую войну с духовенством на их собственной территории. Но они, конечно, оказались слишком сильны для него, и он был изгнан из города. Он был уроженцем Сиены, ему было 30 лет.[1] Мы можем сравнить с этим живописным появлением Джеронимо в Милане то, что Варчи говорит о пророках, которые посещали Рим, как птицы дурного предзнаменования, в первые годы понтификата Климента VII. "Не только монахи с кафедры, но и отшельники на площади проповедовали и предсказывали гибель Италии и конец света с дикими криками и угрозами".[2] В 1523 году Милан стал свидетелем зрелища, представляющего собой пародию на старых проповедников. Там появился некий брат ди Сан-Марко, которого люди почитали за святого и который "поощрял миланцев против французов, говоря, что убийство этих французов - заслуга Иисуса Христа, и что они свиньи". Он, по-видимому, был слабым и невежественным человеком, которому примеры Буссоларо и Савонаролы вскружили голову.[3] Снова, в 1529 году, мы находим некоего монаха Томмазо из ордена Святого Доминика, поднявшего великое волнение благочестия в Милане. Испанская оккупация довела город до крайней нищеты, и, как ни странно, этот монах сам был испанцем. Чтобы умиловать оскорбленных божеств, он организовал грандиозную процессию. В соборе собрались 700 женщин, 500 мужчин и 2500 детей. Дети были одеты в белое, мужчины и женщины - в мешковину, и все были босиком. Они прогуливались по улицам Милана, не переставая выкрикивать *Мизерикордия!* и осаждали кафедральный собор с таким же мрачным воплем, епископ и муниципальные власти Милана принимали участие в богослужении.[4] Эти порывы покаянного благочестия были делами реальной национальной важности. Писатели, проникнутые классическим духом Возрождения, считали их достойными места в своих философских историях. Так, мы находим Питти в *Истории Фиорентины* (Арх. Стор. том i, стр. 112), описывающий то, что произошло во Флоренции в 1514 году: "В Санта-Кроче появился брат Франческо да Монтепульчано, очень молодой, который сурово обличал порок и утверждал, что Бог пожелал наказать Италию, особенно Флоренцию и Рим, в проповедях настолько ужасных, что аудитория продолжала заливаться слезами, *Мизерикордия!* Весь народ онемел от ужаса, ибо те, кто из-за толпы не мог слышать монаха, с не меньшим страхом слушали рассказы других. Наконец он произнес проповедь, настолько ужасную, что прихожане замерли, как люди, лишившиеся рассудка; ибо он пообещал открыть на третий день, как и из какого источника он получил это пророчество. Однако, когда он покинул кафедру, изможденный и измученный, его охватила болезнь легких, которая вскоре положила конец его жизни. Питти продолжает рассказывать о неистовстве возрожденцев,

вызванном проповедью этого монаха, которая пробудила во Флоренции все старые воспоминания о Савонароле. Епископу пришлось подавить набожность специальными указами, в то время как Медичи пытались отвлечь умы людей турнирами и публичными зрелищами.

[1] См. Прато и Буригоццо, *арх. История*. том iii. стр. 357, 431. Здесь стоит отметить, что Сиена, город гражданских раздоров, была также городом неистового благочестия. На ум приходят имена С. Катерины, С. Бернардино и Бернардо Толомеи.

[2] *История Фиоринтины*, том i, стр. 87.

[3] *Арка. История*. том iii. стр. 443.

[4] Буригоццо, стр. 485-89.

В настоящее время приведено достаточно цитат из различных оригинальных источников, чтобы проиллюстрировать лихорадочные вспышки суеверной паники в Италии в средние века и эпоху Возрождения. Из того, что было сказано об Иоанне Виченцском, Якопо дель Буссоларо, С. Бернардино, Роберто да Лечче, Джованни делла Марке и Фра Капистрано, следует, что Савонарола ни в коем случае не был экстраординарным явлением в итальянской истории. Сочетая методы и цели всех этих людей и оставаясь в сфере их представлений, он наложил отпечаток своего особого гения на роль, которую часто играли в главных городах Италии. Источником слабости для него в его борьбе с Александром VI было то, что он не мог подняться выше монашеского идеала пророка, господствовавшего в Италии, или ухватиться за одну из тех возрожденческих концепций, которые составляли движущую силу Реформации. Врожденные недостатки всех итальянских возрождений, спазматические в своих пароксизмах, неистовые, пока они длились, но преходящие по своим последствиям, Савонарола демонстрирует в трагическом масштабе. Что поражает нас после изучения записей об этих движениях в Италии, так это главным образом недостаток у них истинной ментальной энергии. Сиюминутного эффекта, производимого в больших городах, как Флоренция, Милан, Верона, Павия, Болонья, Перуджа и довольно пропорционально небольшое интеллектуальной силы оказываемого пророк в каждом конкретном случае. У него нет ничего действительно нового или животворящего для общения. Он действительно проповедует долг покаяния и милосердия, проводит реформу вопиющих нарушений морали и со всей силой воздействует на воображение своей аудитории. Но он не приводит в движение поток свежей мысли. Поэтому, когда о его личном влиянии однажды забыли, он не оставил никакого следа в стране, которую он так глубоко взволновал. Мы можем только удивляться, что во многих случаях он добивался такого полного господства в политическом мире. Все это так же верно для Савонаролы, как и для Сан-Бернардино. Именно это так неизмеримо отдаляет его от Гуса, от Уэсли и от Лютера.

ПРИЛОЖЕНИЕ V.

"Соммарио истории Италии от 1511 до 1527" Франческо Веттори.[1]

В этом Приложении я приберег для особого внимания краткую историю периода между 1511 и 1527 годами, написанную Франческо Веттори; не потому, что я мог бы не использовать ее в нескольких предыдущих главах, а потому, что мне показалось, что было бы лучше сосредоточить в одном месте иллюстрации Макиавелли и Гвиччардини, которые она содержит. Франческо Веттори родился во Флоренции в 1474 году в семье, которая отличилась тем, что дала Содружеству множество способных государственных служащих. Он принял политику партии Медичи, оставаясь верным своему аристократическому кредо на протяжении всех смутных времен, последовавших за вторжением Франции в 1494 году, разграблением Прато в 1512 году, разграблением Рима в 1527 году и убийством герцога Алессандро в 1536 году. Даже когда казалось, что он одобряет республиканскую политику, он продолжал втайне поддерживать семью, от которой надеялся получить почести и привилегии в государстве. Как и все Оттимати, которых Питти так яростно оскорблял, Франческо Веттори в конце концов оказался обманутым в своих ожиданиях. Медичи они продали свободу своего родного города, и в обмен на эту непатриотическую лояльность благоразумный Козимо приговорил их к изгнанию, смерти, тюремному заключению или холодной терпимости. Через два года после того, как Козимо стал герцогом, Веттори умер в возрасте более шестидесяти лет, так и не разделив процветания князей, службе которым он посвятил свою жизнь и ради которых помог поработить Флоренцию. Уважать этот вид верности или испытывать какую-либо жалость к мужчинам, которые были так жестоко разочарованы в своих эгоистичных ожиданиях, невозможно.

[1] Напечатано в *Arch. История. Это. Приложение* № 22, т. вл.

Франческо Веттори неоднократно занимал важные должности во Флорентийском содружестве. Например, в 1520 году он вступил в синьорию, а в 1521 году стал гонфалоньером юстиции. Многие годы его жизни были потрачены на зарубежные миссии, в качестве посла при императоре Максимилиане, постоянного посла при дворах Юлия и Льва, посла вместе с Филиппо Строцци при дворе Франциска I. И оратора в Риме по поводу избрания Климента. Таким образом, у него, подобно Макиавелли и Гвиччардини, были наилучшие возможности составить правильное суждение о людях, чьи характеры он оценивал в своем *Соммарио*, и получить достоверный отчет о событиях, которые он описывал. Он заслуживает места в списке литературных государственных деятелей, упомянутых мной в главе V. Я также не стал бы вычеркивать его из числа Сеньи и Варчи, если бы его история не была посвящена исключительно более раннему периоду, чем их. В то же время он был близким другом как Гвиччардини, так и Макиавелли. Некоторые из наиболее ценных произведений последнего представляют собой письма, адресованные из Флоренции или Сан-Кашано Франческо Веттори в то время, когда бывший военный министр пытался завоевать расположение Медичи. Ясновидение и проницательность, циничная философия жизни, определенное суждение о людях, ясное понимание событий, которые мы прослеживаем у Макиавелли, можно найти и у Веттори. Веттори, однако, не обладал гением Макиавелли. Поэтому то, что он пишет, ценно как доказательство того, что философия Макиавелли не была свойственна этому великому человеку, но разделялась многими мыслителями низшей ступени. Кульминацией флорентийской культуры конца пятнадцатого века стали эти государственники с твердым умом и каменными сердцами, которые видели только плохое в человеческой природе, но цинизм или скептицизм не привели их к потере интереса к политической игре.

В посвящении "*Истории Италии*" Франческо Скарфи Веттори говорит, что сочинил ее на своей вилле, куда удалился в 1527 году. Я не ставлю своей целью извлекать фрагменты исторического

повествования, содержащегося в этом очерке; сделать это на самом деле означало бы переписать все целиком, настолько близко и сжато оно написано; но скорее процитирую отрывки, которые проливают свет на мнения Макиавелли и Гвиччардини или подтверждают взгляды людей и мораль, принятые в моих предыдущих главах.

Коснувшись разграбления Прато и смятения, последовавшего за этим во Флоренции, Веттори описывает возвращение Медичи в 1512 году. Джулиано, сын Лоренцо, появился первым: за ним последовали кардинал Джованни и сын Джулиано Джулио.^[1] Старший среди их сторонников убедил их созвать парламент и всерьез принять правительство. Соответственно, 16 сентября кардинал вступил во владение дворцом, *фесе пиглиаре иль Палаццо*; синьория созвала народ на площадь — простая формальность; была назначена комиссия из сорока человек; гонфалоньер Ридольфи подал в отставку; и город подчинился воле и удовольствию кардинала Медичи. Затем рассуждения сыновей Веттори:^[2] "Это было то, что называется абсолютной тиранией; и все же, говоря о вещах этого мира без предубеждения и в соответствии с истиной, я говорю, что если бы было возможно учредить республики, подобные тем, которые представлял себе Платон, или которые притворялись существующими в Утопии Томаса Мора, мы могли бы утверждать, что это были не тиранические правительства, а все государства содружества". или королевства, которые я видел или о которых читал, имеют, как мне кажется, привкус тирании. Не стоит удивляться и тому, что во Флоренции часто преобладали партии и фракции и что один человек восстал, чтобы стать вождем, если учесть, что город очень густонаселен, что многие бюргеры желают разделить его преимущества и что призов для раздачи мало: поэтому одна сторона всегда должна одерживать верх и пользоваться почестями и льготами государства, в то время как другая стоит в стороне, наблюдая за игрой ". Затем он переходит к критике Франции, где одни дворяне носят оружие и не платят налогов, и где отправление правосудия происходит медленно и неохотно. дорого; и Венеция, где три тысячи джентльменов держат у своих ног более 100 000 жителей, лишенных чести, бессильных, непривилегированных, угнетенных. Продемонстрировав элементы тирании и несправедливости как в королевстве, так и в содружестве, считающемся процветающим и свободным, он показывает, что, согласно его собственной философии, никто не винит бюргера, которому удастся узурпировать единоличное управление свободным государством, при условии, что он правит мудро; ибо все королевства изначально были основаны либо силой, либо хитростью. "Следовательно, мы не должны называть этого частного гражданина тираном, узурпировавшим управление своим штатом, если он хороший человек; равно как и не следует называть настоящим хозяином города человека, который, хотя и наделен титулом императора, плох и недоброжелателен". Эта критика конституций, вышедшая из-под пера доктринера, который также был человеком опытным, интересна отчасти своей позитивной откровенностью, а отчасти тем, что показывает, какие элементарные представления все еще преобладали о целях правительства. Главный критерий Веттори - личные качества амбициозного правителя.

^[1] Впоследствии Джованни и Джулио стали Львом X и Климентом VII.

^[2] Стр. 293.

Переходя к тому, что он говорит о Льве X.,^[1] стоит отметить, что он объясняет свое избрание главным образом впечатлением, произведенным на кардиналов Александром и Юлием. "Во время правления двух свирепых и могущественных понтификов кардиналы были казнены, заключены в тюрьму, лишены своего имущества, сосланы и находились в постоянной тревоге; и

теперь среди них был так велик страх перед избранием другого такого папы, что они единогласно выбрали Джованни Медичи. До того времени он всегда проявлял щедрость и легкомыслие, или, скорее, расточительность в разбазаривании того немногого, что у него было; более того, он умудрялся так лицемерить, что приобрел репутацию человека с самыми прекрасными жизненными привычками". Веттори добавляет, что его власть во Флоренции помогла ему и что он многим обязан способности, проявленной Бернардо да Биббиеной в завоевании голосов. Радость флорентийцев по поводу его избрания объясняется низменными мотивами: "поскольку все они были преданы торговле и наживе, они думали, что должны получить некоторую прибыль от этого папства".[2]

Правительство, которое Лоренцо, впоследствии герцог Урбино, установил во Флоренции, Веттори очень благоприятно описывает.[3] Лоренцо, хотя и был еще молодым человеком, с большим вниманием относился к делам города, следя за тем, чтобы ко всем применялось равное правосудие, чтобы общественные средства взимались и расходовались бережливо, и чтобы споры разрешались к удовлетворению всех сторон. К его правлению относились терпимо, потому что, хотя доходы были большими, а расходы небольшими, горожан не беспокоили налоги; и это главный способ угодить народу, поскольку их привязанность к принцу измеряется тем благом, которое они получают от него. Принимая это мнение о Лоренцо, Веттори может в другом месте сказать о нем, что "он управлял Флоренцией как гражданин";[4] и по случаю его смерти в 1520 году он произносит нечто вроде панегирика его характеру. "Его смерть стала несчастьем для Флоренции, которое трудно описать. Несмотря на молодость, он обладал качествами зрелой добродетели. Он питал искреннюю привязанность к горожанам, был бережлив к деньгам Коммуны, расточителен к своим собственным; будучи врагом порока, он не был слишком суров к тем, кто заблуждался. Хотя он начал свою военную карьеру в двадцать три года, днем и ночью на действительной службе он всегда носил на плечах кирасу вооруженного человека. Он очень мало спал, был трезв в своем питании, умерен в любви. Флорентийцы не любили его, потому что люди, привыкшие к свободе, не могут любить правителя; но он, со своей стороны, не стремился к должности, которая была навязана ему по воле других. Мадонна Альфонсина, его мать, навлекла на него непопулярность, потому что она была скупа, и флорентийцы, замечавшие каждую деталь, считали ее алчной; и хотя он хотел обуздать ее, он обнаружил, что не может этого сделать из-за высокого уважения, которым он ее питал. Маддалена, его жена, умерла за шесть дней до него, родив дочь Кэтрин." Это, без сомнения, в высшей степени благоприятный портрет человека, которому Макиавелли посвятил свой *Принципи*. Несколько отрицательные положительные качества Лоренцо, его благоразумие и скупость, его свобода от деспотических амбиций и нелюбовь к опасной службе в сочетании с его почтением к могущественным членам собственной семьи, очень не похожи на идеал Макиавелли как основателя государства. Чезаре Борджиа был почти полной противоположностью. Впечатление, произведенное панегириком Веттори, подтверждается тем, что он говорит о нежелании Лоренцо управлять герцогством Урбино.[5]

[1] Стр. 297.

[2] Стр. 300.

[3] Там же.

[4] Стр. 306.

[5] Стр. 321. См. также стр. 307.

Но вернемся к первым дням понтификата Льва. Веттори отмечает свое вмешательство в дела Лукки как первую крупную ошибку, которую он совершил.[1] Его советники во Флоренции не задумывались, "какой позор это навлечет на папу в глазах всех людей или какие подозрения это вызовет у князей, если в первые месяцы его власти он санкционирует нападение флорентийцев на луккезе, их соседей и союзников. Как могли также флорентийские бюргеры, которые подтолкнули его к этому шагу, напомнить понтифику, что он должен умерить свое желание обрести власть для Церкви и для своих родственников по примеру бывших пап, все из которых, в интересах своих иждивенцев, с риском и расходами приобрели к собственному бесчестию то, что через несколько дней после их смерти вернулось старым и законным владельцам?"

Поведение Льва в отношении Лукки, его политика во Флоренции и великолепие, поддерживаемое его братом в Риме, на самом деле пробудили зависть итальянских держав, как великих, так и малых.[2] "Король Фердинанд заметил: если Джулиано покинул Флоренцию, он, должно быть, нацелен на что-то лучшее, которым не может быть ничего, кроме Неаполитанского королевства. Герцоги Миланский, Феррарский и Урбинский говорили то же самое. Сиенцы думали: "Если папа позволит флорентийцам напасть на Лукку, которая так сильна, хорошо обставлена и гармонична, то тем более он согласится с их нападением на нас, слабых, плохо обеспеченных и враждующих между собой". У герцога Феррары были и другие причины для недовольства в отношении Модены и Реджо. "В целом, Лео начал терять авторитет. Делла Ровере, Бальони и Петруччи заключили против него тайные союзы; и хотя он старался посещать общественные службы и постился больше, чем требовал этикет, в него никто не верил.

Комментарий Веттори звучит как отголосок Макиавелли и Гвиччардини.[3] "Несомненно, труднее всего сочетать светское господство с религиозной репутацией: это две вещи, которые не будут гармонировать. Тот, кто хорошо разбирается в законе Евангелия, заметит, что понтифики, хотя и называются наместниками Христа, создали новую религию, непохожую на религию Христа, за исключением названия. Он предписывает бедность; они желают богатства. Он проповедовал смирение; они следуют за гордыней. Он заповедовал послушание; они стремятся к универсальному владычеству. Я мог бы подробнее остановиться на других их пороках; но достаточно упомянуть о них, не вдаваясь в неудобные рассуждения." Рассматривая дела Урбино,[4] однако, Веттори замечает, что Лев не мог поступить иначе, чем наказать Франческо Марию делла Ровере, если бы хотел сохранить репутацию папства на той высоте, на которую его возвели его предшественники .

[1] Стр. 301.

[2] Стр. 303.

[3] Стр. 304.

[4] Стр. 319.

В своей общей оценке Льва Веттори подтверждает все, что мы знаем об этом папе из других источников. Возможно, он настаивает больше, чем другие историки, на умелой дипломатии, с помощью которой Лодовико Каносса, епископ Трикарико, заключил соглашение с Франциском после Мариньяно,[1] и связывает фатальный союз Льва с Карлом V. в 1520 году с влиянием Джеронимо Адорно.[2] Тайные пружины поведения Льва, когда он тщетно пытался с выгодой для себя лавировать между великими соперниками за власть в Европе, раскрываются с

восхитительной точностью в обоих этих пунктах. О расточительности, которая помогла погубить этого папу и сделала двух его преемников импотентами, он говорит с презрительным сарказмом. "Ему было так же легко удержать 1000 дукатов, как камню взлететь в воздух под действием собственного веса".[3] Когда 27 ноября 1520 года до него дошла весть о взятии Милана, Лев находился на вилле Мальяна в окрестностях Рима.[4] То ли он простудился у окна, то ли беспокойство и ревность нарушили его конституцию, Веттори остается неопределенным. Во всяком случае, на него напала лихорадка, он вернулся в Рим и умер. - Говорили, что его смерть была вызвана ядом; но подобные истории всегда распространяются о людях высокого положения, особенно когда они становятся жертвами острой болезни. Те, однако, кто знал конституцию и физическое телосложение Лео, а также его образ жизни, скорее удивятся, что он прожил так долго." Подведя итог превратностям его карьеры и раскритиковав его нерешительную политику, Веттори резюмирует: "[5] "хотя, с одной стороны, он был бы рад, если бы его никто не беспокоил; с другой стороны, он жаждал славы и стремился возвеличить своих сородичей. Судьба, чтобы избавить его от этого честолюбия, лишила его брата и племянника при его жизни. Наконец, когда он ввязался в войну против короля Франции, в которой, если он и выигрывал, то проигрывал, и ему предстояло явное разорение, фортуна удалила его от мира, чтобы он не мог видеть своего собственного несчастья. Во время его понтификата в Риме не было ни чумы, ни бедности, ни войн. Литература и искусства процветали, а пороки также были на пике своего развития. Александр и Юлий имели обыкновение захватывать наследство не только прелатов, но и каждого мелкого священника или клерка, умершего в Риме. Лев полностью воздерживался от подобной практики. Поэтому люди приходили толпами; и можно с уверенностью сказать, что за восемь лет его папства население Рима увеличилось на треть". Веттори благоразумно отказывается суммировать хорошие и плохие стороны характера Льва в одном решающем предложении. Однако он отмечает, что его обвинили в том, что он не сдержал своего слова: "у него было любимое выражение, что князья должны давать такие ответы, которые отпустили бы просителей удовлетворенными; соответственно, он дал так много обещаний и питал к людям такие большие надежды, что угодить им стало невозможно".

[1] Стр. 313.

[2] Стр. 334.

[3] Стр. 322.

[4] Стр. 338.

[5] Стр. 339.

Избрание Адриана Веттори объясняет взаимной ненавистью и ревностью кардиналов.[1] Он приписывает потерю Родоса отсутствию интереса папы к великим делам, добавляет свои свидетельства его личного превосходства и общественной неспособности и увольняет его без дальнейшего уведомления.[2]

[1] Стр. 341.

[2] Стр. 343, 347.

То, что он рассказывает нам о Кlemente, гораздо интереснее. В посвящении *Соммарио* он в недвусмысленных выражениях извинился за высокое мнение, высказанное об этом папе.

Однако впечатление, которое он производит на наш разум тем, что пишет, настолько неблагоприятно, что становится ясно, что обычно говорили против него враги Климента. В качестве одного из оправданий своих неудач на этом посту он отмечает, что наследовал папство, разрушенное расточительностью Льва в "войне и мире".^[1] В качестве рыцаря Родоса, губернатора Флоренции и кардинала Климент показал себя способным человеком. Тогда Фортуна осыпала его своими милостями. Как только он стал папой Римским, она изменила свое решение. "Из могущественного и уважаемого кардинала он превратился в слабого и дискредитированного папу". Его первой заботой было обеспечить правительство Флоренции. Чтобы прийти к решению, он обратился к совету флорентийских ораторов и к четырем другим знатым бюргерам, находившимся в то время в Риме, с вопросом, может ли он выгодно доверить город кардиналу Кортоне в качестве опекуна над Ипполито и Алессандро, юными незаконнорожденными детьми Медичи.^[2] "Почти все мужчины, - говорит Веттори, - льстецы и говорят то, что, по их мнению, понравится великим людям, хотя сами думают наоборот. Из тринадцати, с кем консультировался папа, десять посоветовали ему отправить Ипполито во Флоренцию под опеку кардинала Кортоне. " Остальные трое, которыми были Руберто Аччаджуоли, Лоренцо Строцци и Франческо Веттори, указали на неприличие управлять свободным городом через священника, носящего свой титул из подчиненного города. Они рекомендовали назначить гонфалоньера сроком на один год и так далее, пока член семьи Медичи не сможет взять на себя руководство. Климент, однако, избрал другой путь, и в этом можно проследить половину бед его правления.

^[1] Стр. 348.

^[2] Стр. 349. Им было 14 и 13 лет соответственно.

Большая часть того, что осталось от *Соммарио*, занята войнами и интригами Франциска, Карла и Климента. Веттори, можно сказать мимоходом, высказывает крайне неблагоприятное мнение о маркизе Пескаре, который, как он намекает, был виновен в том, что сначала благосклонно выслушал заговор Морони, а затем открыл все своему хозяину.^[1] Через несколько дней после своего предательства миланцам он заболел и умер. "Он был человеком, чье военное превосходство невозможно отрицать; но гордый сверх всякой меры, завистливый, неблагодарный, алчный, ядовитый, жестокий, без религии или человечности, он был рожден, чтобы погубить Италию; и можно с уверенностью сказать, что зло, от которого она страдала и продолжает страдать, в значительной степени было вызвано им".

^[1] Стр. 358, 359.

О нарушении веры Франциском после того, как он покинул свою испанскую тюрьму, Веттори говорит в терминах самой высокой похвалы.^[1] Его отказ уступить Бургундию Карлу был справедливым и патриотичным. То, что он нарушил свою веру, не было преступлением; ибо, хотя человек скорее должен умереть, чем отречься от себя, все же его первый долг перед Богом, а второй - перед своей страной, Франциск явно действовал на благо своего королевства; и разве он не оставил двух своих сыновей в качестве заложников в Испании? Вся защита представляет собой хороший образец благовидных заявлений, и ее можно было бы использовать для иллюстрации главы о вере принцев *Принципи*.

^[1] Стр. 362.

Безусловно, самым ярким отрывком в "Соммарио" Веттори является описание марша армии Фрундсберга и Де Бурбона на Рим.^[1] Он дает понять, до какой степени катастрофа с разграблением была вызвана эгоизмом и трусостью итальянских принцев. Прежде всего, венецианцы отказались чинить какие-либо препятствия при прохождении реки По, чувствуя, что этим они могут навлечь беду на свои собственные провинции. Затем герцог Феррарский снабдил лютеран артиллерией, в которой они до сих пор остро нуждались. Первым, что они применили из своего огнестрельного оружия, был выстрел в лучшего капитана Италии, Джованни де Медичи из "Черных банд". Герцог Урбино, маркиз Салуццо и Гвидо Рангони наблюдали, как они переправились через реку и легким шагом проследовали через район Пьяченца, "следуя за ними, как лакеи, прислуживающие своим господам". То же самое происходило в Парме и Модене, в то время как герцог Феррарский продолжал снабжать иностранцев едой и деньгами. Климент тем временем остался в Риме без гроша. Каким бы богатым ни был город, он настолько потерял кредит, что не осмеливался просить займы, и был настолько слаб, что не мог грабить. Более того, Колонези, недавно разграбившие Ватикан, держали его в состоянии ужаса. Когда захватчики, которыми теперь командовал коннетабль де Бурбон, приблизились к Тоскане, молодежь Флоренции потребовала вооружиться для защиты своих очагов и домов. Кардинал Кортонский, опасаясь народного восстания, отказался удовлетворить их просьбу. Вспыхнул бунт, и Медичи пригрозили изгнанием, но с помощью влиятельных граждан революцию удалось предотвратить. Коннетабль, обойдя Флоренцию и Сиену, двинулся прямо на Рим, по-прежнему под наблюдением, но не тронутый армиями Лиги. Он оставил свою артиллерию на дороге и, как хорошо известно, взял штурмом стены Рима утром 3 мая, сам погиб в момент победы. Из того, что только что было кратко рассказано, будет видно, насколько крайне униженной была вся Италия в этот момент, когда банде головорезов, возглавляемой мятежником из числа подданных его государя, в неповиновении наместнику короля, которому он якобы служил, не только разрешили, но и фактически помогли пересечь реки, равнины и горы на пути в Рим. То, что произошло после захвата Транстеверинской части города, вызывает еще большее презрение. Имперским войскам все еще оставалось войти в густонаселенные и богатые кварталы; и они должны были добраться до них по одному из трех мостов. В общей сложности их численность составляла едва ли более 25 000 человек. В Риме было по меньшей мере 30 000 годных к оружию мужчин в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет, и среди них было много обученных солдат, помимо толп римлян, чванливых хвастунов, привыкших к ежедневным ссорам, с бородами на груди. Тем не менее, оказалось невозможным собрать 500 человек в один отряд для защиты одного из трех мостов". То, что сразу же следует, дает настолько поразительную картину разграбления, что ее перевод станет подходящим завершением этого тома. Солдаты убивали в свое удовольствие; грабили дома представителей среднего класса и мелкого люда, дворцы знати, монастыри обоих полов и церкви. Они брали в плен мужчин, женщин и даже маленьких детей, не обращая внимания ни на возраст, ни на обеты, ни на какие-либо другие претензии на жалость. Резня была небольшой, потому что люди редко убивают тех, кто не оказывает сопротивления, но добыча была неисчислима в монетах, драгоценностях, золотой и серебряной посуде, одежде, гобеленах, мебели и товарах всех видов. К этому следует добавить выкуп, который составил сумму, которая, если бы ее назвали, не вызвала бы доверия. Пусть кто-нибудь подумает, на протяжении скольких лет деньги всего христианского мира стекались в Рим и в значительной степени оставались там; пусть он вспомнит кардиналов, епископов, прелатов и государственных чиновников, богатых торговцев, как римских, так и иностранных, которые продавали по высоким ценам, сдавали свои дома за дорогую арендную плату и ничего не платили в виде

налогов; пусть он вспомнит ремесленников, бедняков, проституток; и он рассудит, что никогда не было разграбленного города, о котором сохранилась память, откуда можно было бы извлечь больше сокровищ. Хотя Рим и в другие времена подвергался взятию и разграблению, все же никогда прежде он не был Римом наших дней. Более того, разграбление длилось так долго, что то, чего, возможно, и не было обнаружено в первый день, рано или поздно выплыло наружу. Эта катастрофа стала примером для всего мира, что люди гордые, алчные, завистливые, кровожадные, похотливые, лицемерные не могут долго сохранять свое государство. Нельзя также отрицать, что жители Рима, особенно римляне, были запятнаны всеми этими пороками и многими еще большими".

[1] Стр. 372-82.